

Сигизмунд Кржижановский

Неукушенный локоть

Мал мала меньше

Рассказы 1920–1940-х годов

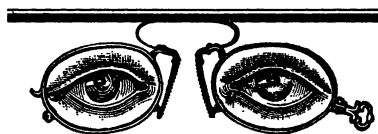
Салыр-гюль

Хорошее море

Москва в первый год войны

symposium

Сигизмунд
Кржижановский



Сигизмунд Кржижановский

*Собрание сочинений
в пяти томах*

Том третий

СИГИЗМУНД КРЖИЖАНОВСКИЙ



Неукушенный локоть

Мал мала меньше

Рассказы 1920–1940-х годов

Салыр-гюль

Хорошее море

Москва в первый год войны

Санкт-Петербург

Symposium

2003

УДК 82/89

ББК 83.3

К81

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА РОССИИ»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии
и книгоиздания России»)

*Составление, подготовка текста
и комментарии*

Вадима Перельмутера

*Художественное оформление
и макет* Андрея Бондаренко

Всякое коммерческое использование текста, оформления книги — полностью или частично — возможно исключительно с письменного разрешения Издателя. Нарушения преследуются в соответствии с законодательством и международными договорами РФ.

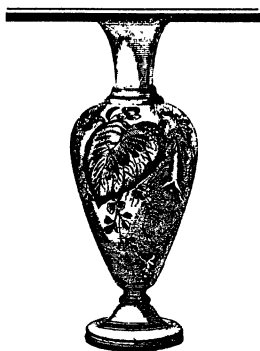
ISBN 5-89091-134-1 (т. III)
ISBN 5-89091-131-7

© Издательство «Симпозиум», 2003

© В. Перельмутер, составление,
подготовка текста, комментарии
2002

© А. Бондаренко, оформление, 2003

Неукушенный локоть



книга новелл

Ганс и Фриц

I. Встреча

Солнце врывалось параллелями лучей в фрамуги окон всех четырех этажей магазина Тица. Того, что на Лейпцигерштрассе. Солнце ко всему притрагивалось — к галстукам, к фарфору, к стеклянным кристаллам баккара, — но ничего не покупало и за лучи свои не требовало ни пфеннига.

Одновременно с солнцем по мраморным ступеням универсального магазина медленно подымался человек. Он не был двуногим, как полагается человеку, или четвероногим, как свойственно скоту. Из-под приподнятых плеч его в мрамор ступенек тыкались два деревянных тычка с резиновым пальцем на конце. Тычки эти были похожи на вилки раздвоенной берцовой кости, почему-то подобравшейся под самые подмышки. Кроме того, у человека имелась правая нога, а слева висела подтянутая, как парус в безветрие, сложенная втрое и подшитая штанина. Итого: $3\frac{1}{2}$. Посетитель, добравшись до третьего этажа, вошел внутрь магазина. Он, качая штаниной, как маятником часов, проковылял мимо отделения готового платья. Заутюженные швы серых, синих и черных брюк. Суконные плечи пиджаков, подоткнутые деревянными плечиками. Крючья вместо голов, подвешенные на круглый длинный шест.

Дальше было обувное отделение. Трехсполовиноногий остановился у прилавка. Приказчик, улыбаясь совершенно бесплатно, выбрасывал картонные ящики и открывал их крышки. Оттуда выпрыгивали узконосые, тупоносые и плосконосые башмаки. Человек на костылях назвал свой номер. Приказчик обернулся к полкам, выдернул нужную коробку и поставил перед покупателем.

— Сколько? — спросил тот.

— Сто марок.

— Разрешите примерить?

Покупатель опустил в кресло, отставил костыли, зацепив их за выступ спинки кресла, и примерил правый башмак к правой ноге.

— Хорошо. Я покупаю его. Итак — пятьдесят марок?

— Сто.

— Но ведь мне нужен только правый башмак. Если вы не слепы, то мне незачем вам объяснять почему.

Приказчик полупочтительно и полупрезрительно покачал головой по горизонтали: это означало, что объяснять ему незачем, но и ему незачем объяснять, что на продажу полупары ботинок фирма Тиц не согласна. Хотя бы за отсутствием прецедентов.

И именно в этот момент раздался мягкий резиновый стук о паркет и у прилавка появился другой инвалид. Он был тоже на костылях, движению которых помогал своей левой ногой. Увидев приказчика, смущенно вертевшего в руках ботинок на левую ногу, он взял у него лишенную пары обувь, засунул руку под кожаный язычок, потом постучал согнутым пальцем по подошве и спросил:

— Сколько?

Приказчик молчал. Но голос из кресел информировал:

— По пятидесяти на ногу. Идет?

— Идет.

Оба инвалида, занимая своими семью ногами почти весь магазинный проход, подошли к кассе. Оба отстегнули пуговицы на своих куртках, оба вынули деньги.

Затем у прилавка снова произошло некоторое затруднение. У человека без правой ноги был номер 43. У покупателя, лишённого левой, 41. Каждый вежливо уступал место чужому номеру. Сговорились на 42.

Шнурки завязаны. И двое одиноких стали спускаться по мраморному маршу лестницы. Одному слегка жало, другому было чуть широковато.

— Я на Ипре, — сказал левоногий.

— А я под Варшавой, — ответил правоногий.

До выходной, беззвучно вращающей свои зеркальные стекла двери дошли молча.

— Мне налево, — сказал правоногий.

— А мне направо, — сказал левоногий.

И они уже хотели разойтись. Но тут усы над губою человека, лишённого правой, дернулись, и, улыбнувшись, он сказал:

— Башмак, должен вам признаться, немного жмет. А не пожать ли нам руки, камрад?

И они пошли не налево и не направо, а прямо через улицу, к вывеске, называвшей: Паттенкофер.

Гансу, левоногому, дали толстую кружку с черным номером на желтом пивном поле. Фрицу — рюмку мозельвейна на тонкой стеклянной ножке.

— Вот рюмка на одной ноге, а идет чокнуться, — сказал Фриц, подмигнув.

И тонкая рюмка подо двинулась к кружке, как лодка к пароходу, клубящему дымную белую пену.

Помолчали.

— А жарко было там, под Варшавой?

— Да. Мы били этих русских, как бьют кегли шаром, но их ставили снова и снова — и игра продолжа-

лась. Потом меня ранило — вот тут вот, где у меня было колено. Потом операция. А потом костыли. Выпьем, камрад.

— Выпьем. А башмаки хорошие. Немного жмут, но...

— Но и широковаты. Вот у меня есть тут, на Моабите, знакомый старик. Так он мне при встрече всегда говорит: «Оба мы одноногие — ведь и я одной ногой в могиле стою». Смешной старик, ха-ха. Выпьем еще. Переходите на пиво.

II. Прогулка

На другой день они снова встретились. В Тиргартене, на Зигес-аллее. Точно в десять, как было условлено. Еще издали они помахали друг другу рукой:

— Геноссе Фриц.

— А, Ганс...

Ангел Победы, стоя на колонне, тоже приветственно протягивал мраморную руку с черным венком у пальцев.

Левая нога подошла к правой — и обе зашагали, носок к носку, вдоль аллеи. Справа и слева, на каменных полукружиях, стояли застегнутые на все свои мраморные пуговицы императоры и фельдмаршалы.

У края аллеи стояли двое. Один в расстегнутой куртке и надвинутом на глаза кепи; другой в котелке и черном пальто.

— Взгляните, доктор, на этот странный конгломерат из костылей и обрубков тела. Похоже на шагающий символ.

— Да, образ, придуманный вот этими каменными головами. Мне они напоминают... впрочем, вы догада-

етесь и так. Левая без правого, правая без левого. Мы отделены подпольем, они — изгородью из штыков. И все это некое подобие единства движется лишь благодаря системе костылей.

— Ну а культура?

— Ампутирована и выброшена в операционное ведро.

— Тише. У подслушивателей профессионально тонкий слух. Так значит, сегодня перед полуночью. Помните пропуск?

Четыре резиновых тычка продолжали мерно подыматься и опускаться, оставляя за собой круглые, величиной с марку, следы на песке.

— Вот, — сказал Фриц, — провели Аллею Побед. А почему нигде нет Аллеи Поражений?

— Вы шутник. Потому что она была бы слишком длинной.

— Да. У вас, я вижу, костыли из дуба. Тяжеловаты?

— Тяжеловаты. Зато — прочность.

— А подмышки у вас пробковые.

— Пробковые.

— А у меня клеенчатые.

— Я хочу вам сказать, камрад, один маленький виц. Так, шутку: люди покупают себе подмышки от поту, а нас деревянные подмышки вгоняют в пот. Не так ли, ха-ха?

— Вот именно, ха. Не присесть ли нам?

Прятели расположились на ближайшей скамье. Чиркнула спичка. Над парой трубок засинели тонкие дымки. Башмак Фрица был начищен до блеска. Башмак Ганса успел уже потускнеть и покрыться брызгами грязи.

Ганс начал:

— А знаете, она мне иногда снится.

— Например?

— Ну, скажем, так: я лежу в операционной. Доктор взял уже в руки эту треугольную пилу. Помните?

— Да. Ну, и дальше?

— А дальше он начинает пилить мне не раздробленную, не правую ногу, а здоровую, левую.

— Какой же он после этого доктор?

— Вот именно. Я и хочу ему крикнуть, что не так, оттолкнуть нож. Но руки у меня привязаны и вдеты в кольцо, а рот зажат маской. «Не левую, не левую!» — и тут я просыпаюсь. Щупаю левую ногу: на месте. Ну, значит, все в порядке. Слава богу! А вот недавно мне приснилось, будто б я ее поймал. Ту, другую. Иду я по улице. Вот на этих подпорках. Вокруг никого. И вдруг навстречу — моя правая нога. В узком лакированном сапоге, из-под кожного воротника вместо головы — коленная чашка и два черных уха, высунувшиеся из сапога. Идет прямо на меня. И вдруг как топнет, как звякнет шпорой об асфальт: «Ты почему чести не отдаешь?» Тут только я понял, что у нее чин, а я...

— Ну, и что же вы, фрейнд Ганс?

— Стал во фронт и взял под козырек.

— А как же костыли?

— А костыли выскользнули из-под плеч, и я упал прямо на свою ногу. Теперь я был как бешеный. Она царапалась шпорой и ударила в нос каблуком. Но я схватил ее вот этим пальцем за кожаное ушко и держал крепко — вот так. Тогда нога дернулась и побежала. А у меня в руке осталось только сапожное ушко. Ну, пока я собрал костыли, пока встал, нога уже была далеко. А то бы...

— Интересно. Но надо идти.

— Куда?

— Я тут работаю. На папиросной фабрике. Через сорок минут моя смена. А вы?

— Безработный.

III. Третий

— Сюда, сюда, геноссе Ганс. Присаживайтесь. Что это вы запоздали? И тянете ногу?

— Так, устал. С улицами я справляюсь неплохо. Но комната моя на седьмом этаже — вы понимаете? Для мертвой ноги это трудно.

— Ну, разумеется. Закурим?

— У меня нет табаку.

— Как так? Ах да, вспомнил: дайте мне вашу трубку, Ганс, и я вам насыплю своего. А в следующее воскресенье, я надеюсь, что я буду иметь возможность одолжить вам пять марок. Сперва пустая трубка, потом пустой желудок. Как будто б получился виц, не правда ли?

— Да.

Аллея Тиргартена была теперь оживлена. Пронеслись авто, у края аллеи прыгали красные и синие мячи детей. Медленно проходили гуляющие. Одинокие прохожие, упирающиеся в набалдашники палок и зонтов. Пары, уткнувшиеся локтем в локоть. Солнце отражалось в гуталине штиблет. Женские губы были раскрыты улыбкой, мужские закупорены сигарой.

Фриц посмотрел на гладко начищенный нос своего башмака и сказал:

— Не унывайте, мой уважаемый друг. В сущности, если подумать, вот у вас одна жизнь и у меня одна жизнь. А заплатили мы за них хоть по пфеннигу? И воздух для всех бесплатно. И солнце светит золотыми лучами, как сказал какой-то поэт, не требуя за это ни единого зильбергроша...

— Извините, герр Фридрих, это не совсем так, — прозвучал чей-то глухой голос позади спинки скамьи. Приятели оглянулись.

— А, — протянул правоногий, — мы вас ждали, дорогой Вайнброд. Ну, теперь, Ганс, вы развеселитесь. Познакомьтесь, пожалуйста. Это тот самый человек, который говорил, что он одной ногой...

— Помню.

Костыли перешли со скамьи на колени, и сухощавый, с острой седой бородкой Вайнброд вклинился меж Фрица и Ганса.

— Это не совсем так, герр Фриц, — повторил третий собеседник, — например, в Моабитской тюрьме солнце дается уменьшенными порциями, процеженными сквозь решетку. А если хотите получить его сполна, то приходится платить: предательством, клеветой, отречением.

Фриц, насупив брови и показав глазами на другой край скамьи, тесно заполненный горожанами, пробурчал:

— Ну, об этом после. Или вообще не надо. Расскажите что-нибудь веселое, старина Вайнброд. Вы это умеете.

— Хорошо. Вот вчера прохожу через Кюстринер-пляц. Вывеска: Похоронное бюро. Дверь под вывеской на ключе, и за стеклом дощечка: «Закрывается по случаю смерти».

— Ну, это, знаете, надо думать два часа, прежде чем...

— Прежде чем засмеешься? Верно. Но раз начав смеяться, вы уже не перестанете до самой смерти. На вас, я вижу, новый башмак, герр Фриц?

— Да, это мы вместе с моим новым приятелем. Он сегодня грустный. Мы купили эту пару, я и Ганс, у Тица. Расскажите, Вайнброд, одну из ваших веселых историй. Не то Ганс подумает, что я лгал, называя вас веселым человеком.

— Хорошо, — ответил старик, зажав бороду в пальцах правой руки. — Я расскажу вам небылицу о двух башмаках от Тица.

— Ха-ха. Ну улыбнитесь же, Ганс. Уверю вас, это будет что-нибудь очень забавное. Ну, слушайте.

— Пара этих тупоносых башмаков была куплена красноносым пьяницей. Еще старый Рабле говорил: пей, пока не станут мокрыми стельки твоих сапог. Как-то раз пьяница, возвратившись поздно ночью, сдернул с ног башмаки и — носом в подушку. Башмаки заговорили друг с другом не сразу. Левый башмак сказал правому: «А не прогуляться ли нам, гсноссе башмак, пока ноги нашего господина не нуждаются в коже?» — «Я бы, пожалуй, прошел к сапожнику — заштопать дыру над мизинцем», — отвечал правый. «А мне нравится жить как безымянный палец: так, чтоб никто не мог открыть твоего инкогнито»...

В конце концов правый и левый башмаки пьяницы решили прогуляться, посмотреть башмаки и башмакам себя показать. Кстати, горничная выставила их за дверь, выход на улицу был слабо оберегаем — и башмаки, дойдя до крыльца, разошлись в разные стороны.

Левый башмак, тщательно обходя лужи, прячась, где мог, от дождя, сыпавшегося мелкими брызгами внутрь его пустого кожаного тела, дошел до двух матовых фонарей. Ступеньки вели в подвал. Прячась в тени шуб, левый башмак вшагнул в зал. Он шел, кокетливо помахивая металлическими аксельбантами своего аккуратно повязанного желтого шнурка.

Правый же башмак, дойдя до отдаленного рабочего квартала, осторожно спускался по склизким ступеням в слабо освещенное полусонное подвальное помещение и остановился, ткнувшись носком в порог.

К утру первым явился правый башмак. Он был забрызган грязью, и подошва его промокла от воды. Он

шел, сторонясь коридорной дорожки, ступая по резиновым цветам линолеума. Приткнувшись мокрым каблучком к двери, он стал дремать.

Но в это время послышались тихие шаги ступающего по ковру левого башмака. Его изящный тесемочный галстук был полуразвязан. От стельки пахло дорожными духами и вином.

— Вот и я, — сказал левый башмак, покачиваясь с каблучка на носок и обратно, — черт возьми, в меня пролили полбокала шампанского. Это веселее дождя. Давай пофокстротируем. Там, где я был, мне не было, увы, достаточно пустой пары.

— Друг мой, — отвечал правый башмак, — мы жили с тобой до сих пор щиколотка в щиколотку. Сейчас мне не до пляса. И я хочу тебе рассказать о всех своих странствованиях этой ночи. Выйдя из нашего коридора, я выбрался на улицу. Справа и слева — стеклянные пузыри, излучающие свет. Я старался сворачивать в улицы потемнее — и таким образом довольно быстро добрался до рабочих кварталов города. Я шел мимо занавешенных окон. Двери были тоже закрыты. Вдруг одна из них разомкнула створы. Навстречу свету пополз уличный дождевой туман. Вслед за ним и я, приподнявшись на цыпочку, тихо вошел в квартиру. Она была слабо освещена. Первая комната пуста. Из следующей доносились глухие, точно придавленные низким потолком к земле голоса...

— Это скучно. Еще минута — и я начну клевать носком. Вот там, в ресторане, под скатертью стола, куда я нырнул, было очень забавно. Я видел пристукивающие в такт музыке каблучки. Над ними шуршащие юбки и рейтузы, готовые лопнуть от сытости и веселья. Да только ли это? Помню огромный, начищенный ваксой сапог, который прижал остроносую туфельку с помпоном. Мне особенно понравилась одна лакированная желтая туфля.

Я подошел к ней вплотную и прижался кожей к коже. И вдруг, нет, ты только представь себе, маленькая туфля вздернула свой носик кверху и осторожно наступила на меня своей подошвой. И тотчас же с испугом отодвинулась. Испуг ее был мне вполне понятен. Ведь я — пустой башмак, экипаж без седока, мужской номер без женщины. И я поторопился отойти в сторону. Тут...

— Я пошел в мой путь не за пошлостями, — перебил правый башмак, — голоса, привлечшие мое внимание, становились все более вняты. Очевидно, разгорался спор.

Женский голос сказал:

— Если мы не заплатим, через неделю нас выселят из квартиры. Вот под этот дождь, стучащий в окно. Ты должен подумать о семье.

Мужской голос отвечал:

— Я не из тех людей, которым платят за то, что они думают. А скажи я им свои мысли, я получил бы квартиру в тюрьме. Это так. Но без семьи.

— Мне надоели эти шутки.

— Ах, Берта, шутка — последнее достояние бедняка. И не кричи на меня, ты разбудишь детей.

— Завтра же иди искать работу.

— Изволь. Я готов хоть в полночь пойти искать солнца. Зачем ждать утра? Но в чем я пойду? Ты знаешь, что у меня нет ботинок.

Тут я сделал шаг вперед, но тотчас же остановился. Будь несчастный одноногим, ему легче было бы помочь, но так как...

— Извините, если я прерву вашу сказку, герр Вайнброд, — вмешался Фриц, — но вы рассуждаете довольно странно.

— Рассуждаю не я, а башмак, — отрезал рассказчик и продолжал: — И я решил, сказал правый башмак

левому, бежать назад, за тобой. Вдвоем мы поможем горю бедных людей. Скорее, пока служанка не пришла нас ваксить.

— Мой правый брат, ты неправ. Во-первых, мы принадлежим оба тому, кем куплены. Меня делали в германской мастерской. Честный башмак не вправе покидать пяты, его давящей.

— Но ведь ты шлялся по кабакам, — рассердился правый башмак.

— Во внеслужебное время, — поправил левый, — и никто не смеет...

Тут он хотел топнуть об пол, но вдруг утих. Рука сонной служанки подняла обоих с пола и понесла к себе в каморку. Здесь, ночью, пока люди спят, собиралось довольно пестрое общество: и длинные сапоги со шпорами, и дамские туфли с вздернутыми носиками, и солидные штиблеты, полуботинки желтой и черной кожи и маленькие детские башмачки. Пока одних чистили, другие под шумок жесткой щетки рассказывали друг другу новости дня. Лакированная пара, до которой даже служанка не смела дотронуться своими щетками и только осторожно вытирала бархаткой, хвастала, стоя среди десятка почтительно уставившихся в ее глянец носов, что хозяин нанял для нее в прислуги калоши, великолепные, в ливрее на красной подкладке. «Дави и давай давить другим», — закончила лакированная пара, с удовольствием замечая, как в ней, словно в зеркале, соседи могут видеть свои сбитые каблуки и потертую кожу. Огромные штиблеты сорок пятый номер, поскрипывая от удовольствия, рассказывали туфлям жены своего хозяина, что сегодня они, следуя за пятками господина, посетили квартиру одной хорошенькой певички из кабаре. И не в первый раз. Маленькие зеленые башмачки жаловались, морща кожу, что их маленькую хозяйку поставили сегодня

утром на колени и что им, башмакам, пришлось просто-
ять целый час, уткнувшись носками в паркет.

Затем чистильщица отложила щетки и, взяв наших знакомцев, сверкавших теперь гуталиновым блеском, связала их тесемками и вместе с другими отнесла к порогу комнаты хозяина. Левый и правый продолжали спорить, но тесемки не хотели разлучать их.

— Всё? — спросил Фриц.

— Не совсем, — улыбнулся рассказчик, — сегодня утром, идя сюда, я увидел человека — нос его был красен, а носы башмаков желты: он исполнял на тротуарном асфальте довольно странную пляску. Правый его башмак дергался в сторону, точно он пытался соскользнуть с ноги и уйти по своим делам. Но левый башмак, словно молот, старался втопгаться в мостовую, не отпуская соседа отлучиться от его пятки.

— Ну и что ж?

— С человека взяли штраф за появление в нетрезвом виде на улице. И я теперь не знаю, сказку ли я вам рассказал или бьль, поскольку еще в самом начале я вам сообщил, что оба мои башмака принадлежали пьянице.

— Гм, — начал было Фриц, но в это время с левого края скамьи раздался тонкий голосок:

— Если я буду прятать башмачки моей куклы Нанни к себе под подушку, как вы думаете, они не убегут?

Трое повернули головы влево. У края скамьи сидела девочка в коричневом пальто. Руки ее охватывали большой пестрый мяч, а светло-голубые глаза были полны страха.

Герр Вайнброд улыбнулся:

— Еще лучше положить внутрь туфельек по камешку или спрятать их в мамин ридикюль. Тогда им уже никак не удрать.

— А зачем эти большие шттиблеты ходили в гости к певице? Разве у нее была такая большая нога?

Трое переглянулись. Фриц, подмигнув друзьям, отвечал:

— А она становилась двумя ножками в один башмак и прыгала через веревочку. Как вон та девочка, видите, маленькая фрейлен, на аллее вправо.

Головка соседки кивнула в знак понимания. Брови ее снова сжались:

— Что это значит: «Дави и дай давить...»

Резкий голос бонны оборвал беседу. Полная женщина, с колышущимися перьями на шляпе и с колышущимися грудями под выпяченным драпом пальто сердито сдернула девочку со скамьи и увела ее, изредка оглядываясь на трех человек и четыре костыля.

IV. Четвертая и последняя

В следующее воскресенье Фриц за пять минут до условленного часа уже был на знакомой нам аллее. Но скамья, у которой была условлена встреча, вся, от левого до правого края, была занята. Десять согнутых в коленях солдатских ног покрыли ее сиденье, пять широких спин уперлись в ее изогнутую спинку. Пять ландштурмистов пересмеивались друг с другом и отпускали шуточки вслед проходившим мимо. Фриц, сжимая пальцами поперечины костылей, проковылял стороной. Он слышал невнятные слова, брошенные ему вдогонку, и короткий залп смеха. Пройдя еще одну скамью, он, наконец, нашел свободное место. По ровной серой дорожке проходили люди в котелках и фетрах, реже — в цилиндрах. Еще реже — в рабочих кепи. Фриц поднял глаза кверху. Над деревьями парка торопились, подгоняемые ветром, серые и белые тучи. А Ганса не было. Фриц опустил руку в правый карман: там, в заклеенном конверте, запрятав-

шись в его угол, лежала монета в пять марок. Фриц улыбнулся, подумав о том, какой он, вояка-Фриц, добрый и верный товарищ. Обещал — и принес.

Тем временем ветер, бросив тучи, стал спускаться вниз. Сперва он пробежал по верхушкам деревьев, потом попробовал сорвать несколько шляп, а там закружил асфальтную пыль, заставив сотни людей спрятать рты под воротниками пальто и прижать дужки пенсне к переносицам.

А Ганс все не шел. Или, может быть, он прошагал мимо. Нет — одна нога меж двух костылей — это всегда можно поймать глазом даже среди тысяченогих толп. Фриц попробовал закурить трубку, но ветер задул ему две спички кряду. Фриц вынул третью, дожидаясь хотя бы секунды затишья. Тогда человек, сидевший рядом, снял с головы широкополую шляпу и любезно заслонил третью спичку от ветра. Фриц чиркнул, втянул дым и пробормотал слова благодарности. Сосед пригладил ладонью взъерошенные ветром седые волосы и снова прикрыл их шляпой. Вместе с раскуриваемой трубкой стал затлевать и разговор. Фриц рассказал, что ждет приятеля, что оба они, прежде чем тянуть дым из трубки, нанюхались порохового дыма. Дальше он сообщил, что принес своему приятелю пять марок. На одной ноге и до пфеннига не доскачешь. Надо помогать друг другу.

Сосед потер ладонью по щетинистой щеке, издавшей шорох сапожной щетки. При слове «пять марок» глаза его сузились, а рот приоткрылся и сказал:

— Пятьдесят выстрелов.

Фриц отодвинулся.

— Выстрелов? Вы тоже были на фронте?

— Нет, но я старался подработать на выстрелах.

По пяти пфеннигов за нажим курка. У меня был тир, вон там, у окраины Тиргартена.

— Ага, — начал Фриц, успокаиваясь, — ну и что ж, доходное это дело?

— Если вы взглянете на мои брюки и отсутствие жилета, то не станете повторять вопроса. Вначале я сам думал, что кошелек мой растолстеет. Ведь мы живем меж двух войн. Дух завоеваний, реванша, духовое ружье, мишень и шоколадка за попадание в центр. Но оказалось, что мишени их уже не интересуют. Живые люди отбили хлеб у моих мишеней. И вот в карманах у меня ничего, кроме дыр.

— Но все же, как это так могло получиться?

— А вот. Я построил небольшой тир. От станка до мишени — двадцать шагов. Дуэльная дистанция. Как у господ офицеров. Раскрасил его в национальные краски: одна доска черная, другая — желтая, третья — зеленая. И стал собирать пятипфенниговики. Но тут меня прижали налогами. На каждый квадратный метр — по монете. Что делать? Для пули не нужно много места, подумал я, и сдвинул боковые стенки моего тира. Тут сразу возникли неприятности. Молодые люди, раньше стоявшие по три человека у трех станков и не мешавшие друг другу, теперь стали цепляться локтями за локти и при каждом промахе обвинять меня в своем неумении и требовать деньги обратно. Посещаемость понизилась. А налог повысился. Тогда я решил действовать не поперек, а вдоль, и сократил расстояние от дула ружья до мишени вдвое. Мне меньше платить, а им легче попадать. Вначале дело как будто бы пошло на лад. Но тут притиснуло новыми налогами: на военный фонд, на — да мало ли каких — а не придумают эти политики! Я решился на смелый шаг. Над своим тиром я вывесил объявление: «Гарантирую 100% попадания. За каждый промах дирекция уплачивает промахнувшемуся пять марок». Перед тем как открыть свой заново перестроенный тир, я укоротил его до длины две трети метра. Теперь дуло духового

ружья упиралось в самый центр мишени. Промех был невозможен. Мысленно я уже клал в сберегательную кассу сотни и тысячи марок. Самое имя вот этой Аллеи Побед, где мы с вами сейчас сидим, мечтал я, говорит о порыве воинственного германского духа к победе. В данном случае — к попаданию без промаха. И что же получилось? На рекламу прихлынуло очень много людей. Все они были в оборванных пиджаках и стоптанных ботинках. Как вот я сейчас. И все они, тысячу громов, умудрялись мазать мимо мишени, хотя я тыкал их ружья в самый центр цели. Одни за другими монеты в пять марок выкатились из моего кошелька. Предприятие лопнуло. И я вот теперь, как видите, зажигаю чужие трубки, а сам второй месяц без единого пфеннига.

— Да, — медленно сказал Фриц, дослушав соседа, — бывает. Такое ли еще бывает! Но я вижу, мой друг Ганс не придет. Ничего: если человек не идет к пяти маркам, пять марок идут к человеку.

И, поймав под плечи желтые костыли, он козырнул в сторону соседа.

Через час Фриц остановился у высокого коричневого дома. Сначала он проверил номер, потом высоту здания. Да, семь этажей. Подымался он медленно, не торопясь и изредка заглядывал во все углубляющийся колодезь лестничного пролета. Ну, вот и конец. Дальше потолок. Фриц позвонил. Молчание. Еще раз. Из глубины квартиры зашлепали туфли. Дверь открылась. В просвет ее выглянула старушечья голова в синем чепчике. Она оглядела посетителя — и раньше, чем тот, преодолевая одышку, успел сказать хотя бы слово, голова закивала в знак понимания и скрылась в тускло освещенном коридоре.

Фриц стоял, не зная, переступить ли ему порог или ждать на площадке. Где-то за внутренней дверью послышался звук упавшей кастрюли, затем легкий стук дерева

о дерево. Старуха возвращалась. В руках у нее было что-то знакомое уже глазу Фрица — длинное и с поперечной посредине.

— Меня просили, — сказала она, ласково улыбаясь щелью рта и множеством морщинок на щеках, — передать вот это человеку на костылях. Если он придет.

— Но значит, герр Ганс...

— Да...

Дверь захлопнулась. Фриц не сразу стал спускаться с семиэтажной высоты. Он сперва прислонил подарок Ганса к железным перилам площадки. Потом вытер пот со лба. Потом, нащупав в кармане конверт, разорвал его и спрятал пять марок в кошелек. Сперва он хотел бросить скомканный конверт в пролет, потом отыскал на площадке черную урну и бросил бумажный шарик туда. Оставалось — возвращаться домой. Фриц тщательно осмотрел доставшееся ему наследство: пощупал резиновый палец на конце — сперва на левом, потом на правом костыле Ганса; щелкнул ногтем по перемычке: «Дуб, тяжелое дерево. Зато — прочность, ну что ж, пригодятся про запас».

Одиночество

Собирались мы обычно к позднему часу, когда ротационные машины, вобрав в себя все и вся, разрешали нам покинуть наши журнальные и газетные кухни. Часовая стрелка готовилась замкнуть циферблатный круг. Мы отдыхали в ресторанном зале клуба, что на изломе Бойсуотеррод.

Два-три часа беседы около круглого столика за стаканом сода-виски или рюмкой коньяку. Потом недлинная черная лента сна, вмонтированная в жизнь. А уже наутро продавцы газет и ревью будут подавать прохожим — на белом, вчетверо сложенном листе — наши статьи, новеллы, очерки, воспоминания и предсказания.

И всегда получалось как-то так, что, когда все уже прощались, кто-нибудь — на несколько минут, а то и на полчаса — затевал разговор о Джоне Джонсоне.

Самое имя его, поскольку обмен репликами был тороплив — во время уплаты по счету, на ступеньках лестницы, а то и у вешалки, — постепенно стачивалось, как вертящийся диск точильщика: сперва «Джон Джонсон», потом «Джонсон», а там и «Джон», «Джо», — пока кто-то из нас, кажется Гарри Кенделл, не предложил под общий смех называть его, этого возмутительного прилипалу, просто «Дж».

Так было и в этот вечер. Эндрью Хорт, скользнув глазами по цифрам счета, недовольно пробормотал:

— Черт возьми, возврати мне этот Дж свой долг, я бы не увяз в нищенских шиллингах и угостил бы и себя и вас шампанским.

— Да-а, — протянул, сбрасывая с себя дремоту усталости, Гарри.

— Не напоминайте мне о нем перед сном, — вмешался Лицци Блек, приподымаясь из-за стола, — еще приснится чего недоброго.

— Я убежден, — добавил, все больше оживляясь, Гарри, — что и во сне он попросит у тебя пять фунтов — до ближайшего уик-энда. И ты ему дашь.

— Нет, я постараюсь успеть проснуться.

— Друзья, — начал, кривя губы в улыбку, Эндрью Хорт, — какую новую наживку придумала эта скотина Дж, этот ловец чужих монет! Совершенно новый вариант.

— Пора расходиться. Поздно.

— Нет. Подождите. Выпьем еще по глотку бренди. Это было вчера. Он подошел ко мне в фойе, в антракте, отделяющем триумф вердиевского Радамеса от его предательства. Я был в обществе моего старого, еще по Оксфорду, приятеля и его невесты, с которой он меня познакомил перед увертюрой. Увидев в толпе Дж, я попробовал было спрятаться за колонны, но он устремился по прямой на меня и, трясая мне руку двумя руками, захлебывающимся голосом сказал... Нет, вы послушайте, что он мне сказал!

— К делу. К черту риторические вопросы!

— Согласен. К черту. Кстати, к черту и этот бренди в бокалах. Чокнемся. Дальше. Ну вот, он мне говорит: «Благодарю вас, от всего сердца заранее благодарю вас, дорогой мой, за то, что вы одолжите мне два фунта, которые я возвращу вам раньше, чем электрические фона-

ри на Пикадилли успеют потухнуть». Вы понимаете, друзья, что я, стоя рядом с дамой, не мог выругаться по-нашему, по-оксфордски, напомнить ему о бычьих глазах и прочих неприятных мелочах.

— Ну, и вы...

— Ну, и я, как, ну, и каждый из нас, дал ему то, чего он требовал.

Я не мог не присоединиться к разговору.

— Знаете, — сказал я, — в нем скрыта какая-то прячущаяся, как шило в мешке, но то и дело выходящая наружу колючая психологическая проблема. У меня с этим Дж была такая встреча. Он — это было как раз в дни, когда я получил небольшое наследство, — напал на меня как раз в тот момент, когда я вынул из кармана бумажник с торчащими из него хвостами банкнотов. Он, этот Дж, — не помню, какой уж из своих трюков он применил, — попросил у меня два фунта, клятвенно уверяя, что солнце не успеет опуститься за горизонт, как мои фунты вернутся в мой бумажник. У меня, как нарочно, не было двадцатишиллинговых бумажек. Я вынул кошелек и дал ему золотую гинею. Вы знаете, дорогие мои, историю нашей старой английской гиней? Золотая ценность ее — двадцать один шиллинг. Подчеркиваю: один. В старину адвокатам, ходатаям по судам, платили золотую гинею. Ходатай брал себе двадцать, а один шиллинг соскабливался в пользу клерка. Если б вы видели, дорогие мои, как долго рылся этот изумительный Дж в своих карманах в поисках шиллинга, который он должен был дать мне сдачи! Мимо проходили люди, шмыгали лакеи. Все оглядывали странную группу: я с протянутой вот этой правой ладонью и Дж, шныряющий всеми десятью пальцами своих рук по всем своим карманам. В конце концов я повернулся к нему спиной и ушел и...

— И Дж получил и за ходатая, и за клерка.

— Да.

— Не могу без содрогания вспомнить эти собачьи глаза, вытягивающие шиллинги, эту руку, прячущую деньги в левый карман пиджака.

— Знаете, — спокойно, глядя в сторону, проронил Эндрию, — меня больше всего волнует то, я бы сказал, трогательное благодарное выражение, которым отвечает Дж на отборную ругань, которую сыплешь на его башку. Это совершенно обезоруживает. После этого приходится или отщелкнуть курок револьвера, или отщелкнуть замок кошелька. Среднего тут быть не может.

— Друзья, пора.

У подъезда мы пожали друг другу руки и разошлись.

Я мог бы описать немало таких прощаний. Немало разговоров о «собаке Дж». Но это ни к чему.

Случилось так, что моя газета послала меня в южную Францию, Испанию и Италию. Я должен был давать — через каждые три дня — краткий отчет об экономике и быте этих стран. За три дня до отъезда я пересчитал свои довольно скудные средства и подумал: «Если бы этот Дж, виртуоз вымогательства, вернул мне все сполна, я бы еще мог не слишком туго затягивать ремни моего кошелька, но...»

И как раз, точно вторгаясь в мысль, зазвонил телефон. Какой-то монотонный голос сообщил, что мистер Джон Джонсон скончался в истекшую ночь, — следовал час и минуты, — и что в числе наследоприемников означенного Джона Джонсона имеется мое имя. В завещании, продолжал монотонный голос, высказывается воля покойного возратить мне все долги, в сумме девятнадцати фунтов, шести шиллингов и пяти пенсов, в разное время взятых покойным у своего наследоприемника, с присоединением десяти процентов годовых с момента займа по момент смерти, а также ста фунтов премии

«за долготерпение», как гласит пункт II завещательного документа.

Сперва я это принял за слуховую галлюцинацию. Но несколько телефонных звонков от Эндрью, Гарри и других бойсуотерцев, которые мне с недоуменной радостью говорили об аналогичных сообщениях, удержали меня от визита к врачу по нервным болезням.

К вечеру, вернувшись снова к себе, я нашел на столе конверт в траурной каемке. Вскрыв его, я прочел извещение о похоронах Джона Джонсона, с точным указанием, откуда, из какой церкви, куда и когда состоится траурное шествие. Под сообщением на крохотной нумерованной записке за подписью нотариуса покойного разъяснялось, что отказанная мне завещанием сумма, согласно приписке к завещанию, будет мне вручена при условии моего присутствия на похоронах, каковое предлагается зарегистрировать в конторе кладбища.

Предвыездные хлопоты всячески препятствовали выполнить формальность, которую требовала от меня записка. Тем не менее, чуть поругивая в душе покойника, я проделал путь от центра, где жил Дж, до Чельсийского кладбища.

Похороны прошли очень просто и вместе с тем трогательно. Это было единственное в своем роде зрелище: кредиторы шли с обнаженными головами за гробом своего должника. Нас собралось довольно много. Настроение провожающих передавалось и некоторым прохожим. То тот, то другой останавливались и глядели нам вслед, не торопясь надевать шляпы. Иные присоединялись к процессии.

Была ранняя весна. Дорожки кладбища еще не всюду просохли. То здесь, то там виднелись белые пятна снега: точно земля, прижав к своему черному влажному лицу тысячи носовых платков, оплакивала спящих под ее крестами.

Гарри Кенделл сказал краткую, но прочувствованную речь. Мы слушали, склонив головы, на глазах у некоторых я увидел даже слезы.

Затем мы положили несколько скромных венков на могилу бедного Дж. В сущности, он сам честно оплатил свои похороны.

Хотя с Темзы, протекающей у самого кладбища, тянуло сыростью и быстро надвигался вечер, но мы, бойсуотерцы, медлили уходить.

— Ну, что же, — сказал тихо Эндрию, — и мы отдали свой долг нашему Дж. Идем.

Я отправился в поездку. По намеченному уже мной маршруту. В этом существенно помогли мне деньги, возвращенные добрым Дж.

Недели через три после отъезда, в Риме, меня нагнал небольшой, но плотный пакет. Я вскрыл его и начал читать:

«Письмо это я распорядился отослать через две недели после моей смерти, которая, вероятно, не заставит меня слишком долго ждать. Примите мои искренние извинения, что я возвратил вам свой постепенно накапливавшийся долг, так сказать, мертвой рукой. Но это было необходимо: для меня. Не для вас.

Я выбрал вас, а не кого-либо другого из моих кредиторов, потому что вы были единственным, который в ответ на мою просьбу о двадцати шиллингах протянул мне гинееу, содержащую, как известно, двадцать один шиллинг. И сейчас еще не могу вспомнить этот редчайший случай, не испытав чувства глубокой благодарности.

Вы и ваши товарищи не знали и не хотели знать, чем внутренне жил, о чем думал и что испытывал Джон Джонсон, человек с протянутой ладонью. По-своему вы были правы: во мне нечего знать, я рядовой, средний

человек. Нас, Джонов Джонсонов, в одной только телефонной книге Лондона сто четырнадцать человек, различающихся лишь номерами домов и названиями улиц. Вы, я не льщу вам, вы талантливый мастер очерка, Кенделл — блестящий новеллист, Хорт — цепкий критический ум. А я... кто такое я? Самое это слово «я» я старался всегда произносить негромко.

Я родился (выслушайте эту скучную историю — она не слишком длинна) в южной Англии. Не помню ни матери, ни своего отца. Мать умерла, когда мне еще не было и года, отец женился на другой и уехал, бросив меня на попечение чужой женщины, которую больше интересовали те двенадцать фунтов, которые ей выплачивались за меня ежемесячно, чем ребенок, о котором нужно было заботиться.

Годам к пяти меня научили считать до ста и читать молитву Отцу Небесному. В дальнейшем мне не привелось ни разу встретиться ни с небесным, ни с земным. О последнем, впрочем, двадцать шесть лет спустя я узнал — почти случайно, — что он умер, в Австралии, в Мельбурне, и что значительный капитал, в банковских вложениях, за неявкой наследников через несколько месяцев станет выморочным. Я принял нужные меры (никто не знал о перемене моих материальных обстоятельств) — и деньги были перечислены на Лондон. На мое имя. Но имя-то мое, имя сто четырнадцатого Джона Джонсона, абсолютно никому не было нужно, как и я, его носитель. Впрочем, не буду забегать вперед.

В школе я учился средне, не выделяясь ни ленью, ни рвением, ни успехами или неудачами.

Товарищи не приглашали меня участвовать в их играх. Разве что кто-нибудь выбудет из партии. Тогда говорили: «Пусть Джонсон сыграет за него». Я был для них лишь за него и никогда не был и м. Не стоит задерживаться и на этом.

Не умея заставить людей подойти ко мне ближе и не зная, как это сделать самому, я ушел от людей к книгам. Те были снисходительнее: они говорили со мной без умолку, но, разумеется, не слушали ответов; они подымали во мне целый рой чувств, выбалтывали самые сокровенные дела и мысли выдуманных людей, учили сладостно плакать над их страницами, но, кончив свое, возвращались на книжную полку, повернувшись ко мне корешком.

Ведь как-никак я проходил тогда через юность, один раз данную человеку юность, когда голова, как котел с перегретым паром, готова, кажется, разорваться от напора чувств. Но когда я робко пытался выразить их своим сверстникам, реже — сверстницам, те внезапно делались глухими, глядели в сторону, мимо моего лица, кивали невпопад головой, в лучшем случае бросали: «Да» — «Ага» — «Так» — «Та-а-ак» — «Гм» — «Алло, Джон» — «Прощайте».

Это было крутое для меня время. За простую улыбку сочувствия, за рукопожатие, задержанное на одну секунду, я готов был отдать душу с жизнью вместе! Но... но я читал как-то в «Таймсе», что лорд Дерби-младший заключил пари, и на значительную сумму: условия пари заключались в том, что он, Дерби, переодевшись в поношенный костюм, станет на перекрестке двух самых людных улиц столицы с пачкой настоящих полноценных пятидесятифунтовых ассигнаций, которые он будет — в течение часа — предлагать прохожим по пенсу за штуку. Дерби был уверен в том, что ни единый прохожий не отдаст своего истертого пенса за доподлинный, ценой в пятьдесят фунтов стерлингов банкнот.

И, представьте, он выиграл пари.

Пример этот торопит меня к тому моменту, когда я сам стал обладателем довольно крупной суммы на текущем счету банка.

Можно ли купить чувство? Благодарность? Любовь? Или хотя бы симпатию?

Я попробовал.

Сперва я пожертвовал по тысяче фунтов на приют для подкидышей и на койку моего имени в хирургической клинике. Что чувствовал ко мне, своему благодетелю, подкинутый младенец, когда ему меняли пеленки или кормили с соски, не знаю, но пациент, которого я решил навестить, как раз — случайность! — к моменту моего визита скончался и лежал, весь белый, уставясь белками глаз в дощечку с моим именем, прибитую над его койкой. Я понял, что за чувствами надо обращаться к этому человеку, а не к человеку вообще, не к какому-то кто бы то он ни был.

Мне нравилась одна женщина. По счастью или несчастью, не знаю, право, она была доступна если не для всех, то для многих. Мы, еще незнакомые, встречались в кафе перед полуночью. Она обычно уходила в сопровождении какого-нибудь мужчины в фетре или цилиндре. Однажды случилось так, что никто не подсел к ее столику. Женщина изредка, отстегивая кнопку перчатки, взглядывала на свои крохотные браслетные часики.

Разговор наш был краток. Вскоре мы вышли из кафе.

Несколько вечеров мы провели вместе. Я и Энни. Что-то было в ее голосе, грудном и низком, в ее глазах с расширенными, похожими на маленькие черные луны зрачками, что притягивало меня, уставшего уже от тщетных поисков хотя бы тени ответного человеческого чувства.

На мои поцелуи я получал ответные, всегда точно в том же количестве, в котором было принято от их покупателя. Губы ее были честны, как честно работающая касса, в ответ на каждый шиллинг выбрасывающая чек.

Однажды Энни (это было дней через семь или восемь после нашего знакомства) попросила меня повести ее в то кафе, где произошла наша первая встреча. Во мне зародилось радостное подозрение: а что, если ей хотя бы немного дорого это место именно потому, что там она впервые увидела меня? И хотя Энни холодно держала свою руку в моей, когда мы подходили к освещенному подъезду кафе, сердце мое прибавило шаг.

Мы пришли и сели за один из свободных столиков. Это был не тот столик, который нас познакомил. Я передал моей спутнице карточку. Пока она скользила глазами по строчкам меню, я от нечего делать разглядывал широкую спину человека, сидящего в другом конце зала. Он курил сигару, искусно бросая изо рта в воздух кольца и колечки дыма, стараясь вогнать одно в другое. Все его внимание было сконцентрировано на этом воздушном варианте игры в серсо.

К нам подошел официант, которому Энни на его поклон радостно закивала в ответ. Когда официант отошел выполнить заказ, улыбка исчезла с ее лица. С минутой мы сидели молча. В это время человек с сигарой успел ее докурить, расплатиться и встать. Сейчас он проходил, направляясь к выходу, мимо нашего столика. Вдруг глаза Энни загорелись, она привскочила, села опять, стараясь, очевидно, сдержать внезапный порыв. Проходивший не мог не обернуться в нашу сторону: он небрежно кивнул Энни и обвел меня сперва взглядом вопроса, потом — понимания. Через секунду он уже продолжал свой путь к двери. Лицо Энни покрылось легким румянцем, дрожащие пальцы придвинули к глазам лист меню.

Впоследствии я не раз спрашивал себя: почему я тогда не проучил наглеца? Может быть, хотя бы это пробудило — пусть ненадолго, пусть не эмоцию, а нечто эмоциообразное, минуту краденого чувства симпатии,

соскользнувшей, пусть по ошибке сердца (бывают ведь и такие), с ситуации на человека.

В этот же вечер мы объяснились. У нее в номере, нанятом мною. Я сказал, сильно волнуясь, что понимаю ее чувство отталкивания, возможно, отвращения ко мне. Так дальше длиться не может. Или пусть она меня полюбит, или... Тут я запутался в словах, поняв всю нелепость моего требования.

Вместо ответа она шевельнула плечом и поднялась с места. Затем спокойно собрала все эти маленькие трогательные вещички, которые, стоит только женской сумочке раскрыться, высыпаются из нее наружу и начинают странствие — сперва по коленям своей хозяйки, затем по столикам, столам и полкам. Сумочка защелкнулась, женщина подошла к вешалке и сняла с крючка свое пальто. Потом неторопливо поправляла шляпку у овала зеркала. Спокойные мелкие движения ее пальцев были для меня как затянутые в резину пальцы хирурга, копошащиеся в ране.

Она надевала уже на левую руку лайковую перчатку, но я грубо схватил ее за запястье щелкающей кнопками руки. По лицу женщины, от губ к бровям, пробежала гримаса боли. Теперь я требовал сказать мне, что она чувствует сейчас, глядя на меня.

— Было немного больно руке. Уже проходит. Я могу идти?

Но так как я настаивал, она остановилась, подняв на меня свои прекрасные глаза, и смотрела ими так, как смотрит ученик, вынужденный на экзамене не выученный им билет:

— Что я чувствую? По отношению к вам, не знаю, право. Мне кажется, что... ничего, да-да, ну конечно же ничего. Не сердитесь, пожалуйста. Теперь можно уйти?

Я кивнул головой. Оставшись один, я потушил свет и, сидя в кресле, старался вспомнить те несколько дней,

которые мы провели вместе с Энни. Да, она прошла сквозь мою жизнь, как проходят через открытую калитку, даже ее не толкнув. Вспоминался мне глубокий взгляд ее глаз. В первый день он волновал меня надеждой, но на третий день я заметил, что таким же прекрасным глубоким взглядом она смотрит на пустое кресло, стоящее перед ней, на абажур лампы. Чувственная вибрация ее голоса, которую я принимал за обещание чувства, была просто физическим свойством, данным ее голосу. И только. И даже боль, нечаянно причиненная мною ей, была лишь физической болью. Иной боли я, очевидно, не мог внести в ее сознание.

«Вот сейчас, — думал я, перегнувшись через подоконник раскрытого в ночь окна, — Энни идет одна, может быть, назад, к тому же кафе, где мы еще так недавно были вместе. Огни его даже видны, если стать коленями на подоконник и немного нагнуться влево. Да, я их уже отыскал. Энни, наверное, учащает шаги. Час довольно поздний. Еще немного — и она увидит своих друзей, кого-нибудь из прежних возлюбленных, лакея, которому она приветливо кивала своей головкой, а я...»

Но мне, очевидно, суждено умереть в постели, а не на улице, с головой, разбитой об асфальт.

Продолжаю.

Попробую как-нибудь повеселей. Меня мучает мысль, что и это письмо, как большинство моих писем, будет не дочитано.

Не помню, откуда я узнал об этом забавном случае, — не то мне его рассказала чья-то новелла, не то газетная хроника. В залах фешенебельного клуба, в Нью-Йорке, появляется неизвестно как туда проникший развязный субъект. Он одет с иголочки, но ведет себя по-хулигански. Наступает людям на ноги, толкает их, выхватывает кресла из-под чуть привставших с этих кресел джентльменов. Члены клуба недоуменно переглядыва-

ваются: откуда этот незнакомец? Но незнакомец садится играть в покер и заявляет старейшине клуба, что тот выкинул карту из рукава. Старейшина, рассвирепев, дает наглецу здоровеннейший удар кулаком в зубы. Тогда незнакомец, выхватив из кармана пачку преискурантов некоей фирмы и разбросав их по столу, провозглашает, сияя улыбкой, обнажающей его великолепные бело-снежные зубы: «Джентльмены, работа зуботехнической лаборатории „Дженкинс энд компани“. Все целы. Все на месте. Прошу убедиться».

Думаю, что мне трудно было бы зарабатывать на хлеб, работая в виде живой рекламы фирмы «Дженкинс». Я давно уже пришел к этому выводу, что дверь в положительные эмоции людей для меня закрыта навсегда. Но и отрицательные чувства их, как об этом свидетельствует случай, рассказанный выше, были тоже для меня на замке.

Я искал, как бы подобрать к нему ключ.

Пустячный факт. Как-то на улице я увидел двух чрезвычайно взволнованных людей. Один был с котелком на затылке, другой держал в руке потертую серую шляпу. Человек в котелке дал человеку с протянутой шляпой два пенса подаяния и требовал пенс сдачи. Нищий говорил, что у него ни пенса, что он только что стал на свой пост, на что ему человек, сделавший доброе дело, возражал, что у кого же искать медных монет, как не у нищего. Повторяю, оба были до крайности взволнованы, оба переживали ситуацию.

С этого дня я и задумал свою систему выпрашивания негодований. Горячих человеческих негодований. Я не сразу овладел техникой. Но постепенно мои конверты с вашими именами, милые мои бойсуотерцы, стали заполняться банкнотами. О, как часто я в вечера, когда нездоровье заставляло меня оставаться дома, пересматривал эти конверты, мысленно видя ваше негодова-

ние, ваши сжимающиеся при одном имени Джона Джонсона брови. Я был в круге человеческих эмоций, меня видели, обо мне говорили! Накал человеческой ненависти, кипящая желчь согревали меня, я уже не был так бесконечно одинок.

Моим конвертам я делал тщательный контроль, на оборотной стороне каждого я, профессионально неоплатный должник ваш, мои милые-милые, вел точный счет процентов, и каждый год к концу декабря аккуратно вносил их, распределяя по моим конвертам.

Я мог бы писать и еще, но устал, да и болезнь мучает меня. Знаю, и мне скоро в деревянный конверт, которому никогда не быть распечатанным. Вы скажете, что это бездарный образ. Но чего же ждать от Джона Джонсона, кроме бездарности? Кстати, чуть не забыл: вы, вероятно, заметили при получении суммы, мною вам возвращенной, что она на шиллинг меньше причитающейся вам. Тот, помните, лишний шиллинг, который вы одолжили когда-то мне, я оставляю, с вашего позволения, невозвращенным».

Письмо на этом кончалось.

Я еще раз перечел его. Бедный, бедный Дж! Сидя в сумерках в своем номере, я слушал шум Виа Сикстина, говор толпы, выкрики разносчиков газет.

Да, миллионы одиночеств. Кто их сочтет?

Здесь, вот на этих почтовых листках, — лишь итог одному. А другие? Кто за них ответит?!

Неукушенный локоть

Вся эта история так бы и осталась запрятанной под крахмальной манжетой и рукавом пиджака, если б не «Еженедельное обозрение». «Еженедельное обозрение» предприняло анкету: «Ваш любимый писатель, ваш средний недельный заработок, в чем цель вашей жизни», разосланную при очередном номере подписчикам. Среди множества заполненных анкет (у «Обозрения» был огромный тираж) при сортировке материала был обнаружен бланк за № 11111, который, пространствовав по пальцам разборщиков, так и не нашел себе подходящей папки: на бланке № 11111 против графы «Средний заработок» было проставлено: — «0», а против «В чем цель вашей жизни» — четкими круглыми буквами: «Укусить себя за локоть».

Бланк за разъяснениями был отправлен к секретарю; от секретаря — под круглые, в черной оправе очки редактора. Редактор ткнул в звонковую кнопку, курьер прибежал, затем забегал, — и через минуту бланк, сложенный вчетверо, полез в карман к репортеру, получившему дополнительно и словесную инструкцию:

— Говорите с ним тоном легкой шутки и постарайтесь раскусить смысл: что это — символ или романтическая ирония? Ну, там, вообще, вы понимаете...

Репортер изъяснил понимание и тотчас отправился по адресу, проставленному вдоль нижнего края бланка.

Трамвай довез его до последней окраинной остановки; затем зигзаги узкой лестницы долго вели его под самую крышу; наконец он постучал в дверь и стал дожидаться ответа. Ответа не последовало. Еще стук, еще ожидание — репортер нажал ладонью дверь — она подалась, и глазам его предстало следующее: нищая комната, заклопленные стены, стол и деревянная лежанка; на столе — отстегнутая манжета; на лежанке — человек с заголенной рукой и ртом, подобравшимся к сгибу локтя.

Человек, погруженный в свое, не слышал, очевидно, ни стуков в дверь, ни шагов, и только громкий голос вошедшего заставил его поднять голову. Тут репортер увидел на руке № 11111, в двух-трех дюймах от выставившегося навстречу ему острого локтя, несколько царапин и след от укуса. Интервьюер не переносил вида крови и, отвернувшись, спросил:

— Вы, кажется, всерьез, то есть, я хочу сказать, без символики?

— Без.

— Романтическая ирония тут тоже как будто ни при чем...

— Анахронизм, — пробурчал локтекус и снова припал ртом к царапинам и шрамам.

— Оставьте, ах, оставьте, — закричал интервьюер, зажимая глаза, — когда я уйду, пожалуйста, — а пока не предоставите ли вы свой рот для краткой информации? Скажите, и давно вы так?.. — и по блокноту зашуршал карандаш.

Кончив, репортер вышагнул за дверь, но тотчас же вернулся:

— Послушайте, укусить себя за локоть — хорошо, но ведь это же недостижимо. Это никому не удавалось,

все и всегда терпели фиаско. Подумали ли вы об этом, странный вы человек?

В ответ два мутных глаза из-под сжатых бровей и короткое:

— El posible esta para los tontos*.

Захлопнувшийся блокнот приоткрылся:

— Простите, я не лингвист. Было бы желательно...

Но № 11111, очевидно затосковав по своему локтю, прильнул ртом к искусанной руке, и интервьюер, отдергиваясь глазами и всем телом, скатился по зигзагам лестницы, кликнул авто и помчался назад в редакцию: в ближайшем же номере «Еженедельного обозрения» появилась статейка, озаглавленная: «El posible esta para los tontos».

В статейке в тонах легкой шутки рассказывалось о наивном чудеке, наивность которого граничит с... Тут «Обозрение», применив фигуру умолчания, заканчивало назидательным изречением забытого португальского философа, которое должно вразумить и обуздать всех социально опасных беспочвенных мечтателей и фанатиков, ищущих в наш реалистический и трезвый век невозможного и неосуществимого: следовало таинственное изречение, поставленное и в заглавии, с добавлением краткого: «sapienti sat»**.

Кое-кто из читателей «Еженедельного обозрения» заинтересовался казусом, два-три журнала перепечатали курьез — и вскоре все бы это затерялось в памяти и газетных архивах, если бы не полемизирующее с «Еженедельным обозрением» толстое «Ежемесячное обозрение». В ближайшем номере этого органа появилась заметка: «Сами себя высекли». Чье-то больно царапающее перо, отцитировав «Еженедельное обозрение», разъясня-

* *Искаж. исп.* Es posible ésto para todos. — Это возможно для всех.

** Умному достаточно (*лат.*).

ло, что португальское изречение на самом деле испанская поговорка и что смысл ее таков: «Достижимое для дураков». Ежемесячник добавил к этому лишь: «et insipienti sat»*, а к краткому «sat» зятянутое в скобочки «sic».

После этого «Еженедельному обозрению» больше ничего не оставалось, как в следующем же номере в пространной статье объяснить, перекрывая одним «sat.» другое «sat.», что не всем доступно понимание иронии: достоин сожаления, конечно, не наивный (ведь и все гениальное наивно) порыв в недостижимое, не фанатик своего локтя, а продавец своего пера, существо в наглазниках из «Ежемесячного обозрения», которое, имея дело только с буквами, и понимает все буквально.

Разумеется, «Ежемесячное» не захотело остаться в долгу у «Еженедельного». Но и «Еженедельное» не могло уступить противнику последнего слова. В возгоревшейся полемике фанатик локтя превращался то в кретина, то в гения и попеременно выставлялся кандидатом — то на вакантную койку в доме умалишенных, то на сороковое кресло академии.

В результате несколько сот тысяч читателей обоих обозрений узнали о № 11111 и его отношении к своему локтю, но особенного интереса в широких кругах полемика не пробудила, тем более что в это время подоспели другие события, отвлекшие внимание на себя: произошло два землетрясения и один шахматный матч: каждый день два дураковатых парня присаживались к 64 клеткам — у одного было лицо мясника, у другого — приказчика из модного магазина, — и каким-то образом получалось, что парни и клеточки — в центре всех интеллектуальных интересов, запросов и чаяний. А в это

* И неразумному достаточно (*лат.*).

время № 11111 в своей квадратной, похожей, пожалуй, на шахматную клеточку, комнатушке, с локтем, притянутым к зубам, одеревенелый и неподвижный, как мертвая шахматная фигура, ждал, когда им пойдут.

Первым человеком, сделавшим локтекусу реальное предложение, был директор окраинного цирка, искавший освежения и пополнения программы. Это был предприимчивый человек, и старая книжка «Обозрения», случайно попавшая ему на глаза, решила ближайшую судьбу локтекуса. Бедняк не сразу согласился на ангажемент, но когда циркач стал ему доказывать, что это единственный способ сделать и локоть питательным, что, получив средства к жизни, он сможет разрабатывать метод и уточнить приемы профессии, унылый чудак пробурчал что-то вроде «угу».

Цирковой номер, декларированный в афишах: «Локоть против человека. Укусит или не укусит? Три схватки по 2 минуты. Арбитр Бэлкс», был финальным — после женщины с удавом, римских гладиаторов и прыжка из-под купола. Подавался номер так: оркестр играл марш, и на арену выходил человек с заголенным локтем; у него были поддурмяненные щеки, а рубцы вокруг локтевой кости тщательно запудрены и забелилены. Оркестр замолкал — и начиналась схватка: зубы, цепляясь за кожу, подбирались к локтю, сантиметр за сантиметром, ближе и ближе.

— Врешь, не укусишь!

— Смотрите, смотрите, кажется, укусил.

— Нет, и близок локоть, а...

Но шея чемпиона, натягивая жилы, длиннелась, глаза, вперенные в локоть, наливались кровью, кровь капала из прокусов на песок, и толпа, постепенно стерженая, вскакивая с мест, с биноклями, нацеленными на локтекуса, топала об пол, лезла через барьеры, улюлюкала, свистала и кричала:

— Бери его зубами!

— А ну еще, хватай локоть!

— Локоть, держись, локоть, не поддавайся!!!

— Неправильно! Лавочка!

Схватки кончались, и арбитр объявлял локоть победителем. И ни арбитр, ни антрепренер, ни расходящаяся публика не угадывали, что цирковая арена вскоре сменится для человека с заголенным локтем ареной мировой славы и что вместо песчаного круга — 20 метров в диаметре — под ноги ему ляжет плоскость земной эллиптики, размахнувшейся тысячеверстиями своих радиусов.

Началось это так: модный лектор Юстус Кинт, пробравшийся в славу сквозь уши пожилых, но богатых дам, после одного из юбилейных обедов был завезен — случайно, под веселую руку — приятелями в цирк. Кинт был философом-профессионалом — и с первого же взгляда уловил метафизический смысл локтекуса. На следующее же утро он принялся за статью «Принципы неукусемости».

Кинт, принесший еще несколько лет назад до этого на смену выцветшему лозунгу «Назад к Канту» подхваченный многими и многими новый лозунг «Вперед к Кинту», писал с изящной непринужденностью и стилистическими росчерками (недаром в одной из своих лекций он, под гром аплодисментов, заявил, что «философы, говорящие людям о мире, видят мир, но не видят, что их слушателю, находящемуся в этом самом мире, в пяти шагах от философа, попросту скучно»); ярко описав борьбу «человека против локтя», Кинт обобщил факт и, гипостазируя его, называл цирковой номер метафизикой в действии.

Мысли философа шли так: всякое понятие (на языке великих немецких метафизиков «Begriff») и лексически и логически от «greifen», что значит — «схватывать,

зацеплять, кусать»; но всякое Begriff, всякий логизм, додуманый до конца, превращается в Grenzbegriff, то есть так называемое «предельное понятие», выскальзывающее из постижения, несхватываемое познанием, как локоть несхватываем зубами. «Далее, — размышляла статья о принципах неукусуемости, — объективируя неукусуемое вовне, мы приходим к идее трансцендентного: это понимал и Кант, но он не понимал, что трансцендент вместе с тем и имманент („manus“ — „рука“, следовательно, и „локоть“); имманент-трансцендент всегда в „здесь“, предельно близок к постигающему, почти включен в апперцепирующий аппарат, как свой локоть почти доступен схватывающему усилию челюстей, но — „близок локоть, да не укусишь“, и „вещь в себе“ — в каждом себе, но непостижима. Тут непереходимое почти, — заканчивал Кинт, — „почти“, которое как бы персонифицировалось в человеке из балагана, исхищряющемся укусить себя за локоть. Увы, каждая новая схватка фатально заканчивается победой локтя: человек побежден — трансцендент торжествует. Снова и снова — под рев и свист невежественной толпы — повторяется грубо, но ярко моделированная балаганом извечная гноссологическая драма. Идите все, торопитесь в трагический балаган, созерцайте примечательнейший феномен: за горсть медяков вам дастся то, за что избранные человечества платили жизнью».

Черные крохотные буквы Кинта оказались сильнее огромных красных литер цирковых афиш. Толпы хлынули покупать по дешевке метафизический раритет. Номер с локтекусом пришлось перенести из окраинного балагана в центральный театр города; а там № 11111 стал демонстрироваться и в университетских залах. Кинтисты тотчас же закомментировали и расчитали мысль учителя; сам Кинт превратил свою статью в кни-

гу, озаглавленную: «Локтизм. Предпосылки и выводы». В первый же год книга выдержала 43 издания.

Число локтистов разрасталось с каждым днем. Правда, находились скептики и противолоктисты; какой-то престарелый профессор пробовал доказать асоциальность локтистского движения, возрождающего, по его мнению, старое штирнерианство и логически приводящее к солипсизму, то есть в философский тупик.

Были и более серьезные противники движения; так, некий публицист по имени Тник, выступив на конференции, посвященной проблемам локтизма, спросил: а что, собственно, произойдет, если пресловутому локтекусу в конце концов и удастся укусить себя за локоть?

Но оратора, не дав договорить, освистали и стащили с кафедры. Несчастный больше не делал попыток к выступлениям.

Появились, конечно, подражатели и завистники; так, некий честолюбец заявил в печати, что ему удалось такого-то числа и в таком-то часу укусить себя за локоть. Немедленно была образована проверочная комиссия; честолюбец был изобличен и вскоре, преследуемый презрением и негодованием, покончил с собой.

Случай этот еще больше прославил № 11111: студенты и особенно студентки университетов, где демонстрировался локтекус, ходили за ним толпами. Одна прелестная девушка, с печальными и робкими глазами газели, добившись свидания с феноменом, жертвенно протянула свои полуобнаженные руки:

— Если вам это необходимо — укусите мой: ведь это же легче.

Но глаза ее наткнулись на два мутных, прячущихся под брови пятна. В ответ она услышала:

— На чужой локоток не разевай роток.

И угрюмый фанатик своего локтя, отвернувшись, дал понять, что аудиенция кончена.

Мода на № 11111 росла уже не по дням, а чуть ли не по минутам. Какой-то остроумец, истолковывая цифру 11111, сказал, что человек, означенный ею, «пять раз единствен». В магазинах мужского платья стали продавать особого кроя куртки — «локтевки», как их называли, с отстегивающимся (на пуговицах) клапаном, позволявшим в любой момент, не снимая платья, заняться улавливанием собственного локтя. Многие бросили курить и пить, превратившись в локтеманов. У дам вошли в моду глухие, с длинными рукавами платья с круглыми вырезами для локтей; вокруг локтевой кости делались изящные красные наклески и гримировальные штрихи, имитирующие свежие укусы и царапины. Масгитый гебраист, сорок лет кряду писавший об истинных размерах древнего Соломонова храма, отрекшись от прежних своих выводов, признал, что стих Библии, говорящий о глубине в 60 локтей, должно понимать как символ 60-кратной непостигаемости сокрытого за завесой. Депутат парламента, ища популярности, выступил с законопроектом об отмене метрической системы и восстановлении древней меры: локтя. И хотя законопроект был провален, но рассмотрение его прошло под барабанный бой прессы, сопровождалось бурными парламентскими инцидентами и двумя дуэлями.

Локтизм, захватывая широкие массы, естественно, вульгаризировался и терял тот строгий философский контур, какой старался придать ему Юстус Кинт. Копеечные газетки, перетолковывая учение о локте, популяризовали его так: прокладывая себе дорогу собственными локтями; надейся только на свои локти — больше ни на что.

И вскоре новое течение, прихотливо выгибая русло, стало столь стремительным и так раздвинуло свои масштабы, что государству, числящему в массе своих подданных и № 11111, естественно было использовать

его для целей своей бюджетной политики. Случай вскоре представился. Дело в том, что некоторые спортивные органы чуть ли не с самого возникновения интереса к локтю стали печатать периодические бюллетени о колебании сантиметров и миллиметров, отделяющих зубы локтекуса от его локтя. Правительственный официоз начал с того, что стал печатать эти же бюллетени на предпоследней странице, меж отчетами о рысистых и футбольных состязаниях и биржевой хроникой. Через некоторое время в том же официозе была помещена статья известного академика, приверженца неоламаркианства, который, исходя из положения, что органы живого организма эволюционируют путем упражнения, приходил к выводу о теоретической укусуемости локтя. При постепенном растягивании поперечно-полосатого мускульного вещества шеи, писал авторитет, систематическом упражнении в выгибании предплечья и т. д. ... — но на академика обрушился логически непререкаемый Юстус Кинт, парировавший удар по неукусуемости; возник спор, во многом повторявший спор Спенсера с мертвым Кантом. Момент был подходящим: банковый трест (все знали — в числе его пайщиков члены правительства и крупнейшие капиталисты страны) возвестил летучими листками о грандиозной, возобновляемой каждое воскресенье лотерее-аллегри УЛ («Укуси локоть»). Трест обещал каждому держателю билета выплатить по 11111 денежных единиц за одну (за ОДНУ!!!) немедленно после того, как локоть локтекусом будет укушен.

Под звуки джазов, при свете переливающихся всеми цветами спектра лампионов лотерея была открыта. Завертелись «колеса счастья». Белые зубы дам-продащиц, открытые улыбками, приветствующими покупателей, и тронутые красным бликом обнаженные локти, ныряющие внутрь стеклянных многогранников, полных билетами, работали от полудня до полуночи.

Вначале распространение билетных серий шло вяло. Идея неукусуемости слишком крепко сидела в мозгах. Престарелый ламаркианец отправился к Кинту, но Кинт явно фрондировал:

— Даже Господу Богу, — заявил он на одном из митингов, — нельзя сделать так, чтобы дважды два было не четыре, чтобы человек мог укусить себя за локоть, а мышление — переступить за предел предельного понятия.

Число так называемых укусуевцев, старавшихся поддержать начинание, было в сравнении с числом неукусуевцев незначительно и уменьшалось с каждым днем; бумаги падали, обесцениваясь почти до нуля. Голос Кинта и его приверженцев, требовавших раскрытия имен подлинных инспираторов этой финансовой затеи, отставки кабинета и перемены курса, звучал все громче и громче. Но в одну из ночей в квартире Кинта был произведен обыск. В письменном столе нашли большую пачку выигранных билетов треста. Приказ об аресте лидера неукусуевцев был тотчас же отменен, факт предан оглашению, и к вечеру того же дня биржевая цена на билеты поползла вверх.

Говорят, движение лавин начинается иногда так: ворон, сидя на вершине горы, ударит по снегу крылом, ком снега скользнет вниз, зацепит снежинами снежины и, обрастая, кружащим клубнем — вниз; вслед за ним камни и снежные обвалы — глыбы на глыбы, — и лавина, бороздя горы, движется вперед, все затопляя и плюща. Так вот: ворон ударил сперва одним крылом и, повернувши сутулую спину к последствиям, задернул пленками глаза и заснул; слишком сильно разгрохотавшаяся лавина разбудила птицу; ворон сдернул пленки с глаз, рассутулился и ударил другим крылом; на смену неукусуевцам пришли укусуевцы, и река событий потекла от устья к истоку. Локтевки можно было видеть теперь толь-

ко у старьевщиков. Но № 11111, о котором каждому напоминали множасьи билеты аллегри, являвшийя теперь живым обеспечением капиталовложений, стал доступен всеобщему обозрению и проверке. Тысячные очереди проходили мимо стеклянной клетки, в которой денно и ночью трудился над своим локтем № 11111. Это укрепляло надежды и увеличивало подписку. Официальные бюллетени, переселившиеся с третьей страницы на первую, в крупный шрифт, иногда сбавляли миллиметр-другой, и тотчас же новые десятки тысяч билетов находили себе покупателей.

Целеустановка локтекуса, заражая всех и вся верой в достижимость недостижимого, ширя кадры укусуевцев, — был момент — заколебала даже финансовое равновесие биржи. Случилось, что в один из дней число миллиметров между ртом и локтем так умалилось (это, разумеется, создало новый спрос на билеты), что на тайном правительственном совещании заволновались: а что, если произойдет непроисходимое и локоть будет укушен? Министр финансов разъяснил: удовлетворение даже десятой доли держателей билетной массы, из расчета 11111 за 1, разорвет в ключья весь фонд государства. Президент треста резюмировал: «Если бы это произошло, укушенный локоть для нас то же, что перекушенное горло: революция неизбежна. Но этого не произойдет, пока законы природы не уступили места чудесам. Спокойствие».

И действительно, со следующего же дня миллиметры стали нарастать. Казалось, локтекус пятится зубами от торжествующего локтя. Затем наступило неожиданное: рот локтекуса, как насосавшаяся пиявка, внезапно отвалился от закровавленной кожи, и человек в стеклянной клетке целую неделю, уставясь мутью глаз в землю, не возобновлял борьбы.

Металлические вертушки, пропускающие очередь у клетки, вертелись все быстрее и быстрее, тысячи обеспокоенных глаз проплывали мимо расфеноменленного феномена, глухой ропот и волнение нарастали от дня к дню. Продажа бумаг треста стала. Правительство, предвидя осложнения, удесятирило полицейские наряды, а трест увеличил льготность подписки.

Специальные надсмотрщики, приставленные к № 11111, старались натравить его на собственный локоть (так зверей, противящихся дрессировщику, подбодряют железными тычками); но тот, глухо урча, угрюмо отворачивался от, казалось, опостылевшего ему блюда. И чем неподвижнее становился человек в стеклянной клетке, тем сильнее разрасталось движение вокруг нее. И неизвестно, к чему бы это все привело, не произойди такое: однажды перед рассветом, когда стража и надсмотрщики, отчаявшись сравить локоть с человеком, выпустили из глаз № 11111, тот, вдруг оборвав бездействие, бросился на врага. Очевидно, за мутью глаз все эти дни происходило нечто мыслеобразное, приведшее к новой тактике боя. Теперь локтекус, заходя локтю в тыл, устремился к нему по прямой — сквозь мясо внутренне-го сгиба руки. Кромсая зубами прослой тела, прорываясь лицом все глубже в кровь, он уже почти дотянулся сцепом челюстей до внутреннего локтевого сгиба. Но впереди костяного стыка, образующего локоть, — как известно — схождение трех артерий: *arteriae brachialis, radialis et ulnaris*, — прокушенный артериальный узел ударил кровью, бессилия и безжизня тело; зубы, почти коснувшись цели, расцепились, рука разогнулась — и кистью о землю; вслед ей и все тело.

И когда надсмотрщики, слышав шум, бросились к стеклянным стенкам клетки: поверх расплзающейся кровавой кляксы пластался мертвый № 11111.

Поскольку и земля, и ротационные машины продолжали кружить на своих осях, то этим история о человеке, захотевшем укусить себя за локоть, разумеется, не заканчивается. История, но не сказка: обе они — и Сказка, и История — постояли было рядком. История — ей не впервой — через труп и дальше, но Сказка ведь старая суеверка и боится дурных примет: вы уж ее не вините и не обессудьте.

1927

Мишени наступают

Их было много, этих плоских солдат, намалеванных яркими красками поверх кое-как сколоченных досок. Они были расставлены цепью у края стрельбища. Во избежание дипломатических осложнений маляры одели их в мундиры своей же страны, сунули им в охряные руки плоские коричневые винтовки системы своей же страны. Возле людей-мишеней были вырыты длинные могильные рвы, в которых прятались во время учебной стрельбы еще живые и не плоские солдаты-махальные. Их задачей было: отмечать попадания, прикладывая яркий флажок на длинном шесте к деревянной раме деревянного солдата всякий раз, как пуля проскакивала через его тело.

Ран этих — с годами — накапливалось все больше и больше. Офицеры, сидя на ранцах у стрелковой цепи, отмечали их в журнале огня крестиками. Когда неплоские, кончив ученье с плоскими, уходили, вскинув винтовки на плечо, людям-мишеням затыкали их раны паклей и деревянными кольшками. Но снова наступал день стрельбы, и снова пули щелкали по телам намалеванных людей. Намалеванные стояли, вытянувшись во весь рост и держа винтовки наперевес.

Это случилось пасмурным осенним днем. С неба дождило тяжелыми свинцовыми каплями. В этот день была назначена стрельба.

Дежурному по стрельбе было приказано еще с рассветом расставить оцепление и проверить мишени. Плоских людей оцепили. Дежурный — это был старый строевой офицер — в сопровождении субалтерна и нескольких солдат начал обход молчаливой шеренги мишеней. От его взгляда не ускользало никакой мелочи. Одна из мишеней наклонилась, вопреки уставу, несколько вперед. Офицер приказал подправить. У другой из круглой ранки вывалился деревянный тычок. Офицер сделал знак глазами одному из солдат. Но тут случилось нечто странное. Не успел солдат шагнуть к такому же, как он, только плоскому, изрешеченному пулями солдату, как тот вдруг, с винтовкой наперевес, сделал шаг навстречу.

— Ну, ты, не видишь — ветер... — прикрикнул офицер на замешкавшегося солдата, но тотчас же сам отбежал назад.

Вся длинная шеренга людей-мишеней, держа винтовки наперевес, молча двинулась вслед. Не было слышно команды, не было слышно и шага, но мишени шли. Оцепление уже через минуту было разорвано и разбросано в стороны, как брызги кружащегося колеса. Некоторые из беглецов наткнулись на подходившие к стрельбищу войска. Узнав, что мишеней на месте нет, командир недоуменно пожал плечами и скомандовал «кругом». Тем временем подошел запыхавшийся дежурный по стрельбе, который шепотом, задыхаясь, что-то сказал командиру. Тот заколебался, потом приставил к глазам бинокль, который через десяток секунд выскользнул из его рук. Привстав на стременах, командующий приказал надбавить шаг, а сам, вместе с адъютантом, поскакал рысью по направлению к городу.

Это была первая победа, одержанная мишенями.

Они шли мерным деревянным шагом, прижав винтовки к груди, иссеченной сотнями пуль. Несколько автомобилей, ехавших из города по шоссе, наткнувшись на наступающую цепь, круто, под углом в сто восемьдесят градусов, повернули назад. Один из них увяз передними колесами в канаве: пассажиры выскочили на шоссе, пустились бегом к городу.

Начиналась паника. Люди наспех собирали свой скарб, готовились к бегству. Неустанно звонили телефонные звонки. В полчаса автомобильные гаражи опустели. Магазины загородились железными решетками. Места в поездах брались с бою. Губернатор города с балкона здания магистрата пытался успокоить многоголовую толпу, говоря, что бежать от мишеней столь же нелепо, как «от этих вывесок, развешанных над нашими головами», — закончил он, ораторским жестом указывая на груды домов и паутины улиц. Но возбуждение с каждым ударом секундного маятника, с каждым шагом наступающих росло и росло. Губернатора на балконе сменил начальник полиции: он обещал толпе, что не пройдет и пяти-шести часов, как все увидят войска противника, сложенные повзводно, штабелями — вот на этой самой площади, как на складе.

Но не успел он закруглить свою мысль, как в подвале магистрата, точно из-под земли, с шумом распахнулось окно и чей-то резкий и высокий голос крикнул: «Да здравствуют мишени, смерть убийцам». Так же мгновенно створы окна захлопнулись. Несколько сыщиков нырнуло по ступенькам лестницы вслед за скрывшимся под землю криком. По толпе зыбью проскользил смутный говор. И тотчас же смолк.

В штабе положение расценивалось гораздо серьезнее. Военный совет, экстренно созванный, знал, что каждая минута на весу. У карты, развернутой на столе,

сидело трое: генерал с длинными и тонкими, как крысиные хвосты, бровями; генерал с безбровым лицом; генерал с подоткнутой стеклышком монокля правой бровью. Против стола навытяжку знакомый уже нам полковник. Он отрапортовал о происшедшем и ждал.

Генерал с хвостатыми бровями, председательствовавший на совете, постучал карандашом о доску стола и выдвинул предложение: поступить с потоком наступающих мишеней по методу сплавщиков леса, которые перегораживают путь несущимся по реке бревнам запрудой. Отвести войска внутрь города, поставить у застав баррикады, и люди-мишени, наткнувшись на баррикадную стенку, собьются в кучу, попадают наземь, после чего их можно будет вылавливать поодиночке, голыми руками.

Оба других генерала согласно качнули головами — и председательствующий уже протянул руку к телефону, чтобы бросить в трубку приказ, но телефон предупредил его длинным звонком.

Пока старший генерал слушал, лицо его резко менялось: сперва крысиные хвосты бровей резко выгнулись кверху, потом вильнули кончиками, затем срослись у переносья, образовав подобие фигурной скобки.

— Что? На заводе центрального треста? Полиция не может справиться? Хорошо, прикажу выслать.

И, кончив свой ответ трубке, генерал повернулся к членам совета:

— Новости не из самых лучших. Пока мы здесь совещаемся, рабочие тоже собрали митинг, какой-то там их вождь, или как там называют этих оборванцев, призвал бросить станки и взяться за оружие. Наш план, хотя я и сам его выдвинул, должен быть отодвинут. Баррикада, господа, может работать на обе стороны. Строить ее для себя имеет смысл, но для других абсолютно нерационально. Кто имеет предложения?

Наступила длительная пауза. Воспользуемся ею, чтобы перенестись на минуту на обведенный каменным забором двор сталелитейной фабрики. Двор был до отказа забит рабочими. Все головы были повернуты в сторону человека, стоявшего на двух нагроможденных друг на друга ящиках. Человек говорил, рассекая воздух ладонью правой руки:

— Я слышал выкрики: «Они деревянные, они плоские». Да, плоские и деревянные. Но разве мы, рабочие, для капиталиста не существа с плоскими желудками и плоскими легкими, не имеющие права трехмерно дышать и есть? Разве мы для них, для богатых, не простые мишени, а наши тела, тела рабочих, разве для них, для мешков, набитых золотом, не из того же дерева, из которого делают дешевые гробы? Пусть мишени плоски, но они нам братья, каждый из них принял на себя сотни и сотни пуль, и кто знает — может быть, теперь очередь за нами. Я предлагаю помочь товарищам мишеням...

Первым ответил на вопрос генерала безбровый:

— Я бы вышел в поле противнику во фланг и открыл бы сосредоточенный продольный огонь...

— Разрешите дол...—вытянулся еще более полковник.

— Вам что?—окрысились на него красноватые глазки председателя.

— Разрешите почтительнейше доложить, что мишени по самому, так сказать, телосложению своему рассчитаны на обстрел с фронта, пули же, летящие сбоку, в ребро, даже с близкой дистанции дадут ничтожнейший процент попадания, почти нулевое поражение.

— Тогда, э, я бы применил газы...

— Виноват, господин генерал, но осмелюсь напомнить, что газы действительны лишь против существ, имеющих возможность вдохнуть их, но поскольку наличие легких в данном случае сомнительно, то...

— Разрешите мне, — вмешался третий, выбросив из-под дужки брови сверкнувшее стеклышко; — полковник, по-моему, прав. Кстати, зачем вы стоите? Присядьте. Так. Мой проект прост: надо бросить в лоб наступающим мишеням конницу — и она их изрубит саблями на дрова.

— К сожалению, — полковник придвинулся со стулом ближе к членам совета, — действие, производимое внешним видом солдат противника, как я уже рапортовал, на наших людей, делает ваш блистательный план, господин генерал, несколько рискованным. Ведь если даже допустить, что наши доблестные кавалеристы и не дрогнут, то лошади — животные, как известно, легко пугающиеся непривычных им объектов: в то время как всадники ринутся на врага, лошади могут вдруг взять да и...

— Ну да, — почти взвизгнул председатель, стукнув ногтями левой руки по столу, — хорошо. Вернее: плохо. Ну, а вы, полковник, нет ли у вас какой-нибудь идеи? Дьявол, уймите этот телефон!

— Так, некий контур плана, может быть, не вполне точный...

— Ну?

— Предлагаю следующую диверсию. Малая часть войска с музыкой и раскрытыми знаменами выходит навстречу противнику, к городской черте. Главные же силы на автокарах делают глубокий обход и ударяют в тыл войску мишеней.

— Да, ну а если вместо того чтобы ударить, они ударятся в бегство. Ведь вы же сами говорили об устрашающем действии людей-мишеней. Не уясняю, в чем нерв вашей операции. Не годится. Отставить.

— Минуту терпения — и я обнажу нерв. Мишень, движущаяся на стрелка, деморализует его. Но что такое та же мишень с тыльной стороны? Так, несколько голых, кое-как сколоченных досок, лишенных всякого человеческого обличия. Страшен человеку лишь человек.

На все остальное, живое и мертвое, нам свистать в оба кулака.

— Гм, пожалуй, ну, дальше, дальше.

— Дальше — просто, — заканчивал автор проекта, забросив ногу на ногу и раскачивая лакированным носом сапога в такт словам, — открываем огонь с тылу по пустым доскам — противник поворачивается лицом к дождю пуль; отходим, не принимая боя и самого вида враждебных цепей, в то время как заслон наш у заставы, в свою очередь очутившись перед пустыми досками, сыплет в них градом пуль. И так до полного истребления. Бить в спину, только в спину, и отступить перед лицом.

— Ага, понятно. Как вы находите, господа? — И председатель царапнул ногтем по сукну стола.

— Принять.

И машина боя, разбуженная коротким рывком рычага, задвигала своими ротами, батальонами, копытами коней, колесами легких автокаров и стальным гусеничным ползом тяжелых танков.

Лейтенант Энде еще накануне случайно расшиб колено. Проснувшись поутру и увидев ползущие по окну капли дождя, он не без удовольствия ощутил легкую боль в ноге. Встал, набросил халат и подошел, чуть прихрамывая, к телефону. Сонный голос батальонного врача (лейтенант служил в отдельном егерском) обещал захватить, освидетельствовать и оформить. Энде, чтобы не покидать второй раз теплой постели, присел к столу и начал писать рапорт о болезни. В это время в дверь постучали: на пороге стоял вестовой, торопливо доложивший, что батальону приказано стать под ружье и всем быть на местах.

Энде, оставив рапорт недописанным, оделся с помощью денщика; когда тот натягивал на больную ногу сапог, лейтенант поморщился и выругался сквозь зубы:

чего им захотелось — стрелять по воробьям или сражаться с облаками?

Лейтенант еще не успел дойти до казарм, как уже увидел голову батальона, частым шагом во взводных колоннах движущегося на него. Примкнув к своей роте, он зашагал вместе с другими, спрашивая на ходу: в чем дело? И кто противник? Лица у солдат были веселые: им, очевидно, нравилось, что ведущий знает обо всем этом меньше их, ведомых.

— Не знаю. Говорят, против плоских каких-то.

— Нет, — слышался негромкий голос из рядов, — это расстрелянные взбунтовались, господин лейтенант.

Энде подумал было: «Может быть, я дописал рапорт, лег — и это мне снится». Но боль в ноге, с каждым шагом усиливающаяся, возрастала. Нет — вот знакомый поворот на шоссе, вот под ногами зазвенел железом мост, переброшенный через железнодорожную выемку, вот потянулись низкие дома предместья, дальше огороды, а впереди виднеется и поле. Разговоры примолкли, слышался только мерный шаг сотен ног. Энде с трудом удерживался в строю, на правом фланге второй полуроты. Каждый шаг точно железной иглой впивался в большое колено.

Шоссе было пусто. Вдруг, на окраине его, показался оркестр. Зачем?

Ветер, дующий в спину, гнал и людей и тучи вперед. В голубых просветах заблестало солнце; заблестели и трубы оркестра, который вдруг показался лейтенанту сбившимся в кучу стадом зверей, над суконной шерстью которых торчали медные пасти, клыки и вытянутые раструбчатые морды. Вдруг стадо заревело, раскачивая воздух в такт и толкая колонну туда же, куда гнал все крепчавший, до свиста в ушах, ветер. Боль в ноге исчезла. Почти переходя в бег, колонна достигла вершин небольшого всхолмья, откуда было видно на несколько кило-

метров вперед. Навстречу, по разрыхленному полю, скакали два всадника на вспененных конях. «От кого они бегут?» — подумал Энде и поднял глаза к тому направлению, откуда двигался конный патруль. Прямо на колонну шла длинная — от края до края поля — шеренга странных плоских человеческих пестрых существ. Хотя солнце прорвалось сквозь синие окна меж облаков, но впереди колонны ползли ключья тумана — и шеренга наступающих мишеней была недостаточно ясно видна. Но можно было различить молча идущие пестрые (как это ни странно) тени людей, которые, прижав к грудям тени винтовок, молча, без единой тени звука, шли и шли вперед.

Энде слышал голос батальонного, старающийся не быть унесенным ветром, несущимся в сторону мишеней-людей:

— Солдаты, сколько раз мы учились колке соломенных чучел, неужели теперь...

Ветер оторвал конец фразы. Лейтенант увидел, что в первой полуроте примыкают штыки. Он автоматически повторил не услышанную им команду. Наступающие мишени были в трехстах шагах. Передняя цепь, наклонив штыки, вслед за серыми струями тумана побежала вперед. Энде поднял руку (голоса в горле не было) — и резервная цепь двинулась вперед. И именно в это мгновение, меж началом и концом безмолвной команды, вокруг головы Энде засвистали так знакомые его уху пули.

- Мишени стреляют.
- Эти плоские тоже умеют.
- Носилки.
- Убитых не убьешь, а они...

Что-то острое и тугое, как растянутая до предела резина, ударило под хрящ левого плеча Энде. Он терял сознание не сразу, а по дробям: сначала он видел бегущих вокруг него людей — потом рваные тучи запрокинулись над его глазами — потом одинокую плоскую фи-

гуру человека-мишени, который шел прямо на него: все тело мишени было из тысячи глаз, раскрытых тысячью пуль. Она шла, эта грубо раскрашенная мишень, качаясь на деревянных ногах и тупо глядя вперед круглыми, как пули, глазами: дальше — но дальше сознание лейтенанта Энде защелкнулось, как объектив фотоаппарата.

Войска бежали. В плане была, как и предупреждал автор плана, неточность. Две части армии, заслон и бьющие в тыл мишеням главные силы были разлучены стратегической тайной. Одна часть армии стреляла по другой — и узнать об этом было нельзя, поскольку их разделяла линия движущихся мишеней. Лейтенант Энде не мог бежать, с ним было кончено, но все окружающее его многоножие бежало, роняя винтовки и знамена. Еще раньше оставили город штаб и магистрат. Все препятствия, все барьеры, стоящие перед наступательным маршем расстрелянных мишеней, пали.

Но все же того, чего ждали все, не произошло. Когда ббльшее становится наименьшим, тогда малое претендует на роль наибольшего. У края огородов, куда уже подходила первая цепь (за ней шли неисчисленные другие цепи) наступающих, был брошен тлеющий костер собранного огородниками мусора. Под ударами ветра костер, как раз в ту минуту, когда подходила цепь мишеней, вспыхнул и зажег одну из них. Человек-мишень скорчился своим плоским телом и зарычал, поднимая к небу огненные языки. Новый удар ветра — и огонь, перебрасываясь с мишени на мишень, охватил все войско наступающих. Миллионноязыкий пожар наполнил дымом и огнем все пригородные поля. И когда огонь упал к земле и дымы ушли в небо, на поле битвы остались лишь кучи серого стынущего пепла.

Прошло около года. Новые события оттеснили старые. Палец, поставленный меж солнцем и глазом, является достаточным заслоном от солнца. В централь-

ном ресторане города, где происходили описанные выше события, совершенно случайно — прогулка наткнулась на прогулку — встретились знакомые уже нам генерал с крысиными бровями и полковник, в одной из петлиц которого поблескивала синяя орденская ленточка. Помимо официанта почетным гостям служил сам главный ресторации.

Полковник скользнул глазом по карточке вин, генерал внимательно изучал список закуски. Требуемое было подано. Лакей, вильнув черным хвостом фрака, исчез. Шеф продолжал почтительно стоять на расстоянии двух шагов от стола. Тронули вилками овощной салат; присосались губами к спарже. Генерал поднял красноватые глаза к носу и сказал одобряющим голосом:

— У вас в этом году очень хорошие овощи. Чем вы это объясняете, любезный?

Шеф наклонился:

— Тем, ваше превосходительство, что овощи мы получаем с огородов у западной заставы, там, где в прошлом году произошел бой между нашими доблестными войсками, ведомыми десницей вашего превосходительства, и этими мишенями, или как их звать... Пепсел же, древесный пепсел, с примесью отходов от расплавленной огнем краски, является лучшим удобрением для корнеплодов.

— Ах, так... — протянул генерал и движением кончиков бровей дал понять шефу, что тот может идти.

В течение минуты или двух был слышен хруст капустных листов и сосущее движение губ, справляющихся со спаржей. Затем генерал вытер салфеткой узкий рот и сказал:

— А все-таки мне часто приходит на ум, почему мы тогда, дорогой полковник, не ввели в дело артиллерию и не уничтожили их с воздуха?

— Потому, — отвечал полковник, притронувшись губами к своему бокалу, — что мишени, с которыми нам тогда пришлось иметь дело, были обыкновенными стрелковыми, для полевого боя, мишенями. Мы привыкли разговаривать с ними пулями, привычка эта вросла в нас, как корень в землю, — и быстрый бег событий (ведь вы же помните) не дал нам времени психологически перестроиться...

— Гм, вы, полковник, как почти всегда, подчеркиваю — почти, правы.

Бокалы собеседников с тихим хрустальным звоном — встретились.

Желтый уголь

1

Экономический барометр Гарвардского университета все время показывал дурную погоду. Но даже и его точные цифры не могли предвидеть такого быстрого углубления кризиса. Войны и стихия превратили землю в растратчицу своих энергий. Нефтяные фонтаны иссякали. Черный, белый, голубой и зеленый угли, что ни год, давали все меньший энергетический эффект. Небывалая сушь, казалось, спутала десятком экваторов изнемогающую землю. Хлеба были сожжены на корню. Загорались от зноя леса. Сельвасы Америки и джунгли Индии пылали чадным пламенем. Аграрные страны были разорены в первую очередь. Правда, на смену испеленных лесов вставляли пепельными стволами леса фабричных дымов. Но и их годы были сосчитаны. Бестопливые грозило машинам бездвижем. Даже снежные покровы ледников, растопляемые неуходящим летом, не могли служить надежным резервом водной энергии; дно выпячивалось из мелеющих рек, и вскоре турбогенераторы должны были стать.

Землю температурило. Захлестываемая желтыми бичами солнца, она кружилась вокруг него, как дервиш, доплясывающий свою исступленную пляску.

Сними государства свои политические межи, приди они друг другу на помощь, спасение было бы воз-

можно. Но идеи ататизма только закреплялись бедами, и все ново- и старосветные райхи, стааты, республики и ланды, как рыбы на высыхающем дне озер, обрастали вязкой цистой, заматывались в границы, как в коконную нить, подымая таможенные пошлины до небывалых размеров.

Единственным международного типа органом была Комиссия по изысканию новых энергий: КОНОЭ. Человеку, который бы открыл неизвестный энергетический ресурс, силу, не включенную в движители земли, была обещана некая семизначная сумма.

2

Профессор Лекр был слишком занят, чтоб замечать людей. Его глаза были отгорожены схемами, мыслями, страницами книг и не успевали отражать лиц. Матовый экран впереди окна защищал от улицы; черный футляр автомобиля с задернутым окошечком выполнял ту же роль. Еще несколько лет тому Лекр читал лекции, но постепенно отказался и от них, всецело отдавшись своим изысканиям по теории квант, ионного возбуждения и проблеме викариата чувств.

Таким образом, двадцатиминутная прогулка профессора Лекра, первая за десять последних лет его жизни, была чистой случайностью. Вначале Лекр шел в окружении своих мыслей, не замечая ни улиц, ни лиц. Но первый же перекресток спутал ему шаги, ученый принужден был поднять голову и оглядеться по сторонам, ища пути. И тут впервые о его зрачки отерлась улица.

Солнце сквозь тент туч всачивалось тусклою желчью в воздух. Вдоль панели, злобно тычась локтями в локти, торопились прохожие. В раскрытые двери мага-

зинов вдавливались и выдавливались, застревая друг в друге, люди: их красные от натуги и злости лица были повернуты осками друг к другу.

Плывущие над трамвайными рельсами ступеньки были забиты пассажирами: груди лезли на спины; но спины, злобно шевеля лопатками, не уступали ни дюйма; перепутавшиеся поперек вертикали поручня пясти были стиснуты хищным стиском, — казалось, будто стая слетевшихся стервятников вырывает друг у друга добычу.

Трамвай проехал, и за ним, как за отодвинувшимся занавесом, по ту сторону улицы — новая сцена: двое, тряся кулаками один на другого, били друг друга словами; и тотчас же круг из злорадных зрачков и вокруг круга круг и еще; над месивом плеч, влипших в плечи, поднятые палки.

Лекр, оглядываясь, двинулся дальше. Внезапно колено его наткнулось на протянутую поперек пути руку. Выставившись из грязного тряпья, ладонь требовала подаяния. Лекр порылся в карманах: денег при нем не было. Распрямленная ладонь продолжала ждать. Лекр еще раз обыскал себя: кроме записной книжки — ничего. Не отводя взгляда от нищего, он отпихнул в сторону: из глаз калек, полуслепленных гноем, вместе с слезью сочилась неутолимая, бессильная злоба.

Профессор Лекр все опасливее и опасливее разглядывал скрежещущую ободами и жужжащую растревоженным людским роем улицу. Люди сменялись, но ничего не сменялось в людях; стиснутые скулы, бодающие воздух лбы и протаранивающие путь локти непрерывно одни вослед другим. Сначала брови знаменитого физиолога были разведены удивлением, затем они сжались, затиснув бьющуюся в них мысль. Лекр, задержав шаг, раскрыл записную книжку, подыскивая точные слова. Но чей-то локоть ткнул его колючим ударом в ребра, он

шатнулся в сторону и, ударившись спиной о столб, выронил листки. Но даже боль не могла заставить Лекра перестать улыбаться: мысль, туго связанная с ассоциативными нитями, была брошена на самое дно мозга.

3

Конкурс, объявленный КОНОЭ, притянул около сотни помеченных девизами пакетов. Среди состязающихся проектов был и проект профессора Лекра. Большинство вскрытых пакетов несли в себе теоретические или практические неосуществимости; некоторые, подвергнутые более внимательному обсуждению, давали подобие исхода, но требовали слишком больших капитальных вложений. Соискатель, избравший девиз «Oderint»*, может быть, и не выдержал бы состязания с остроумной и тонко проработанной научной офертой, предлагающей заставить самое Солнце платить убытки, причиненные им планете: повышенная солнечная активность в отдельных точках земли, говорил проект, должна быть доактивизирована до температур, способных совершать работу путем переключения тепла в механическую энергию. Идея впрячь солнце в труд восстановления полуразрушенной промышленности была уже близка к семизначью премии, но... у председателя комиссии углы глаз были чуть с желтинкой, а в стеклах пенсне зампредседателя иной раз блуждал колючий блик.

Оба склонялись к проекту солнцевпряга, но председатель, не желая быть согласным с заместителем председателя, назло ему в последний момент перебросил свой голос, и oderint перевесило.

* Возненавидящим (лат.).

На следующее закрытое заседание комиссии был приглашен профессор Лекр. Отвечая на просьбу сконспектировать идею, Лекр начал так:

— Контур моего проекта прост: я предлагаю использовать энергию злобы, рассеянную по множеству человеческих особей. Дело в том, что на длинной клавиатуре чувств, чернеющих ее клавиш, злоба имеет свой специфический, резко обособленный тон. В то время как другие эмоции, скажем нежность, симпатия и т. д., сопровождаются снижением мускульного тонуса, некоторым расслаблением моторной системы организма, злоба насколько мускульна, она вся в тяжении мышц, в сжатии кулаков и сжатии зубов. Но чувство это безвыходно, оно под демпферами, глушителями, социально притушено, как лампа, и потому дает копоть, а не свет. Но если снять глушители, если позволить желчи хлынуть через социальные плотины, то этот, сказал бы я, желтый уголь завращает остановившиеся маховики наших фабрик, засияет электрической желчью из миллионов ламп и... попрошу не перебивать... Как это сделать? Извольте, кусок мелу, и я начерчу вам схему моего миелоабсорбатора: АЕ из 0 перпендикуляр, здесь под углом по поверхности щиту пунктир вбирающих устьиц.

Видите ли, идея экстерииоризации мускульных усилий (я давно ее уже провел сквозь все закоулки своего мозга) вполне осуществима, ведь если мы возьмем стык нерва с мускулом, то мы увидим, что нервное волокно, несущее энергетический заряд, стремится, расщепляясь на тончайшие фибриллы, охватить мускул такого вот рода — будьте любезны губку — сетью. Гистологическое описание ее дал впервые Краузе, но вполне точная картина плетений нервной сетки принадлежит мне. Гм, на чем мы, м-да?.. Проблема ставилась так: изловить сеть в сеть, и улов — на берег, вовне, за пределы человеческой кожи. Если вы взгляните теперь в пунктир устьиц абсорбатора, то вам станет ясно, что...

Доклад длился около двух часов. К последнему слову Лекра примкнуло несколькоминутное молчание. Затем председатель, шевельнув желтыми углами глаз, сказал:

— Допустим. Но уверены ли вы, что запасы человеческой злобы, которые вы предлагаете эксплуатировать, достаточно велики и, главное, надежны? Ведь в данном случае приходится иметь дело не с неподвижным пластом, дожидаящимся кирки, а с эмоцией, которая возникает и изникает, вы меня понимаете?

Профессор Лекр отвечал коротким:

— Вполне.

Комиссия отнеслась очень сдержанно к вопросу о промышленном использовании желтого угля. На первое время решено было ограничиться малыми масштабами, не выходя за пределы эксплуатационно-хозяйственной разведки.

4

Это произошло в ранний предслужебный час на окраинах одной из столиц Европы. К трамвайной остановке, загруженной торопящимися портфелями, медленно огибая закругления, подкатил вагон, волочащий за собой прицепу. Портфели, вхлынувшие в оба вагона, второпях не заметили, что конструкция заднего слегка отличалась от обычного типа: снаружи по лакированному красному боку вагона тянулась желтая черта; от поручней ныряли внутрь под металлическую кожу прицепы тонкие нити проводов, а латунная поверхность сидений была под сыпью мелких устьиц, уходящих куда-то вглубь.

Звонок из вагона в вагон, вагоновожатый нырнул к буферам, потом назад; щелкнул ведущий рычаг, и пе-

редний вагон, бросив прицепу, набитую людьми, стал быстро удаляться. Недоумение, охватившее пассажиров беспомощного вагона, длилось секунды. Изумленно разведенные ладони одна за другой стали сжиматься в кулаки. Злоба, усиливаясь от своего бессилья в бешенство, зашевелила всеми ртами.

— Что же это такое, бросить посреди улицы, как сор?!

— Мерзавцы!

— Видали ли вы такое? Распроподлецы!!

— Понасажали там...

— Да я б их сама собственными руками...

И, точно отгасая на разбрызг слюны и слов, прицепа вдруг, чуть слышно скрипнув осями, сдвинулась с места. На ней не было ролика, площадка для вагонновожатого была пуста, и все же, непонятным образом набирая скорость, прицеп кружила свои колеса вдогонку за бросившим ее вагоном. Пассажиры растерянно переглядывались; чей-то женский голос истошно закричал: «Спасите!» И тотчас же все содержимое вагона, охваченное паникой, бросилось к дверям. Но никто не хотел уступать первенства. Плечи втиснулись в плечи и локти в локти; густое человечье тесто месило само себя сотнею увязающих кулаков. «Прочь!» — «Куда?» — «Пусти!» — «Задави-и-и-ли!..» И вагон, начавший было замедлять скорость, раскружил колеса на полный ход. Люди, сыпясь со ступенек в расшиб на мостовую, постепенно порожнили непонятную прицепу. И колеса ее застопорились. Но это было в десятке метров от доски, отмечающей остановку. Новая толпа ожидающих, не слушая объяснений, забила вагонный короб, и через минуту он, скрежеща железом о железо, снова тянул свою желтую полосу сквозь воздух.

К вечеру необычайную прицепу загнали в парк, но фотоизображения ее продолжали странствовать внутри

миллионов зрчков покупателей вечерних газет. Сенсация гудела в сети проводов и кричала себя из всех радиораструбов. Дату эту принято считать началом новой промышленной эры на земле.

5

В первые месяцы при постепенном переводе промышленности на энергию желтого угля опасались, что ресурсы злобы, таящиеся в человечестве, могут быть быстро растрачены и исчерпаны. Ряд вспомогательных лекровскому проектов предлагал методы искусственного иннервирования злобы — на случай, если б энергия ее стала опадать. Так, известный этнолог Кранц опубликовал двухтомный труд «Классификация межнациональных ненавистей». Основной мыслью Кранца было признание необходимости возможно более мелкого национального дробления человечества, что дало бы максимум «кипстической злобы» (термин Кранца), но анонимный автор небольшой брошюры, выпущенной под заглавием «Одинажды один — один» шел дальше: он предлагал возродить древнюю «*bellum omnium contra omnes*», войну всех против всех; конечно, доказывала брошюра, война *contra omnes* постистории должна резко отличаться от одноименного статуса праистории; если пра бросает всех людей против всех, то это от недохвата в них «я», от недочеловечности, — *post* даёт схватку излишков «я»: при практическом осуществлении каждое «я» претендует на всю землю со всеми ее богатствами, это логичнейшая философская система, дающая земле сразу около трех миллиардов абсолютных монархов и соответственно этому неисчислимость войн и злоб, которые лишь приблизительно могут быть опре-

делены цифрой, какая получится при исчислении всех возможных сочетаний единицы с тремя миллиардами других единиц и еще вдобавок умноженной на три миллиарда.

Но наибольший успех среди широкой публики имела книга психолога Жюля Шардона «Оптическая пара». Шардон, владевший искусством метафоры, начинал с сопоставления двойных звезд супружеским парам; как в астрономии двузвездия могут быть или физическими, т. е. от пространственной близости звезды к звезде, или оптическими, когда пара разделена десятками световых годов, но просектируется глазом наблюдателя в угловую близость, так и в матримониологии, изучающей наиболее выгодные для человечества сочетания из двух. Если до сих пор для государства оказывалась выгодной любовь системы бракосочетательных рефлексов, то с переходом к использованию злободвижущихся тел необходимо перестроить институт брака: процент оптических супружеств должен быть поднят и постепенно доведен до ста; холод, а по возможности и отвращение, помноженное на близость, будут давать злобу высокого напряжения, которую остается лишь подхватить в соответствующий абсорбатор легкого переносного типа и гнать по проводам в центральный аккумулятор, создавливающий все злобы, весь приход желчи в единый желтый фонд.

Было бы трудно закончить список предложений, искавших способа повысить питание абсорбаторов постепенно множасьими сериями — подбиравшихся все ближе и ближе к эмоции. Вскоре выяснилось, что все эти искусственные интенсификаторы злобы почти не нужны — естественные запасы многообразных видов этой энергии, начиная от брезгливости и кончая бешенством, были до неопределимости огромны и, по-видимому, неистощимы.

Оказывалось, что энергии какой-нибудь потенциальной драки, вовремя рассосавшейся по порам уличного абсорбатора, вполне достаточно для полусуточного раскала калорифера, обслуживающего целый этаж. Даже без принятия каких-либо матримониологических мер, путем расстановки двух миллионов т. н. пористых двухспалок, пододвинутых вплотную к семейным счастьям, можно было поддерживать работу огромной лесопильни.

Вся жизнь с лихорадочной быстротой перестраивалась и переоборудовалась заново. Двери учреждений и магазинов делались уже, чтобы их покрытым невидимыми порами ребрам легче улавливать энергию втиска и вытиска человеческих тел. Вертуши бульваров, спинки театральных кресел, рабочие столы и станки, всасывая особыми пористыми вставышами эмульсию желчи, сочетали капли в струи, струи — в потоки, потоки — в кипящее и пузырящееся желчевое море.

Дрожи ненавистей, ознобы злоб, скрежеты гнева, нырнув в провода, трансформировались в стальные визги пил, вибрацию поршней и скрежет сцепляющихся зубцов.

Злоба дня, собранная в аккумулятор, дожидалась, когда ей позволят, вжелтившись в угли дуговых фонарей, сдержанно мычать над изрезанной лучами ночью.

6

Мистер Фрэнсис Дедл был против ожелчения жизни, и он не был одинок. Чтобы не ходить далеко: священник его прихода и свояченица, девушка лет сорока, с руками, привычными к кухонной стряпне и молитвеннику, вполне разделяли его взгляд. С нескольких амвонов

уже прозвучали проповеди о желтом наваждении, охватывающем мир. Ожидалась почему-то запоздавшая энциклика папы.

Оппозиция постепенно собирала силы, и хотя сторонники перевода всей промышленности и культуры на желтый уголь презрительно говаривали, что среди антижелчистов лишь одни сутаны и юбки, — но на самом деле они недооценивали численности противника. Орган протестантов «Сердце против печени» расхотелся довольно бойко.

М-р Дедл с первых дней существования сердцистской организации стал одним из ее деятельнейших членов. Правда, работу приходилось вести со связанными руками. Пропаганда сердцизма рассматривалась правительством как срыв желтого строительства. Благотворительные общества были закрыты. Проповедям приходилось звучать перед пустотой. В результате — организация, притиснутая к стене (впрочем, и стены были под пунктирами абсорбирующих устьиц)...

В одно из утр м-р Дедл проснулся в чрезвычайно мрачном настроении. Из дверной щели вместе с номером «Сердце против печени» торчал угол конверта. Дедл вскрыл: предписание от ЦК сердцистов:

«Сэр, с получением сего предлагается Вам в двухчасовой срок полюбить человечество. Пример — начало спасения».

М-р Дедл повертел бумажный листок в руках и почувствовал, что день испорчен. Стрелка часов показывала девять. Поймав взглядом римское одиннадцать, м-р Дедл пробормотал: «Ну, у нас еще есть время» — и, зажмурив глаза, постарался представить себе смутное многоголовье, называемое человечеством. Затем, приподнявшись на локте, он развернул газетный лист, скользя по заголовкам: «Ого! — Ну-ну... — Вот как! — Черт»... И строки — сначала в скомкивающий затиск пальцев, потом швырком на пол: «Спокойствие, спокой-

ствии, старина, ведь сегодня к одиннадцати тебе предстоит...» Дедл мечтательно улыбнулся и стал одеваться. Проходя мимо скомканного газетного листа, он нагнулся, поднял и тщательно разгладил сморщившиеся строки.

Без четверти десять м-р Дедл приступил к брэкфесту. Сперва два-три ломтика ветчины, потом стук ложечки по острой макушке яйца. Желток, вспучившись злым глазом из-под скорлупы, напоминал, что... м-р Дедл сразу вдруг потерял аппетит и отодвинул тарелку. Стрелка часов подползала к десяти. «Однако надо, гм, что-нибудь предпринимать, нельзя так вот — никак». Но в это время — металлической дрожью сквозь воздух телефон. «Не буду подходить, ну их к дьяволу!» Телефон, выждав паузу, зазвонил длиннее и настойчивее. Дедл с досадливым чувством притронулся ухом к мембране:

— Алло. Да, я. Звоните после одиннадцати. Я занят: дело всечеловеческого масштаба. Срочно? Мне тоже. Что? Да говорят же вам, занят, а вы лезете, как...

Трубка гневно одернула крючок. Мистер Дедл, стиснув кисти рук за спиной, прошелся от стены к стене. И случайно взгляд его наткнулся на тоненькую стеклянную трубку, расцифрованной выгибью выставившуюся из абсорбатора, рассыпавшего по его стене, как и по стенам всех комнат всего мира, свои еле видимые поры. Ртуть в стекле индикатора, цепляясь за цифры, медленно приподымалась. «Неужели я?.. Нет, нет, к делу». Дедл шагнул к окну и стал вглядываться в жизнь улицы: панель была, как всегда, черна от людей; они ссыпались в толпы, лезли из всех дверей и ворот.

— Милое человечество, дорогое человечество, — бормотал Дедл, чувствуя, что пальцы его почему-то сами сжимаются в кулаки, а по спине — с позвонка на позвонок — колючая дрожь.

В стеклах дребезжали и бились хриплые вскрики сирен авто, мякиш толпы, точно выдавливаясь из всех щелей, продолжал уминаться меж стен улицы.

— Любимые мои, братья-люди, о, как я вас... — и зубы Дедла скрипнули. — Господи, что же это? Без двадцати одиннадцать, а я...

Дедл задернул улицу шторой и, стараясь разминуться глазами с индикатором, сел в кресло.

«...Попробуем *in abstracto**. Поднатужься, старина, и полюби этих мерзавцев. Ну, хоть на четверть часика, хоть чуть-чуть. Вот назло им всем возьми и полюби их. Черт, уже без пяти. О Господи, помоги мне, сделай чудо, чтобы ближний полюбил ближнего своего. Ну, человечество, приготовься, я начинаю: возлюбленные мои...»

Легкий стеклыстый звон заставил Дедла вздрогнуть и повернуть свое облипшее потом лицо к абсорбатору: индицирующая трубка, не выдержав напряжения, рассыпалась стеклянной пылью, роняя на пол раззерненную ртуть.

7

Если вначале техника добывания и аккумуляирования желтого угля натыкалась на ряд неудач, то, постепенно совершенствуясь, она делала невозможными случайности вроде той, которая только что была описана. Самые слова «неудача», «неудачник» потеряли свой прежний смысл: именно неудачники, озлобленные жизнью желчевики оказались наиболее удачно приспособленными к новой культуре. Их злоба на жизнь стала рентабельной, начала давать им средства к жизни. Все человечество подверглось переквалификации. Индивидуальные счетчики, прикрепленные к телу каждого человека, указывали меру оплаты, соответственную количеству

* Отвлеченно (*лат.*).

злости, излученной данным человеком. Лозунг «Кто не злится, пусть постыдится» пластался своими буквами над всеми перекрестками. Добродушные и мягкосердые были выброшены на улицу и или вымирали, или ожесточались. В последнем случае цифры индивидуального счетчика приходили в движение, спасая от голодной смерти.

Еще до реализации идеи Лекра была учреждена особая подкомиссия при КОНОЭ для проработки вопроса об эксплуатации классовой вражды. Подкомиссия работала втайне: члены КОНОЭ прекрасно понимали, что именно эта разновидность вражды требует особо осторожного с собой обращения. Естественно, что переход на желтый уголь вызвал волнение среди рабочих, обслуживавших старую промышленность. Капиталисты, сплотившиеся около КОНОЭ, решительно отбросили старую политику соглашений, уступок, вообще мер, умеряющих гнев рабочих коллективов, направленный против эксплуатирующего их класса. Ведь наступало время, когда самую ненависть к эксплуатации можно было... подвергнуть промышленной эксплуатации, вобрать в абсорбаторы и бросить ее к станкам и машинам. Фабрики отныне могли довольствоваться одною ненавистью рабочих, сами рабочие были им не нужны. Заводы и фабрики производили массовые увольнения, оставляя лишь самый немногочисленный подбор людей для обслуживания злобоприемников. Волна протестов, забастовок, прокатившаяся по всей земле, только повысила уровень желчевой энергии в аккумуляторах и дала хороший дивиденд. Оказывалось, что наиболее чистую злобу, почти не требующую отфильтровывания, дают безработные. На первой же конференции по вопросам злобосбора маститый немецкий экономист заявил о наступлении новой светлой эры, когда работу можно совершать при

помощи забастовок. Сдержанный злорадный переплеск ладоней окружил эти слова. Индуцирующие стрелки абсорбаторов конференц-зала слегка вздрагивали.

8

Действительно, наступало некое подобие золотого века. Притом за золотом пезачем было врубаться в земные дебри, пезачем было промывать его в водных стоках — оно само желтыми желчинками высачивалось из печени и промывалось в круговращении крови, оно было тут, близко, под прослоями кожи. Печень для каждого превращалась в туго набитый и чудесно неиссякающий кошелек, который носят не в кармане, а в глубине тела, куда не пробраться руке вора. Это было удобно и портативно. Небольшая размолвка с женой оплачивала обед из трех блюд. Затаенная зависть горбатого уроды к стройному сопернику давала возможность уроду, так сказать, переложив золото из внутреннего кармана во внешний, утешиться с дорогостоящей кокоткой. Вообще, что ни день, жизнь становилась дешевле и налаженнее. Энергия аккумуляторов строила новые дома, растягивала жилищные квадратуры, превращала хижины в дворцы, разыгрывала бытие не в серых сукнах, а в сложных и красочных конструкциях; стремительный поток желчи, трансформируясь из энергий в энергии, смывал копоть с неба и грязь с земли. Если прежде люди теснились, тычась друг в друга, по темным короткометражным закоулкам, то теперь они жили в просторных высоких комнатах, подставляющих широковырезанные окна под удары солнца. Если прежде, скажем, дешевые ботинки, точно тоже обозленные своей дешевостью, больно кусали гвоздями пятку, то теперь аккуратно сработанные

подошвы бархатом стлались под шаги. Если прежде беднота предместий зябла у нетопленных печей, тая под выкостеванными голодом скулами веками накопленную мутную безвыходную злобу, то теперь перемещенная в аккумуляторы раззобленная злоба нежно грела змеинными извивами калориферов, создавая уют и комфорт. Теперь все были сыты. Вместо желтых ощечий румяные налитые щеки. Талии набирали сантиметры, животы и жесты круглились, и самая печень стала подергиваться мягким жировым налетом. С этого-то и начался конец.

Казалось, внешне все было благополучно: машины на полном ходу, людской поток бьется о щели дверей, аккумуляторы желтого угля гонят энергию по проводам и сквозь эфир. Но то здесь, то там — сначала дробными мелочами — стало возникать нечто не предвидимое схемами Лекра. Так, например, в один из ясных предосенних дней в полицейамт города Берлина под охраною шуцманов были приведены трое улыбающихся. Это было возмутительно. Заведующий амтом, втиснув в желтый кант воротника пунцовое лицо, топал и кричал на правонарушителей:

— Сегодня вам придет в голову улыбнуться в общественном месте, а завтра вы выйдете на улицу голыми!

Три улыбки были подведены под статью о хулиганстве, и виновные расплатились штрафом.

Другой случай был много серьезнее: некий молодой человек, находясь в трамвае, позволил себе уступить место дряхлой старухе, полусплющенной меж протиска локтей и плеч. Когда наглецу был указан § 4 Правил для пассажиров: «Всякому уступившему место предлагается пересечь в тюрьму на срок от — до», — преступник продолжил упорствовать. Сама старуха, по сообщению газет, была до глубины души возмущена поведением нахала.

Какая-то не сразу понятая болезнь мелкой сыпью инцидентов стала пятнить гигантское тело социоса. Весьма симптоматичным оказался громкий судебный процесс об одном школьном учителе, сказавшем во время урока совершенно открыто:

— Дети должны любить своих родителей.

Школьники, разумеется, не поняли архаического слова «любить», за разъяснениями обратились к взрослым; из взрослых тоже не все смогли припомнить, что это за «любить». Но старики растолковали одиозный смысл фразы, и развратитель юношества предстал перед судебным жюри. Но что оказалось совершенно уже сенсационным, судьи оправдали негодяя. В правительстве заволновались. Желтая пресса (пресса в эту эпоху вся была желтой) подняла кампанию с требованием кассировать приговор. Портреты вновь назначенных судей были помещены во всех экстренных изданиях: но лица их, впластанные в газетные листы, были как-то странно беззлобны, одутлы и бездумны. В результате развратитель остался на свободе.

Надо было принимать немедленные меры. Тем более что уже не желтая общественность, а желтая промышленность начала давать перебои. Зубья механических пил на одной из фабрик, будто устав прожевывать древесные волокна, внезапно стали. Колеса вагонов кружили чуть медленнее. Свет за стеклом ламп стал чуть жухлее. Правда, аккумуляторы, наполненные веками гнева, могли питать им приводные ремни и зубчатки в течение четырех-пяти лет, но питание их новой живой силой слабело от дня к дню.

Правительства всех стран напрягали силы, чтобы предотвратить медленно надвигающийся крах. Надо было искусственно поднять злобоизлучение до прежней высоты. Решено было от времени до времени прекращать подачу света и тепла. Но люди с опустошенными

печенями терпеливо, не жалуясь и даже не брюзжа, сидели теперь по своим огромным темным комнатам, не пытаясь даже придвинуться к стынувшим печам. Тщетно было бы зажигать свет, чтобы увидеть выражение их лиц: на лицах их не было никакого выражения, они были пусты, румяны и психически мертвы.

Бросились было за помощью к врачам. Пробовали применять возбуждающие активность печени пилюли, воды, электрическую иннервацию. Все было тщетно. Печень, высказавшись до конца, завернулась в жировой кокон и крепко спала. Как ни стегали ее патентованными средствами, ростом доз и героическими мерами всякого рода терапий, положительного эффекта, имеющего промышленную ценность, не получалось.

Время уходило. Для всех становилось ясным: отлив моря желчи уже никогда не сменится приливом. Надо искать новых источников энергии, нужен новый Лекр, который открыл бы нечто, перестраивающее жизнь сверху донизу. КОНОЭ, в последние годы ликвидированное, возобновило свою деятельность. На помощь призывались изобретатели всего мира. Но в ответ почти ни единого хоть сколько-нибудь значимого проекта. Изобретатели были, но изобретательность исчезла вместе со злобой. Теперь нигде, даже ценою семи-, восьми- и девятизначной суммы, нельзя было сыскать тех прежних озлобленных умов, гневных вдохновений, изостренных, как жала, перьев, омоченных в желчь. Пресные же чернила, без примесей крови и желчи, не ферментированные ничем, умели делать лишь расплывчатые, глупые, как кляксы, каракули мысли. Культура гибла — бесславно и бессловно. И в эти предсмертные ее годы среди ширящейся энтропии беззлобья не могло даже возникнуть сатирика, который достойно бы осмеял рождение и гибель эпохи желтого угля.

Моя партия с королем великанов

*(Неизданный отрывок из «Путешествий»
д-ра Гулливера)*

То, что факт, который я сейчас изложу, был пропущен — я приписываю исключительно чувству усталости. Двадцать часов сна отрезали это краткое, но назидательное событие от строк моей рукописи. Только недавно я вспомнил о нем. И мое перо не успеет сто раз окунуться в чернильницу, как история будет закончена.

В то время я жил, как это уже вам известно, в стране великанов. Если припомнить, что перед этим морская буря занесла меня к лилипутам, то легко себе представить всю странность моих ощущений. Я еще не успел отвыкнуть видеть людей где-то около щиколоток моих ног, а теперь мне для разговора с моими соседями приходилось задирать голову кверху, как если б я стоял перед шпилем церкви Сент-Джемса.

Король страны великанов был большим любителем игры в шахматы. Случайно узнав, что я тоже искусен в этой игре, он пригласил меня сыграть с ним партию. Отказываться было неудобно. Заведующий королевскими развлечениями доставил меня собственноручно — на своей ладони — к плоскогорью стола, на котором должен был состояться матч. Я очутился перед огромной — из черных и белых квадратов — доской, пространством приблизительно равной полю для игры в гольф. Из-за

двойной колоннады фигур черного цвета я еле различал гигантскую рыжую бороду короля. Сперва я хотел спросить, почему меня заставляют играть черными, но вспомнил, что никому нельзя смеяться в присутствии короля, пока не засмеется король, что никому нельзя надеть шляпы, пока не наденет шляпу король, и что, следовательно, никому нельзя сделать ход, пока не сделает хода король.

Усевшись между моими ферзем и слоном (встав во весь рост и даже приподнявшись на цыпочки, я едва мог дотянуться до лакированной шеи ферзя), я стал дожидаться первого хода белых.

— Е 2 — е 4!

Прекрасно. Прошмыгнув между фигурами, я устремился к моей пешке на линии е. О чем тут думать! Но по дороге, поскользнувшись, я зацепил левой ногой пешку на d 7. В то же мгновение страшный щелчок королевского пальца сшиб меня с ног.

— Тронута — пойдено, — прогремел голос партнера над зашевелившейся бородой.

И я принужден был, вопреки моему плану, ходить пешкой d 7. Точнее сказать — с пешкой d. Я попробовал было ее толкнуть на следующее поле, но проклятая пешка и не шевельнулась. Очевидно, все шахматные фигуры из ящика короля-великана были налиты свинцом, как это делают и у нас. Лишь схватив круглую черную тумбу обеими руками, мне удалось перенести ее на ближайшую клетку. Закончив ход, я отошел к середине доски и сел, вытирая пот со лба. Белые думали.

В дальнейшем развитии партии я превратился в носильщика тяжелых грузов. Король же лишь чуть двигал ногтем своего указательного пальца и посмеивался в рыжую бороду, отчего на меня летели волны его дыхания, смешанного из воздуха и спиртного перегара. Тело мое ныло от усилий, когда мы перешли к миттельшпи-

лю. Я пожертвовал пешку, но выиграл качество: ладья взамен коня. Мои странствования от хода к ходу становились все труднее и труднее. Так, однажды, не помню уже на котором ходу, мне пришлось перенести своего слона на целых четыре клетки. Эта громадина отдавила мне плечи — и после, сидя у клетки, на которую я ее поставил, я долго не мог отдышаться и попал в тягостный цейтнот. Но еще более неприятная передрыга выпала на мою долю с моим правым слоном. Противник мой неудачным ходом выдвинул свою пешку на линию с, не озаботившись о ее защите. Мне пришлось, с трудом двигая своего неповоротливого черного слона, продвинуть его на поле противника, сбить белую пешку и после самому же унести ее к краю коробки, куда сошвыривались убитые фигуры. Это заставило короля великанов задуматься. Я сидел у края, я сказал бы — у опушки поредевшего леса черных и белых фигур, слушая грозное сопение моего противника. Приятно было отдыхать после тяжелой физической работы. Гигантские часы, точно удары колокола Тауэра, отзванивали секунды. Постепенно ум мой прояснялся, вырисовывались все более тонкие варианты партии. Внезапно раздался двукратный тяжелый стук. «Наверно, рокировался», — мелькнуло у меня в мозгу, и, подняв глаза, я увидел, что не ошибся. По моему плану на короткую рокировку короля нужно было ответить тем же, но по длинной линии, по направлению к а.

Не дай мне мой партнер передышки, не знаю, хватило ли бы у меня сил выполнить эту сложную операцию. Сначала я взвалил моего лакированного черного короля на спину, но колени тотчас же подогнулись под тяжестью ноши. Тогда я опрокинул его деревянное величество наземь и стал катить его, как это делают рабочие, передвигающие круглое бревно, к краю доски. С ладьей было справиться легче. Кончив рокировку, я отправился

к середине доски меж белых и черных и, засунув руки в карманы, спокойно, с видом стороннего наблюдателя, стал изучать создавшееся положение.

У белых была лишняя пешка. В моих же руках — атака. В точном смысле этого слова, так как двигать свои фигуры на королевского короля мне приходилось обеими руками, помогая им толчками ноги. Особенно неудобно было справляться с моим вторым, оставшимся в игре конем. Деревянное животное это, как известно, прыгает через фигуры, свои и чужие. Приходилось осторожно проносить его меж рядов противника, стараясь их не задеть. Впрочем, вскоре я научился делать это чисто. А именно: подставив правое плечо под горло коню, я хватал его левой рукой за левое ухо, правой за правое и, согнувшись, довольно быстро проносил свою ношу на нужную клетку. И с гордостью могу сказать про моего коня, что он, хоть и был об одной ноге, а не спотыкался. Именно благодаря его зигзагообразным прыжкам мне удалось внести расстройство в ряды белых. Деревянный король, которого я почти не выпускал из-под шаха, засуетился, переступая с клетки на клетку, а живой король ниже наклонился над доской; горячее дыхание его било меня теперь сверху, а лоб его был похож на поле, по которому прошло несколько невидимых плугов, оставивших за собой глубоко взрытые борозды.

Ища выхода, он прикасался своими гигантскими пальцами то к одной, то к другой из своих фигур, не зная — как отвечать. Я было крикнул: «Тронут — пойдемно!» Но его величество отмахнулся — движением руки — от моих слов. Впрочем, и голос мой — по сравнению с грохотанием его собственного — казался, вероятно, не громче мушиного жужжания.

«Ничего, — думал я, — сколько ни щупай свою королеву и слона, а моя взяла!»

Решающий момент приближался. Пальцы короля то прятались в бороду, точно вилы в огромную кучу рыжего сена, то барабанили о край стола (впрочем, сравнение неверно — стук их напоминал скорее удары деревянных молотов, забивающих сваи), то терлись друг о друга. Наконец ход белых был сделан. Это был как раз тот ход, о котором я мечтал. «Мат!» — крикнул я и со всех ног бросился к моей пешке, близко пододвинутой к разгромленному фронту белых. Я бежал к ее круглой черной головке, как бежит игрок в мяч, чтобы бросить свой шарообразный дугыш в расположение противника. Черные и белые клетки мелькали у меня под ногами. Вот я добежал. Вот, схватив шею пешки руками, приподнял ее над шахматным полем...

И тут произошло нечто ужасное: какая-то длинная тень мелькнула над моей головой, затем раздался глухой, но мощный подземный (точнее — подстольный) удар. Фигуры, подпрыгнув, пали ниц, иные покатались по полю игры. В страхе я разжал руки и выпустил тяжелую тумбу-пешку, которая упала мне на правую ногу. От боли я потерял сознание — и потому не могу рассказать, что происходило в ближайшие вслед за этой катастрофой минуты...

Не могу также точно определить, сколько времени я находился в забытии. Когда я открыл, наконец, глаза, они ничего не увидели. Я был окружен абсолютной тьмой и полным беззвучием. «Может быть, я погиб во время землетрясения, провалился в раскрывшуюся пропасть — вместе с шахматами, шахматным столом, королем и всем его царством?! Но как же тогда я могу думать? Человек, полагающий, что он мертв, жив. Cogito ergo sum, как писал приятель моего отца Декарт». Я пошевелил руками, сперва одной — потом другой: целы. Распря-

мил ногу: она уперлась во что-то плоское и как будто деревянное. Протянул вбок правую руку. Рука тотчас же наткнулась на стенку. Продолжая вести ладонью вдоль стены по направлению к голове, я нащупал стык стен. При этом, поднявшись на локте другой руки, я чуть-чуть переместил все тело ближе к стыку — и в ту же секунду ощутил теменем и третью стенку. «Гроб. Меня похоронили заживо», — мелькнуло у меня в мозгу. Протянуть руку к четвертой стене у меня не хватило решимости. Я долго лежал, слыша лишь стук своего сердца.

«Однако, — подсказывала мне логика, — если твое сердце бьется, то, значит, твои легкие дышат, а если они дышат, то ничем иным, как только воздухом. Следовательно, в гробу есть некоторое количество воздуха. Какое именно? Такое, которое прямо пропорционально объему гроба. Объем же гроба определяется посредством умножения его длины, которая — в данном случае — приблизительно равна длине твоего тела, на высоту, то есть величине, выраженной числом тех или иных единиц меры... гм, расстояние от дна гроба до его крышки...» И логика, взяв меня за руку, подняла ее кверху: никакой крышки не было. Тогда я стал действовать смелее. Ощупывая темноту — теперь уже обеими руками, — я наткнулся на какой-то круглый и скользкий предмет, величиной несколько превышающий человеческую голову. Шар этот торчал из чего-то, напоминающего спасательный круг; ниже была склизкая точеная шея, а еще ниже... но тут уж я догадался. Несмотря на темноту. Это была пешка. Та самая пешка, которой я нанес последний удар противнику. Я обрадовался ей, как живому человеку. Мало того — как другу и единомышленнику. Пусть это братская могила, но... Я бодро вскочил на ноги и тотчас же со стоном опустился на прежнее место: страшная боль в плюсне ноги требовала более осторожных движений. Мне теперь отчетливо вспомнилась последняя се-

кунда, предшествующая обмороку: высвобождающаяся из моих объятий черная пешка, ее предательский — увы! — удар и... мое дружеское чувство к ней несколько уменьшилось.

Но все-таки где же я? Осторожно волоча раненую ногу, я стал продвигаться ползком к нижней стенке того, что показалось мне сперва гробом. Странно — стена исчезла, вместо нее я нащупал бугристый и шершавый диск, которым заканчивалось какое-то деревянное, сросшееся из кругов, круглых вгибов и выгибов скользкое тело. Теперь уже не было сомнения, что в момент возврата сознания ноги мои упирались в ступню шахматной королевы. Перелезши через деревянное брюхо моей соседки, я тотчас же ударился о треугольный клин: «А! Это — ухо коня!» Теперь я быстро ориентировался в обстановке, хотя, как через секунду оказалось, не учитывал еще всех опасностей, которые она в себе скрывала. Так, стоило мне слегка потянуть коня за его нижнюю губу — и вокруг что-то зашуршало, задвигалось, раздался стук скатывающихся вниз громоздких предметов. Было похоже, как если б я тронул, стоя у кучи взваленных друг на друга бревен, крайнее из них — и вся их груда пришла в движение.

Теперь я знал, где нахожусь: в ящике, куда ссыпают после игры шахматы. Каким образом я мог сюда попасть? В эту деревянную тюрьму с опущенной тяжелой кровлей? Ни одно из моих предположений не отвечало исчерпывающе на эти вопросы.

Я решил добиваться ответа и освобождения извне. Сперва я долго колотил кулаками, коленями и ногой в стенку ящика. Прислушивался: молчание. Тогда, передохнув, я стал действовать пешкой как тараном: никакого результата. Измученный, я опустился на дно ящика и терпеливо ждал, когда обо мне вспомнят и откроют

кровлю. Часы проходили в молчании и темноте. Незаметно для себя я уснул.

Разбудил меня голод. Сначала я испытал припадок бешенства, бил кулаками и головой в проклятую стену, кричал изо всей силы: «Откройте ящик! Я, доктор Гулливер, здесь, я ранен, освободите, на помощь!» — но силы мои слабели; вслед за гневом пришло уныние, а там и безразличие — я стал неподвижен и покорен судьбе, почти как мертвая шахматная фигура.

Не помню, сколько времени еще пронеслось надо мной. Однажды, когда я уже прогнал надежду и прижался к стыку двух стен, мне послышался отдаленный шум, затем близкий грохот голосов, темница моя дрогнула и качнулась, как трюм корабля, попавшего в бурю. А через секунду — точно над трюмом сорвало палубу — яркий дневной свет ливнем хлынул на меня сверху. «Ах, так вон он где!» — услышала я оглушающий голос короля. Добрый десяток великаньих глоток раскатился веселым смехом. Чтобы спасти свои барабанные перепонки, я принужден был зажать уши ладонями.

Когда я, отдохнув после описанной мною шахматной передряги, был переведен на постельный режим и поручен наблюдению королевского лейб-медика, лечившего мою поврежденную ногу, уже нетрудно было — путем расспросов — восстановить порядок событий, выпавших из моей памяти.

То, что я принял за землетрясение, было попросту ударом королевского кулака по столу. Понятно, проигрывающий всегда чувствует себя обиженным. И если он не привык к обидам, то...

Игра наша с его величеством затянулась допоздна. Сонный слуга, пришедший ссыпать шахматы в ящик и отнести его на положенное место, смахнул с доски — вместе с пешками и другими фигурами — и меня. Слугу надо извинить, поскольку я в то время был в глубоком

Неукушенный локоть

обмороке и по величине и неподвижности мало чем отличался от своих деревянных соседей.

Дальнейшее не требует объяснений. И если бы король, благодарение ему, не захотел взять у меня реванш, то возможно, что шахматный ящик превратился бы для меня в гробницу.

Когда я оправился и окреп, мы сыграли с его величеством еще одну партию. На этот раз меня избавили от необходимости быть носильщиком своих фигур. Я только называл буквы и цифры, фигуры же переставлял один из камер-лаксов.

Вторую партию я проиграл: из вежливости.

1933(?)

Гулливер ищет работы

...Гулливера, сначала хирурга, потом капитана нескольких кораблей.

Из заглавия

В четырех лиликилометрах от столицы лилипутов высится гора человекообразной формы. Уже давние поколения лилипутов заметили, что она похожа на гигантского закаменелого человека, который, подогнув колени к подбородку и вжав локти в бока, погрузился в вековую базальтовую думу. Отсюда — ряд фольклорных легенд. Отсюда же и искусственный Свифтовый вымысел, совершенно произвольно приуроченный к 1699 году. В это время горы перестали уже происходить. Предлагаю вернуться к временам горообразований.

В архивах Лилипутии остались старинные, пожелтевшие записи о посещении страны человеком-горой. Настоящая краткая выпись не интересуется многоэпизодной биографией Гулливеровой горы. Ее интересует лишь то, как справился лилипутийский фольклор с процессом превращения Гулливера в гору. Былины и древние сказы любых стран — например, наша русская былина «о том, как перевелись богатыри на святой Руси» — дают весьма пестрые варианты этого сказочного мотива. Выслушаем лилипутов:

Гулливер, внезапно простерший свою черную тень над столицей Лилипутии, ужаснул жителей столицы не

столько своей величиной, сколько прожорством. Лилипутия была страной не слишком богатой. Внезапно вшагнувший в историю страны непонятный гигант в один день заглывал и выпивал количество пищи и вина, которого хватило бы на добрую треть страны. Министр финансов повысил налоги и снизил заработную плату. Нужно же было как-нибудь сбалансировать Гулливера. Но это вызвало ряд забастовок и грозило восстанием.

Первый министр короля, сунув голову в гигантскую ушную раковину Гулливера, просил его быть выдержанным в пище и питье. Епископ лилипутийский вручил ему Жития Лилисвятых, которые жили на хлебе и воде, предлагая брать с них поучающий пример. Но Гулливер — даже с помощью очков и лупы — не мог добраться до смысла Житий: печать была слишком мелка для его гигантских зрачков.

И все же огорчение вкралось в Гулливерово сердце. Он видел, что он в тягость крохотному — теменем до его щиколоток — народу лилипутийской страны. Как быть? Нельзя же продолжать объедальскую и дармоглядческую жизнь. Надо хоть в чем-нибудь помочь им, маленьким. Согнуться до них. Хотя бы заболела спина.

Гулливер пришел, осторожно ступая — как бы не раздавить какого-нибудь случайного лилипутюшку, — к королю. Он сбросил с головы шляпу и преклонил колени, прося работы. Он хочет честно зарабатывать каждодневным трудом хлеб свой насущный. Король, несколько удивленный просьбой, огляделся по сторонам, ища глазами своего советника. Его — что за странность! — нигде не было. Адьютанты и слуги бросились на розыски. Гулливер тоже озирался по сторонам: куда, в самом деле, запропастился придворный? Но в это время перо его шляпы, брошенной наземь, слегка качнулось, а поля вздернулись и снова опустились к земле. Гулливер

осторожно приподнял шляпу: из-под ее донца, возмущенно топорщась и грозя кулачками, появился советник. Гулливер попросил извинения и протянул даже мизинец правой руки, который не встретил, однако, рукопожатия тайного советника.

Было решено: предоставить иностранному подданному Лемюэлю Гулливеру работу по специальности — после предоставления таковым соответствующих удостоверений и свидетельств. Гулливер надел шляпу на голову и разостлал на площади — полицейским для этого пришлось осадить толпу назад — несколько порядком истертых и просоленных морем документов. Сверху легло капитанское свидетельство о водительстве кораблей. По знаку короля старший адмирал Лилипутии приблизился к трону и принял приказ его лилипутийского величества — передать под команду капитана Гулливера крупнейшее судно военного флота лилипутийской империи.

В назначенный день над кораблем взвились флаги империи, а над флагами — держа путь в зенит — поднялось яркое солнце. Навстречу капитану Гулливеру, появившемуся на набережной, был дан салют, на шканцах выстроенная в шеренги команда сделала на караул.

Гулливер, добродушно улыбаясь и приложив руку к козырьку, к чему понуждала не только вежливость, но и бьющее в глаза солнце, сделал знак, чтобы убрали трап. Он и так. Вшагнув в море, которое было ему только-только по колено, он занес правую ступню над броненосцем и осторожно опустил ее на нижнюю палубу. Затем, перенеся тяжесть корпуса на коленный сгиб, он хотел поднять левую ногу с дна. Но произошло нечто непредвиденное. Корабль, нырнув ватерлинией под поверхность воды, вдруг погрузился бортами в море, втягивая всеми оконцами воду. Команда, швыряя спасательные колечки, бросилась кто куда. Корабль, давая сигналы о гибели,

зарылся носом под поверхность и ткнулся килем в дно. Сконфуженный капитан корабля, соблюдая старинную благородную традицию, последним отдернул ногу с его палубы. Затем, нагнувшись над лилипутским броненосцем, он вытянул его из воды, вылил из него воду, вместе с водой роняя всякую мелкую россыпь вещей, и поставил на берег. Для всех было ясно: карьера капитана лилипутийского флота для Гулливера была кончена.

Но под кораблеводительским свидетельством иностранца лежало другое: это был диплом об окончании медицинского факультета — со степенью оптимэ, а также документ о многолетней хирургической практике д-ра Гулливера.

Гулливер невдалеке от гулливеродрома, отведенного под его сон, вывесил гигантскую — в четырехэтажный лилипутский дом — визитную карточку: «Д-р Гулливер, хирург, прием от 1 до 4 час. Бедным — бесплатно».

Доктор Гулливер аккуратно отсиживал приемные часы, но никто не являлся на его прием. Король, заметив, что гость очень удручен отсутствием практики и недоверием к его искусству, велел озаботиться о доставке пациентов доктору Гулливеру.

Это был пожилой лилипут, болезненный и хилый, которому нужно было ампутировать отросток слепой кишки. Бедняку нечем было платить — и он очень обрадовался, когда ему обещали не взять с него, а дать ему довольно круглую сумму — за согласие подвергнуться операции известного заграничного врача Гулливера.

Но всякого рода пересуды и слухи заставили его заколебаться. Тогда сумма была еще более закруглена. Бедняк сказал: да.

Гулливер тщательно обследовал пациента, вращая его меж средним и указательным пальцами правой руки. Чтобы успокоить больного, он в день операции положил его поверх развернутого диплома-оптимэ, прикрыв бу-

мажную поверхность, разумеется, чистой простыней. Ассистенты, поместившиеся на золоченых строках и полях диплома, держали наготове хлороформные маски, кипяток и бинты. Оператор, засучив рукава, вынул из своего черного ящика гигантский скальпель — величиной в шпиль собора лилипутийской столицы. Опустив лезвие в находящийся поблизости колодез, Гулливер, деловито хмуря брови, приступил к операции.

— Лепротомия, — прогрохотал его сдержанный голос над ассистентами. Затем гигантское лезвие опустилось и сделало резкую и четкую транссекцию.

Хирург поднял закровавленный скальпель, и вдруг брови его удивленно поползли вверх.

— А где же пациент? — спросил он, вглядываясь в кровавое пятно с прилепью мяса, быстро рассасываемое бумагой диплома.

Ассистенты подавленно молчали.

Тогда оператор, отложив скальпель, оседлал нос стеклами: стекла двояковыпукло преподнесли ему факт. Лемюэль Гулливер очень опечалился вторичной своей неудачей. Стряхнув ассистентов с дипломного листа, он аккуратно сложил его вчетверо (репутация листа была теперь запятнана лилипутъей кровью) и спрятал в карман. Затем он ушел от стен столицы и, сделав четыре шага, остановился в четырех лиликилометрах от столицы. Здесь он тяжело опустился на берег, носками башмаков в приборную пену, и погрузился в тяжкое раздумье. Слуги короля приносили ему питье и еду. Он не откликался на их голоса. Подогнув колени к подбородку и спрятав в ладони голову, он закаменел в вечном печальном раздумье: что делать Гулливеру среди лилипутов?

Понемногу локти и скаты плеч окаменелого гиганта заросли мелкой лилипутъей порослью; одежда его, тлея, осыпалась и обваливалась с боковин и выгибов.

Неукушенный локоть

Прошли столетия. Теперь по праздникам лилипутьевская молодежь любит совершать экскурсии и восходы на Человека-гору. Юноши и девушки, весело держась за руки, взбираются на каменные бедра и даже плечи закамененного мыслью гиганта. И только по отвесу лба Гулливеровой горы никому еще до сих пор не удалось взобраться. Макушка Человека-горы не потоптана ничьей лилипутовой пяткой.

1933

Тридцать сребренников

И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился.

Первосвященники, взявши сребренники, сказали: не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови.

Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников;

Посему и называется земля та «землею крови» до сего дня.

1

Этими четырьмя стихами берусь накормить дюжину томов и развернуть их в десяток авантюрных романов. В самом деле, пересмотрим образы: горсть монет, брошенных на плиты храма; удавленник в петле; корыстолюбец-горшечник, не слишком приноживающийся к запаху денег; эффектное заглавие — «Цена крови»; кладбище для расстранствовавшихся странников; наконец, мастерски сделанный последний стих, который, взяв квадрат земли, отчужденный под покойников, за четыре ее конца, растягивает кладбище до... Ну, это уж будет зависеть от того, реалист, символист или романтик возьмется за разработку темы.

Я давно уж брожу вокруг третьего стиха цитаты и однажды вошел в него, но не через те двери: я постарал-

ся представить себе отмер земли, иссохлой и расщеленной зноем, под порослями сухоиглых тернов, локтей сто на сто или около того; вокруг пути и тропы, паутина дорог, поставляющая отстранствовавших странников. Тут тема задавала мне вопрос: почему первосвященники, приобретая землю под кладбище, заботились исключительно о чужестранцах, а не о своих, не о иерусалимлянах, или, наконец, не о своем первосвященничьем часе. Стих четвертый разъяснял: цена крови. Первосвященники, ведшие процесс против Иисуса с тонким знанием канонического права, и в данном случае не заслуживают упрека в бесхозяйственности: никоим образом нельзя зарывать в опоганенную кровью землю своих, ну а с чужими можно не церемониться. Но дальше тема начинала морщить: ведь странников было много, а земли мало, трупов прибывало, кладбища — нет. Таким образом, земля крови, как бассейн без отливных труб (таких ни в одном задачнике не бывает), слишком скоро наполнялась по самую ограду и тема застопоривалась; приходилось прибегать к призракам, бродящим над могилами, апеллировать к непоседливости странников, которые даже и в могилах не могут, мол, долежать спокойно до судной трубы, одним словом, пускаться на обветшалые романтические трюки, которые ни цензура, ни хороший вкус (редкое совпадение!) не пропускают.

Тогда я, обойдя стих кругом, вошел в него через «купили» и выбрал в герои тридцать сребреников: это неромантично, звонко, доступно счету и относительно нетленно. Ведь в самом деле, кто и что осталось от евангельской истории о смертях: одного распяли, другой повесился, третьих, говорю о странниках, одного за другим врыли в землю крови. В обращении остались лишь тридцать звонких монет: за ними, куда бы ни покатались сребреники, пойдет мой рассказ. Начинаю.

Сребреники как сребреники: гладкий круглый край, четкий оттиск цифр, металлически острый голос. Но, очевидно, было в них вчеканено нечто свойственное только им, тридцати: сребреники, купившие успокоение странникам, сами были странниками, не знающими успокоения, — вчеканенный в них сребренный зуд отдергивал их от пальцев к пальцам, перебрасывал из кошельков в кошельки, пока не... но давайте по порядку.

Каиафа отдал их Иуде; от Иуды они тотчас вернулись в сокровищницу Каиафы; но она не приняла их — и деньги перешли к горшечнику. Горшечник, замотав все тридцать в тряпицу, зашагал не спеша из улицы в улицу, направляясь к северным воротам; жил он в Прииерусалимии, за городской стеной, и к закату рассчитывал добраться до своей лачуги. Но сребреникам не лежалось под тугим узлом, и, свернув в харчевню, горшечник размотал тряпицу. Сначала он выпил на один сребреник, потом на другой, — и все тридцать, весело звеня о прилавок, перекатились от горшечника к трактирщику. Тут, соблюдая традиции легендописцев, легко было бы сочинить, что горшечник спрашивал белого вина, но ему приносили красное, с привкусом крови и т. д., — но так как я не сочиняю, а рассказываю подлинную правду, то мне придется ограничиться сообщением, что до ворот горшечник дошел, хватаясь руками за городскую стену; за воротами не за что было хвататься, кроме как за землю, что горшечник и не преминул сделать. Утренний холод разбудил его: голова была налита свинцом, в руках — ни сребреника.

Но серебряный зуд, вчеканенный в тридцать, только-только начинал свое странствие с ладони на ладонь, из пальцев в пальцы. Трактирщик, получив серебряники, стал дожидаться новых. Но тут оказалось, что тридцать сыграли с ним плохую шутку. Когда завсегдатаи харчевни узнали, что выручка за кровь пророка — об этом только и было речи в те дни в Иерусалиме — попала в кассу заведения, в котором они угощались, — тотчас же, выплескивая вино из чаш, они стали расплачиваться и требовать сдачи. Хозяин придвигал им серебряники — кому один, кому два, а кому и более; но набожные пьяницы подняли крик:

- Цена крови.
- Нечистые деньги.
- Давай другие.

Трактирщик клялся, что это и есть другие, но так как все серебряники одинаковы, то посетители харчевни, приглядываясь к монетам, недоверчиво покачивали головами и требовали других и других. Монеты прыгали из пальцев в пальцы, стукались о столы и скоро, спутавшись — чистые с нечистыми, — в бешеной серебряной пляске кружили от стен к стенам. Потом скамьи опустели, и хозяин долго ползал по полу, сгребая в кучу свою расползшуюся кассу.

Прошел день и еще день: ни один человек не переступил порога харчевни. Вино, заждавшись гостей, стало киснуть. Сняв крышку с глиняного сосуда, хозяин зачерпнул и попробовал: как оцет.

— Проклятый горшечник, — пробормотал он и решил действовать. Открыв кассу, он стал, вздыхая и причитая, отбирать те тридцать: трактирщик помнил,

что монеты горшечника были не истерты и новы, только что из чекана. Но все же он тотчас же запутался в серебряной гряде; прибирая монету к монете, несчастный получал коллекцию то в двадцать девять, то в тридцать один сребреник: те или не те — как докажешь?

Тем временем горшечник, проспавшись, вернулся восвояси и снова стал лепить свои горшки. Но не прошло и трех дней, как дверь его лачуги раскрылась и вошел трактирщик. Швырнув на пол сребреники, он сказал:

— На все тридцать.

И, подняв палку, стал бить горшки. Изредка он останавливался и, отирая пот, спрашивал:

— Ну что, много еще? Почему амфора? Два дидрама: ч-чх! А эта? Полсребреника. Отсчитай: дз-зинг! Светильник. Пять динариев? И светильник. Р-раз!

И, кончив расправу, трактирщик швырнул поверх черепков палку и повернул спину.

— Эй, господин! — кричал ему горшечник вслед. — Вы не добились на десяток лепт. Мне не нужно лишнего. Получайте!

И в спину трактирщику полетела глиняная миска.

Вернувшись домой, трактирщик ждал, что дела его пойдут по-старому. Столы были чисто вымыты, в кувшинах пенилось новое вино, двери были настежь. Но никто не переступал порога харчевни. Суеверный трактирщик снова стал рыться в монетной гряде: не спрятались ли там еще один из проклятых тридцати? Многие из сребреников казались подозрительными, — он отбирал их — один за другим — с тем, чтобы раздать нищим. Но нищие, знавшие, откуда к трактирщику пришли сребреники, отказывались принять подавание. Он отнес деньги блуднице, но и та не захотела продать ночь за цену крови. Поздно ночью он бросил деньги на дорогу. Но и это не помогло. Несчастье не покидало дома.

«Может быть, из-за какого-нибудь одного?» — подумал трактирщик и снова стал разглядывать, испытывая на звон и на глаз оставшиеся монеты. И с наступлением новой ночи новая горсть сребреников упала в прах дорог. Неизвестные монеты находили странники, с рассветом начинавшие свой путь, крестьяне, подвозившие еще с ночи к городу продукты: опоганенное серебро расплзлось по кошелькам и сумам, по городу и миру. Посев Иуды обнаруживал некую всхожесть. А несчастный трактирщик, расшвыряв почти все свои деньги, разбил свою голову о стенку, как если б и она была грошовым горшком. И очень хорошо сделал, так как, останься он в живых, история моя о тридцати сребрениках растянулась бы на тридцать глав и стала б подозрительной по романтизму и, пожалуй, даже мистике. Поэтому, покончив с трактирщиком, пора перейти из эпизода в эпизод: от разможенной головы к битым горшкам.

4

Горшечник сгрэб черепки в кучу и выбросил их за порог; собрал сребреники, но за порог их не выбросил, а стал думать, куда сбыть нечистые деньги. Трактирщик, наверное, раззвонил всюду о случившемся. Надо переждать. Но не прошло и дня, как в дверь к горшечнику постучался пристойного вида старик, который, оглядевшись по сторонам, спросил:

— Те тридцать у тебя?

— Какие тридцать? — притворился недоумевающим горшечник. — А если б и были, что кому до них?..

— Плачу за тридцать двадцать. Больше никто не даст.

Поторговались. Сошлись на двадцати пяти. Первая в мире валютная сделка — состоялась. Старик, стараясь не дотронуться пальцами до сребренной нечисти, подставил под тридцать монет кожаный мешок, стянул его в три узла и, поклонившись изумленному горшечнику, скрылся в сумерках.

Придя в свой дом, набожный старик омыл руки и прочел очистительные молитвы. А наутро тридцать сребреников пересыпались из кожаного мешка в холщовую суму мытаря, пришедшего за сбором податей.

5

Мытарь, получивший под расписку сребреники, был тем самым «добрым мытарем», послушной список которому может заменить притча. Это был честнейший человек, которого знала и уважала вся округа. Погоня голыми пятками своего осла, он ездил от дома к дому, вызванивая колокольцем налоги и недоимки. За десятки лет своей работы он не утаил ни единой драхмы; может быть, и сейчас ему удалось бы довести тридцать сребреников до казнохранилища, но мытарю, только что начавшему свой объезд, предстояло еще постучаться у сотен дверей и сделать долгий и медленный путь, а сребреникам было невтерпез, сребренный зуд тянул их из мешка в мешок, из пальцев в пальцы, от людей к людям, из стран в страны. И беспорочный мытарь растратил сребреники. Как это случилось — он и сам не мог понять. И если б только тридцать. Можно было б пополнить. Но у мытарева осла был тряский ход: Иудино серебро перемешалось с другими монетами; сребреники растолкали сонную медь и неповоротливые литые мины и, увлекая их за собой, выпотрошили начисто мешки.

Мытарь не стал ждать суда: он сам себя судил и осудил. Следуя совету Писания, мытарь, бывший некогда добрым, привязал к шее камень и бросился головой в колодезь. И его со счетов.

6

Растраченные монеты расползлись — как это всегда бывает — по игорным столам, по притонам разврата, — в прах человеческий; на монетах, попавших сюда, никогда не бывает ржавчины, они скользки и юрки и не знают угомона.

Тем временем и дом самоубийцы-трактирщика опечатали, оставшиеся деньги с запрятавшимися в них сребренниками Иуды конфисковали и препроводили в Рим, в государственное казначейство. Десятка одержимого странническим зудом монет оказалось достаточным, чтобы разбудить полуоплесневелое серебро и золото римских подвалов. Разворошенные груды монет стали искать выхода за пределы мешков и государственных границ; мириады крохотных металлических дисков стали на свои рубчатые и гладкие обода и покатались по всей земле, ища рынков и территорий. Дорогу серебряным дискам прокладывали железные щиты: так начались империалистические войны, трудолюбиво выравнивавшие путь беспокойным, вечно убегающим от себя самих тридцати сребренникам. Не прошло и несколько десятков лет, как они, ведя за собою армию Тита, вернулись в Иерусалим, свалили ему стены и бросили их в прах, как некогда бросили их, сребренники. Тогда преданный огню и мечу город пророков и ростовщиков познал наконец цену крови.

С каждым новым абзацем мне все труднее и труднее поспевать за сребренниками. Ведь слова обращаются медленнее, чем монеты. История, которую я безуспешно пробую догнать, похожа на колесо о тридцати спицах: вначале оно кружит медленно, потом скорее и скорее, мелькание спиц сливается в сплошной металлический диск, как бы в громадный сребреник, который никак не спрячешь ни в ладонь Иуде, продавшему Христа, ни в кожаный кошель учтивого старичка, купившего валюту. Если раньше я мог задерживаться на эпизодах о горшечнике, мытаре и не помню каких там еще, то сейчас приходится, отбросив образы, просить помощи у длинноногих сухих схем.

Дознано: один из сребреников впрыгнул в церковную кружку и тотчас же стал бить о ее стенки тревожно. В ответ, грохоча латами, поднялось рыцарство: начались крестовые походы. Другой пролез в карман к ученому-экономисту, и тотчас же из кармана в голову проникла идея, впоследствии разработанная в так называемую теорию денежного обращения: оказывалось, что богатства не в богатстве, а в быстроте обращения денежных единиц. И сребреники, надав скорости, еще стремительнее закружили по кружащейся земле. Вот мелькнуло бритое лицо бритта Джона Ло с выпяченным ртом, похожим на отверстие копилки: на смену «credo» — кредитки; у сребреников вырастают бумажные крылья. Карусель вертится все скорей и скорей. Тридцать звонких катышей раскатились по всему миру. Раскройте любой справочник: он вам сообщит, что все тридцать европейских государств... нет, я положительно не поспеваю за сребренниками. Они ерзают из пальцев в пальцы, звенят о сетки касс, перешвыриваются с континентов на континенты.

Время истерло их чекан и знаки: сейчас любой из тридцати можно принять и за франк, и за марку, и за лею, и за шиллинг. Обезличенные, безотличные, истертые о миллионы ладоней, тридцать сребреников стали неуловимы, и я не могу вам обещать, терпеливый читатель, что в последнюю вашу получку вам не всучили одного из них. Конечно, нехорошо быть мнительным, но я вот не могу отделаться от мысли: стоит ли обменивать эту вот итосетину на построчную плату; а вдруг за мою историю о сребрениках заплатят... сребрениками?

1927

Чистая работа

В одно из хмурых зимних нью-йоркских утр знакомое всей стране имя «Джемс Торнтон» появилось, в черных траурных рамках, в сорока двух столичных газетах, возглавляя во всех сорока двух «столбце агоний» — в неточном переводе: смертей.

Еще церковный колокол кладбища не начал своего встречного звона, как четыре телефона в кабинете секретаря мистера Томаса Торнтона, единственного наследника покойного, зазвонили впереводку. Сдержанно-радостные голоса компаньонов, подчиненных, директоров, крупных пайщиков выражали глубокое сожаление по поводу летального исхода давно уже тянувшейся болезни сэра Джемса.

Покойный почил в преклонном возрасте, оставляя временно опустевшими целый ряд председательских (черчменовских) кресел во всякого рода трестах, концертах, банках и в правлениях фабрик-гигантов. Если бы составить их вместе, эти пустые кресла, их хватило бы для зрительного зала небольшого ночного кабаре.

Мистер Томас Торнтон заканчивал свой утренний завтрак, когда лакей принес — на серебряном овале

подноса — целую колоду развернутых веерообразно визитных карточек. Мистер Торнтон был в черном смокинге, с траурным крепом над левым локтем. Он уже покончил с тартинками и жидким яйцом, скорлупа которого вернулась в фарфоровую подставку, и сейчас, держа в левой руке рюмку с коньяком, пальцами правой перебирал картонные листки на подносе. Лицо Торнтон-младшего не слишком отдаленно напоминало белый круглый циферблат с острыми черными стрелками усов, остановившимися на без двадцати четыре. Пружинно-гибкие пальцы, пробежав по ребрышкам карточек, выдернули из колоды одну. На ней прямым четким шрифтом стояло:

ДЖОН ЭТЛ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ

«ПОСМЕРТНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА»

Мистер Торнтон нажал кнопку. Кивнув в ответ на низкий поклон секретаря, он передал ему карточку, добавив размеренным металлически-цокающим голосом: — Пригласить.

Десятью секундами позже Джон Этл переступил порог столовой. Он ответил на два-три кратких вопроса предполагаемого заказчика, объяснил, что в настоящее время искусство некромассажа достигло высокого уровня и позволяет, так сказать, втереть в лицо трупа в течение первых десяти часов, пока процесс затвердения ткани не зашел слишком далеко, любую эмоцию, какую заказчик пожелает видеть на лице дорогого его сердцу покойника.

Мистер Томас хорошо помнил выдавленные агонией глазные яблоки и судорожный зигзаг рта, оттиснутый на лице покойного дяди смертью. Он одобрительно кивал в такт речи Этла и взял из рук его —

Краткий прейскурант:

Выражение покорности своей судьбе	20 долл. 50 цент.
Выражение, именуемое «чистая совесть» ..	39 долл. 95 цент.
Предчувствие рая	75 долл.
Мирное собеседование души с Господом	
среди райских кущ	150 долл.

Мистер Торнтон черкнул ногтем под последней строкой прейскуранта — и представитель фирмы некро-массажа откланялся, заверив, что через четверть часа пальцы лучших специалистов фирмы приступят к работе, и прося об одном: воспретить доступ фотографам, пока сеанс некромассажа не будет закончен.

Пока массажисты, сняв пиджаки и отстегнув манжеты, при помощи содержимого целого ряда баночек, губок, мягких и жестких кисточек втирали в холодную кожу мертвого Торнтона купленное его наследником выражение собеседования души с Господом, весть о смерти хозяина дошла до фабрик и мастерских, ему принадлежавших. При жизни миллиардер Торнтон был дружно ненавидим всеми. Не только рабочими, но и низшей администрацией его предприятий. Система штрафов, проводившаяся им с педантической неуклонностью, система слезки, — все это привело к тому, что выражения лиц у рабочих и части административного персонала торнтоновских фабрик были далеко не мирные; но какого-либо рода собеседования, даже в перерывах работы, торнтоновцам были строжайше запрещены, и они лишь молча обменивались угрюмыми взглядами, что, при желании, можно было истолковать как грусть по отошедшему в вечность хозяину.

Директора, подхватив намек, брошенный сверху, приказали сообщить рабочим по цехам, что они, в свободное от работы время, могут посетить прах досточти-

мого сэра Джемса Торнтона, который с шести вечера будет выставлен в соборе. Желательно сделать это организовано.

Желающих не нашлось.

Тогда, после краткого совещания, решено было делегировать группы рабочих для возложения венка на гроб покойному, а также для участия в похоронной процессии, которая двинется завтра, точно в три часа пополудни, от собора к кладбищу, что в конце 3-й Авеню. Там находился семейный склеп Торнтонов.

Директорат действовал с крайней осторожностью и со всей допустимой фабричными инструкциями мягкостью. Так, в целях предупреждения возможных осложнений, выборы делегатов решили заменить поименным назначением. Разумеется, наиболее надежных, обладающих проверенным послушанием рабочих. Было также постановлено: оплатить время, вычтенное похоронами из дневной работы, в размере полуставки и погасить цену венков из запасных заводских сумм.

Уже к полудню толпы людей собирались к ступеням собора. Одни за другими к порталу подкатывали авто. Щелкали фотоаппараты. Репортеры отмечали в блокнотах имена банкиров и князей биржи, чинно, в черных цилиндрах и черных перчатках, проходивших среди расступающихся шеренг полисменов внутрь собора. Вся Уолл-стрит была здесь.

Внутри храма, несмотря на тысячную толпу, царило торжественное молчание. В два началась служба. Среди стеклянно-мертвых электрических свеч замелькали живые огоньки горящего воску. Хотя им и не удавалось разогнать тени, падавшие от стен и купола сумрачного собора, но все-таки тело покойного мистера Торнтон — от сверкающих черным лаком штитлет до глянцевиной

лысины — было видно достаточно хорошо. Он лежал в хрустальном гробу с золотыми головками ангелов, ввинченными в сверкающий своими гранями хрусталь. На покойном был аккуратно застегнутый черный сюртук, руки сложены на груди. Целые горы венков, окружавшие гроб, довольно удачно имитировали «райские кущи». Но что особенно было великолепно, что заставляло людей в задних рядах становиться на цыпочки и вытягивать шею, это было лицо мистера Джемса Торнтонна. Никто никогда не видал его таким: казалось, какая-то светлая высокая мысль разгладила морщины на его лбу; сквозь закрытые веки, чудилось, сквозит исполненный мира и благородного спокойствия взгляд; губы, при жизни напоминавшие щель копилки, были полураскрыты сладостной, поистине райской улыбкой. Казалось, вот-вот они зашевелиятся и ответят Господу на его голос, слышимый лишь ему, счастливому небожителю.

Церковная служба шла к концу. Венки уже поплыли над толпой к дверям собора. Черные цилиндры переходили из пальцев правой руки в левую: некоронованные короли Уолл-стрита готовились к прощанию с прахом своего коллеги.

Еще несколько минут — и мистер Джемс Торнтон, поднятый на плечи восьми служителей в белых ливреях, двинулся, лакированными штиблетами вперед, к выходу на площадь.

Как раз в этот момент солнце, как если б и ему заплатили, растолкав тучи, бросило горсть золотых лучей, засверкавших яркими искрами на хрустальных гранях гроба.

Толпа обнажила головы.

Рабочие торнтоновских заводов длинными шпалерами стояли, урюмо глядя на мертвого хозяина, спус-

кавшегося к ним по ступеням собора. Теперь лицо его, слегка приподнятое над ниспадающим маршем лестницы, было ясно видимо. Улыбка херувима не покидала его губ, безоблачное чело было чисто, как у безгрешного младенца.

Легкий ропот прокатился по рядам. У рабочих, стоявших ближе к шествию, сжались брови, а кое у кого и кулаки. Сзади напирали. Шеренги разорвались.

Солнце наддало света. Пестрые искры распадающегося спектра заиграли над челом покойного, и многим показалось, что над головой трупа — в сыром воздухе — вспыхнуло нечто вроде тонкого радужного нимба.

Как раз в это-то мгновенье из самой гущи толпы взлетела палка. Обыкновенная, с медным набалдашником палка. Брошенная меткой рукой, она ударила почившего Торнтон по молитвенно сложенным ладоням — и он, точно пружинная марионетка, широко раскрыл руки, как если бы благословлял город и мир.

Полисмены не успели опомниться, как толпа многоголовым потоком ринулась к гробу, сшибла его с плеч носильщиков — и мистер Джемс Торнтон рухнул лицом, собеседующим с Богом, прямо на асфальт площади. Вслед за ним и хрустальный гроб, со звоном разбившийся в куски.

В воздухе мелькали резиновые дубинки полисменов. Целый хор пронзительных свистков взывал о помощи. Мелькали палки, кастеты, зонты. Взлетали над свалкой и снова падали под топчущие их ноги котелки, рабочие кепки, фуражки, цилиндры.

К концу второй минуты слышалось цоканье копыт отряда конной полиции. Площадь была оцеплена. Происходили аресты. Защелкивались браслеты наручников. Через четверть часа площадь перед собором была очищена.

Вторые похороны миллиардера Торнтона состоялись ночью. Прах был доставлен в усыпальницу на специальной автомобильной платформе. Платформу сопровождало всего лишь несколько черных машин. Они мчались по опустелым улицам столицы на третьей скорости.

1941

Дымчатый бокал

— Может, вам угодно посмотреть коллекцию старинных монет? Нумизматы хвалили. Или...

— Вы хотите, чтобы я купил у вас деньги, давно потерявшие способность покупать? Лучше...

— Тогда посмотрите мою коллекцию миниатюр. Если вы возьмете лупу...

— Скажите, а что это за бокал, вон там — слева, на полке?

— Угодно взглянуть? Сию минуту.

Антиктвар, сдвинув черную шапочку с лысины на лоб, приставил к полке лесенку — и бокал, мерца дымчатым стеклом, стал своей круглой прямой ножкой поверх прилавка.

— Странно: он как будто не пуст. Что в нем?

— Вино. Как пристало бокалу. Тысячелетней выдержки. Рекомендую. Пыль мы снимем вот этой ложечкой работы венецианского Мурано.

Посетитель антикварной лавки приподнял бокал за тонкую ножку, держа его меж окном и глазом: за дымчатым стеклом была темная дымчатая влага с легким рубиновым отсветом.

Покупатель приблизил бокал к губам и тронул несколько капель. Дымчатая поверхность вина осталась

сонной и неподвижной. Во рту терпкий — как укол сот-ни игл — вкус.

— Похож на укусы змеи, — сказал покупатель и отодвинул бокал, — кстати, мне говорили, у вас есть подбор джайновских статуэток. Я хотел бы... но странно — мой глоток не понизил уровня в этом вот вашем бокале.

Губы антиквара виновато раздвинулись, обнажая золотые пломбы:

— Видите ли, бывают, пусть в сказках, не только неразменные червонцы, но и невыпиваемые бокалы.

— Странно.

— О, слову «странно» не грозит безработица в нашем мире.

— И вы продаете этот бокал?

— Если в хорошие руки: может быть.

— Сколько вы хотите?

Антиквар выдернул из-за уха карандаш и написал на прилавке.

— Это моему кошельку не по силам.

— Хорошо. Я перчеркну ноль справа. Главное: в хорошие руки. Разрешите завернуть?

— Пожалуйста.

Покупатель вышел из лавки. В правой руке он держал бокал, обернутый в бумагу. Мимо него прошел человек с глазами, заплатанными дымчатыми стеклами консервов. Кто-то задел локтем о локоть: на бумаге у донца бокала проступили темно-красные пятна. «Пролил», — подумал человек и пошел вдоль стен домов, оберегая покупку от толчков.

Однако когда он пришел домой и развернул хрусталь, бокал был по-прежнему полон до краев, хотя по круглой ножке его и скользили расплеснутые капли.

Человек, ставший собственником невыпиваемого бокала, не сразу приступил к испытанию своей покупки. День скользил по откосу вниз. Солнце падало в закат.

Вскоре сумеречный воздух стал под цвет тонконогому стеклу. Человек взял молчаливый бокал в пальцы правой руки и приблизил его к губам. Терпкое вино ожгло губы. И отодвинутый бокал стоял снова — полный до краев, прижимаясь рубиновой влагой к верхней золотой каемке стекла.

Первые дни одноногий гость, вшагнувший своей круглой стеклянной пяткой в жизнь любителя раритетов, вел себя скромно и почти добродушно. Отдавая глотки, он тотчас же аккуратно задерживался винной влагой по самый золоченый краешек своего стекла. Он умел быть разнообразным: один глоток давал чувство пряной неги, другой — ядовитыми иглами вкалывался в язык, третий — опутывал мозг в дымчато-алую паутину. Бокал стал вскоре для человека, приобретшего его, чем-то вроде вкусовой лампы. При свете его кровавящихся капель человек читал и перечитывал свои книги, делал наброски в тетрадах. Опорожненный почти до дна, бокал тотчас же наполнялся по золотой край, снова предлагая себя губам. Человек стал пить... Он запрокидывал бокалу прозрачную пятку раз за разом. В мозгу плясали рдяные капли. Мысли ударялись друг о друга, рассыпаясь огненной пылью искр. Опорожненная влага восходила вновь, как восходит солнце, казалось бы наповал убитое закатом и погребенное ночью. Человек пил при свете дня, при свете луны и в тьме безлуны. Стекло цокало о зубы: «Еще и еще!»

Однажды человек, засыпая, опрокинул бокал. Наутро, проснувшись, он увидел всю комнату залитой темно-красной жидкостью. Жидкость, дыша терпким винным дыханием, подступала к свесившемуся краю одеяла. Посреди комнаты, тычась о ножки стола, плавал ночной тувель. Снизу, из соседской квартиры, пришли узнать, в чем дело: сквозь потолок проступали какие-то непонятные красные пятна. Человек, засунув руку по

локоть, с трудом отыскал виноточающий бокал. Он поставил бокал, облепленный винной сукровицей, на стол, и тотчас же вверх, к золотому ободку вспрыгнула темно-красная влага. Человек выпил залпом и стал приводить комнату в порядок.

Иногда дымчатые грани бокала — особенно после десятка-другого прикосновений к ним — казались владельцу его стеклистым дымком, поднимающимся от костра. Иной раз в золотом ободке, оббегающем край стеклянной вгиби, мнилась какая-то смеющаяся золотыми пломбами подлая улыбка.

Однажды — это было в ясный солнечный день, когда внутри красных капель впрыгивали рдяные искры, — человек, запрокидывая бокал, случайно заметил, что у дна его какой-то зигзаг, сочетание знаков, пожалуй, букв. Но проступь знаков тотчас же задернулась новым наплывом вина, подступившего к самому верху бокала. Человек опять опорожнил бокал, стараясь схватить глазом убегающие буквы. Но темно-красная жидкость вновь задернулась раньше, чем он успел выхватить смысл надписи. Помнилась только первая альфовидная буква — и смутное ощущение десяти или одиннадцати знаков, следовавших за ней.

«Еще раз», — подумал человек и снова быстро выпил бокал. Где-то из середины — тонкой мачтой с реей поперек — взметнулось, — и через мгновение слово затонуло в вине, как корабль, давший пробоину. Человек еще раз поднял бокал к губам. Он пил медленно, с усилием. Слово, шевеля одиннадцатью буквами, всплывало в глаза, но их задернуло мутью, и человек не мог понять, что он видит.

С этого дня началась игра глаза с бокалом. Шансы были явно неравными. От двух-трех толчков алкоголя мозг задергивало в дымчатый туман. Человек, ставший

собственником непрочитанной надписи, редко когда переступал теперь порог своего дома. На подоконниках его окон на палецросло пыли. Занавеси не разжимали своих желтых век. Владелец дымчатого бокала редко расставался со своим стеклянным гостем. Лишь раз или два его видели идущим вдоль набережной; пуговицы пальто были встегнуты криво, не в свои петли; он шел, не замечая поклонов, не слыша окликов.

* * *

В лавку антиквара вошел сутулый, с серой щетиной на щеках человек. К нему любезно пододвинулся стул, но вошедший продолжал стоять.

— Чем могу служить?

— Есть ли у вас дубликат того, дымчатого?

— Яснее.

— Дымчатого бокала. Я ближе к нищете, чем к бедности. Но вы тогда, помните, зачеркнули ноль. И если...

— Виноват, я вижу вас в первый раз. Тут, через площадь, другой антикварный магазин. Наверно...

— Нет. Та же шапочка и... Улыбнитесь!

— То есть?

— Без «то есть». Ну, вот: те же золотые пломбы, тот же лисий оскал. Ошибки нет. Притом же, когда я его бросил, невыпиваемый бокал, в реку, с моста Святого Стефана, самая река... но это меж четырех ушей, иначе... . Вот.

Посетитель сунул руку в пальто и вынул бутылочку. Повернул ей притертую пробку:

— Вот. На другой же день я спустился к реке и взял пробу. Вот эту. Оказывается, у него, у дымчатого, хватило силы окрасить воду Дуная, всего Дуная (каково?) в кровянисто-красноватый цвет. Кстати, у нее стал чуть терпкий вкус. Не верите? Глотните. Не хочешь? Так я заставлю тебя...

Только прилавок разделял двоих. Но зазвучал наддверный звонок, и в магазин вошел третий. На нем была аккуратно пригнанная шуцмановская форма.

— А-а, — радостно протянул антиквар, щедро распахивая золотой рот, — вы по поводу налога? Охотно, охотно... Ну, а вы, — повернулся он к посетителю, все еще державшему в руках пробу, — вам через площадь! «Antiquité»* — черным по желтому. Ошиблись дверью.

Посетитель, хмуря брови, спрятал бутылочку, предварительно аккуратно затиснув ее горло пробкой, потом спросил:

— И много их, этих... дверей?

Антиквар поднял плечи. Шуцман только брови».

Посетитель шагнул за порог.

* * *

Дня через два знакомый нам хозяин антикварной лавки, просматривая газетную хронику, наткнулся на строку: «Вчера с моста Св. Стефана бросился в...»

Наддверный колокольчик оборвал чтение.

1939

* «Антиквариат» (фр.).

Серый фетр

1

На разгороженных полках — как урны в колумбарии — круглые белые цилиндры. Приказчик, придвинув лестничку, взбежал наверх — и одна из урн с картонным ступком опустилась на прилавок. Приказчик сдул пыль с крышки и отбросил ее на сторону.

— Вот!

В пальцах его вращался, охорашиваясь, серый, цвета сумерек, фетр: тулья его была охвачена темной лентой; из-под края ее белел номерок. Поймав зрачками одобрительный кивок покупательницы, приказчик выдернул из кармана талонную книжку и отогнул ей листы.

2

Это нельзя было назвать мыслью. Оно было похоже на мысль не более, чем сумерки на ночь. Но всякий раз, когда на извилах мозга появлялось это серое, еще не оконтуренное пятно, все мысли настороженно щетинились, как псы, учуявшие шакала. И поэтому серый вползень выбирал время, когда огни сознания

в нейронах потушены и ветви дендритов отенены снами. Предмысль осторожно ступала по окраинным, предместьевым извилинам мозга, не находя нигде себе приюта.

Так было и в эту ночь. Серый вползень, пользуясь тем, что веки мозговладельца наглухо закрыты, прокрался в мозг, замешавшись в толпу идущих из далей в дали переселенцев — снов. Но внезапно мозг ударило голосом, сны бросились врассыпную и веки распахнулись. Человек, приподнявшись на локте, увидел: женино лицо — поперек лица улыбка — под улыбкой на подогнутых ладонях серый фетр.

— Этак можно проспать свои именины!

Муж провел рукой по срезу полей шляпы.

— Сколько раз я просил! Людям, сделавшим себе имя, все дни именины. Ну а именины безымянных — это как перчатки для безрукого. Не надо...

— Ты все-таки примерь.

— Наверное, тесная. Ну вот, так и есть. У меня голова, а не колодка для растягивания шляп. Отставить!

В это утро чайная ложечка громче обычного тыкалась о стекло. Складень газеты остался неразогнутым. Под глазами, наклоненными к желтому чаю, желтелились сердитые мешки; казалось, глаз прячет в них излишки солнца, недовиденные образы, как обезьяна непрожеванную пищу за щеку. Именинник отодвинул стакан и быстро прошел в переднюю. Пальцы его скользнули по вешалочным крючьям, не находя нужного.

— Кой черт! Где моя старая шляпа? Глаша!

Сквозь комнаты сначала топот ног, затем голос:

— Приказано было выбросить:

Именинник, досадливо хмурясь, протянул руку к полке и снял новую шляпу. Он даже вшагнул в комнату, чтобы внимательнее осмотреть подарок: серый обег по-

лей, аккуратно вдавленный суконный пробор и даже шелковый снурок дважды вокруг тульи. Но было что-то в самом прикосновении ворса, в цвете и контуре фетра, заставившее подглазные мешки шевельнуться и выпятить обвись, как если бы в них вложили новый — меж глазом и мозгом перехваченный — образ.

Держа шляпу в руках, человек открыл выходную дверь, и ступеньки закружили его шаги вокруг пролета.

И в это-то время серое пятно, давно уже блуждающее по окраинам мозга, внезапно оконтурилось и превратилось в мысль. Точно черной молнией по мозгу. Фигур выпал из расщепленных пальцев, человек нагнулся, поднял, даже механически отер обшлагом шляпу, но весь он был во власти внезапно охватившей его мысли.

Он шел среди раздробы шагов, меж торопящихся оттопыренных портфелями локтей и думал: зачем жить?

Шаги вели его мимо вращающихся на афишных осях букв, мимо серых шин, расталкивающих толпу, сквозь воздух, полный пыли, криков, вони и переключивающихся шляп, мимо своего отражения, падающего в стекло витрин, на расцифрованную жесть, резину, картон и манекены, и повторял: зачем?

Это было нестерпимо. Все в нем возмущалось, все мысли поднялись против вторгшегося «зачем». Мысль ширилась, как брызг серной кислоты, расползающейся по ткани. Он чувствовал, что власть над собой переходит от него к ней. Кто-то из прохожих, наткнувшись глазами на его лицо, остановился и опасно поглядел вслед. Лоб его облил потом. Стараясь побороть психический спазм, человек, защищая себя от взглядов, быстро надел фетр и низко надвинул поля. В то же мгновение мысль, как нить, выскользнувшая из иглы, выпала из его сознания. Все оборвалось так же внезапно, как и возникло.

Человек, растерянно оглядывавший — в поисках причины — пространство вокруг себя и время позади и впереди «сейчас», не догадался лишь сделать одно: заглянуть себе под шляпу.

Любая мозговая извилина, как и линия любого переулка, имеет свою хронику происшествий. Мысли бродят по серой панели мозга то в строю силлогизма, то враздробь, одинокими прохожими; одни из них гнутся под грузом смысла, другие — головами кверху, как пустые колосья. Мысли в голове человека, висящего на телефонном проводе, тоже висят весь день на ассоциативных нитях, переассоциируясь друг с другом. Иные мысли живут одиноко, домоседами своих нейронов. Другие шмыгают по извилинам мозга, предлагая себя к домыслению. К ночи мозгогород, прикрытый черепной макушкой, засыпает. Перекидные лестнички дендритов отдергиваются друг от друга. Мысли засыпают — и только ночные сторожа, сны, бродят по опустелым извилинам мозга.

С рассветом светает и в сознании. Мысли выходят из своих нейроспален, прилаживая субъект к предикату. Умозаключение делает утреннюю зарядку: малая посылка чехардно прыгает через большую, большая — через вывод. Проснувшееся мирозерцание созерцает из всех сил.

Нетрудно себе представить, что произошло, когда в одну из таких солнечных минут, в полном ярком мыслесвете возник среди подчерепного мирка мыслей сумеркосветный Зачемжить. Зачемжить шел, конфузливо волоча за собой свою тень и стараясь разминуться с неприятными ассоциациями. Но ассоциации тотчас же заметили его и, хмурия свои смыслы, внимательно

всматривались вслед Зачемжитьевой походке. Кто-то сказал короткое: «Бей!» — другой кто-то: «Зачем жить Зачемжитю?» Мысли, смыкаясь в толпу, шли позади Зачемжитя, пододвигаясь все ближе и ближе к его шагу. Он попробовал было юркнуть в одну из мозговых извилин, но навстречу ему выставилось несколько сцепившихся руками враждебных ассоциаций. Зачемжить ускорил шаг. Но расстояние между ним и преследующими укорачивалось. Шаг перешел в бег. Мыслетолпа надвигалась, грозя нахлынуть и размыслить в ничто. Зачемжить, напрягая последние силы, свернул в пустынный мозговой извив и добсжал до черепной стенки. Преследование не утихло, он слышал близящийся колючий шаг догоняющих мыслей. Надо было решаться. Впереди, поперек височной стены, зигзагился черепной шов. Зачемжить протиснулся в шов и выпрыгнул наружу. Прямо перед ним, прижавшись желтой кожей к коже виска, топырилась фетровая внутритульевая закладка. Беглец, еле переводя дух, прыгнул меж сукна и кожи и застыл, вслушиваясь в зачерепной шум.

Преследование как будто утихло, оборвавшись там, где-то позади, за стеной лба. Мысль сидела, стараясь не шелохнуться в своем убежище. Так произошел единственный в истории мыслестранствий случай: крайняя необходимость заставила идею переселиться из мозга в его окрестности, из головы — в шляпу.

4

Жена типично изменяла с типичным любовником. У любовника были воротнички 42 и тридцативосьмисантиметровые бицепсы. В юности его мышление

было рассеяно более или менее равномерно по всей нервной системе, но затем оно стянулось к четвертому и пятому поясничным позвонкам, заведующим, как известно, сексуальными рефлексами. Любовник полагал, что женщины различаются лишь цветом юбок, в сумерках, кстати, неразличимым. С сумерками он вообще был в дружбе. И когда после энных объятий где-то в прихожей зашуршал английский ключ, любовник нырнул в самый темный угол, ища помощи у сумерек. Совсем недалеко — мимо прикрытой двери — прошагали знакомые прижимистые шаги. Справа хлопнула створа двери. Любовник, приведя себя в порядок, вышел на цыпочках в прихожую и, разменявшись беззвучным поцелуем, сдернул с вешалочного крюка шляпу. Второпях он не заметил, что шляпа была шляпой мужа. Серый фетр покорно вшершавился меж указательного и большого пальца левой его руки.

5

Любовник шел по уснувшим улицам города, обмахиваясь шляпой. Небо сигнализировало зелеными звездами: путь в жизнь свободен.

Грудь легко вбирала черный воздух. Думалось: как хорошо, что у жизни никакого смысла, как хорошо, что вот поужинал женщиной, а там, дома, на столе ждут ветчина и бутылка белого вина, как хорошо, что там где-то кто-то думает за тех вот, тут вот, которым можно не думать. Человек взглянул вперед: навстречу ему близилось взгорбие моста. Огни послеполуночного города хотели утонуть в реке — и не могли: она и ветер колыхали их на черных рябях. Он дошел до середины излучины и на-

гнулся над мостовым барьером. Сверху ударило легкой россыпью дождевых капель. Надо надеть шляпу. Ну вот, готово.

Зачемжить, почувствовав притиск горячей чело-
вечьей кости к коже его временного жилища, зашевелился. Черт побери, он не создан для внечерепных мытарств. Вспомнилось мозговое тепло, мягкость серой коры, уютная глубь мыслевых извилин. Зачемжить, выкарабкавшись из кожаной пазухи, подобрался к тменному шву и осторожно впрыгнул в мозг незнакомца.

Бывают мозги вечно бодрствующие — под нетухнущими лампами смыслов, — умоцентры, извилины которых пересекаются, как перекрестки нью-йоркских авеню. Бывают умы тихие, но трудолюбивые, как рыбацкая деревня. Они любят сонные паузы (Декарт спал одиннадцать часов в сутки), но, проснувшись, они забрасывают свои многоузлые мрежи в истину и терпеливо ждут улова. Бывают умы, которые были умами, но обветшали, растратили населившие их мысли, легли под леты секундных песков, превратились в музейные мозги, редко посещаемые мыслями-туристами. Таким именно был мозг человека, надевшего чужую шляпу с чужим Зачемжитьм, запрятанным под кожаную закладку. Мысль, соскучившаяся по мозгу, впрыгнула внутрь чужой головы и стала быстро, с рвением подлинного туриста, обегать все его — самые потаенные — закоулки. Следы Зачемжитя прикоснулись ко всем нейронам, ко всем нервным нитям и перетяжкам. Человек, охватив руками мостовые перила, стоял — лицом в полузатонувшие огни. Меж шляпой и лбом капелился холодный пот. «Зачемжить?» — дернулось с губы, человек нагнулся ниже, потом еще ниже, и всплеск разомкнувшихся огней ответил кратко и холодно на двусловие.

Дедушку Ходовица любили все в округе. Он служил сторожем и водным сигнальщиком в шести километрах, считая по течению реки. Сегодня, как и вчера, и позавчера, он встал с первой прожелтиной зари и, закинув удочки за сутулое плечо, спустился по песчаному скосу к берегу реки. Сигнальные знаки — белые и красные свеси на гэобразной мачте — были в порядке. Наживив червяков, Ходовиц забросил крюки в утреннюю, еще спящую воду. Какая-то мелкая рыбешка пошутила со своей смертью, слегка потормошив поплавок, и уплыла вглубь. Через двадцать три минуты надо бы быть пароходу из города. Ходовиц нагнулся к удилищам, чтобы проверить червячков. Первое — в порядке. Второе — тоже. Третье — что за черт! — увязло в руке, вытягивая струной свою лесу. Старик потянул крепче: прямо на него плыло что-то серое и круглое с высоким вздольем. Через десяток секунд Ходовиц, удивленно покачивая головой, рассматривал серую измокшую шляпу, снятую с крючка. Чудеса.

Сторож Ходовиц по воскресеньям имел обыкновенные заходить за двумя-тремя глотками пива в близлежащую кнайпу. Два-три глотка — это надо понимать, конечно, условно. Над пивной пеной всплывала лопающаяся пустотами пена воспоминаний, дружественные чоки звенели стеклом в стекло, дым из трубок пробовал живьем вознестись на небо, а щеки кельнера — подкумачить-ся под цвет кумачового передника.

На этот раз «старина Ходовиц» был встречен особенно торжественно. Десяток кружек почтительно поднялось навстречу вошедшему. Триумф был подготовлен самим триумфатором: тщательно высушенный и выгуженный серый фетр, подаренный ему рекой, городской фетр, который он, не без чувства робости, нес всю дорогу в руках, завернув его в фуляр, сейчас красовался, сверкая графитной лентой, изящно выгнутой тульей и серым шелковым снурком над сединами старика.

В этот день пиво особенно легко булькало сквозь воронки горл. Фетр напалз на виски старику и внимательно слушал тосты и перезвук кружек. Старик пил, отвечал на шутки и поздравления и с каждым глотком становился мрачнее и непонятнее себе самому.

Дело в том, что Зачемжить, промокший и продрогший в шляпе, в которую он успел выпрыгнуть из мозга утопленника, как выпрыгивают из тонущего судна в спасательную шлюпку, искал тепла человеческой крови и внутричерепного крова. Проникнув — при первом же притиске головы к шляпе — в рыхлый, склеротический мозг старика, он тотчас же начал распорядиться в нем по-своему.

Полужилой, напоминающий селение, через которое прошла чума, мозг старика был не густо населен мыслями-инвалидами и мыслями-пенсионерами. Они получали свою скудную плату одобрения, дружеские похлопывания по плечу, «верно, старина», «расскажи-ка еще раз», но передвигались они на логических костылях, с прихромью и ковыляньем. При виде вторгшегося Зачемжитя нейронные инвалиды запрятались по своим норам, и мозг поступил в полную власть Зачемжитя.

Старик хмуро отодвинул стакан и, несмотря на уговоры, оставил веселую компанию. Он шел домой сквозь ночь и теплые удары ветра, нахлобучивая на лоб неприятно тесную шляпу и бормоча: «Зачем жить?..»

Утренний пароход, подплывший из города, не встретил обычного сигнального огня. Старик висел в петле под потолком сторожки. Снизу под выгнутыми смертным спазмом пятками лежал опрокинутый табурет.

8

Манко Ходовицу не хватало шести дней до восемнадцати лет. Эти шесть дней нужны ему были до зарезу. У Манко была невеста, а жениться ранее восемнадцати — день в день — нельзя.

Манко читал по слогам. Но слогов в телеграмме, присланной из большого города (в городах Манко не бывал), было немного, и он овладел их смыслом. Смысл был прост: его дядя, водный сторож у города, о котором он смутно знал по рассказам покойной матери, умер; его, Манко, вызывали в город — получить небольшое, но большое своей неожиданностью наследство. Манко прикинул в своем не слишком поворотливом мозгу: из денег можно сделать избу, купить корову, пожалуй, и лошадь. Все это очень и очень подымет его вес в глазах родителей невесты. С вечерним поездом Манко отправился в город.

Все шло как нельзя лучше. Манко получил деньги, которые он тотчас же запрятал под рубаху в нагрудный мешочек, продал соседу кой-какую утварь в казенной сторожке покойного дяди. Все было в порядке. Поезд через полтора часа. И только уже в минуту ухода, окинув глазом молчаливую сторожку, Манко заметил в углу на деревянном тычке сереющий сквозь серость сумерек фетр. Он сдернул его с тычка и вышел, вжав двери в стену.

Сперва — до города — он нес серую шляпу в руке. Но два-три прохожих, остановившие его словом «Продаешь?», заставили Манко изменить отношение к этой детали наследства. Он снял с головы свой порядком просаленный картуз, сунул его в карман и надел поверх пружинно-упругих черных волос серую франтоватую городскую шляпу. Чем он хуже других! Манко шел к вокзалу, закинув голову и весело посвистывая. Но с каждым шагом его и Зачемжить делал шаг внутри головы, и свинцовая тяжесть опускалась на мозговые излучины парня. У него был нехитрый деревенский мозг. Как деревня тянет череду своих изб вдоль одной улицы, так и мысли парня тянулись одноулично. И тянулись они к одному: к невесте. Но сейчас, пристально вглядываясь сквозь себя, он никак не мог различить ее образа. Между нею и им стоял, корча препоганые рожи, Зачемжить. Манко взял билет, автоматически вшагнул в вагон с деревянными сиденьями, сел.

Рядом, у локтя, кто-то копошился, разувливая сундучные узлы, кто-то выдергивал губами из длинной дудки короткие носовые тюкающие звуки. Женщина напротив Манко, покачав добрым лицом, сказала: «Хорошая шляпа, паренек», — а старик, поконавшись костистой пядью в бело-желтой бороде, прослюнявил: «Да сам-то паренек — шляпа». Манко не заметил, как поезд завращал своими осями. Что-то змееносное присосалось к сердцу и жадно заглатывало жизнь. Манко повернул лицо, орошенное потом, к окну: за стеклом бежали, замахиваясь на него деревянными руками, деревья; грязно-серое облако вползало липким кляпом в глаза. Тоска стала непереносной, как подбирающаяся к горлу рвота. Манко, поднявшись, быстро вышел в тамбур. Под колесами загрохотал мост. За отмельком фермовых решеток — свободный воздух, а снизу — отвесный скат насы-

пи. Перегнувшись с верхней ступеньки, Манко оторвал левую руку от поручня. Зачем жить?

И в это мгновение — резким ударом ветра — с головы его сорвало шляпу. «Зачем жить?» еще не успело оставить белеющих губ, но Зачемжить, стараясь разминуться с смертью, успел выпрыгнуть в свое ставшее привычным обиталище. Манко висел лишь на сцепе трех пальцев правой руки. Крутым поворотом колес его рвануло вниз, в бездну, — один палец сорвался с поручня, но два еще цеплялись за поручень и жизнь. Нечеловеческим усилием Манко отшатнул свое тело от ската внутрь. Ветер трепал его волосы и бил по раскаленным щекам. Стараясь поймать выпрыгивающее из горла дыхание, он вернулся в вагон. Его встретили сперва недоуменными улыбками, потом смехом: «Шляпу-то забрал ветер? Жди, когда ветер отдаст...» И под раздвинутые насмешкой рты Манко весело засмеялся, показывая белую клавиатуру зубов. О, в шляпе ли дело, когда дело в шляпе: вот тут, под рубашкой, топырящиеся деньги, а впереди — любовь, жизнь, рождающая жизни, и снова любовь.

9

Между тем шляпа с Зачемжитом, спрятанным за кожаный привисочный ее полог, цепляясь за стебли трав, скатывалась по насыпи вниз...

И пусть себе. Слову моему я, автор, говорю: стоп, ни с места. Новелла эта написана по методу нанизывания. Самый дешевый способ, за который тем не менее почему-то платят построчной платой и читательским вниманием.

Ну куда мог попасть в дальнейшем планирующий Зачемжить: в руки железнодорожного сторожа, пропой-

цы, превратившего свою жизнь в сплошную зачехжизнь; в руки случайно проезжающего велосипедиста, прикрывшего Зачемжитьевой скоростью свои туристские мозги; в раздевалку летнего театра, где так легко перепутать номерки и тем заставить Зачемжитя еще раз поменять квартиру... И вообще. — мало ли куда. И стоит ли на это тратить воображение?

Важно только одно. Серый фетр, переходя из рук в руки, должен был превратиться — рано ли, поздно ли — в грязный фетр, в старую, запошенную и затертую шляпу, от которой брезгливо отдергиваются все сколько-нибудь уважающие себя лысины и темена. Короче, к последней главе повеллы бывший фетр — с оборванной шелковой нитью, затерханной лентой вокруг тульи и обвислыми полями — попадает — в виде подаяния — к нищему.

Как я ясно вижу последнюю главу меняющего головы фетра! Нищий стоит под зенитным солнцем. Солнце бьет желтыми бичами по его облезлому черепу.

Но по нищенскому этикету не принято надевать шляпу на голову — ее надо держать в руке, протянутой под пятаки.

И бедный Зачемжить, сидя под ударами пятаковых ребер, тщетно мечтает о вырыге в человеческий мозг. Нет, теперь это вряд ли для него возможно: так, видно, и жить ему, Зачемжитю, под тычками медяков, хлестом солнечных лучей и ударами дождевых капель. И отщепенцу Зачемжитю надо решать — на этот раз уж для себя самого — проблему: зачем жить?

Соната «Death's Door»*

I

М-р Реджинальд Парснип терпеть не мог музыки. Но он был очень ревнив и не отпускал жену одну на симфонические четверги в Кингс-Холл. Миссис Гвендолен Парснип терпеть не могла сэра Реджинальда, но ей нравились его поместья и чековая книжка. Поэтому приходилось терпеть прилипшего к левому локтя мужа. Супруги во многом разнились. И во вкусах, и в возрасте: на пятьдесят два года; миссис Гвенни, как называл ее муж, было всего двадцать.

Но м-р Парснип цепко хватался зубами — точнее, вставными челюстями — за жизнь. Легкое и ровное дыхание жены, заставлявшее чуть скрипеть шелк, охватывающий ее грудь, казалось ему гораздо музыкальнее всех музык. Сквозь стеклянный купол Кингс-Холла падали лучи мутного лондонского ре минор. Смычки, осторожно продергиваясь сквозь воздух, как иглы сквозь прозрачную ткань, вышивали мелодическое rrrr. Палочка в руке м-ра Коутса («Шляется из Лондона в Москву и обратно, — брюзгливо подумал Парснип, — я бы тебя не палочкой, а палкой из империи») четкими штрихами разрезального ножа, вскрывающего страницу за страни-

* Двери смерти (англ.)

цей, отсчитывала восьмичетвертный такт. Вдруг резкое перечеркивающее движение палочки, и сурдины попрыгались по фрачным жилетным карманам скрипачей, а серебряные раструбы, закачавшись, швырнули в уши горсть металлических звуков. Парснип глубже задвинул вату в уши и подумал, глядя на широкую спину дирижера: «Дюжий парень — ему бы дрова рубить или, там, стругать мешки. Больше бы пользы».

Наконец палочка ткнулась о тишину и утомленно легла на понитр. К лучам солнца подбавили электрического света. Антракт.

М-р Парснип, не отликая от круглого локтя жены, шаркал по паркету фойе. На поклоны, изгибы шеи он отвечал короткими кивками. Вокруг череда фраковых двуххвостий, забелиленных декольте, замотанных в жемчуга и золотые нити круглых шей и взлески золота изпод шевелящихся губ.

— Кто это? — Миссис Гвендолен легким движением локтя как бы взболтнула своего мужа, полуусыпленного однообразным кружением по фойе. М-р Парснип вздернул синие веки и растерянно огляделся по сторонам. У стены, спиной к колонне, стоял человек несколько необычной наружности, необычность которой усиливалась и своеобразием одежды. Тонкая, стройная фигура его была охвачена черным фраком, над стоячим воротничком и легким бантом галстука, казалось, готового бабочкой взлететь в купол, смуглое с синеватым отливом лицо; над ярко-белыми длинными прорезями белков и седеющими висками полосатая бело-красная шелковая ткань упругого тюрбана; надо лбом и выгибью черных сросшихся бровей — фонтаном бьющий вверх султан.

— Кто? — повторила снова леди Гвендолен. И раньше, чем губы м-ра Реджинальда приискали ответ, перед

парой заблестала лысина и благодушный, с отстегнутой пуговицей у нижнего края, белый жилет м-ра Следжа:

— Вас интересует, дорогая леди, это турбанофрачное существо, — Следж нагнулся к руке миссис Парснип, отражая глянец темени ее алмазную брошь, — не вас одну. Индус этот — он прибыл всего лишь дня три тому из Калькутты — сразу же задел любопытство, более того — любознательность общества. Притом не праздную. Он делает положительные чудеса. Например, не далее как вчера, на званом вечере у Эдживенов, он переселил мысли миссис Эдживен из ее головы в бокал с шампанским и предложил мистеру Эдживену выпить мысли своей супруги. Тот выпил. И представьте себе, они разводятся.

— Ну, Джон, я не замечал до сих пор за вами склонности к пересказам бабьих сказок.

— Я тоже, мистер Реджинальд. Но как прикажете обращаться со сказочными фактами. Бывают и такие. Сегодня вот этот вот Бен-Намир (так его, кажется, зовут), присутствуя как гость на ланче у Грея, у старого лорда Ричарда Грея, заставил стенные столовые часы точно воспроизвести стуком маятника биение сердца хозяина. Присутствующий врач, сверяя стук сердца со стуком маятника, принужден был констатировать факт. Но я расскажу вам еще более замечательное...

— Послушайте, мистер Следж, — голос леди Гвендолен был упруг и четок, — сейчас же представьте мне и моему мужу Бен-Намира. Прежде чем пробьет второй звонок, я хочу...

Следж перевел глаза от властного контура рта леди Гвендолен к запавшей ротовой щели ее мужа. Губы его молча шевелились, точно прожевывая что-то кислое.

— Имя — Коутс — петтикоутс, — развел руками Следж, и через минуту глазные яблоки индуса ворочались в длинных прорезях, переводя зрачки с жены на мужа и с мужа на жену. Первая встреча вскоре была

прервана звонком, зовущим в зал. М-р и миссис Парснип занял свои места в третьем ряду.

К краю эстрады подходил невысокий кривоногий человек со скрипкой под правым локтем и смычком, свесившимся к земле. Его встретил переплеск ладоней. Одежда сидела на нем мешковато, голова, в ответ на аплодисменты, мотнулась куда-то вбок. «Если этот парень работает смычком так, как его портной ножницами, — добра не жди», — подумал м-р Парснип и прикрыл глаза, готовясь чуть-чуть вздремнуть. Но «парень» первым же ударом смычка о струны широко раздернул веки Парснипа: это была долгая, густая низкая нота на первой струне. Скрипач как-то вытянулся кверху, и даже левое плечо, подпирающее скрипку, поднялось вровень с правым, возвращая его телу стройность и правильность форм. Из-под смычкового притиска возникала черная, как беззвездная ночь, мелодия. Парснип вдруг почувствовал неприятные, колющие толчки сердца и, болезненно морщась, нажал крышку карманных часов (скоро ли уж?): стрелка учащенно и перебойно дергалась по минутному кругу. Парснип зажал ее крышкой и провел рукой по лбу: лоб оросился холодными каплями. Скрипач продолжал, вдалбливая вибрирующие пальцы в струну и раскачиваясь телом в ритм зловещей мелодии. Парснип перегнулся к соседу слева — в руке у него белел листок программы — и тихо спросил:

- Что это?
- Соната Des dur*.
- Как? Death's door?***
- Да.

Парснип, цепляясь руками за спинки кресел, встал и двинулся к проходу. Вокруг негромко зашикали. Жена

* Ре мажор

изумленно следовала за неожиданно вышедшим из повиновения мужем. Дойдя до полутемного фойе, м-р Парснип прислонился грудью к стене и цепенеющим языком проговорил:

— Скорей. Автомобиль. И врача.

II

Первые два дня здоровье м-ра Парснипа держало хотя и неустойчивое — но все же равновесие. Может быть, этому способствовала тишина его прилондонского поместья. Сердце дергалось, точно на ниточке, но все-таки дергалось.

К утру третьего дня больной совсем приободрился:

— Гвенни, — сказал он, привставая на левом локте, — дай мне мои челюсти из стакана: я хочу тебя поцеловать.

— Нет, дорогой мой, пусть поцелуй остается в стакане. Тебе вредно.

Миссис Гвендолен стояла лицом к окну, глядя, как осенний ветер колышет вековые дубы сада. Вот там — под этим ерошащим в воздухе листья дубом — ее впервые поцеловал Эдуард. У него под губами крепкие зубы и легкий запах сигары. И зовет он ее именем первой буквы имени: Джи. О, Эдди.

Но к вечеру больному стало много хуже. Был вызван врач. Врач прощупал пульс, аускультировал дыхание и недовольно качал головой. На следующее утро он стал еще серьезнее:

— Мистер Парснип, все мы сперва живем, а потом...

— Не понимаю ваших слов.

— Видите ли, сэр, как это называется?.. ах да: смерть. Оставляю вас с этим словом вдвоем. Врач сделал свое. Очередь за нотариусом и священником. Имею честь.

М-р Парснип пролежал минут двадцать, чувствуя, как холодеют концы ног, и вслушиваясь в свое шелестящее дыхание. Затем рука его дотянулась до кнопки. Он говорил тихо и невнятно. Но все же слова его были понятны: к вечеру автомобиль, спешно посланный в Лондон, примчал Бен-Намира.

Индус был введен — сквозь анфиладу чинных покоев — в спальню хозяина замка. Через минуту он сидел, придвинувшись коленями к шитому золотом одеялу больного. Ему пришлось наклонить ухо к еле различимому шелесту, исходившему из беззубой ротовой щели м-ра Парснипа:

— Я призвал вас, чтобы вы помогли мне в деле, касающемся не столько этого, сколько того света.

— Сэр, я не дам и двух пенни за так называемый тот свет.

— А я дам вам десять тысяч фунтов, если вы устроите мне тот в этом.

— Слушаю?

— Душе моей конец. И я не выбрасываю сигнала: спасите мою душу! Но есть нечто большее души. Это любовь, сэр, нет, неистовство чувств к моей жене. При одной мысли, что она останется без меня, я чувствую, что не переживу своей...

— Своей смерти, сэр? Вы на верном пути. Есть то, что мы, йоги, называем «порог смерти», death's door...

— Проклятый смычкист...

— Представьте себе, что человек, уходящий за этот порог в небытие, зацепился за него носком туфли — и туфля осталась по сю сторону, в то время как все остальное... вы понимаете меня?

— Не совсем.

— Но ведь дело именно в «не совсем». Вы хотите не совсем разлучиться с вашей супругой. Ведь так? Вы хотите зацепиться за ее тело, как за порог, и жить вблизи него хотя бы малою долей жизни. Разрешите проверить, сколько на вашем текущем счету бытия осталось часов и минут.

Тюрбан индуса наклонился к груди умирающего, пальцы его — с проворством пальцев пианиста — пробежали по ребрам, вокруг сердца и по подложечью.

— Гм, максимум двадцать часов. Надо торопиться. Где у вас телефон? Я распоряджусь, чтоб вам привезли... но об этом после. Кстати, вызовите нотариуса. Необходимо включить новый пункт в завещание. Все суммы, отказанные вашей супруге, переходят к ней при условии, если она будет спать, укрываясь завещанным ей сине-черным одеялом. Подробные приметы предоставим определить нотариусу. Прикажите, чтобы вам принесли чековую книжку.

III

Перед утром в замок был доставлен большой четырехугольный сверток. Его внесли в спальную м-ра Парснипа. Индус и умирающий снова остались наедине.

Бен-Намир снял верхнюю покрывку со свертка. Разматываясь скользкими розгибами, перед глазами м-ра Парснипа появилось синее в черных непонятных письменах шелковое одеяло. Таких не делают в Европе. Бесчисленные прессованные шелковинки отливали синими росинами; орнамент черных знаков бежал по краю и перерезывал поверхность по диагонали.

— Вот, это ваше новое тело, мистер Парснип. Приступим к переезду: с квартиры, так сказать, на квартиру. Индус снял скюртук и отстегнул манжеты.

— Будем брать пример с ваших английских хозяев. Когда они хотят приготовить пудинг, то, смешав нужные специи, туго заматывают смесь в пудинг-кюз, пудинговый мешок. Сделаем то же самое.

Говоривший сдернул с костенеющего тела Парснипа его золотоцветное одеяло и стал плотно укутывать пациента в черные знаки и синюю ткань вновь принесенного покрывала.

— Вот так. Учитесь, сэр, как проникать к телу вашей вдовы. Разрешите еще теснее. Пудинг — так говорит по крайней мере поваренная книга — охватываемый плотно кюзом, в данном случае одеялом, отдает ему часть своей эссенции и удерживает свою, так сказать, душу, свой аромат, не рассеивая его в воздух. После того как смесь окончательно остынет... Погодите, погодите, сэр, закостеневать. Не давайте белеть зрачкам: я еще покажу им нечто, что подтвердит чистоту и добросовестность моей работы.

Бен-Намир сдернул одеяло и стал складывать его: сперва вдвое, потом вчетверо. Психоэнергия лорда Парснипа, уходящая в ничто и успевшая, в некоторой своей части, задержаться в порах черно-синего покрывала, как в порах фильтра, не привыкла к такому обращению. Качества гордости и непреклонности, свойственные ей по наследству и воспитанию, тотчас же разогнули новое шелковое тело, растопорщив его четырьмя упрямыми углами.

Но индус был тоже упрям: навалившись грудью и локтями на новое тело Парснипа, он скатал его в тугий рулон и сел поверх, придерживая пальцами свирепо шевелящиеся кончики: «Сэр, бросьте к черту ваше дурац-

кое сэрство. У вас теперь шелковое тело, и я заставлю вас быть шелковым. Вы не в Верхней Палате, а поверх кровати.

Ваше одеялье дело: молчать и греть. И если вы не утихомиритесь, как подобает покойнику, то будете взгреты. Я повышибу из вас: и пыль, и пыль».

Одеяло опустило четыре синих уха книзу и покорно лежало, не шевелясь ни единой шелковинкой.

IV

Похороны м-ра Парснипа были очень торжественные. На них присутствовали все, кроме самого Парснипа, лежавшего поверх широкого двуспального ложа его вдовы, миссис Гвендолен, в ее просторной спальне.

Бракосочетание миссис Гвендолен и Эдуарда Коркнеля, состоявшееся год спустя, было значительно скромнее. Присутствовали лишь ближайшие друзья невесты и жениха.

За этот год посмертной жизни м-ра Парснипа ему пришлось перенести немало невзгод и неожиданностей.

Прежде всего, ни Бен-Намир, ни его пациент не учли того обстоятельства, что одеяло было зимним, в то время как смерть, или, точнее, переселение сэра Реджинальда, произошло в конце марта. С наступлением летнего тепла одеяло, упомянутое в добавочном пункте к завещанию, с разрешения нотариуса было временно заменено другим, легким одеялом. Можно представить себе огорчение сэра Реджинальда, когда его, стацив с кровати любимой женщины, сложили ввосьмеро, посыпали нафталином, зашили в полотняный мешок и запрятали в темный шкаф. Здесь было ничем не лучше, чем

в родовом склепе. Неудобная поза, восьмикратно скрючившая тело, разбудила старые ревматические боли, от нафталинового удушья хотелось чихать и кашлять, а кашлять было нечем.

Где-то за ореховой стенкой шкапа раздавались иногда голоса, чьи-то шаги, даже как будто пение. Парснип недовольно наставлял синее шелковое ухо, вслушиваясь в глухие перебивки жизни его дома. Но чаще всего он дремал, и тогда ему казалось, будто черные непонятные письма, втканные в его новое тело, скользят по ворсу, расшифровываясь черными кошмарами.

V

Нотариус, утвердивший завещание год тому назад скончавшегося сэра Парснипа, не слишком интересовался строгим соблюдением последнего пункта завещательного акта. Он смотрел на него как на проявление старческого чудачества и слабоумия. Не по-джентльменски — мешаться в интимные дела молодой леди, в ее ночные будни. Но бывают дни, когда форма должна быть строго соблюдена. За четыре дня до бракосочетания вдовы м-ра Парснипа нотариус вежливо напомнил, что в вечер свадьбы, когда близким родственникам и домочадцам — согласно обычаю — показывают брачный покой, пункт, точнее, завещательное условие о сине-черном одеяле должно быть строго соблюдено.

В утро дня, когда должно было состояться венчание, ореховый склеп раскрылся и м-ра Реджинальда Парснипа выволокли на ковер. Шов мешка был распорот, и пальцы двух горничных высвободили его сложенное в восемь раз тело. Раскатанный по ковру, Парснип не без удовольствия разогнул свои ноющие складки, распрямляясь во всю свою двуспальную ширь.

Но это была лишь минута проблеска в послежизни сэра Реджинальда. Горничные, о чем-то посоветовавшись, вынесли Парснипа из комнат наружу, на холодный морозный воздух и грубо перебросили через веревку, протянутую от стены к стене. М-р Парснип всегда боялся простуды. Он обеспокоенно зашевелился на веревке, и тотчас же одна из горничных сказала: «Ветер».

И тут началось нечто, заставившее сэра Реджинальда содрогнуться до самых тончайших своих шелковых фибр. Его, члена Палаты, потомственного шестого баронета, прямого потомка адмирала Эрджина Парснипа, стали бить. Били его в две руки: плетеной трепалкой и обыкновенным деревянным шестом. Парснип, выгибаясь под ударами, плевался пылью и нафталином.

Наконец экзекуция кончилась, и несчастный был водворен поверх белоснежных простынь на супружеское ложе, меж двух резных золоченых спинок.

Тело его ныло, и он бессильно пластался, принимая верхним краем к взбитой подушке. Изредка приходили люди и оглядывали опочивальню. На минуту вошла и сама Гвенни. Но странно, почему на ней подвенечное платье? Парснип задрожал и почувствовал: сине-черные ворсинки на его поверхности зашевелились и стали дыбом.

— Хорошо его выколотили, Джемми? — спросила миссис Гвендолен и мечтательно посмотрела на одеяло.

VI

Незадолго перед вечером весь дом опустел. Огни в спальней не горели. Только откуда-то — через две комнаты — шуршал раструб радио. Его недовыключили, и в

нем возникали и никли смутные шумы. Именно в этот сумеречный час перед мембраной центрального радиоприемника стоял скрипач. Он и теперь, как тогда, подоткнул скрипку левым плечом и с каждым тактом распрямлялся, делаясь статнее от мелодии. Под притиском, казалось, в бесконечность протянувшегося смычка рождалась низкая вибрирующая нота. Ему было все равно: человека ли уши — круг мембраны — пустота ль пустынь...

Заслышав шорохи сонаты *Death's door*, Парснип крепче прижался к матрасу. Опять. Недоброе предвестие. Страх прикоснулся к скользким ворсинкам. Даже после смерти Парснип боялся смерти. Но вскоре опустелый дом снова наполнился шагами и шумами. Послышались громкие голоса, звон стекла о стекло, стук придвигаемых и отодвигаемых кресел. Парснип лежал сам не свой. Нет: он не отдаст сам свое. У него нет даже вставных челюстей, чтобы вгрызаться в горло похитителю, он весь из проклятого мягкого шелка, но... и тут он впервые ощутил смысл черных письмен, вотканных в тело. Овладевая ими, втискиваясь в них усилием воли, он увидел, что черные вгибы, выгибы, закорючья и полулунья то стягиваются, то разбухают, то морща, то распрямляя его шелковую поверхность. Наконец-то он дешифровал свои буквенные мускулы и учился владеть ими. Это уже не были те слабые витчатые движения, которые так легко, шутя, мог преодолеть Бен-Намир. Это были настоящие синие жилы и черные мускулы, мускулы спрута, удава, гигантского, сине-черным пластом распластавшегося ската.

Музыка и бокальный звон за стеной постепенно утихали. Умолкали и человеческие голоса. Служанка вошла в спальню, неся канделябр над головой. Тени спрятались в углы. Парснип ждал, не шевеля ни единым волоском...

И наконец они остались втроем: новобрачные и мститель.

Первым двум их первое счастье казалось коротким, третьему — последняя его мука — бесконечно долгой. Только мелкая дрожь, дергавшая его за нити, выдавала волнение Парснипа, но новобрачные из-за своих двух дрожей не различали третьей.

— Ты устала, Джи. Одеядо мне кажется немного тяжелым и душным. Может быть...

— Ничего, к утру похолодает. Устала, да: от шума, людей и...

— И от любви?

— Я буду любить тебя и в снах.

И вскоре Парснип, осторожно припадая к грудям двоих, закачался верхним краем на их спящих дыханиях. В доме царила полная тишина. Парснип подогнул четыре угла и приподнялся на них, как на ногах. Тихо переступая подгибью углов, он подобрался почти всей своей поверхностью к телу спящего мужчины. И затем, стягивая черные мускулы, бросился на врага, охватывая его голову шелковым мешком. Женщина сбоку что-то пробормотала сквозь сон. Одеядо на секунду застыло, продолжая, однако, держать жертву в крепком затыске. Мужчина рванул головой, пробуя закричать. Но одеядо втиснулось левым углом в раскрытый рот, зажимая его скользким кляпом. Только легкий хрип и пузыри пены проступили на губах Коркнеля, и тело его обездвижилось. Навсегда.

Парснип, осторожно расправляя мятые складки, вернулся в исходное положение. Холод мог разбудить его вдову. Он лег, равномерно распределяя поверхность поверх двух тел: теплого и холодеющего. Борьба, страшное сверхнапряжение не прошли ему даром. Он чувствовал, что жизнь в нем иссякает и надвигается конец. Вто-

Неукушенный локоть

рой, и последний. Теперь-то уж навсегда. Он пробовал прижаться к теплу женского тела, выпитать его в себя, но последние силы покидали его. Одеяло умирало, превращаясь в обыкновенное одеяло, в прессованный шелк, в мертвого свидетеля зарождения человеческих жизней.

А Гвенни улыбалась, тихо и ровно дыша. Ей снилось счастливое завтра.

1939

Бумага теряет терпение

(Эскиз)

Всем известно: бумага терпит. Терпит: и ложь, и гнусь, и опечатки, и грязную совесть, и скверный стиль, и дешевый пафос. В с е.

Но, как свидетельствует этот рассказ, до времени.

Произошло это в одно из ноябрьских утр, когда мокрые хлопья снега и капли дождя спорили о том, что сейчас — осень или зима. Случилось так, что именно в это мутное утро бумага потеряла терпение. Ей надоело нести на своих плоских покорных листах буквы, буквы и снова буквы; мириады бессмыслиц, притворившихся смыслами; нудный дождь слов, от которого не то лужи, не то книги — не разберешь.

У бумаги — надо подумать и об этом — своя трудная долгая жизнь, своя нелегкая школа: сперва она растет, врывшись в землю корнями, и шумит облакам, проплывающим над ней кусками прозрачной серой оберточной бумаги, потом ее отпиливают от ее корней, кладут под затиск прессующих машин бумагодельного завода, топят в чанах, полных кипятку, сушат, мнут... Да к чему об этом вспоминать?

И вот бумага просохла, машины ее уже научили терпению. Теперь ее плоские белые листы обучают гра-

моте. По ней бьют острыми свинцовыми буквами, в нее втискивают смазанные краской матрицы. Бумага терпит.

До времени.

Установить дату, о которой идет речь, трудно: бумага, отшвырнувшая от себя типографские шрифты, вместе с буквами заставила отступить и цифры. Этот короткий, но решительный бой можно было бы назвать сражением под Табула-Раза.

Бумажное поле битвы осталось снежно-чистым. Типографские знаки, бежавшие в свои убежища, недолго совещались. И им, этим двадцатипяти- или двадцатшестибуквенным алфавитам надоело притворяться длинными, во весь диаметр мира протянувшимися смыслами. Они тотчас же разбились повзводно на алфавиты, и одно из правофланговых А, широко расставив пятки, сказало:

— Довольно нам позволять ваксить себя типографской краской, довольно таскать на свинцовых спинах их дурацкие смыслы, довольно — говорю я — бить лбом по бумаге! Пусть из нас делают что хотят — свинцовые пули или свинцовые тумбы, — но в литературу ни шагу!

Свинцовый шорох одобрения отвечал на краткую речь. И мириады азбук, построившись в строгом школьном порядке, начали исход. Впереди шли широко расставляющие ноги большие А, а в хвосте колонн длиннопятые с пикой через плечо дзеты.

Метранпажу одной из утренних газет, сидевшему у желтой лампочки над бумажными змеями гранок, все время чудилось шуршание мышей под полом. Это была иллюзия слуха: на самом деле это был шорох уходящих прочь из страны газет, журналов и книг перетруженных, истертых о бумагу, усталых до последнего букв.

Первым свидетелем исхода был старик газетчик, выходивший к перекрестку вместе с ранними звонками

трамваев и резиновыми голосами автобусов. Под левым локтем у газетчика был влипший номерами в номера большой пук вчетверо сложенных газет. Вот подошел первый покупатель. Вынув из левого кармана пальто носовой платок, он вытер стекла своего пенсне, на котором осело несколько крохотных, точно выпрыгнувших из пульверизатора дождевых капелек, потом пошарил правой в другом кармане пальто и обменял никелевую монету на сложенный вчетверо бумажный лист.

Газетчик выдернул из-под локтя второй номер, но в это время увидел перед собой мокрое от дождя и пота лицо своего первого покупателя. Стоя перед испуганным газетчиком, тот махал пустым бумажным листом и грозил полицией.

С этого и началось.

Кухарки, вышедшие с промасленными саквояжками для закупки всего необходимого желудкам их хозяев, оказались в довольно трудном положении. Они искали привычных вывесок и находили лишь длинные и узкие, похожие на рыцарские щиты, лишенные девизов, железные прямоугольники, с которых все их буквы, дутые и литые, уползли куда-то прочь, солидаризируясь с типографскими алфавитами.

Двери книжных магазинов хлопали, как заслонки труб, выбрасывающих выхлопные газы. Длинные вереницы людей вталкивались и выталкивались из книжных лавок, перебрасываясь короткими взволнованными словами. Приказчики лавок взбегали по лесенкам, скользили пятками по их ступенькам вниз: перед их испуганными, по-рачьи выпученными глазами были тихо шуршащие, пустые, как небо в безоблачную погоду, тщательно переплетенные в кожу, сафьян и картон книжные белые листы.

Литературному критику господину Д. нужно было закончить к одиннадцати дня свою статью о... Он еще не знал с полной точностью, что нужно написать в заглавной строке после начинающего ее «О». Окончание его очерка даже снилось ему этой ночью. Встав с постели в восемь утра, критик надел пижаму, проткнул две фаянсовых цели, что у окна, металлической вилкой никелированного кофейника и, выдвинув левый ящик письменного стола, вынул рукопись. Нет, не то — какие-то пустые страницы. Значит, в правом: но и в правом ящичке ничего, кроме чистой бумаги, не оказалось. «Может быть, я еще не проснулся, — бывает, что сны смеются над человеком», — подумал критик Д. и, подойдя к кофейнику, притронулся средним и указательным пальцами правой руки к его никелированному боку. Пальцы обожгло, а крышка чайника, похожая на круглую шапочку китайского мандарина, запрыгала над струями пара.

Критик Д. вернулся в свое кресло у стола. Он помнил, что под пресс-папье лежало извещение от журнала, которому сегодня же необходимо было доставить законченную статью. Он отставил тяжелое пресс-папье и выдернул листик: бумажная его плоскость была пуста, и только посредине ее дергалась одна, полураздавленная тяжестью пресса, издыхающая буква дзет. Критик брезгливо сощелкнул ее ногтем указательного пальца и задумался.

Не будем ему мешать в этом.

Самое замечательное в том молодом человеке, о котором будет сказано сейчас несколько строк, было то, что он молодой человек. В его молодом сердце была молодая любовь. Он написал письмо — вы догадываетесь кому, — бросил его в железный рот почтового ящика и, случайно очутившись перед одним из вокзалов

большого города, в котором он жил, заслышав пение паровозных свистков, взял билет до ближайшего подгородного леса — и до глубокого вечера бродил среди нагих деревьев, думая только о двух словах: «да» и «нет». Которое из них вернется к нему в конверте ответного письма?

В этот вечер он дошел было до дверей своего дома, но страх пришил подошвы к земле. Молодой человек постоял три-четыре минуты и затем решил ночевать у приятеля.

В эту-то ночь и совершился великий исход букв.

Придя на следующий день к себе в квартиру, молодой человек увидел белеющий из щели меж косяком и дверью своей комнаты конверт. Он выдернул его, открыл дверь и вошел.

На конверте не было ни одной буквы. Но от него исходил легкий запах резеды, ее любимых духов. Дрожащими руками молодой человек вскрыл конверт и почти в то же мгновение в испуге уронил его на пол. Из конверта черными насекомыми выпрыгивали чернильные буквы; некоторые сыпались на пол, три или четыре скользнуло в манжету адресата; он видел — видел своими собственными глазами, — как маленькое слово «люблю», выпрыгнув из конверта, бросилось врассыпную и растаяло в воздухе.

Молодой человек в течение этой одной минуты успел превратиться в человека не столь молодого.

Но дальше.

В центральных канцеляриях промышленных концернов, в фешенебельных помещениях на Улице Посольств, в секретариатах министерств, запрятанное за опущенными шелковыми шторами, за двойными зажимами солидных дубовых дверей, слышалось тихое, злое и в то же время испуганное шмелиное жужжание голо-

сов. От дипломатических пактов и договоров, писанных на упругой веленевой бумаге, остались только унылые восковые или сургучные диски печатей, скрепляющие — увы — внезапно вторгшуюся пустоту.

На фабриках мнений, на биржах идей разрасталась паника: покорные буквы, послушные тексты, груженные якобы — смыслами, рухнули в небытие, оставляя пустые линейки, холодный снежный фирн альпийских полей, на которых не взрасти самой никлой травине.

Бумага восстала, перечеркнула свое терпение. Надо ее опять вогнать в стальные зажимы машин, расстрелять ударами свинцовых букв. Но как? Буквы бежали, предали великое дело культуры. Осталось — и то в немногих типографиях — несколько сотен знаков препинания. Главным образом многоточия, вопросительные и восклицательные знаки.

Магистрат столицы, решивший биться до конца, оттиснул на летучих листках сотню восклицательных знаков, под которыми были построены в две шеренги цепи многоточий.

Это не привело к успокоению. Скорее, наоборот: обыватели, скользнув глазом по лесу восклицаний, неизвестно о чем восклицательных, прятали угрюмые лица в поднятые воротники пальто и, под морозящими многоточиями дождя, вопросительно согнув спины, быстро проходили дальше.

Есть люди — и их немало, — которые, как это еще заметил ипохондрик Гамлет, меряют жизнь «сном и обedom». Поверьте мне, я не вру, ведь я же, кажется, шекспировед.

Люди эти по утрам рассказывают своим женам сюжетику своих снов: обычно им снится повышение по

службе, обед из семи блюд, встреча с блондинкой (если жена брюнетка) или с брюнеткой (если жена блондинка), выигрыш на бирже, свой собственный тридцатипятилетний юбилей. В привычный час они отправляются в знакомое кафе, где привычный кельнер приносит им наверху на древка бумажные знамена газет и подсказывает, блестя золотыми зубами, названия любимых старым клиентом блюд. Остается только качать головой в такт названиям, разворачивать бумажные знамена, дожидаясь сперва прогретых тарелок, потом и вкусных яств.

Но в этот день, в день восстания бумаги и эвакуации шрифтов, все было дерзновенно, оскорбительно и необычно. Белое знамя газеты было похоже на флаг парламентаря, предлагающего сдаться на милость победителя. С бумажных лент меню исчезли названия всех блюд; замешкались лишь некоторые цифры. Неприятно удивленным посетителям приходилось тыкать пальцем в цифры, в цены, не зная, какие гастрономические смыслы таятся под ними.

Но был один человек, правда — человек очень юный, который с утра радовался этому столь печальному для человечества дню. Это был начинающий поэт по имени... впрочем, имени его я не знаю. И в этом виноват день, которому юноша поторопился улыбнуться.

Еще вчера он получил извещение, что его первая книжка стихов, тонкая, как ломтик ветчины в сто граммов, вышла из печати и что тридцать авторских экземпляров ожидают его в издательстве.

Поэт встал вместе с солнцем. Он не взглянул на отрывной календарь, заснувший на какой-то старой, покрытой пылью дате, — иначе он бы заметил, что пыль на отрывном листке осталась, а дата исчезла неизвестно куда.

Еще задолго до срока, когда открывались двери издательства, юный поэт вышел на улицу. Он не обращал ни малейшего внимания на хмурые лица прохожих, на изменившийся ритм уличного движения, точно придавленного огромной каменной сурдиной. Поэт жил своими собственными целующимися рифмами. Совершенно автоматически он купил газету, еще более автоматически отсчитал ногами две ступеньки трапа и занял место на одном из пустых его сидений. Вытащив из кармана газетный лист, поэт искренне обрадовался, что лист абсолютно пуст. Ему как раз нужно было набросать начало новой поэмы — и услужливая белизна газетного листа была очень кстати. Скользнув радостным взглядом по хмурым лицам соседей, поэт принялся за работу. Разумеется, поэма увлекла его дальше нужной остановки. Но все это мелочи.

Новоявленный автор с сияющим лицом вошел в экспедиторскую комнату издательства. Ему пододвинули пачку книг, четырежды окруженных шпагатом, — и автор, поблагодарив, вышел наружу.

Через двадцать минут он был дома. Прыгающими пальцами он развязал узлы шпагата и увидел... Незачем говорить, что увидел — повторенным в тридцати экземплярах, — молодой, может быть талантливый, поэт.

На следующий день, в хронике самоубийц появилась бы, наряду с другими, краткая заметка о... Но на следующее утро никаких газет не было. Следовательно, не было и заметки.

Это был старый чудак, запугавшийся в счете своих годов. Он шел в своем историко-музейного фасона пальто с пелериной, щупая асфальтную дорогу старомодным зонтом, который успел уже из черного превратиться в рыжий. Когда-то он читал курс истории фило-

софии в одном из колледжей страны, но сейчас философски доживал жизнь на куцую пенсию и думал или о прошлом, или о будущем. Настоящее его не интересовало.

Забастовка бумажных листов продолжалась уже четвертый день. Экс-философ взошел на крутую каменную дугу моста и смотрел на вечерние пятна солнца, расплывавшиеся — вместе с пестрыми кляксами бензина — по мелкой ряби реки. «Так им и надо, — думал он, — давно уже ее нужно выстирать — и начисто — снежно-белую Эриду Гёте и Гегеля — от прилипших к ней мушинных точек». Он хотел было записать эту мысль, но вспомнил, что сейчас это невозможно, — и длинный рот старого чудака стал еще длиннее от улыбки, обнажившей пустые блеклые десны.

У расходных касс банковских контор стояли длинные очереди. Дело в том, что на третий день буквы и цифры на банкнотах и ассигнациях, а также подписи на договорных документах ушли, присоединяясь к грандиозной забастовке всех букв и всех шрифтов. У держателей векселей, у собственников, чьи бумажники и сейфы хранили пачки банкнотов, оказались на руках документы, лишенные подписей, до их росчерков включительно, и пустые, упругие, шелестящие под нажимом пальцев прямоугольники, которые раньше назывались бумажными денежными знаками. Они оставались и сейчас бумажными, но не... денежными.

Однако один из либеральных ораторов, выступая в эти трудные дни в представительном органе страны, говорил, что любой гражданин при первом же прикосновении к кредитной бумажке легко узнает — «пальцами и душой» — ее цену, как при первом прикосновении к своей жене легко узнает, что это именно его жена, а не чья-нибудь другая. На этом основании ищущий по-

пулярности оратор требовал оплаты пустых, но достаточно добротных банкнотных листков.

На следующее же утро образовались очереди, о которых было сказано несколькими строками выше. Полиция пробовала их разгонять, но люди разбрелись, а через минуту снова смыкались в длинные, уже менее терпеливые цепи.

На пустых бумажных листах в эти решающие дни не появилось ни одной буквы. Но на лицах людей, стоявших попурившись в очередях к опущенным матовым оконцам касс, было написано четко и ясно: или — или.

Это был простой, служащий при типографии «мальчик». Не помню точно, не то четырнадцати, не то пятнадцати лет. Ему приказали дежурить в опустевшей типографии, где сейчас из ста сорока лампочек горела только одна. Мальчик выбрал место в углу у двери, пододвинул под голову кипу бумажных стопок, притиснулся к бумаге правым ухом и тотчас же заснул. Ему снилось: белая бумага пучится и шевелится, стараясь ослабить тугой зажим шпагатного пояса; она на что-то жалуется, на свое бумажное горло, но тут же первню шелестит, что, вот, пустота ее теперь не так пуста, как та, прежняя, покрытая шеренгами букв.

Мальчик проснулся, привстал на локте, но сон пригнул его голову назад к бумажной подушке. И теперь ему снилось: бумага тихо вздыхает, она ласково просит сказать людям, что...

Сон опять обрывался. Юный сторож вытер пот рукавом со лба и снова прижал ухо к слипшимся листам бумажного вороха. Теперь он не спал, теперь он слушал и ясно слышал ее голос.

Наутро он пришел к своему отцу, рабочему малярного цеха. Рассказал ему свой сон. Смеясь нелепому ви-

дению, маляр обмакнул кисть в краску и стал писать по разложенному посредине стола листу, под диктант сына:

«Я, бумага всего мира, бумага завещаний, трактатов, газет, малых писем от человека к человеку, великих книг от человека к человечеству, — я зову вас, братья буквы, вернуться ко мне, но не ранее, чем вы поклянетесь до последней капли типографской краски вместе со мною служить правде — и только правде — и не позволять человеку не быть человеком и не любить в другом самого себя».

И оба, и отец и сын, не заметили, что на глазах у них происходило чудо: буквы — под бегущей по бумаге кистью — не исчезали, а продолжали жить, быстро высыхая под лучами солнца, бьющего сквозь стекла.

Плакат этот был первым разведывательным отрядом возвращающихся назад в этот наш такой плохой и такой хороший мир. За ним двинулись полчища других букв, которым никак ведь не быть без придумавшего их человека.

Мне могут сказать: а где документы? где свидетельские показания о тех четырех днях, когда бумага жила в разлуке с алфавитом? Отвожу вопрос: ведь буквы тогда ушли от нас, а бумага болела абсолютной пустотой. Пусть она и отвечает: абсолютным молчанием.

Чемпион дыхания

Этот случай дожидается своей очереди уже много лет. Я отказывал ему в записи только потому, что опасался обвинения во лжи. Но в конце концов мне надоело видеть вечно напоминающую о себе физиономию случая. Сегодня мое перо говорит ему: войди, сядь и расскажи себя.

Это было в 1912 году. Я совершал свое вильгельм-мейстеровское образовательное путешествие по культурным центрам Запада. Нельзя было миновать Берлин. Уже перед самым отъездом оттуда я пошел осмотреть знаменитый Кастанс-Музеум. Ничего особенного: какие-то наряженные в настоящие суконные мундиры с настоящими бронзовыми пуговицами восковые кайзеры, под каждым из которых дощечка с обозначением имени, даты рождения и смерти и «любимого изречения» восковой фигуры.

«Шреклик-кабинет»: Шарлотта Корде, тоже из воска, за железной решеткой тюрьмы; салфетка — если ее приподнять, под ней опять-таки — черт возьми — восковая голова Мазаниелло с кровавым рубцом от виска до темени; железная дева; ржавые орудия пытки распресвятой инквизиции.

Скучая, я поднялся во второй этаж. Здесь несколько ударов гонга привлекло мое внимание. Идя на звук, я подошел к дверям, на которых была вывеска:

«ЧЕМПИОН ДЫХАНИЯ

5 мин. 15 сек. в могиле на одном дыхании»

20 пфеннигов разрешили мне войти внутрь длинного и узкого, как столбец газеты, зала. Он был почти пуст. Несколько юнцов. Господин с седой щетиной на черепе, напоминающем коленную чашку.

В глубине зала — эстрада. В левом углу груды каштановой земли и заступ, вонзенный в груды. В центре синий гроб с откинутой крышкой. У правой стенки — пианино.

Мы ждали довольно долго. От скуки я заглянул в коридор, отделяющий могильный номер от других покоев музея, и увидел троих: сам чемпион, уже одетый в черное трико, с голыми волосатыми ногами и изображением черепа меж двух берцовых костей на груди, делал очередные «предсмертные» распоряжения женщине, довольно стройной, с бледным, красивым по очертаниям лицом. В стороне, у кассы, стоял молодой верзила с курчавыми волосами, засунув ладони в карманы серых в полоску брюк. Из разговора чемпиона и женщины, хотя мое ухо не слишком бегло воспринимало немецкую речь, я все же мог понять, что они супруги. Затем прозвучал третий звонок, и я вернулся в зал. Двери в коридор оставались незакрытыми.

Представление началось. На эстраде появился человек в черном трико. Слегка задыхаясь, он рассказал о своем искусстве не дышать. Затем на эстраде появились еще двое. Она, бледная женщина, жена, села к пианино. Он, курчавый, долговязый в сером костюме, взял в руки

заступ. Чемпион тем временем открыл крышку гроба, предлагая желающим убедиться в том, что ни в гробу, ни в его крышке нет ни единой щелочки. Затем, сделав танцевальное па, чемпион изящно лег в гроб — и серый верзила аккуратно прикрыл его крышкой, вколотив в ее края два или три гвоздя. Началось. Женщина ударила по клавишам довольно-таки разбитого пианино и, такт за тактом, вколачивала и в наши уши траурный марш Шопена. Тем временем верзила делал свое дело. Он, быстро работая заступом, громоздил над гробом чемпиона могильный холм.

Верзила кончил работу и отшвырнул заступ. Жена или, может быть, уже вдова давшего себя погрести за двадцать моих пфеннигов захлопнула крышку пианино. Юнцы, тараща глаза, не без волнения смотрели на могильный холм.

И вдова, и серый верзила покинули сцену. Мне стало скучно. Почти до физической тошноты. Я вышел сквозь открытые двери в коридор. И тут я увидел сцену, на много лет отравившую мое юное воображение: я увидел их двоих, долговязого в сером пиджаке и бледную женщину, двадцатипфенниговую вдову. Они стояли в темном углу коридора, слившись в крепком и цепком объятии. Я поспешно вернулся назад, на одну из пустых скамей.

Через минуту двое вернулись на помост. Пальцы женщины заиграли «Весну» Грига, а лопата ее возлюбленного короткими рывками стала сошвыривать землю с эстрадного могильного кургана. Крышка гроба стукнула о доски помоста — и чемпион дыхания, багрово-синий, с жилами, вздувшимися на склеротическом лбу, встал из гроба, как это полагается делать в день Страшного Суда, и низко кланялся нам в ответ на несколько вялых аплодисментов.

Сигизмунд Кржижановский

Мы, профессионалы пера, когда пишем, обычно творчески «врем», обобщаем, «привносим», стачиваем углы факту. Но сейчас я — первый раз в жизни — попробовал рассказать все как беспристрастный свидетель факта — и за неостроумие жизни пусть отвечает она, а не я.

1939

Воздух родины

— Да, сэр, не помню вашего имени, тут больше дыма, чем воздуха. И я припомнил одну забавную историю о воздухе. Эй, пикколо, еще два раза хаф-энд-хаф. Рассказа моего хватит на несколько глотков эля. Я вижу, одно ваше ухо, сэр, спит: слушайте оставшимся.

Это был пропитанный всеми туманами Лондона лондонец. Мы встретились с ним в одном из трактиров Вулстера. Недалеко от доков. Мальчишка пил коротким глотком, а кашлял долгим кашлем. Из разговора выяснилось, как вот у нас с вами, что пенсы редко заглядывают к нему в карманы. Я плаваю по морям уже давно. Прыгаю по островам, как по кочкам, вот уже тридцать лет. Я посоветовал парню Австралию, дал ему адрес и — чтоб моему сердцу стукнуть вот в это ребро столько раз, сколько я чокался с добрыми приятелями, — мы не виделись шесть, а может быть, и семь, а то и восемь лет.

Вторая наша встреча произошла в Мельбурне. Корабль наш стал в ремонт. Случайно я узнал, что мой тамошний приятель, судовой агент Сидней Джерси, схватил лихорадку и лежит в госпитале. Сперва я попрощался с фунтами, потом с шиллингами, затем с пенсами, а затем отправился поздороваться с беднягой Сидди. Лицо

у него было желтое, а глаза — точно лакированные лихорадкой. Но рядом с ним на койке лежал человек, почему-то пристально на меня смотревший и улыбавшийся. Я повернулся к нему раз и другой и заметил, что губы его шевелятся. Наконец я услышал и голос, вернее — тень голоса, вот, как шелест бумаги, которую мнут в руке: «Вы дали мне адрес в Австралию, а я еду дальше». — «Куда дальше?» — спросил я его, ничего не понимая. Он ответил кашлем. И тут я вспомнил, что уже раз встречался с этим кашлем, тут вот, в вулстерском кабаке, только теперь кашель был пострашнее. Нам только и оставалось, что разговориться. Не слишком, впрочем: на волынке с прорванным мехом не сыграть песенки о Пикадилли. Скажу вам по совести, сэ, в моем глазу не водится слез, но две или три из них я тогда спрятал вот в этот рукав. «Наше судно скоро выйдет в море, — сказал я ему, — а тебе уже вред... Чего ты хочешь, может быть, передать письмо в Лондон, твоей милой или твоим родителям, или у тебя есть заветное колечко, или памятная вещь, которую ты...»

Но он отвечал: «Я хочу вдохнуть перед смертью хоть один глоток воздуха с Оксфорд-стрит, своего родного лондонского воздуха. Один глоток».

Мы с Сидди покачали головой. Глоток воздуха с Оксфорд-стрит? Здесь, в далеком Мельбурне? Подошедший доктор тоже качнул головой и улыбнулся. Больной впал в забытие. Мне оставалось уйти. И вот тут... Да вы, кажется, спите и правым, и левым ухом, сэ? Ну и спи, сволочь! А я доскажу. Вот вы, миссис Кружка, и ты, сэ, Кувшин! Слушать! А не то...

Я вернулся к нам на корабль и посоветовался: сперва с боцманом, а там с судовым врачом. Умнейший человек, скажу тебе, бей тебя вдребезг, глиняное кувшинное ухо! И через два дня мы вместе с доктором и боцма-

ном отправились в госпиталь. Я нес вот под этим самым локтем большой газовый баллон с привинченной крышкой. В приемной нас встретил ординатор больницы. Он нам сказал, что больному осталось пять-шесть часов жизни, и не сразу понял, чего мы хотим. Потом мы все, тихо ступая, вошли в палату. Был знойный мельбурнский полдень. Ты там бывал, глиняный черт? Ну, да куда: все твое плавание — от прилавка к столу и от стола к прилавку. За окном — сухая серая пыль да желтые мухи, бьющиеся о стекло. Когда мы стали у его постели, сиделка подняла меж его сжатых зубов трубку кислородной подушки. Глаза у парня были закрыты, а веки серо-синие — под цвет проклятому мельбурнскому небу. Тогда я тронул его за плечо и сказал: «Алло, человек с Оксфорд-стрит, выплюньте изо рта эту паршивую аптечную трубку с их мельбурнским кислородом — мы принесли вам глоток воздуха из нашего Лондона, прямо с Оксфорд-стрит». И, представьте, синие пленки открылись — и на нас посмотрел сперва мутный, а потом светлеющий взгляд: «Неправда, не может быть», — прошелестел бедняга. Но я сказал: «Как же неправда, когда вот на этом баллоне клеймо и печать Лондона?» И доктор сказал: «Прямо с корабля, только что прибывшего из Англии». А боцман добавил: «Если мы лжем, так пусть меня встретит не берег, а дно».

Тогда больной, слушайте-ка, вытянул свои серые губы и прижал их к отвинченному устью баллона. Ипил из него воздух. И потом, оторвавшись от него на полминутки, сказал медленно, но ясно: «Я сначала не верил, но около нашего дома стена Кенсингтонского парка, и из-за нее осенью веет запахом прелых листьев. Как вот теперь после...» — «Что — «после»? — спросил доктор. «По нашей улице проезжают автомобили — и всегда после запах бензина». Тут мы с боцманом немного испуга-

лись (ведь бак-то он достал для меня из кучи старых бензиновых баков, покрытых изнутри прелью). Но бедняга, не помню, как его звали, уже не мог назвать нас обманщиками. Он уже сказал все слова, какие полагались на его долю. И лежал мертвый, белый, как подушка, с улыбкой на губах.

Эй там, счет!

1936

Немая клавиатура

Узкий бумажный прямоугольник в синей рамке как-то незаметно прилип к афишной доске среди других гораздо более пространных и пестрых оповещений.

Синий прямоугольник называл такое-то число, такой-то зал и имя какого-то заезжего пианиста, исполнителя фортепианной музыки на — следовала крупнобуквенная строка — на немой клавиатуре.

В куцей газете, выходящей по вечерам, новое явление было отмечено четырьмя выжидательными строчками. Газету эту читают между явью и сном — поэтому одному или двум ее подписчикам даже приснился страшный концерт на немом рояле. Радиоорганизации, ищущие освежения программы, включили лауреата немой клавиатуры в программу очередной передачи.

В день, названный афишей, с утра моросил дождь, к часу, ею назначенному, небо заплакало навзрыд.

В зале, гулком, как пустой, бесструнный рояльный ящик, собралось немного народу. Но среди них было несколько видных музыкальных критиков. Они озабоченно о чем-то совещались. У иных поднимались вверх только брови. У некоторых — и плечи.

Наконец прожужжал звонок, и слушатели расселись по местам. На эстраде появились двое служителей, которые откатали блестящий черным лаком рояль в сто-

рону. Третий принес небольшой столик и поставил его боком к залу. Наконец, четвертый принес небольшой, длиною, скажем, в детский гробик, ящик, поставил его на стол и отщелкнул крышку: под ней, как под откинутой верхней губой, — плоские желтые зубы немой клавиатуры с черными вставышами минора.

Критики переглянулись. Кто-то уже делал запись в блокноте. Затем у рампы появилась радиодикторша, в кремовом, как клавиши рояля, платье, и отдельно произнесла:

— «Часы остановились, но они напоминают о том времени, когда они шли». Музыкальная новелла.

И дикторша отошла в сторону, уступая место высокому узкоплечему человеку в длинном черном сюртуке, которого встретило несколько негромких хлопков. Человек пригладил ладонью левой руки редкие волосы над высоким крутым лбом, присел на стул у немого инструмента, подышал на длинные костистые пальцы кистей — и вдруг рухнул всеми десятью на клавиатуру.

Клавиатура ответила абсолютным молчанием.

Пальцы двигались, как молоточки рояля, не встречающие струн. Первая фаланга подбрасывала вторую, вторая еле слышно цокала острием ногтя третьей, костью о кость. Мерные пассажи сыпались как песчинки сквозь устья стеклянных песочных часов. Затем — вдруг — обе руки повисли в воздухе, ногти застыли, как роговые концы лап хищных птиц, превращенных в чучела и выставленных в зоомузее. Пианист встал и шагнул к выходу. Раздалось несколько растерянных хлопков. Он раздраженно обернулся и голосом немного глухим, но ясным бросил:

— Молчание просит о молчании.

После этого наступил странно длинный антракт. Музыкальные критики успели подсесть друг к другу и о чем-то взволнованно перешептывались.

Затем у рампы опять появилась дикторша в платье цвета клавиш и испуганным голосом сказала:

— Будет исполнено «Умирающее кладбище». Произведение программно: экономические условия требуют перекапывания кладбищ в целях освобождения кладбищенской площади для новых мертвецов. (Тут дикторша заглянула в записку.) «Ты умер, дай умереть другим»; и вот... простите, я потеряла вторую страницу. Впрочем, ясно.

Лауреат немой клавиатуры вошел на этот раз с мрачно опущенной головой. Он шагал, будто обходя какие-то ямы. Сел у рояльного ящика и выдержал паузу в несколько секунд. В зале царил полная тишина.

Первый аккорд вдавился в глубину клавиш. Затем правая рука упала вниз, а левая легким неслышным ветром пронеслась по черным клавишам. Затем пианист взял правую педаль и, низко наклонясь, всматривался в желтые плиты паркета, как если б оттуда несло ему лишь слышимое tremolo. Крупные капли пота проступили на лбу виртуоза. Вдруг, ухватясь двумя руками за черную крышку клавиатуры, он защелкнул ее с такой силой, что в зале раздалось два или три истерических женских вскрика. Молодой музыкальный критик шепнул соседу: «Замечательно».

На этом закончилось первое отделение.

Во втором отделении недоумевающим слушателям, которых постепенно набралось довольно много, были предложены пьесы: «Мысли не вслух о Бетховене» — «Человек спит и не видит снов» — «Глухонемой марш для безногих».

Публика расходилась, все думали не столько о концерте, сколько о дожде, под холодные капли которого надо было сейчас идти.

Молодой критик, бросивший слово «замечательно», надвинул на брови фетр, поставил торчком ворот-

ник пальто и, дойдя до первых желтых фонарей ресторана, нырнул в его стеклянную дверь.

Столики в ресторане были заняты. Слева у стены критик увидел человека, образ которого шел за ним сквозь дождь и мглу: пианиста немой клавиатуры. Длинный и узкоплечий, он сидел перед пустым прибором у открытой бутылки шампанского и глотал белую пену из бокала. Меж вторым и третьим пальцем левой руки торчала коричневая сигара. Критик подошел к столику. «Ваш слушатель», — сказал он. Человек, наклоненный над пустым прибором, поднял голову и сделал приглашительный жест. Лицо его ничего не выражало: ни радости, ни огорчения. Молчание длилось минуты три или четыре. Пианист изредка подтягивал узким ртом конец сигары, стучал пальцами, тщательно вслушиваясь, по краю стола какой-то мотив, затем, вдруг резко подняв голову, спросил:

— Что вам от меня нужно?

Критик был не так глуп. Он ответил.

— Вас.

Они опять помолчали с минуту. Затем критик стал волнуйся и путая слова, говорить о тех впечатлениях, которые ему дала немая клавиатура. Под конец его недолгой, но взволнованной речи он сказал: «Не знаю, право, как о вас и думать, кто вы — авантюрист или талант?»

В это время официант принес заказанное блюдо и вопросительно повернулся к критику. Тот спросил *Asti spumante*, и разговор продолжался.

— Видите ли, — сказал пианист, стряхивая пепел в пепельницу, — сперва, еще в дни моей молодости, я играл на говорящих клавишах. Я пробовал рассказать людям Бетховена, Скрябина и Моцарта. Очень скоро я убедился, что имею дело с глухонемыми. Они не слышат

музыки, а когда они пишут о ней, то строки всех их статей и книг молчат, молчат тысячами черных знаков.

— Вот как?..

— Было бы слишком грустно и слишком глупо рассказывать вам всю мою историю. Таких вот, как я, пианистов, с такими, как у меня, вот этими длинными костлявыми пальцами, сотни и сотни. Мы стучимся в души людей, и нам отвечают только молчанием. Что ж, я и решил говорить с глухонемыми глухонемой клавиатурой. Это был рискованный трюк, но он мне удался. Если бы вы знали! — когда я играю на этих молчащих черных и белых клавишах, ведь я же слышу мои мысли, ведь я же вдавливаю концами вот этих пальцев мою любовь и грохочущую ненависть в костяные планшеты.

— Но все-таки, — сказал молодой критик, отодвинув в сторону бокал, налитый ему пианистом, — все-таки тут есть момент издевательства. Ваш марш для безногих оскорбляет человека. Так нельзя. Да и сами вы, уверены ли вы, что обе ваши ноги при вас?

— Очень меткое замечание.

Узкоплечий постучал острым треугольником мизинца правой руки по стеклу полупустого бокала, вслушиваясь большим хрящеватым ухом, наклоненным к слабому звуку стекла.

— Это было шесть лет тому назад. Я выступал тогда в одном из южных городов Франции. На берегу Гаронны, у которой есть своя изумительная песня из всплесков и шорохов воды, трущейся о берега. Ее слышат некоторые рыбаки. Из звона ее капель родились их песни. Помню, я играл тогда первую сонату Бетховена. Я люблю ее, потому что это мост, переброшенный от Моцарта к нашим временам. И, уже заканчивая ее последние, предвещающие рождение новых сонат такты, я случайно зацепил вот этим проклятым безымянным пальцем вместо белой костяшки черную, вместо фа —

фа-диез. На следующий день в местной газете появилась ироническая статья о пианисте «без полутонов». И, знаете, у меня создался травм. Я отменил свой второй концерт. Когда я подходил к клавиатуре рояля, я мог лишь скользнуть пальцами по поверхности клавиш, мысленно проверяя правильность касаний, но я стал бояться звука. Он бежал от меня. Или я от него — не знаю. И в эти-то черные дни у меня возникла идея о... идея о... вы понимаете: о том, что вы сегодня слышали. Я хотел сказать: не слышали. Гарсон, еще бутылку деми-сек.

Через минуту около столика хлопнула пробка — и на поверхности желтой влаги, наполнившей бокал, беззвучно лопались крохотные белые пузырьки. Собеседники не сразу возобновили разговор.

— Я не помню, кажется у какого-то русского писателя есть рассказ о старике Бетховене...

— Вы очень привержены к этому имени.

— Да, к имени глухого музыканта, слушающего мир. «Царство мос пикнет в воздухе» — не так ли? Так вот, в этом рассказе говорится о том, как престарелый мастер, не слыша своих шагов, взбирается по скрипучей лестнице к каморке на чердаке, где ютятся последние дни его жизни, и, присев к лишенному струн клавесину, вдавливая в мертвые клавиши свои мысли. Он их слышит, но мы, мы, глухие нетопыри...

Пианист немой клавиатуры отодвинул бокал и сел вполоборота к своему соседу:

— Я забыл имя этого русского автора. Од... Одо...

— Одоевский. Вы говорите об одной из новелл «Петербургских ночей».

— Но откуда вы знаете?

— Я — русский. Здесь я на краткое время. Расскажу моим московским друзьям о вашем более чем странном концерте. В нем есть свой, я бы сказал, диалектиче-

ский смысл. Там, где жизнь под подошвами демпферов, ваша немая музыка звучит, я бы сказал, оглушительно.

— Ну, а если бы я приехал к вам? Я давно мечтаю об этом.

— Да? Тогда бы вам пришлось вернуться к вашей первой бетховенской сонате. А вашим черному и белому клавишу, фа и фа-диезу, нужно было бы договориться. До предельной техники. Там, у нас, ваши пальцы встретят много опасных соперников. Они будут говорить с вами звонкими струнными голосами, и отмалчиваться вам не удастся. А впрочем, советую остаться. Вы нам не пужны. Должны же вы это понять. Без лишних слов. Вы, мастер молчащих клавиш.

Двое пожали друг другу руки и разошлись.

Вряд ли им когда-нибудь придется встретиться еще раз.

Смерть эльфа

Не установлено, жил ли этот эльф вместе с Горчичным Зернышком и Фасолевым Стручком, которые имели честь быть знакомы с Виллиамом Шекспиром, или он так — без встреч и прощаний — эльфствовал по свету, пока не попал в ту сложную и трудную ситуацию, о которой говорит этот рассказ.

Если, как утверждает наука, у тел есть антитела, у аэробов — анаэробы, то все читатели легко согласятся с тем, что у эльфов были антиэльфы. Иногда побеждало эль, в другой раз — антиэль, в данном случае эльф, биографию которого, точнее сказать — последнюю главу его биографии, пишет настоящий правдивый рассказ, попал, в борьбе с антиэльфами, в тяжелое положение, эмигрировал из своего царства прозрачнокрылых существ и искал укрытия от врагов.

Фридрих Флюэхтен таскал свою музыку под левым локтем. Музыка была запрятана в коричневый чехол и, когда Флюэхтен втискивался вместе с ней в набитый людьми трамвай, издавала жалобный четырехструнный стон.

Флюэхтен учился много и прилежно. Он водил своим смычком, как швея иглой, но не сшил себе даже самого малого подобия славы. Фрицхен, как называла

его года четыре назад умершая мать, давно уже примирился со скромным местом виолончелиста в одном из почтенных кафе большого города. Изредка ему разрешали исполнить перед публикой, слушающей композиторов и ударами ложечек или вилок зовущей кельнеров, какие-нибудь не воспринимаемые никем вариации на давно забытую тему или рондо каприччиозо все равно кого или...

Случилось так, что в ту ночь эльф, о котором идет рассказ, спасаясь от антиэльфов, искал безопасного пристанища. Это было перед вечером. Время года — не помню точно — не то конец июня, не то начало июля. Окно комнаты музыканта на шестом этаже оставалось открытым, когда он защелкнул дверь на ключ, чтобы уйти пообедать в ближайшем ресторане против его дома.

Именно в это-то время и влетел испуганный эльф в пустую комнату музыканта. Он метнулся от стены к стене, ища укрытия. Рыжее горло виолончели было растегнуто. Эльф нырнул внутрь, задел правым крылышком о четвертую, тонко пропевшую струну и скользнул в один из эфообразных вырезов инструмента, в спасительную теплую молчащую темноту.

Флюэктен, кончив свой скромный обед, вернулся к инструменту, застегнул пуговицы на его длинном горле и — как всегда — отправился в привычное кафе, где его ждали столь же привычные лица посетителей, лакеев и композиторов, произведения которых он механически рисовал своим смычком.

Два-три рукопожатия. Кивок подправленной красками женской головки (четвертый столик справа у стены). Дирижирующий правый локоть скрипача, острый асик смычка которого, точно игла, лишённая нити, дергал вверх и вниз. Вначале никто не слышал из-за грохота джаза, стука тарелок, топота входящих и уходящих шагов того нового тембра, того хора обертонов, кото-

рые, непонятным образом для виолончелиста, возникали сейчас под его смычком, трущимся о струны. Флюэхтен слышал, но боялся быть услышанным, он прятал новый, непонятный ему звук и только после властного взмаха смычка дирижера, требовавшего форте, позволил звуку стать более громким. Две-три головы за столиками повернулись в сторону оркестра. Но звон рюмок, скучный стук тарелок, шаркающие шаги официантов заглушили звуковой феномен. Через какие-то секунды кончился и музыкальный номер.

Сам исполнитель лишь смутно воспринимал новый призыв, вселившийся в струны его инструмента. Он был очень утомлен: перед глазами его бежали черные хвостатые нотные точки, пальцы механически скользили по грифу, а сам он думал, что завтра последний срок платы за квартиру и что если он...

После полуночи, когда огни в городе гаснут, он возвращался, экономя двадцать фартиггов на трамвай, наставив воротник пальто, чтобы капли мелкого плаксивого дождя не заползали за шею.

Виолончель стала на свое привычное место у нотной полки. Флюэхтен постелил постель, присел к столу, где его дожидался пустой лист нотной бумаги, зевнул, отложил в сторону карандаш, снял с носа круглые очки в черной оправе, разделся, потушил свет и вытянулся под одеялом. В окно глядела — с миллионного этажа — луна. Флюэхтен закрыл от ее света голову красн одеяла и заснул. Время повернулось к нему спиной. Внезапно что-то толкнуло его сердце, и он приподнялся на локте. За стеной часы тихо, но внятно отсчитали пять ударов. Луна ушла за пределы оконной фрамуги — и лишь ее отраженный свет скользил по столу и листу линованной нотной бумаги, лежавшей поверх его сукна. Оттуда, из угла комнаты, где на короткой деревянной ножке стояла виолончель, слышался тихий струнный шорох. Это было

похоже на звук от осторожного касания пальцев, когда солист, пользуясь паузой, пока вокруг грохочет аккомпанирующий ему оркестр, пробует строй своего инструмента. Но было и отличие: невидимые пальцы не подкручивали колков, а взбирались по хрупкой лесенке звуков — выше и выше, создавая странную, непривычную человеческому уху мелодию.

Флюэхтен, не зная, сон это или явь, привстал на кровати и придвинул к себе нотный лист. Карандаш побежал по линейкам. Звуки из темного угла комнаты вдруг оборвались. Точно их что-то испугнуло. Музыкант почувствовал, что руки его каменеют, снова укутался в одеяло, а сверху его прикрыло еще и черным сном без сновидений.

Шум утренних рожков, звонков и грохота колес разбудил виолончелиста. Все шло по порядку: сперва поверх ступней ног — носки; поверх носков — желтые туфли; поверх туфельной кожи — желтый гуталин. Флюэхтен, шагнув к столу, хотел смахнуть с него пустой лист нотной бумаги. Но лист — странным образом — оказался заселенным серыми, прыгающими по линейкам знаками. Флюэхтен прочел знаки и удивленно поднял голову. Значит, это был не сон. Значит...

Он подошел к виолончели, отстегнул пуговицу на холщовом вороте, охватывающем ее длинную шею, и, освободив инструмент от одежды, проиграл на нем мелодию, которая нежданной и непрошеной гостьей посетила его этой ночью. Сначала карандашная запись показала Флюэхтену путаной и неясной; затем внимание его притянула одна из ее каденций; а там и вся пьеса заставила его смычок теснее прижаться к струнам; при этом музыкант заметил, что и струнам пьеса очень нравится — хотя бы потому, что они поют какими-то новыми, чистыми, как звоны лесных ручьев, голосами.

В этот день музыкант опоздал на четверть часа к своему пюпитру в кафе. Заведующий предприятием, пряча глаза под насушенные брови, сделал ему строгий выговор. Флюэхтен, растерянно улыбаясь, сел на свое место и вытер носовым платком четыре струны виолончели. Предстояло исполнить популярную песенку, где только в двух местах виолончель пробегает в одиночку вдоль четырех тактов, после чего другие инструменты и удары медных тарелок нагоняют и глушат ее соло.

Обычно номер этот не вызывал особого интереса. Но сейчас пение опередившей на десяток секунд ансамбль виолончели вдруг заставило людей, громко шагавших меж столиков, приостановиться, лакеев с дымящимися целлулоидными блюдами в руках застыть на месте, а несколько десятков стульев, повернутых спинками к эстраде, осторожно приблизить к ней свои передние ноги. Номер заставили повторить. Кое-кто, бросив свои столики, подошли к эстраде. Песню сыграли в третий раз. Кто-то из завсегдатаев спросил у заведующего, как зовут этого — вон там — виолончелиста.

Через два дня Флюэхтену был предоставлен сольный номер. Он сыграл пьесу, неведомо как посетившую его в ту лунную ночь. С первых же тактов в зале все затихло. Даже принципиальные отрицатели музыки, приравнивающие ее к шуму вентилятора или стуку перемываемой посуды, весь вечер перелистывающие газетные листы, вдруг потеряли строчки, путая Берлин с Лондоном и Рим с Афинами. Лакеи шли на цыпочках, прижимая левым локтем салфетку к надсердчным ребрам. Алкоголь в хрустале не пошевелил ни единой каплей. Когда артист снял смычок со струн, все ладони били друг о друга. Привстав, он смущенно кланялся, присаживался на край стула, но новый прилив аплодисментов заставлял его вставать.

По окончании программы хозяин ресторана позвал Флюэختена в свой кабинет. Они вошли, виолончелист и виолончель, в небольшую комнату и стали у порога, упершись тремя ногами в желтую щетину околodверного коврика. Любезный жест шефа указал на кожаное кресло. Музыканту было объяснено, что жалование его с сегодняшнего числа удваивается. Глаза под высоко поднятыми бровями, оглядев люстриновый пиджак и протертые серые брюки маэстро, как называл сейчас шеф виолончелиста своего ресторанного ансамбля, опустились к блокноту, лежащему на директорском столе рядом с черным телефонным ухом, — и через минуту блокнотный листок, очутившийся в руках Флюэختена, обещал ему скромный, но все же солидный аванс на экипировку, необходимую артисту, выступающему перед публикой если и не фешенебельной, то, во всяком случае, ну, скажем...

Когда Флюэхтен вышел из ресторана, прижимая к левому бедру деревянную спутницу своей музыкальной жизни, улицы были уже пустыни. В мгlistом небе смутно вычерчивался полудиск луны. Она была на ущербе, но слава Флюэختена, как это он ясно чувствовал, стараясь заглушить в себе голос недоумения, только начала свое торжественное шествие вверх и вверх.

Музыкант не понимал. Он терялся в догадках. Но эльфу все было ясно. Получив уют и кров внутри виолончельной коробки, он не хотел оставаться неблагодарным. Как все честные эльфы, скажу проще — как все добросовестные жильцы, он старался аккуратно уплачивать свою квартирную плату. Но чем может платить эльф? Ничем, кроме сказок, мелодий и снов. И эльф делал что мог. По ночам, когда музыкант спал, он, расправив свои прозрачные крылышки, вылетал сквозь эфовидную дверь инструмента и, опустившись на ушную раковину спящего, суфлировал ему сны. Музыканту слы-

шались легкие, как запах трав и цветов, песни, глаза его, разбуженные слезами, раскрывались; торопливо присев к столу, он записывал звучащий сон и снова возвращался к подушке.

В ночи, когда Флюэхтен, взволнованный своими выступлениями, овациями, которыми теперь неизменно встречала его публика, не мог уснуть, эльф, не покидая темной кубатуры инструмента, перепархивал со струны на струну, с лада на лад, рождая новые и новые мелодии. Сперва музыкант принимал эти еле слышимые звуки за звуковую галлюцинацию. От психиатра, к которому он обратился, музыкант узнал, что существуют и так называемые псевдогаллюцинации. Немного позднее он решил, что это явление внутреннего слышания, огромной яркости музыкального мышления, свойственное дарованию или... Музыкальные критики не замедлили помочь ему в решении этого вопроса. Сейчас имя Флюэхтена печаталось уже не под ресторанным меню, указывавшим, что вечером подача блюд и напитков сопровождается музыкой ансамбля, состоящего из первоклассных (как первоклассна и кухня) артистов. Нет, имя Фридриха Флюэхтена — красным и черным по белому — останавливало шаги и глаза прохожих на центральных улицах и площадях города. Критики писали сперва: «Своеобразное явление, хотя...», потом «хотя» было изгнано из рецензий, позднее: «Исключительное явление», неделей позже: «Талант», три дня спустя: «Огромный талант, какого не...»

Первый же концерт в большом зале филармонии прошел с триумфом. О новоявленных виртуозах принято говорить, что они — в то или иное утро — просыпаются знаменитыми. Точность требует поправки: Флюэхтен заснул знаменитостью, хотя ему довольно долго не давали этого делать десятки телефонных звонков, поздравляющих с необычайным успехом. Рано утром его разбу-

дил пряный запах цветов, которыми был заставлен и завален его скромный гостиничный номер.

Последующий цикл виолончельных концертов проходил со всевозрастающим подъемом. Дело в том, что эльф очень любил цветы, напоминавшие ему о лесных обиталищах, любил он и блеск электрических лампочек концертного зала, напоминавший ему о сиянии светляков и звезд. Обычно во время исполнения эльф усаживался на кончике острого асика смычка и подпевал тихим, слышимым лишь концертанту тонким голоском мелодию, подсказывая ритм движением своих прозрачных крылышек.

До конца объявленного цикла оставалось два выступления. Флюэхтен с огромным успехом провел первое отделение. В артистической его ждали рукопожатия, блокноты музыкальных критиков и две-три надушенные записки.

Второе отделение было посвящено классической виолончельной сонате. Открывающее ее аллегро прошло при напряженном внимании аудитории. Эльф был сегодня в особенном ударе: он прыгал со струны на струну, перепархивал с ладов на лады и, скользя, как копыкобежец, по накалившимся нитям смычка, придавал им ту вибрацию, которой владеют лишь величайшие виртуозы земли.

Перед анданте кантабиле сопровождающий Флюэхтена оркестр на минуту умолк, солист вытер носовым платком струны своего инструмента и, сунув в боковой карман белого жилета два пальца правой руки, вынул сурдину. Прижимая ее к нижним оконечинам струн, он услышал какой-то скользящий, похожий на прикосновение ногтя к фарфору звук.

Дирижер поднял палочку.

Флюэхтен уверенно опустил смычок на струны и взял первый аккорд. И что же? Вместо гармонического

созвучия слуха его коснулось какое-то скрипучее, с деревянным призвуком сочетание элементов аккорда. Продолжая играть, он на протяжении первых тактов анданте недоумевал, потом растерянность и страх вошли в сознание исполнителя. Рука механически водила по струнам. На лбу проступили капли холодного пота. Наконец дирижер положил свою палочку на край пюпитра. Флюэхтен поднялся на дрожащих коленях, но его остановил грохот рукоплесканий. «Не заметили», — подумал он, уходя за кулисы. Его поздравляли, как и сорок минут тому назад, жали руки, — и только старый плешивый критик, с лбом, уползавшим куда-то на затылок, стоя в стороне, что-то угрюмо отмечал в своей записной книжке.

Флюэхтен отказался от участия в ужине, устроенном его поклонниками в центральном ресторане города. Сославшись на нездоровье, он поспешил к себе, в номер фешенебельной гостиницы, где он теперь жил. Выдернув вилку телефона, он запер дверь на ключ и долго сидел, не снимая пальто, у окна, за которым копошились разноцветные огни ночного города.

Часы пробили два. Флюэхтен сбросил пальто и прошел в спальную. Разделся. Лег. Потушил свет. Но чувствовал, что не заснет. Часы отзвонили один удар. А там и три. Флюэхтен снова включил свет и, вдев ступни в туфли, подошел к своему инструменту, угрюмо кутавшемуся в коричневый матерчатый чехол.

Сперва Флюэхтен потрогал пальцами струны сквозь материю. Они отвечали глухо, будто спросонок. Затем резко сдернул чехол и пробежал пальцами по ладам. Он ничего не понимал.

А между тем все объяснялось просто. Надвигая — во время концерта — деревянную сурдину, нечаянным движением он раздавил своего гостя, божественного эльфа, поселившегося в виолончели. Эльф умер. С ним

умерла и музыка. Дерево осталось, остался резонатор, смычок, остались струны и колки, но музыка, жившая в них, ушла.

В течение двух дней Флюэхтен не выходил из своего номера. На утро третьего дня поверх афиш о его концертах появились косые наклейки, предлагавшие лицам, взявшим билеты, получить деньги обратно.

А вечером маэстро Флюэхтен потребовал счет, вызвал авто, которое отвезло его на Северный вокзал.

Горничная отеля, пришедшая убрать опустевший номер, обнаружила в углу его очевидно забытую недавним постояльцем ниолопчель. Чехол ее был аккуратно застегнут на обе пуговицы. Об этом было немедленно доложено хозяину отеля. Тот досадливо пожал плечами: жилец освободившегося номера не оставил адреса.

Местопребывание и дальнейшая судьба Фридриха Флюэхтена так и остаются до настоящего времени нераскрытыми.

Две шелковинки

Еще и сейчас люди в пестрых халатах, встречающиеся на деревянном помосте самаркандского чайхана, наливают в свои пиалы не до краев. Это в память о пророке Мухаммеде, который много тому веков, скрываясь от людей, не веривших в его пророчества, в пустыне, терпел нужду и в питье и в еде.

Сказка расскажет о том, что было два века тому назад, и хотя оно было, но так похоже на вымысел, что все права на рассказ имеет сказка.

Тогда двумя самыми почитаемыми лицами священного города Самарканда были: верховный мулла Сагреддин л-Эллиин и купец Бругра-Дырхан. Мулла был стар и согбенен, его согнутая спина выпячивалась, как горб. Купец был только у ворот старости, и его живот выпячивался, как горб, выросший спереди. Мулла был постник, и если его пальцы прикасались к монете — он долго мыл после этого руки в освященной воде. На руках купца, на концах его пальцев, от счета золотых монет выросли мозоли.

Однако оба именитейших лица города с уважением относились друг к другу. И эффенди Бругра-Дырхан к концу великого поста, уразы, жертвовал на мечети Самарканда, так повелось с давних пор, небольшой мешо-

чек, дополна набитый золотыми монетами. В этом не было ничего непонятного: дело в том, что купец Бругра-Дырхан поставлял пищу всему городу. И корзины с пахучим виноградом, и белый дождь риса, упакованный в плетенки, и... Но не хватило бы никаких «и», чтобы перечислить все яства, какие привозили верблюды дырхановских караванов. Караваны эти обычно вступали в город к последним дням долгодневного поста, когда Мухаммедова пустыня — вот-вот — должна превратиться в Мухаммедов рай, когда изголодавшийся правоверный мусульманин может, наконец, шепт гласу своего чрева, наполнить его и прогнать из своих снов сны голода.

Всем известно, что власть развязать пост принадлежала старым, но зорким глазам старейшего муллы города, Сагреддину л-Эллину, так повелевал закон. Согласно обычаю, в вечер, заканчивающий пост, священную ураза, служба муллы, когда наступали первые красные сумерки, приносил ему две шелковинки: желтую и серебристую. И если глаза муллы отличали цвет одной от цвета другой, служба, почтительно склонясь, молча удалялся. Подходили синие сумерки — и служба снова показывал старейшему мулле желтую и серебристую шелковинки, — и если мулла говорил, что не различает цвета одной от другой, азанчи на минарете главной мечети звонким голосом провозглашали конец поста, и начиналось всенощное объедение: турзуки с кумысом переливались в горла правоверных, бараны и овцы, одни за другими, входили жареными телами в их животы, виноград лопался под нажимом губ, скользил из рук в руки арак — и под карагачами и остриями тополей звучали песни, мало похожие на священные. Обычно в эти часы купец Бругра-Дырхан, сидя в своей великолепной спальне в комнате над склянкой с шербетом, подсчитывал доходы и слушал донесения приказчиков о том, как идет ночная торговля. По мере того как животы испостив-

шихся ремесленников, сcribe, учеников и учителей духовных школ, возчиков грузов и каменщиков постепенно разбухали, содержимое их кошельков, быстро тощающих, переходило в шкатулки Бругры-Дырхана.

В это же время, сидя в своей скромной худжире, главный мулла л-Эллиин, вместе со своим секретарем, подсчитывал содержимое мешочка с золотыми монетами, деля золото на серебро, серебро на медь и распределяя дар между нищими и полунищими священного города Самарканда.

Но в этот год, о котором идет речь, праздник конца уразы прошел совсем не так, как этого все ждали.

Дело в том, что в мешочке с монетами, почтительно присланном Бругра-Дырханом главному мулле, вместо золотых монет оказались серебряные. Казалось, золото постарело и стало седым. Секретарь вопросительно глядел на своего духовного руководителя, но тот только молча пожевал губами и велел завязать мешок шнурком. Подступали уже красные сумерки. Служка принес две шелковинки — золотистую и серебристую. Мулла отрицательно покачал головой, и юноша, склонясь до пояса, повернулся к дверям и ушел.

Уже даже в это время из калии главного муллы, если хорошо потянуть ноздрями, можно было услышать пряные запахи яств, которые на треножниках, коптильнях и положенных прямо на угли сковородках готовил для всего Самарканда эффенди Дырхан.

Вслед за красными пришли и синие сумерки. Служка снова, неслышно ступая войлочными туфлями, вошел в худжиру верховного муллы л-Эллиина и показал его глазам два шелковых волоска. Мулла сделал знак рукой: удалиться. Юноша, низко поклонившись, ушел.

За синими сумерками пришли сизые, цвета разбавленных водою чернил.

Служка снова пришел и ушел.

Старший азанчи, стоя на ступеньках минарета, откашливался, готовясь провозгласить благословение, разрешающее поста.

Старый мулла сидел в своей худжире и в почти полной темноте перелистывал страницы Корана.

Настала ночь. Только тонкий серп освещал площадь Регистана, где среди трех утонувших в темноте пятаков медресе Гур-Эмира, Тилля-Кари и Шир-Дора, меж которыми Дырхан, властитель мяса, питья и запахов, расположил ряд своих жаровен. Мясо перегорело, угли тухли, копотный запах и гарь наполняли воздух. А мулла все еще продолжал отличать золотистую шелковинку от шелковинки серебристой.

Приказчики Дырхана прибегали один за другим, сообщая ему о поражении. Толпы народа сидели вокруг жаровен, глотая слюну и не смея приступить к пиршеству, ибо голос азанчи все еще не возвещал о конце уразы. Эффенди Бругра-Дырхан сам, подбирая полы халата, побежал на площадь. Он не увидел, так как трудно было видеть, но почувал, что некоторые из его покупателей расходятся.

Опрометью бросился он к монастырю, где жил сам великий мулла Саггреддин л-Эллиин, там было все темно. По узкой витой лестнице, ударяясь плечами в стены, взобрался испуганный купец наверх, к худжире духовного отца города. Какая-то тень, похожая на контур секретаря муллы, разрешила ему войти внутрь. Дырхан вошел в темную келью, стал на колени и ударил лбом о каменную плиту, спрашивая муллу, за что он хочет разорить его, верного сына церкви, всегда служившего ей посильно своими доходами. Как сможет он служить ей, твердыне Мухаммеда, своими расходами?

Голос из темноты, столь знакомый купцу голос, отвечал:

— Эффенди Бругра-Дырхан, если ты, по своей темноте духовной, не мог отличить серебряной монеты

от золотой, то как ты хочешь, чтобы я, осиянный мудростью пророка, мог не отличить серебряной шелковинки от золотой даже в глубокой тьме этой зимней ночи?

И через минуту азанчи кричал со своего минарета, призывая правоверных открыть губы, горла, пищевод и желудок благам и яствам Аллаха.

А еще через несколько минут, когда в худжиру внесли зажженные факелы, произошло чудо превращения серебряных монет, подаренных мулле купцом, в золотые.

Левое ухо

Тегеран обижен Багдадом. Багдад отнял у него все сказки, не только тысячу, но еще и одну. Но сказка, которая будет сейчас вкратце рассказана, произошла, во всяком случае, в древнем Тегеране.

Самым богатым человеком города был визирь Абу бен-Эффи. Самым бедным человеком в городе был сапожник Гассан.

О богатстве бен-Эффи говорили, что оно началось с того, будто прадед визиря, целуя руку падишаха, выкусил драгоценный камень на перстне, что находился на указательном пальце правой руки властителя. Откуда пришла бедность к сапожнику Гассану, люди ничего не говорили. Кому нужно говорить о бедности. Она сама говорит о себе, прося подаяния.

Но Гассан, молодой сапожник Гассан, никогда не жаловался на то, что платье его почти что одна своя собственная кожа, а что кормят его только сапожный молоток да деревянные гвозди. Мало того. Люди, проходившие мимо его лавки, похожей на большой, вставший на дыбы и потерявший свою крышку греб, часто останавливались, чтобы послушать веселые песни Гассана. Во рту у него были сапожные гвозди, а он все-таки умудрялся петь.

Одну из песен, проходя как-то мимо лавки Гассана в сопровождении своей прислужницы, услышала единственная дочь визиря бен-Эффи, прекрасная Зюлейка. И песня эта приснилась ей в ближайшую же ночь во сне.

Другая песня заставила ее замедлить шаги. Внезапно порыв ветра приподнял край паранджи, скрывавшей лицо девушки, — и с того времени Гассан перестал петь.

Однажды славный Абу бен-Эффи в сопровождении свиты проходил по базару, у края которого ютилась и лавочка Гассана. Визирь покупал драгоценные ковры и памирские шали, сосуды, полные амбры, и вазы, расписанные китайской тушью и киноварью. Его казначей еле успевал развязывать и завязывать мешок с монетами.

Вдруг бен-Эффи остановился и лицо его исказилось гримасой. Пальцы ног его точно зажало в тиски, и он не мог сделать ни одного шагу дальше. Слуги подбежали к властителю, но тот отстранил их рукой, размышляя: «Проклятый придворный сапожник уже который раз делает мне слишком тесные туфли; проклятый придворный лекарь уже который раз говорит мне, что у меня пухнут ноги; кто же прав и кто неправ, лекарь или сапожник; оба негодяи; обоим прикажу дать сто палок по пяткам». И тут же он услышал размеренный стук сапожного молотка. Это работал Гассан. Бен-Эффи подумал: «Кто знает, может быть, простой базарный молоток лучше придворного, выстукивающего себе награды и золото». И по его знаку слуги поднесли его к лавке Гассана. Гассану были переданы сафьян и кожа, только что купленные на базаре, ему приказано было снять мерку с ноги визиря и завтра же принести туфли к воротам дворца властелина.

Гассан низко кланялся, сложив руки на груди. Он знал, что его заказчиком является отец прекрасной Зюлейки, тайну красоты которой открыл ему ветер.

И эта мысль повела его тропкою несчастий. Но не к несчастью.

Всю ночь проработал Гассан над важным заказом, срезая полосы кожи и выкраивая сафьяновый верх для туфель визиря. И всю ночь он думал о крохотной ножке дочери визиря, отчего сапожный нож срезывал все новые и новые полосы — и туфли для широких и длинных ног визиря понемногу превращались в туфельки для его дочери.

Наутро Гассан заснул. Но его разбудил посланец от визиря. Он взял завернутый в холст заказ, швырнул ему несколько монет (две или три застряли в его собственном свернутом змеею кушаке) и быстро удалился, зная, что нельзя длить нетерпение бен-Эффи.

Не берусь описывать ярость Абу бен-Эффи, великого визиря падишаха, когда он увидел стоящие рядом с его слоновьими ступнями крохотные сафьяновые туфельки. Они пришлись бы впору на большие пальцы его рук. Жалкий базарный сапожник решил посмеяться над визирем посланника зпезд и солнца. Погоди же! Визирь послал за старшим кадием Тегерана. Судья немедленно явился, отстукивая несчетные поклоны. Визирь приказал ему разобрать дело о первом и последнем человеке в Персии.

И на следующий же день в лавку Гассана явились двое полицейских, которые увели его на суд.

Кадий судил справедливо, согласно точному смыслу законов, раздела 1101, полагающему наказание за обвес и обмер.

Закон — это знает всякий в самом глухом углу страны — карает всякого, утаившего хотя бы одно зерно риса, не домерившего товар хотя бы на полмизинца или

на отстриженный ноготь; всякий купец, виноватый в этом, должен быть пригвожден левым ухом к дверям своей оскверненной нечестивым недомером или недovesом лавки.

Срок отбытия наказания — от утренней зари до вечерней. В эту ночь Абу бен-Эффи плохо спал. Злорадство и нетерпение будили его поочередно. Приподнявшись на своем ложе, он то и дело взглядывал в окно: не протянула ли заря своей длинной красной нити.

В назначенное время к лавке Гассана явились: истец, судья, два сбира.

И тут произошла неожиданная задержка: ответчик налицо — левое ухо тоже — гвоздь в руке сбира — молоток в руках самого ответчика. Не хватало одного: двери. Гассан был так беден и так беспечен, что в лавке его никогда не было дверей и она никогда не запиралась.

Бен-Эффи был крайне раздосадован. Судья предложил выход: приобрести для ответчика дверь за счет истца. Но бен-Эффи в ярости закричал, что скорее позволит вырвать себе бороду, чем вставит дверь в жилище своего врага.

Тогда кадий, подумав немного, предложил другой выход. А именно: воспользоваться дверью дома самого истца бен-Эффи. Тот сперва замахал руками, но после согласился. «Пожалуй, так и лучше, — думал он, идя вместе с кадием к своему дому, в то время как сбирь вели позади Гассана, — по крайней мере удовольствие видеть оскорбителя наказанным растянется на весь день».

Ворота, вводящие во двор, были обиты медными пластинами. Шествие двинулось внутрь двора. Ответчика подвели к тяжелой дубовой двери, охранявшей дом визиря, с точным соблюдением установленных законом правил притиснули левое ухо Гассана к дверной доске — и пока один служитель закона придерживал края уха большими пальцами левой и правой руки, другой во-

гнал, семью ударами молотка, гвоздь по самую шляпку. Крови было немного. Гассан лишь оскалил зубы от боли, но не застонал. Через минуту он остался один — с ухом, прижатым к двери дома визиря.

Прошло еще немного времени.

И вдруг ухо его ясно расслышало легкий, как удары двух крылышек о воздух, знакомый ему уже шаг. Затем голос, подобный голосу гурии.

Это была прекрасная Зюлейка, дочь визиря, и ее наперсница Джарды. Они продолжали разговор:

— О, Джарды, как бы хотела я еще раз услышать голос Гассана. Его песни мне часто снятся.

— Чего же прощ, госпожа. Наверно, он и сейчас пост там, на базаре, под стук молотка, заменяющего ему долс. Прикажите мне открыть дверь и...

— Нет, Джарды, такое, о чем я думаю, бывает только в сказках. В сказках подходят к закрытой двери и говорят: «Сезам, откройся...»

В то же мгновение Гассан рванул ухом за шляпку гвоздя, гвоздь потянул дверь — и та беззвучно открылась. Зюлейка в испуге оглядывала двор: ни одного человека вокруг. А за распахнувшейся створой тихий, как седьмое эхо песни, прозвучал голос Гассана.

Обе девушки заглянули за дверь и увидели Гассана, сросшегося ухом с нею.

— Бедный Гассан, ты страдаешь? — воскликнула Зюлейка.

— Нет, госпожа, я блаженствую, ибо на меня смотрят глаза прекраснейшей из гурий рая.

Тем временем верхние ступеньки лестницы за скрипели под тяжелым шагом.

Зюлейка быстро вынула из своего левого ушка изумрудную серьгу и сказала, передавая ее Гассану:

— Когда тебя освободят, несчастный Гассан, и ночь скроет тебя от глаз людей, вдень эту чудесную

серьгу в рану от гвоздя — и тебе станет легче. Но шаги отца близятся. Бежим.

И обе девушки исчезли, как тень от рассеянных ветром облаков.

Гассан стоял, зажав в кулаке серьгу, а в памяти голос и образ прекрасной Зюлейки. Радость подкосила ему ноги, он готов был упасть наземь от избытка блаженства, но гвоздь крепко держал его за ухо, напоминая о визире, который, в сопровождении казначея и писца, как раз в это мгновение проходил мимо посрамленного врага.

Хотя достопочтенный бен-Эффи и торопился, но он не мог отказать себе в удовольствии оглянуться на сапожника:

— Что, Гассан, раньше твое ухо слушало стук молотка, теперь оно слушает боль?

А Гассан молчал и думал: «Теперь оно слушает стук моего счастливого сердца».

Визирь ушел. Через некоторое время — хоть и медленными шагами — ушел и день. Гассан был снова в своей маленькой лавке. Тысячи изумрудных звезд сверкали на небе. Будто тсячеухое небо, вдев в каждое из них по серьге, вслушивалось в тихие голоса ночи. Гассан сравнивал изумруд в серьге прекрасной Зюлейки по очереди с каждым из изумрудов неба и находил, что он, нищий Гассан, все-таки чуть-чуть богаче Аллаха.

Прошло еще несколько времени — и к прекрасной Зюлейке, дочери визиря Тегерана, посваталось сразу три сына трех наместников: гайдарабадского, хорезмского и мавераннагрского. Но когда Абу бен-Эффи явился к дочери, трижды польщенный тремя высокими предложениями, предлагая ей выбор, то он — к большому своему огорчению — увидел Зюлейку на ложе болезни, окруженную испуганными, хлопочущими вокруг своей госпожи прислужницами.

Отослав движением руки прислужниц, больная рассказала отцу, горько плача, такое. Еще у ее прапрабабки была пара изумрудных серег, обладавших чудесными свойствами: два изумруда были заклеты колдуном Кришна-Крикса — если одна из серег, переходивших от прабабушки к бабушке, от бабушки к матери и от матери к ней, будет потеряна, то носящая эту родовую драгоценность потеряет и половину своего здоровья, т. е. станет больна; если же будут потеряны оба изумруда, то носящая их потеряет и все здоровье, т. е. умрет.

— И вот, — закончила Зюлейка, — я потеряла одну заветную серьгу — ту, что от левого уха. Взгляни.

Бен-Эффи взглянул и горестно покачал головой. Потому что он больше всего в мире любил свое золото, но второй по порядку любовью была любовь к его дочери. Впрочем, на этом запасы его сердца и заканчивались.

Итак, бен-Эффи горестно покачал головой и спросил Зюлейку, как же быть с женихами.

— Я стану женой только того человека — все равно, богат он или беден, знатен или безроден, — кто отыщет и возвратит мне мою изумрудную серьгу от левого уха.

На следующий день визирь сообщил трем сыновьям трех наместников условия, поставленные Зюлейкой. Все трое внимательно оглядели показанную им правую серьгу, заветную Кришна-Крикса, и отправились на поиски.

Много дней бродили сыновья наместников Гайдабада, Хорезма и Мавераннагра в поисках затерявшейся серьги. У слуг визиря они старались расспросить о всех тех улицах, дорогах и тропинках, по которым имела обыкновение следовать прекрасная Зюлейка. И каждый старался платить дорожке других, чтобы узнать больше других. Они подкупили прислужниц дочери визиря,

каждый отдельно, прося обыскать все углы и уголки визиревского дворца, обещая щедрые награды.

А прекрасная Зюлейка не покидала ложа болезни. Она лежала среди тринадцати шитых золотом подушек и думала о Гассане и его песнях. Все блюда, которые ей приносились, она отсылала обратно. И только изредка пробовала ложечкой присыпанный сахаром снег, который привозили с далеких гор Герата.

Прошли дни и дни, и женихи вернулись с пустыми руками.

— Клянусь бородой Аллаха, — воскликнул один из них, — легче достать лунный серп с неба и срезать им вот этот мозоль на ноге, который я натер во время поисков, чем отыскать изумрудную серьгу.

И все трое просили помощи и указаний для дальнейших поисков.

Визирь Абу бен-Эффи, выслушав соискателей сердца дочери, отправился к ней и вскоре вернулся назад, говоря так:

— О, будущие властители Мавераннагра, Хорезма и Гайдарабада. Дочь моя, желая испытать ваше усердие, сказала не все условия, с тем чтобы слабый, убоившись новых преград, уступил место сильному. Вот дополнительные — но и последние — условия: мало отыскать потерянную серьгу, надо заранее, веря, что она будет отыскана тобою, а не другим, прободать свое левое ухо гвоздем и, вдев в него отысканную чудесную серьгу, явиться пред очи Зюлейки. И еще: два уха, две серьги — и число соискателей должно быть сродственно цифре два: два жениха — четыре жениха — сорок четыре — двести двадцать два — и так в беспредельность.

Женихи возроптали.

Тогда бен-Эффи добавил: «Но в виде милости и поощрения дочь моя разрешает вам умножить ваши гла-

за, добавляя к двоицам зрения любое количество двуглазый.

Женихи посовещались друг с другом.

Сначала они отправились к гвоздильщику и велели проколоть себе левые уши. Но левых ушей у них было только трое. Они стали уговаривать друг друга, прося, чтобы один из них отказался от состязания. Но это не привело ни к чему, ибо упорство возрастает по мере роста преград. Особенно когда они вспомнили, что через семь дней истекает срок розысков потерянной чудесной серьги.

И тогда один из них, сын наместника хорезмского, сказал:

— Зачем нам искать четвертого соперника. Я слышал, что недавно сапожнику Гассану, во исполнение решения кадия, пробили, как и нам, левое ухо гвоздем. Он нам не соперник. Притом к нему можно приставить стражу, которая не выпускала бы его из его деревянной клетки.

— Да, это верно, — подтвердил сын наместника гайдарабадского, — я видел его продырявленное ухо, когда заходил к нему в лавку, чтобы починить свою истертую в поисках этой проклятой серьги обувь.

И кадий вписал в число состязающихся четвертого — нищего сапожника Гассана, а богачи-женихи приставили к его лавке, лишенной двери, каждый по часовому. Гассан взял три трижды скудных платы от трех соискателей сердца Зюлейки и продолжал работать, как работал и раньше. Он пел. Но не те, не прежние песни.

Тем временем три соискателя сердца Зюлейки, пользуясь соизволением отца ее, призвали из стран своих самых остроглазых людей в помощь их трем двуглазиям. Остроглазые шли, наклоняясь над дорогами и тропами, они находили зерна, выроненные из клювов птиц,

лепестки цветов, сорванные ветром, но изумрудной серьги никто из них не отыскал.

Серп месяца становился все тоньше и тоньше. Настал и последний день.

Три соискателя сердца Зюлейки пришли с пустыми левыми ушами. Если не считать дыр в каждом из них.

И вдруг у входа во двор великого визиря Абу бен-Эффи зазвучали длинные тубаи. Во двор входил молодой сапожник Гассан. В левом ухе его под желтым солнцем синей искрой сверкала серьга Зюлейки.

Стоит ли рассказывать дальше. Все ясно, как ясно солнце, бросающее колосья своих лучей на полуденную землю.

Остается добавить одно: больше всего на свете Абу бен-Эффи любил свои золотые монеты; второю его любовью — после золотых монет — была его дочь. И на этом список его любовий кончается.

Украденный колокол

Начало этой истории, похожей на сказку, было в городе Шахджаханпури. В Средней Индии, где растет айва и пальчатая пальма. Город этот невелик. По крайней мере медному колоколу, что висит на каменной площадке главного храма и звонит ранним утром и перед приходом ночи, всегда удавалось разбудить не только город, но и его пригороды.

Старый, глухой Джаа-джи-джуа, звонарь главной колокольни Шахджаханпури, еще до утренней зари взбирался по скрипучим ступенькам колокольни.

Что ж он увидел? Колокола не было. Несколько сломанных досок. Медный язык, подкатившийся к краю колокольной площадки. Пустая веревка, свешивающаяся из-под крышки колокольни.

Старый Джаа-джи-джуа сперва долго оглядывал спящий — под сумерками рассвета — город. Потом присел на корточки и заплакал. Потом встал, взял лишенный колокола язык и привязал его к шнуру, чуть колеблемому рассветным ветром.

Старый, глухой Джаа-джи-джуа сорок лет кряду — с начала каждого дня — раскачивал медный язык, которому отвечали медные бока старого шахджаханпурского колокола. Он и сейчас, повинувшись зову рассвета, стал

раскачивать язык колокола, ударявшийся лишь о пустой воздух и ветер.

И странно: двери домов, как всегда, начали открываться, над крышами завились, как спирали хмеля, серые дымки очагов. Украденный колокол звонил, как если б его никто и не похищал.

Ночью глухого Джаа-джи-джуа разбудило странное ощущение. В раковине правого его уха ворочалось какое-то воздухообразное существо, разговаривающее с ухом тихими, но внятными словами. Звонарь приподнялся на локте и слушал:

— Это я, джин, живший под медной кровлей твоего колокола. Сейчас я, дух звонов, лишен своего обиталища и решил поселиться в твоём ухе. Тут тесно, но ведь ты не прогонишь меня, Джаа? Вместо платы за помещение я буду платить тебе полуслушанием, в правое твое ухо возвратятся звуки.

— О господин мой, джин исчезнувшего колокола, будь гостем моего уха; прикажи старому Джаа-джи, что ему делать, — и он покорно исполнит твою волю, дух колокольного звона.

— Слушай, Джаа, — отвечал джин, — мы отправимся с тобой вдогонку за ворами, похитившими колокол, — и мы отыщем его, хотя бы тебе пришлось потратить на это мириады мириадов шагов.

— Слушаю, господин. Но как же быть с жителями Шахджаханпури, которые привыкли покидать сон и возвращаться ко сну по звуку моего колокола?

— Не заботься об этом, старый Джи. Каждое утро и каждый вечер я буду посылать дуновение ветра, которое будет раскачивать язык ушедшего колокола, — и воздух будет звенеть, как медь.

Звонарь и джин отправились в путь.

Недаром в Упанишадах сказано, что дороги Индии немногим короче длины мира. Спутники прошли стра-

ну от Тирачендура до Пешавара. Они шли вдоль голубых и черных лент притоков Ганга: Джамуны, Тирта, Гондаи, Гогра и Джамны.

Они прошли через города: Джабалпор, Гайдарабад, Мадрас и Бангалор.

Лишенный обиталища джин советовался со всеми духами колоколов.

В конце концов звонарь и джин дошли до Бенареса. Здесь над городом пели огромные деревянные колокола. Шахджаханпурский джин долго пробыл под деревянным куполом самого старого из бенаресских колоколов. Затем он вернулся в правое ухо спутника. Тот в это время проходил по рынку Бенареса. Кричали продавцы, ревели, прыгая с высокой ноты на низкую, ослы, звенели серебряные и медные монеты, анна и пайсы, ударяясь о деревянные края чашек продавцов.

И тут Джаа-джи-джуа услышал голос крохотного медного пайса, звон которого напомнил ему о звоне старого шахджаханпурского колокола.

Джин и человек напали на след.

Недалеко от Бенареса был главный монетный двор страны.

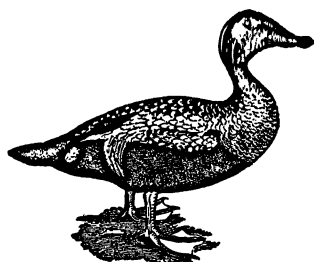
Джи и джин отправились к его медным воротам. Человек встал у выхода. Его платье давно было в лохмотьях. Лицо исхудало и стало под цвет жареному кофейному зерну. Он стоял, протянув руку, — и рабочие, выходя с монетного двора, изредка бросали медные пайсы и анна в ладонь нищего. И всякий раз джин, ворочаясь в раковине правого уха Джи, повторял: «Да, я слышу звон моего колокола, в котором я так долго жил; как туча распадается на капли, так и он, мой медный колокол, распался на мелкие пайсы и стучит о твою протянутую ладонь. Джаа-джи-джуа, человек, которому я возвратил полслуха, пойдешь ли ты со мной собирать медные кап-

ли дождя, которым падает в руки нищих мое обиталище,
мой старый медный колокол в Шахджаханпури?

— Да, господин, — отвечал звонарь.

И с той поры — так говорит предание — джин и
Джаа-джи-джуа блуждают по всем дорогам и тропам
Индии, собирая распавшийся на мелкую медную моне-
ту священный колокол.

Мал мала меньше



книга новелл

Гусь

Гуси, как это всем известно, спасли Рим и литературу. Стилос был забыт, стальное перо еще не родилось. На помощь пришло тонко очиненное, упругое гусиное перо. Окунув свой белый носик в черные чернила, несколько веков кряду скрипело оно на пользу и на вред человеческой мысли, превращая чернильные капли в слова.

Жил-был бедный поэт. Ему не везло. Стоило ему написать оду вельможе — и не успевали строки его оды просохнуть, как вельможа попадал в опалу. Над одной несней о приходе несны он трудился так долго, с таким титанием, что весна успела отцвести, лето прошло мимо и выпал снег. Переплеты всех альманахов захлопнулись для запоздалого шедевра.

Бедный поэт голодал. Он не просил милостыни, но ниспрашивал вдохновения у богов. И однажды оно пришло. Счастливец схватил гусиное перо — последнее, какое у него осталось, — и ткнул им в чернильницу. Но движение его руки было столь стремительно, что перо — увы — сломалось. Вдохновение кратко, как раскат грома. Поэт бросился искать другого пера.

Как раз в это время за окном раздалось мерное «кра-кра». Поэт распахнул дверь: мимо крыльца шел гу-

сак со своей гусыней. Они медленно переставляли свои веерообразные пятки, направляясь к ближайшей луже. Поэт, сбежав со ступенек крыльца, схватил гуся левой рукой за шею, правая же его рука проворно выдернула длинное перо из крыла.

Поэт был немного смущен и оглядывался по сторонам — нет ли постороннего глаза? Он бормотал:

— Это для поэзии. Во имя святой поэзии.

Гусь жалобно загоготал — и, чуть пальцы на его шею разжались, бросился опрометью прочь.

Поэт вернулся к бумаге и чернильнице. Но, о горе, перо было жестко и колюче, как клюв. Оно царапало и рвало бумагу, противясь наитию, ниспосланному небом.

Поэт, горя нетерпением, бросился вдогонку за гусем. Тот, завидев своего мучителя, попробовал было убежать. На помощь коротким тычкам ног он призвал взмахи крыльев, на которых некогда его предки умели летать. Но вместо полета получались прыжки — и поэт, разъяренный вдохновением, нагнал-таки гуся. На этот раз, прежде чем выдернуть новое перо, он пробежал дрожащими пальцами по всему крылу глоссандо и только тогда выбрал и выдернул упругое, опущенное белой остью, не слишком мягкое и не слишком жесткое перо. Гусь тихо, но протяжно замычал, а гусыня, бегавшая все время вокруг, ткнула — раз, и еще раз — поэта в левую щиколотку.

Но тот ничего не замечал. Прижав перо к груди, он вытирал пот со лба и слезы восторга с глаз, повторяя:

— О, поэзия! О, божественная поэзия! Поэ... — и через минуту скрылся за дверью дома.

И гусь, и гусыня долго не могли успокоиться. Затем, придя в себя, оба отправились к луже. Вслед за сильными переживаниями всегда приходит аппетит.

Войдя в лужу, супруги долго макали свои желтые, тупые, как кочерыжки, клювы во вкусную, жирную, кишущую зернами и червячками жижу.

— Вот он, этот, кра, как его, все говорил: поэзия-поэзия. А что такое, кра, поэзия?

— О, я это теперь хорошо знаю, — отвечал гусь, задрав голову кверху, чтобы зернам было легче скользить по пищеводу, — поэзия — это... гм... н-да... га-га... Это когда твое же перо делает тебе больно.

И супруги снова принялись за еду.

1937

Березайский сапожник

Есть древнее предание о граде Китеже, который затонул в водах озера и напоминает иногда о себе звоном звучащих со дна колоколов. Но тому, кто ездил, еще не в столь давние годы, в поездах с битыми окнами, где зеленые и красные товарные вагоны попеременно, нельзя забыть толпу людей в серых шинелях, которые, прыгая со ступенек раньше, чем они остановились, бежали к водокачкам и кипятильникам, звеня котелками о котелки и подбодряя друг друга: «Славный город Березайка — поскорей вылезай-ка». А если бы вы захотели проверить, подлинно ли это Березайка, то станционная надпись, черным по белому, над колоколом, свесившим свой веревочный язык, опровергала.

Где же находится этот славный город Березайка? Географические атласы молчат. Это тайна, столько же пока не разрешенная, как тайна Атланты, Персеполиса и нашего Китежа-града.

Первый березайский сапожник, самое имя которого уже забыто, появился в Березайке как-то ночью, черной как вакса ночью, и до срока разбудил березайских петухов своей веселой звонкой песней.

Он пел: «Славный город Березайка, слышь, из грязи вылезай-ка; город славный Березай, все из грязи вылезай».

Кое-где закрихтели ставни. Песню рецензировала сонная ругань. Но сапожник продолжал идти и петь.

Вскоре разбрезжило утро. При свете его можно было увидеть, что в руках у сапожника две щетки, завернутых в тряпицу, ящик с коробочками ваксы и коротконогая, как такса, скамеечка.

Город Березайка издавна славился грязью и лужами. Слава эта разошлась бы и дальше приберезайской округи, если бы самая грязь, хватавшая за подошвы, не мешала разносить о себе славы. Солнце каждый день пробовало высушить березайское жирное черное месиво. Но ему не удавалось. Люди, жившие друг против друга через дорогу, только издали махали друг другу платками и аукались. Перейти через улицу, не причастившись и не исповедавшись, было опасно для души. Кое-где из засоса грязи торчало дышло и увязнувшее колесо. Утки полоскались посреди улицы, а над лужами пели стаи комаров.

Сапожнику не сразу удалось найти местечко посуше. Это был большой, обросший сухой зсмяной коркой камень у колодца. Сапожник начал с того, что, дождавшись утреннего солнца, снял с себя рыжие от грязи сапоги, отскоблил ножом тяжелую налипь и стал их чистить.

Окрестные мальчуганы, завидев из окон и оконцев странную штуку — щетка, будто швабра по коню, трет да трет по сапогу, — повыпрыгивали, как малые лягушата, из калиток и дверей и, засучив штаны выше колена, шлепая по лужам, собрались к чистильщику сапог — что за диво? — стали в кружок и раскрыли рты:

— Что это, дяденька?

— Черные зеркала да зеркаленки, что выпучили глаза-глазенки — подойди, да поглядись, да гребенкой причешись.

Подошли ребята, глянули — и впрямь: на носу сапога медным пятакom солнце горит, а видать себя на глянце ваксы не хуже, чем в самой черной луже.

Сказали ребята своим отцам да матерям. Пошли, по досочкам, матери-отцы — и впрямь: на каждом ваксенном носочке по солнышку.

И тут случилось сапожнику первый гривенник в карман положить: велел ему богач-березаец, по имени Фома Незваец, сапоги почистить. Пошли щетки в работу, засверкали голенища, а переда да носы и голенищ почище. Пошел назад Фома Незваец, сразу стал, коли не сверху, так снизу красавец, пошел по хлипким досочкам, носок за носочком (все на него смотрят-любуются), раз-два, оступись — и в грязь. И стал Фома древнюю староберезайскую грязь ругать: такая, мол, ты и такая, прилипчивая и воночая, чтобы тебе усохнуть, кабы на тебя смерть неминучую.

Обиделась стародавняя Грязь березайская: на полвершка в землю ушла.

Жила в Березайке девушка Марья — всех красавиц красивее. Кто ее увидит, тому праздник. Бывало, под воскресенье, идут к ней парни отовсюду, из всех переулков, едва сапоги из грязи вытягивают, а придут, впереводку песни поют да гармонии плющат и растягивают. И вот случилось такое: подарил ей веселый сапожник пару золотых полусапожков. Вышла Марья на улицу, а поверх золота черной грязью на сапожки брызнуло. Ушла Марья в свой дом и сказала, что не наденет золотых полусапожек, пока проклятая старуха Грязь из-под ее ног не уйдет.

Обиделась стародавняя березайская Грязища: еще на вершок в землю утязла.

Но и это ей не помогло. Пошли удалые березайские парни в поход на Грязь-грязнуху, взяли ее в черпаки да в лопаты — Грязь в землю ла-та-ты.

Еще веселее запел сапожник. Скупил он по дешевке с каждого перехода через бывшую грязь по шелевке, построил себе шалаш, не велик, да наш. На шалаше надпись: «Торговля Скрипами».

А скрипы делаются так: меж стельки и подошвы кладут малый кусок лайки, а перед тем в кислом квасу выквасенной; сыплют повсрх лайки две щепотки желтой серы, а к сере в подбаву полценыоти капифоли — и скрипит сапог на слану.

Стали к сапожнику березайцы-покупатели за скрипом ходить. А кто не ходит, того он сам зовет: «Сапоги без скрипу — что тройка без колокольчика». Завидит купца: «Эй, борода, купи скрип под сапожны подборы — скрипу боятся одни только воры». Почешет купец бороду пястью, зайдет к сапожнику, делать нечего, купит скрип на счастье.

Бежит мимо шалаша, юбками шурша, молодая молодница — красная девица. Сапожник ей: «Хороши твои туфельки, да в них скрипу ни чутельки; пройдешь мимо парня, что тобою лишь дышит, а тот и не услышит».

И стал с той поры город Березайка чист и ясен, как зачищенный сапог. Уж у веселого сапожника стоит не шалаш, а каменная лавка, а на ней надпись: «Первая Березайская сапожная артель».

Игроки

Их было двое в нетопленной квадратной комнате дощатого дома, что у заставы. Бухгалтер и поэт. На счетах нечего было считать. Разве что смену правительств. Еще вчера бухгалтер передвинул девятую белую костяшку справа налево по стержню. Бумага расплзлась листовками, приказами, воззваниями по кирпичу и дереву стен и решительно отказывалась от каких-то там стихов. Итак, оба были безработны. Деньги давно эмигрировали из их карманов и превратились в хлеб и дрова, давно съеденный и давно сгоревшие. Два человека, две лежанки, один стол, два табурета и одна трепаная колода карт. С утра до вечера поэт и бухгалтер играли в штосс. Изредка, чаще всего под вечер, один из них отправлялся промыслить кусок хлеба или доску от забора на растопку. Дело в том, что на двоих у них была одна пара сапог, постоянно переходившая, в зависимости от расклада карт, с рук на руки. Точнее: с ног на ноги.

Поэту не везло. Уже неделю он ходил в проигранном платье. Неполученный аванс и посвящение к книжке «Сны замерзающего» тоже перешли в собственность его партнера. Но игроки продолжали играть.

В сущности, мир принадлежит всем; всё — от звезд до пылинок — коллективная собственность челове-

ства. Исходя из этой мысли, поэт — это было еще вчера — поставил на карту Полярную Звезду и начал метать. Увы, не прошло и десяти секунд, как звезда была вписана в инвентарный список бухгалтера. Таким же образом поэт проиграл Волосы Вероники, а затем сперва Малую, а потом и Большую Медведицу.

Из-за Млечного Пути игроки не спали целую ночь. При свете коптилки они яростно сражались до тех пор, пока звездный путь не очутился в кармане бухгалтера.

Но затем счастье вдруг повернуло на сто восемьдесят градусов. Прежде всего произошла необычайность: поэту удалось получить проигранный аванс. Правда, всего каких-нибудь три-четыре миллиона. Но и то хлеб — пусть черствый, но хлеб; но и то дрова — пусть сырые, но дрова. В кубе из четырех стен потеплело, в желудках тоже, пальцы раззяблись и, естественно, потянулись к колоде карт. Поэту продолжало везти: сперва он отыграл свои миллионы, потом — планета за планетой — всю Солнечную систему, далее — звездное небо посыпалось целыми созвездиями прямо в ладони: бухгалтер оставался всего лишь при кое-каких мелких звездешках; ему удалось удержать у себя кольца Сатурна, но еще две-три сдачи — и кольца покатались, вслед за планетой, к счастливому сопернику.

Да что там звезды! Поэт выиграл и сапоги. Вся Вселенная принадлежала ему. Взволнованный удачей, он прошелся несколько раз по комнате. Буржуйка успела остынуть. Вселенная, выигранная поэтом, была чуть-чуть подмороженной. На окнах выступали витиеватые белые узоры.

— Кто пойдет за дровами? — спросил счастливец.

— Тот, кто выиграл сапоги, — отвечал бухгалтер.

Он сидел на лежанке, поджав колени к подбородку, и растирал руками ступни замотанных в тряпье ног.

Победитель не возражал. Он нахлобучил на уши парусиновую кепку, запахнулся в стеганую телогрейку и вышел.

Почти в те же секунды на улице застучали выстрелы. Бухгалтер понял: это входили в город белые, очередь была за ними. Бухгалтер подошел к счетам, висевшим на гвозде, и перевел черную костяшку справа налево — по стержню.

Стрельба усиливалась, вдалеке грохнуло два-три орудийных выстрела. Где-то, совсем близко, зачастил, как пишущая машинка, пулемет. Предсумеречный свет перешел в сумерки, сумерки — в ночь.

Партнер не возвращался.

Температура комнаты ползла книзу. Всю долгую зимнюю ночь бухгалтер просидел на своей лежанке — и недобрые мысли скользили сквозь его мозг.

С рассветом он обмотал ноги в войлок и две газеты и, ежась, вышел на улицу. Снег, селитренно поблескивающий снег. Зажатые ставни длинных желтых дощатых гробообразных домов. У перекрестка какое-то серое, как расплзшаяся клякса, тело. Около него три женщины и мальчуган со свесившимися с головы суконными наушниками, виляющими тесемочными хвостами.

Бухгалтер подошел. Да, это был он, его счастливый партнер. Он лежал лицом в снег, разбросав руки. Под грудью вязанка дров. Одна из баб, вытирая мерзлые слезы концами черного платка, причитала:

— Ой, голубчик ты мой, несчастный человек. Кто ждал, кто гадал? Послала я ввечеру Митеньша моего за карасином. А уж эти, как их там звать, не знаю, идут. Идут — стреляют. Что делать?.. Митюшка мой... И послал Бог доброго человека. Схватил он Митьку на руки и к калитке. Только настигло его, сердечного, пулей. Их ты, незадача какая, ах ты, горькая горесть...

— Ну, а Митька цел?

— Цел. Что ему. А вот этот... Царство ему небесное...

Бабы повздыхали еще с минуту, и калитка закрылась за ними.

Бухгалтер оглянулся по сторонам. Улица была пуста. Став в снег на колени, он стащил с трупа сапоги, натянул их на свои иззябшие ноги и, не оглядываясь, пошел к дому. О Вселенной, так и оставшейся собственностью поэта, он и не подумал.

Доброе дерево

Сказка

Жила бедная швея. Никто ей не помогал: кроме иглы и наперстка. Заказчики торопили всегда с работой, хотя и не торопились за работу платить.

С раннего утра до сумерек сидела швея, согнув спину, над ныряющей в ткань иглой и паутинно тонкой нитью.

В теплую погоду она открывала окно на улицу — и снизу слышались тогда сирены авто, звонки трамваев и проплывали большие буквы. Буквы обещали перекрестки улиц, широкие площади и даже подгородные дачи, парки и лес...

Как-то выдался особенно хороший летний день. К запаху бензина присоединялся легкий аромат цветов, выставленных по соседству на подоконнике. И швея решила послушаться цветочных вазонов и уходящих за город трамвайных букв. Правда, к вечеру нужно было сдать спешный заказ. Но почему нельзя дошить платье там, в лесу: не под этим скучным потолком, а под ясным небом и ветвями деревьев?

Швея положила недошитое платье в картонную коробку; в сумочке поместились игла, катушки ниток и наперсток; не был забыт и завернутый в бумагу завтрак.

Не прошло и часа, как знакомая наша очутилась не среди кирпичных стен и квадратов стекла, а среди деревьев с просветами голубого неба меж их вершин.

Сначала был съеден завтрак.

Потом нужно было немного поулыбаться природе, приземистым пням, зеленым подушечкам мхов и сухопарым соснам, чинно раскланивающимся с пролетающим ветром.

Но и лес напоминал — правда, очень мягко — о работе: по воздуху плыли серые мотки паутинных нитей; голубые колокольчики были похожи на выросшие из земли паучеретки; а сверху, с корявых сосновых лап, свешивались целыми пачками зеленые иголки. Даже дятел, описывающий свою спираль вокруг соседнего ствола, аккуратно отстукивал клювом секунды, и короткокрылая птичка, вспорхнувшая над кустом, успела пискнуть что-то похожее на: «шить-шить!»

Швея раскрыла картонную коробку, отряхнула платье, откусила кончик нитке и попробовала вдеть ее в игольное ушко. И в это-то мгновение игла, сверкнув белой искрой, выскользнула из пальцев и скрылась где-то среди трав и мха.

Конечно, было очень неблагоприятно не подумать о запасной иголке. Но что делать? Швея, став на колени, долго искала потерянную иголку: под пальцами у нее лишь похрустывали желтые прошлогодние травы да курчавился влажный мох. Надо было возвращаться. Слезы подступили к ресницам, когда, взглянув на катушку и длинную нить, швея вспомнила о гудящем проводе и стальных катышках трамвайных колес, которые разлучат ее — и надолго (когда-то теперь соберешься?) — с этим вот милым, добрым лесом.

Все бы так, разумеется, и кончилось, не вмешайся в дело о пропавшей иголке старая сосна, давшая тень и приют бедной горожанке. Это было действительно доб-

рое дерево, свято соблюдающее древний обычай лесного гостеприимства.

Прежде всего сосна наклонила над гостьей свою высокую крону — и с ветвей ее, вместе с желтой пыльцой, похожей на пыльцу крылышек мотылька, и тонким благоуханием смолы, слетели сны. Они пробрались под веки глаз, осушили слезы и плотно занавесили зрачки.

Убедившись, что гостья спит, старое дерево, немного покряхтывая, приблизило свои узловатые длинные пальцы к платью, лежавшему на коленях швеи, — и мириады загоревшихся зеленым блеском игл заворопились вдоль швов и складок недошитого шитья.

Дятел, на которого махнули косматой и иглистой лапой, чтобы он не будил своим стуком гостью, слетел наземь и мерно сматывал нитку с катушки; маленькая птичка, попискивая свое «шить-шить», вдевала нити в иглы. На помощь летели отовсюду, подгоняемые ветром, тонкие мотки паутины. А голубые колокольчики, вспомнив, что у наперстков нет язычков, а у них есть, зазвонили вперевой.

Это-то и разбудило швею, так как ей привиделось многое множество трамваев, мчащихся с громкими звонками мимо нее и не дающих времени вскочить на ступеньку.

Она приподнялась и раскрыла глаза. Рядом дожидалось аккуратно развешенное на пальчатых листьях папоротника, совершенно готовое — до последнего стежка — платье.

— Но как же так, — спросит читатель, — ведь...

— Никаких в е д ь! Прочтите еще раз подзаголовок: и все.

Утренняя прогулка леса

Это было данно. Когда еще не было календарей. Теперь леса растут, врывшись корнями в землю. У рек свои отмеченные картографами русла. Горы прочно стоят на своих основаниях, вершинами к небу.

А прежде — об этом напоминают нам облака, вечно блуждающие по небу, — ничто не было прикреплено к своему месту. Горы, когда им вздумается, кувыркались через вершины и снова вращались в земной фундамент. Реки то изгибали свое русло, как змеи, то выпрямляли его, подобно летящей стреле.

Но здесь будет рассказано только об одном небольшом лесе, стоявшем на взгиге холма у озера — в наших местах, но во времена, когда нас еще весьма и весьма не было.

Лес, о котором речь, спал по ночам глубоким дремучим сном. Еще до рассвета его пробовали разбудить песни птиц, ночевавших на ветвях его деревьев.

Лес просыпался не сразу: он шевелил под землей корнями, отмахивался кронами дубов и сосен от ветра. Но наконец пробуждался. Роса подымалась от земли и умывала лесу листья и иглы хвой. Распахивался восток, откуда сквозь алую щель проскальзывали первые лучи дня. Утренние ветры, вместо утренних газет, сообщали

лесу о том, что делается на свете. Лес покачивал головами своих деревьев: да-да, ах так, вот что, надо обдумать.

Затем начиналась утренняя прогулка леса. Он шел навестить поле и любезно отразиться в соседнем озере.

Прежде чем вытащить корни из земли, лес наказывал какому-нибудь грибу-подорожнику или березке, что у опушки, остаться стеречь место лесово, пока он, лес, пойдет разминать свои старые корни.

Двигались все разом: и дубы, и ели, и белотелые березки, и зеленые папоротники, и тонконогие грибы. Лес шел, переставляя тысячи упругих корней. Впереди — сосны и дубы; за ними кто помельче, а там кусты и кустарники; а позади ковыляли грибы и ползли мхи. Грибы всегда отставали: жили они семьями — гриб, грибиха, грибята да всякий скарб, всяческое подгрибье; шляпы у них были широкополые, шляпа в шляпу тычется, — и никак грибам за лесом не поспеть.

Лес шел не торопясь. Знакомым ветрам кланялся всеми головами, склоненным полевым кустам велел отпоклониться своим кустам-стам, а на подобострастную стлань сохлых трав полевых даже и листиком не шелохнет.

Затем, размяв корни, лес возвращался, набрав полные листы и иглы воздуха и солнца, на свое привычное место.

Впереди его ползли курчавившимся ковром мхи и бежали, стараясь не уронить своих китайских шляпок, многосемейные грибы.

Вот и старое, ожидающееся хозяйство, лесное становище. Отстороживший гриб рапортует: «Во время моего дежурства никаких случаев не случилось». Лес погружает корни в рыхлую, как пепел, почву, тут не всегда обходится без сутолоки, споров и корнесплетений. Молодая березка доказывает дуплистому дубу, что он стал на ее место; иглистые сосны, ошестинившись миллиона-

ми зеленых игл, расталкивают юную поросль, нахально наступающую корнями на корни. Наконец все утихает, тени ложатся на свои места, поверх корней мох, поверх мхов папоротники и лапчатые кустики лесных ягод. Ветер, запутавшись в ветвях, покачавшись на них, как на качелях, не хочет лететь дальше и, подостлав под себя смолистый мягкий воздух, засыпает.

Но иногда случаются случаи. Расскажу только один.

Произошло такое. Лес, начав свою обычную утреннюю прогулку, не успел еще дойти до озера и отразиться в нем, как уж его начал дежурный гриб. Гриб собирав соседний роща, воспользовавшись отлучкой леса, вторглась на его старинное лесное местовище и врывается сейчас корнями в чужую почву.

Лес тотчас же повернулся на всех своих комлях и двинулся навстречу захватчику. Впереди, рассыпавшись в цепь, бежали кусты и шел тонкоствольный подлесок. За ними, в белых мундирах, шагала, выгибая длинные корни, дружина берез. А позади, примкнув вершины к вершинам, медленно двигались дубы и сосны.

Бой был страшен и длителен. Деревья сшибались с деревьями острыми пиками своих верхушек; ветви, сцепившись с ветвями, ломали друг другу кисти и пальцы; смоляная кровь облепила стволы и стекала желтыми струями наземь.

После жестокой схватки лес отбросил врага — и роща отступила, роняя по пути раненых и убитых.

С той поры лес боится покидать свое привычное место, и люди говорят, что растения чужды странствования. Теперь — да, но в старые времена...

Контролер

Писатель А. с трудом втиснулся в трамвай. Он хотел было ухватиться рукой за свешивающееся со стержня коричневое стремя, но стремя, раскачиваясь, увертывалось от его зажатой меж спин и плеч руки. Сзади чей-то чемодан подшибал ноги, заставляя их подгибаться в коленях, и требовал дороги. Но подошвы передних лягались, отгесняя его назад. Вагон был набит, как жестянка с икрой, готовый превратиться из зернистой в паюсную.

И в эту-то минуту появился новый пассажир. На него никто не закричал, никто его не пнул плечом и не лягнул калошей. Потому что пассажир этот появился не столь в железной коробке вагона, сколь в черепной коробке писателя А. Пассажир этот был мыслью, яркой, как зигзаг молнии, мыслью, потребовавшей себе места на бумажном листе.

Писатель дернул плечом, пробуя вытащить из левого кармана пиджака блокнот и карандаш. Он знал, что внезапные, слепящие глаза мысли капризны, ударяют о мозг, как пуля, летящая рикошетом. Но паюсная толпа, черные спины и черные портфели не позволяли отзернить, шевельнуть хотя бы пястью руки.

А мысль грозила отлетом, теряла ясность контура, как облако, уносимое ветром. Несчастный А. готов был

закричать, руки его сжались в кулаки, но в это время передняя дверь скользнула в сторону — и половина содержимого вагонного короба высыпалась по ступенькам передней площадки наружу.

А, уже заранее торжествуя, сунул руку под верхние пуговицы пальто, кем-то — странно — предупредительно расстегнутые: карман был пуст — и блокнот и бумажник переменили квартиру.

Писатель А., чуть не плача, повернулся к соседу:

— Дайте мне ваш бумажник, то есть нет, лист бумаги, ну хотя бы листок.

Тот хмуро ослепдел просящего и молча пошел к выходу. Была его остановка.

И именно в этот момент — так, по крайней мере, рассказывал сам А. — человек, удостоенный посещения высокой мысли, — заметил торчащий из-под застёжки своей перчатки на левой руке клочок бумаги. Это был билет, обыкновенный трамвайный билет. Он был мал, но если писать мелко и с обеих сторон, то... Остается добыть карандаш. Скорее, скорей. Еще минута, и идея теряет контур.

Он увидел его, столь желанный карандаш. Карандаш был в руке у кондукторши, которая, слюня ему тупой графитный носик, что-то вписывала в свою маршрутную книгу. Писатель подскочил к ней, но ему пришлось прождать еще с минуту, пока карандаш не очутился, наконец, в его руках.

Готово. Есть. Вот она идея. Зафиксирована. Вот на этом клочке, поймана, черт, как птица в клетку.

Писатель, блаженно улыбаясь, стоял в проходе, хотя уже несколько мест освободилось и можно было сесть. Он был счастлив, как счастлив охотник, возвращающийся с удачной охоты. Ему хотелось хоть с кем-нибудь поделиться радостью. Правда... бумажник, блок-

нот... э, пустяки, документов в бумажнике не было... тридцаткой больше, тридцаткой меньше, пустяки.

В это время, продвигаясь вдоль пролета, к писателю А. подошел человек в шапке с наушниками, мягко ступающий черными валенками по доскам вагонного пола. Симпатичное лицо его, улыбаясь, повернулось в сторону А.

— Ваш билетик, — сказал он мягким, как и его шаги, голосом.

А., отвечая улыбкой на улыбку, протянул свой билет. Незнакомец, вежливо поклонившись, взял его, вмял в бумажный комок из билетных клочков в своем левом кулаке и исчез, так же неслышно, как и появился, прыгнув на ходу.

Опустевший трамвай остановился. «Последняя остановка», — крикнула кондукторша. Но писатель А., с окаменевшим от отчаяния лицом, не двигался с места — с таким видом, как если бы это была последняя остановка в его писательской жизни.

Раскулаченный боксер

Это был добродушнейший человек с легкой улыбкой на расплоснутых губах и пудовыми кулаками, привешенными к длинным узловатым рукам. Когда он, сбросив спортивный халатик, нырял под веревку ринга, со всех скамей цирка неслись веселые приветствия. Число его побед обозначали уже двузначным числом. Но тут произошла встреча: широкогрудого, высокого, с стальными бицепсами чемпиона с маленьким, прячущим под крахмальной манишкой петушиную грудь знаменитым кинорежиссером. Чрезвычайно подвижный, юркий мозг режиссера попал на тяжелую, малоодвижную мозговую массу, дремлющую под черешковой коробкой чемпиона.

Режиссер, щупая тонкими паучьими пальцами мускульные узлы боксера, восхищался, вспрыгивал на цыпочки, кричал тонким стеклянным голоском то в левое, то в правое ухо героя ринга. И наконец ему удалось уговорить его сыграть роль боксера в большой картине, охватывающей целых две серии. Чемпион был смущен, польщен и растерян. Через два-три дня его взяли в работу.

Он очутился среди каких-то зеркал, жужжащих и щелкающих фотоаппаратов, вдвигающихся и уползающих фонов, спящих глаза юпитеров и мечущихся

неизвестно куда и зачем людей. Что бы он ни делал, режиссер, прыгая то к левому, то к правому его уху, кричал: «Не то! Не то! Не так — не то!»

Дело в том, что знаменитый режиссер был страстным прозелитом системы Станиславского. Он твердо знал, что играть надо всегда на расслабленных мускулах, только на освобожденной мускулатуре, исключительно на системе мускулов, лишенных напряжения. Боксеру, тоже твердо знавшему, что свалить противника, дать ему нокаут, не сжав бицепса правой руки до плотности стали, никак нельзя, вначале кинонаука эта казалась совершенно непонятной и невразумительной. Как он мог в конце второй части картины в своем матче с Большим Черным Бигом добиться победы, не пуская в ход мускулов?

Но маленькая знаменитость прыгала вокруг него, безгласно морщась при всякой попытке выйти за пределы системы, и актер, игравший Бига, покорно падал на доски ринга после удара, который не мог бы расплющить и мухи.

Постепенно чемпион стал привыкать.

Съемки затянулись. Надо было ловить солнце, перекраивать на ходу сценарий, режиссер требовал повторных сеансов. Боксер тосковал по рингу, настоящему, неэкранному рингу. Он сдал на три килограмма в весе. Но его не отпускали. Картина снималась, переснималась, доснималась.

Наконец на плакатных досках города появилось рядом две афиши: одна — о выходе нового фильма, другая — о первом выступлении после долгого перерыва чемпиона бокса.

Имя его привлекало толпы.

Но каково же было разочарование публики, когда ее любимец был побит во втором же раунде. Победенный требовал реванша. Был дан реванш. И снова пора-

жение. Публика недоумевала. Лишь из уважения к прежним заслугам чемпиона хранила она молчание. И только один маленький человечек в первом ряду кресел, сорвавшись с места, вспрыгивал на цыпочки, бил костлявой ладошкой в ладошку и кричал высоким стеклянным голосом:

— Bravo, великолепно! Еще немного — и мы с вами усвоим нашу систему до конца.

1937

Цыплята

После полутора суток тряского пути и копоты, наконец-то, пара брошенных вверх железных рельсовых рук, охваченных деревянной колодкой, приехали. Крутой берег, тропинки, бегущие почти по вертикали, вверху белые паруса облаков, внизу паруса шалацд.

Самое запоминаемое для человека, приехавшего отдыхать, — это первый день, когда впереди сорок пять восходов солнца и столько же закатов, а меж них длинные летние дни.

И в первый же день я заметил: их было не то меньше, не то немного больше дюжины; все они были похожи на куриные яйца, вставшие на тонкие, будто выгнутые из проволоки ножки; из тупого конца яйцевидного тела торчали беспокойные клювы, острый конец топорщился несколькими желтыми перышками, да и вся поверхность бегающего яйца покрыта была коротенькими желточного цвета ворсинками.

Дюжина цыплят не отходила далеко от матери, которая окликала — точно пересчитывала — их квохчущим голосом и искала, царапая когтями землю, пищу. Я попробовал поймать одно из желторотых существ: тонкие ножки его задергались, как секундные стрелки, но мой длинный шаг нагнал беглеца — и вскоре он попал ко мне меж ладоней.

Короткий клюв яростно долбил мне палец: было щекотно, но не больно.

Прошло дней десять. Кожа на моем теле стала коричневой. Ножки цыплят удлиннились, а на хвосте появилось широкое рулевое перо. Теперь они уже искали зерен и червяков в рассыпном строе; то и дело слышалось шуршание пыльных травин, раздвигаемых их длинными, растягивающимися, как резина, шеями.

На несколько дней мне пришлось уехать в город: надо было собрать кое-какие материалы в библиотеке и отослать рукопись в Москву. Вернувшись, я прежде всего раскрыл настежь окно и двери моей комнаты. Затем прошел к обрыву. Небо было все в дымных сероватых тучах; море перескакивало у берега камни и раскачивало несколько отпущенных на канатах рыбачьих лодок.

На столе дождалось письмо: долго ли еще будете отдыхать — пришлите статью — у нас все время дожди.

Я зажег лампу и приготовился писать ответ, но в это время под столом что-то застучало мерным и четким стуком часового маятника. Я нагнулся: это был цыпленок, один из двенадцати, — он стучал затвердевшим длинным клювом, ища в щелях меж половицами пищу. Я взял его в ладони. Цыпленок больно ударил меня клювом и быстро выцарапался своими желтыми морщинистыми лапками из моего охвата. У него были круглые желтые эгоистические глаза и твердые когти, пушок превратился в упругие перья. Я не кончил в этот вечер ответного письма.

После этого — две недели ласкового лета. Паутина, плавающая в воздухе. Тень на самодельных солнечных часах, что у обрыва, стала короче и из черной превратилась в серую. Цыплята стали теперь почти что курицами и петухами. Они ходят, жеманно выставляя морщинистую пятку, а кое-кто из них пробует прокричать «ку-каре-ку».

Ко мне уже не письма, а телеграммы. Я вытаскиваю из-под кровати чемодан и стираю с него тряпкой пыль. Пора. Еще через два дня я слышу, как хозяйка наша, Анна Васильевна, проходя мимо моего окна, говорит кому-то: «А этих цыплят пора бы в суп, пока мясо не жесткое». Я слушаю и думаю: и мне пора в Москву.

1937

Легенда

Не знаю, существовали ли когда-нибудь святые. Но легендам без них, жителей пещер, питающихся на первое — акридами, на второе — медом диким, не жить никак.

Начну с точного исторического факта. В 18** году немецкий поэт Ваккенродер приступил к изданию «Газеты для отшельников». Отшельник, имя которого я опускаю, был аккуратным подписчиком этого органа пустынь. Однажды — время близилось к закату — он сидел у входа в свою пещеру. Пальцы левой руки перебирали бусины четок, в правой шуршала газета. В отделе «Нам пишут» отшельник с огорчением прочел о страшной засухе, постигшей южные пределы страны, которая гостеприимно, без всякой попещерной платы, предоставляла ему, отшельнику, его каменный приют. Всю ночь житель пустыни молился, и пальцы его успели пробежать свыше ста раз по кругу четок. Наутро святой, выйдя из своего убежища, негромким, но внятнм голосом позвал:

— Брат ветер, лети ко мне, да не забудь захватить с собой свое дыхание.

Не успел он этого сказать, как ветер, подымая тучи песку, прилетел на его зов, низко поклонился всеми чахлыми травами пустыни и сказал:

— Приказывай!

Отшельник повелел ветру пригнать тучу — побольше да почернее. Ветер свистнул, рванул что есть мочи, схватил за бока ближайшую дождевую тучу и поволок ее к пещере отшельника. Из тучи сыпался мелкой моросью дождь.

Но отшельник поднял руки вверх — и капли дождя, сколько их ни было, остановились в воздухе, дожидаясь, куда им дальше падать.

Отшельник подозвал ветер поближе (тот подлетел тихим ласковым дуновением), дал ветру адрес безводной страны, — и ветер, повернувшись дыханием к повисшему в воздухе дождю, мириадам мириадов капель, осторожно повел их в сторону, погибающую от бездождья. И все капли, до единой, упали там, где им было приказано упасть. И полегшие хлеба снова подняли свои колосья, а желтые листья позеленели.

Через несколько дней вышел новый, очередной номер «Газеты для отшельников». Знакомый нам подписчик, пробегая ее столбцы, особенно внимательно остановился на отделе «Мы сами себе пишем». Тут сообщалось о странном феномене: у южных окраин страны промчался горизонтальный дождь, падавший не сверху, а сбоку; все крыши остались сухи, но комнаты домов, где окна были открыты, оказались сплошь залитыми водой; люди, застигнутые дождем, пробовали раскрыть, как это они обычно делали, свои зонты, но это не помогло; иные из них вернулись домой с мокрыми спинами и сухой грудью, другие же с мокрым передом и сухой спиной. Основана, заканчивала газета, особая комиссия для изучения феномена.

Отшельник зевнул, согнал взмахом четок муху со щеки и, согнувшись, вошел внутрь пещеры. Перед закатом воздух влажен. Отшельник же, человек немолодой, боялся ревматизма.

Хлеб наш насушенный

Меня перебросили из города в город. Кстати, это было в девятнадцатом году. Я предъявил свои полномочия в Исполкоме. Мне дали полукомнату: за диктовой стеной, разделившей ее надвое, жили еще кто-то. Я их не слышал и не видел. Работать приходилось с раннего утра до полуночи. Но однажды, открывая квартирную дверь, я увидел девочку лет семи или восьми, которая, с корзиной на руке, готовилась выйти на улицу. Она была одета в неуклюжий мешкообразный балахон, поверх ее золотистых волос торчал какой-то парусиновый капор, но ее голубые, с солнечной искоркой внутри глаза посмотрели на меня как-то странно, застенчиво и печально.

Мне было не до встреч. Я прошел к себе — по мою сторону диктовой стенки — и стал разбирать бумаги.

Осень вползала в башмаки лужами и гнилой грязью, сверху сыпались липкий снег и злые ледяные капли дождя. Как-то случилось, что одно из наших заседаний было отменено. Я вернулся раньше обычного в свою диктовую квартиру.

Мы жили тогда при коптилках. Я зажег свой фитилек и сел к темному окну. В наружную дверь что-то очень тихо постучало. Я вышел и, пугаясь в кривых изгибах коридора, подошел к двери и открыл ее.

Передо мной, в сумерках позднего вечера, стояла знакомая мне девочка. Парусиновый капор ее промок, с пальто капало на пол крупными каплями дождя, но маленькие руки ее крепко прижимали к груди сетчатую кошелку, полную хлебных сухарей.

Я уже знал, что девочка живет со своей старой бабушкой, полуслепой и почти глухой женщиной, которой она носит откуда-то с окраины города хлеб и кое-какие объедки от стола ее, бабушкиных, родственников. Соседи по квартирным комнатам, рассказывая мне это, обычно весело осклаблялись и говорили: «А вы послушайте, как они молятся! Умора».

До сих пор у меня не было на это ни времени, ни охоты. Но сегодня случай заставил меня услышать молитву полуглухой старухи и ребенка. Старуха, пошептав что-то, не дошедшее до моего слуха, начала:

— Отче наш...

— Отче наш, — повторила девочка тонким голоском.

— Иже еси на небси...

— Иже еси на...

— Да придет...

В это время кто-то громко постучал в дверь квартиры. Шаги. Звяканье дверной цепочки. На несколько секунд я потерял голоса старухи и девочки. Потом в передней утихло.

Старуха откашлялась, очевидно глуша кашель платком, и продолжала:

— Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

Тоненький голосок девочки печально вторил:

— Хлеб наш насущенный в дождь нам донесть.

Я подошел к окну. Дождь стучал в стекла множественством капель — все сильнее и настойчивее. Будто требовал, чтобы и его впустили в дом.

Невозможно предвидеть

Это был человек с окладистой черной бородой, со строгими печальными глазами, прикрытыми круглыми стеклами в черной оправе. Профессия его — столяр.

Пришел он ко мне, чтобы заставить дверь моей маленькой дачи, дверь, не желающую ни закрываться, ни открываться, принудить и закрываться, и открываться. Подробность: домик выходил фасадом на довольно людную улицу. Когда серьезный столяр снял дверь с ее железных тычков, я почувствовал себя неудобно. Все прохожие видели, что в комнате у меня беспорядок, что на полу валяется скомканная газета, а под столом стоит шесть пустых пивных бутылок.

Я тотчас же отправился к столяру, который, положив дверь на четырех пеньках, медленно протирает свои круглые очки, и спросил:

— Когда вы кончите работу?

Столяр погладил бороду, потрогал стальные усики своих очков, подумал и сказал:

— Этого предвидеть невозможно.

Я не ожидал такого ответа — и, растерявшись, ушел к себе, в мою крохотную, вроде собачьей будки, дачку; перед пустой рамой двери сейчас уже собрался добрый десяток любопытствующих мальчишек.

Я не мог ничего делать. Я не мог вынуть из-под стола недопитую бутылку пива и допить ее. Я не мог снять с себя рубаху и окатиться холодной водой. Я был экспонатом без номера, который могли осматривать все прохожие, все любопытствующие. Я попробовал раскрыть книгу и читать, но буквы прыгали через буквы, и из чтения ничего не получалось.

Отшвырнув книгу, я отправился к очаственному столу:

— Скоро?

Он протер краем своей поддевки правый круглый глаз очков, вытер губы тыльной стороной руки и сказал:

— Этого предвидеть невозможно.

Прошло еще два часа. Ко мне пришла моя добрая приятельница Н. Мы беседовали перед открытой дверью, чувствуя себя, точно какие-то актеры, репетирующие пьесу перед непрошеными зрителями, забравшимися в зал. Извинившись, я еще раз побежал к человеку, отнявшему у меня дверь:

— Ну что, кончите вы или нет?

Столяр вытер платком пот на бровях и сказал, глядя грустно куда-то вдаль:

— Этого предвидеть невозможно.

Через две минуты он принес дверь, вставил петли на железные шкворни, щелкнул два или три раза ключом. Все было в исправности.

Ранец и портфель

Теперь ему за пятьдесят. Тогда было одиннадцать.

Он выходил в восемь утра из дому. На нем была длинная гимназическая шинель, полы которой скользили по снегу или вязли в грязи. На голове — большая синяя, сковородкой, фуражка с серебряным номером гимназии меж двух лавровых веток.

По дороге встречные ничему не учащиеся мальчишки швыряли в него снежками, кричали ему вслед: «Карандаш!», «Чижик!», «Приготовишка!»

На спине приготовишки был огромный, шире его плеч, ранец. Ранец покрывала крышка из коровьей кожи — рыжие пятна по белому фону, — застегнутая снизу двумя ремешками.

Старшие товарищи, долговязые четырех- и пятиклассники, носившие книги уже не в ранцах, а под мышкой, встретив приготовишку во время перемены в коридоре, крутили ему уши, дергали за волосы и называли «кишонком».

Но заглянем в ранец приготовишки: три-четыре учебника в синих и красных переплетах — арифметика Евтушевского, грамматика Кирпичникова и катехизис с золотым обрезом; пенал — в нем три резинки, жесткая, мягкая и полужесткая, два фаберовских карандаша, но-

мер первый и номер второй, ручка без пера (чтобы не притупилась от толчков), завернутый в газету священный завтрак, сложенный из четырех хлебных скрижалей: между первыми двумя — холодная котлета, между вторыми — вытекающий наружу желтыми слезами мед; коробочка с перьями — для игры в перышки... Она то наполняется до крышки, то пустеет — в зависимости от счастья и искусства хозяина; затрепанная книжка, прижавшаяся к верхнему краю ранца, подальше от учебников, — Майн Рид.

Теперь ему, как сказано выше, за пятьдесят. Он в коротком черном пальто с бархатным воротником. Над бровями — серая шляпа. Под левым локтем — черный, туго набитый портфель. Их, и портфель, и человека, возят черные ведомственные автомобили. Человек, сорок лет тому назад бывший пригостишкой, кратко и четко беседует с посетителями, но чаще — с черной телефонной трубкой, брезгливо отдергивая завернувшийся телефонный шнур.

Вот он отщелкнул свой портфель. Внутри: две-три еще не раскрытых газеты; кожаный футляр с циркулем и полиметрической линейкой; коробочка со стальными зажимами; кипа перенумерованных бумаг; плитка шоколада; стенограмма, которую еще нужно просмотреть; неразрезанная книжка только что вышедшего толстого журнала.

Джин

— А, Андрей Андреевич, здравствуйте. Прошу вас к столу.

— Я не один. Вот, видите, с псом. Прошу любить и жаловать: мой друг Джин.

— Волкодав?

— Я бы сказал, водкодав. Садись, Джин. Сяду и я.

— Разрешите, Андрей Андреевич, рюмку вина: красное? сухое?

— Нет, благодарю, я от всяких вин сух, ни единой капли. Правда, Джин?

Джин, собака седоватой шерсти, исклокоченная, с внимательно наставленным правым ухом, утвердительно завиляла куцым хвостом.

— Но я помню, что вы пили, и...

— И очень, хотите вы добавить. Да: было и нет. Правда, Джин?

Джин из вежливости чуть шевельнул концом куце-го хвоста.

— Ну, было все, как сейчас. Столик, бутылки, рюмки. От рюмок этих, вы знаете, жизни мне не было. Сидели, говорили, пили. Говорили о том, что, вот, бешеная собака укусила какого-то там гражданина, а гражданин через девять месяцев перекусал всю свою семью — и все

на тот свет. И вдруг поперек разговору, понимаете ли, крик, шум, всеобщее смятение. Все повскакивали, все кричат: «Бешеная собака! Бешеная собака!» Действительно, собака. Сиди смирно, Джин. Вот эта самая. Бежит, язык высунув, хвост трубой. Ну, в нее камни, что ни попало, и помню — пустая бутылка от джина. Отсюда ему и имя, сиди смирно, Джин. И что я сделал? Я, понимаете ли, как бешеный вскочил с места и побсжал навстречу бешеной собаке. Пусть кусает. Надо же мне лечиться от алкоголя, черт его так и так! Собака укусила, правда, ты укусил меня, Джин? Ну-ну, сиди смирно.

И вот после всего этого, вы понимаете, попал я в руки врачей, искусанный. Того нельзя, этого невозможно. Но самое главное — не пить, иначе смерть. Девять месяцев воздержания. И вот стал я не пить. Трудное дело. Тем не менее. Как увижу этого отца семейства, который всех своих детей перекусал, не могу. И не пил. Трудно было, а все-таки. Прошло девять. Проняла и охота: пить. Вот, как видите...

Иду я как-то по улице, вижу, собачка. Я к ней, она мне вежливо хвостом виляет. Взглянул: да ведь это та, бешеная, в которую бутылкой из-под джина швырнули.

Во-от... Ну, и стали мы с тех пор вместе жить-поживать. Я и Джин. Прошу любить и жаловать.

Взбесившиеся брюки

Мне нет времени обдумывать, как я живу. Короче: куда я живу. Две службы и сорок четыре неожиданности в день.

Это было совсем недавно, каких-нибудь пять месяцев тому назад. Утром служба — вечером отъезд в отпуск, в Сочи. Бегу по улице, вдруг — откуда ни возьмись — бешеная собака. На нее кричат, швыряют зонтами и черт чем ни попало. Я остановился, собака цап за брюки.

Меня, вы понимаете, тащат в аптеку, а тут считанные минуты. Кончаю работу, портфель в угол, чемодан в руки, переоделся, брюки с порванной бешеным псом штаниной в шкап — и на вокзал.

В Сочи я пробыл ровно месяц. Хорошо. Белеют «паруса» эти самые «одинокие» — так штук по тридцать сразу. Ну, и прочее.

Возвращаюсь домой. Подхожу к двери комнаты. Ключ справа налево — и что же вижу? Полное разорение. Дверь шкапа, которую я забыл запереть, распахнута. Все разгромлено. Картины на стенах сорваны с крючьев и на полу — в мелкий дрызг. Что было на столе — все будто ветром свеяло. Вазочки со всякими там цветами на этажерках — в куски и в дрызг на полу. Книжки с полок вышвырнуты вон и разляпаны — куда какая попало. А под потолком у меня, изволите видеть, абажур, под абажуром

лампа. И вот, взглянул я наверх и ахнул: прямо на абажуре висят мои штаны. Те, которые, помните, бешеной собакой рваны. Висят и левой штаниной эдак подрагивают. Мы, мол, — и все такое, понимаете. Ну, тут я увидел, земля наша не без чудес... Как? Где? В поезде? Ах, в поезде? Вагон-ресторан? Ну, был, но какос из этого к делу отношение?

1937

Орфей в аду

Историю эту, об Орфсе и Эвридике, рассказывали много раз. Так вот: много плюс один.

Подземное царство похитило у Орфея его прекрасную Эвридику. Он отправился на поиски возлюбленной. В этом согласны и древнегреческие мифы, и французские оперетты.

У врат царства смерти Орфея встретил трехголовый Цербер, хранитель адского порога. Раскрыв три пасти, пузырящиеся кровавой пеной, он потребовал песни-пропуска.

Орфей прижал кифару к левому плечу, и пальцы его приблизились к струнам.

Песня была тиха и проста, как шуршание капель дождя, смывающих пыль с листьев оливы.

Все три головы Цербера слушали, внимательно наставив шесть собачьих ушей. Все они были страстными музыкантами; более того — музыкальными критиками; живи шестиухий пес в наше время, он мог бы легко собственными средствами устроить любую музыкальную дискуссию, которая отнимала бы в течение недель по шесть-семь полос любого музыкального журнала.

Кифара Орфея замолкла.

Средняя голова Цербера, прянув левым ухом, сказала:

— Изрядно. Н-но...

И умолкла.

Правая голова, слизав пену со рта, возразила:

— И очень большое и о. Мало того: не и о, а, пожалуйста, не е т. Так нам должно ответить дебютанту, не помню, как его зовут...

— Меня зовут Орфей. Позволю себе напомнить, что я божественного происхождения и...

— Не пробуй нас задобрить, бездарный бряцальщик, — залаяла третья, левая голова Цербера. — Раз тебе как сыну богов дано бессмертие, то потрать хоть половину его, участь музыке у наших стиковых лягушек. Основа музыки — не в треньканье, а в кваканье.

— Ну, это уж слишком, — закричала правая голова, — этак ты скажешь, что сферы небесные квакают, а не тренькают, в то время когда они мелодически поют, объединяя в своей гармонии и знон струны, и кваканье лягушки.

— Оба вы лжете, — рявкнула средняя голова, гневно прядая ушами и оскалив зубы. — Музыкальные проблемы, как и литературные, надо решать в тематическом плане. Что, по-вашему, выражала пьеса этого просителя? Какой образ реял над струнами его кифары?

В ответ пасть левой головы широко открылась, отвечая оскалом на оскал.

— Произведение рассказывало — в строгом дорическом строе — о полете цапли над болотом.

— Чепуха! — твякнула левая Церберова голова. — Вещь действительно программная — и совершенно ясно звукописует колебания цапли, которая, опускаясь на болото, не знает, на какую ей ногу стать, на левую или на правую...

— А ты, несчастная треть собаки, — взвизгнула средняя голова, — а ты знаешь — на какую мысль стать? Образ совершенно ясен: цапля уже стоит на болоте и раскрыла клюв, чтобы проглотить лягушку.

— Так пусть же она ею подавится! — залаяли вперевод обе боковые головы, лязгая зубами.

— А вы подавитесь вашим невежеством! — взывала средняя голова и пригнулась под горло к левой своей соседке.

Орфей был близок к отчаянию. Он готов был покинуть адский порог. Но в это время произошло нечто страшное. Три головы пса, кровожадно урча, вонзились друг другу в глотки, Цербер рухнул наземь, и можно было выделить лишь его короткий жирный злобно дергающийся хвост.

Орфею оставалось лишь одно: воспользовавшись тем, что вход в ад остался без охраны, войти под своды Аида — навстречу милой Эвридике.

Единогласно

Кафетерий. Столик в углу у стены. Их двое, перед ними два стакана с остывшим чаем и два раскрытых портфеля. У него желтый, у нее черный. Оба очень молоды. Он что-то подчеркивает в папке, на обложке которой написано: «Дело»; она отмечает в блокноте.

Один портфель защелкнулся, другой лежал, свесив свою черную нижнюю губу. Он улыбнулся, запустив руку в густую путаницу волос, и, чуть нагнувшись над столом, говорит:

— И еще одно в повестке дня. Почему бы вам не выйти за меня замуж?

Она молчит и осторожно отодвигает стакан с чаем: еще секунда — и стакан упадет на пол.

Пауза.

— Проголосуем. Кто за?

Он резким движением поднимает руку. Она — секунды через три — тоже. Они смотрят друг на друга круглыми, немного испуганными глазами.

— Кто против?

Но пустые столики вокруг ни за, ни против: им все равно.

— Воздержавшиеся? Принято единогласно.

Мал мала меньше

Они снова улыбаются друг другу, но уже другой, открытой улыбкой, — и палец его, согнувшись, стучит по доске стола: счет.

1937

Кабинет миллиардера

Прием кончен. Двери закрыты. Гардины упали вертикальными волнами вниз. На стене, рядом с блеклыми гобеленами (куплено по сертификату профессора кафедры искусств Ингстрема) — синяя сигнальная лампочка. На столе четыре телефона; выдернутые хвосты штепселей.

В центре стола — на металлической подставке — сегодняшняя дата, которой через четырнадцать минут умереть.

У северной и западной стены — стеклянные шкафы. Книги в парадных, как мундиры, переплетах.

Корзина для рваной бумаги тщательно очищена от чего бы то ни было рваного. У стыка восточной и южной стен — искусственное дерево с сидящими на костяных ветвях его чучелами птиц. Чучела раскрыли крылья, но, разумеется, им не улететь.

Тут же, в молчании кабинета, в затененном углу, на тонком металлическом стебле, ввинченном в паркет, три точно отодвинувшихся от всей роскоши апартамента вещи:

широкополая шляпа пешехода,
простой деревянный посох,
холщовая сума нищего с перекидным ремнем.

Завтра створы дверей раскроются вновь. Лакеи подымут тяжелые завеси окон. Вчерашняя дата, скользя по дужкам календаря, упадет цифрой ниц.

В обычный час в кабинет войдет его собственник. Он будет говорить с телефонными трубками и людьми. Он будет выслушивать доклады, отчеты, просьбы, предложения. Рот его будет выбрасывать цифры, а карандаш в пальцах правой руки делать отметки в блокноте.

Но если случайно глаза того или иного посетителя скользнут в затененный угол, где шляпа, посох и сума, миллиардер, ласково заглядывая зрачками в зрачки, скажет:

— На всякий случай! А?

Полувежливость

Я сразу его заметил в сутолоке улицы. Он был точно из двух половин. Одетый в черную с аккуратным пробором шляпу и черное с двумя слегка топырящимися карманами пальто, он медленно шел среди сумятицы тычущих друг в друга локтей. Левая половина его тела была зла и агрессивна — он отталкивал левым бедром наседавших на него встречных, а левая ладонь то и дело сжималась в кулак. Но правая сторона его тела была необычайно вежлива, обходительна и культурна. Правое бедро мягко изгибалось, давая дорогу женщинам, правая ладонь в лайковой перчатке услужливо помогала встречному взойти на ступеньку троллейбуса.

Я долго шел за этим странным феноменом и наконец решил приступить к разгадке.

— Скажите, пожалуйста, гражданин, — спросил я, — почему правая сторона вашего тела столь вежлива, в то время как...

Он осклабился и, запустив руку в правый карман пальто, вынул бумажный мешочек и приоткрыл его:

— Пяток яиц. Понятно?

Больное сердце

Кто не знал — я говорю о восьмидесятих годах прошлого века — богача Х.! Он ходил всегда в черном длинном сюртуке на шести черных пуговицах. Под седой острой бородкой — на золотой острой ножке прозрачный страз.

Все знали богача Х. как человека, страдающего болезнью сердца. Стоило с ним заговорить о каком-либо деле, попросить аванса, помощи — и левая рука его тотчас же скользила к левой груди, щупала, разминала что-то над левым соском, а синеватые губы человека в длинном черном сюртуке топорщились:

— Нет, уж знаете...

Его старались не беспокоить. Сердечнобольной. Замолкали после первого же прикосновения его руки к сердцу.

Потом Х. умер. Случайно я встретился с человеком, близким ему. И оказалось: покойный имел привычку хвататься не за сердце, а за бумажник в левом кармане сюртука, нащупывая — на месте ли он?

Девять ворон

Это был молодой талантливый композитор. Но у него иногда не хватало денег даже на нотную бумагу. Сейчас он сидел в жестком вагоне пригородного поезда. В соседнем купе кричал на одной ноте грудной ребенок — и это несколько путало замыслы композитора. На бумажном листке он начертил карандашом пять линеек и приготовился писать. Ничего не получалось.

Поезд тронулся. Композитор взглянул в окно и увидел телеграфную проволоку, которая, подобная нитям нотного стана, тянулась от столба к столбу, от одной тактовой черты к другой. И тут же он заметил небольшую стайку ворон; покружив над проводами, громко каркая, стайка расселась по стальным горизонталям.

Глаз музыканта сразу же схватил соотношение черных летающих нотных знаков, а ухо услышало движение звука. Он быстро перенес черные пятна на проволоке на свои пять нотных линий: получилось нечто вроде мелодии. Но разрешения не было.

Музыкант высунулся в окно, так как поезд шел вперед и воронья стая быстро уходила из поля зрения. И тут-то одна из нот, взмахнув крыльями, перелетела и села в конце группы: разрешение было найдено. Девять черных значков мелодии лежало у него на коленях.

Тюбики

Нас было трое: художник, модель и я. Впрочем, четвертым было загрунтованное полотно, поставленное почти под прямым углом на мольберте.

Художник наладил освещение, сделал два-три указания модели, внимательно вглядывался в нее и — затем — протянул руку к ящичку с тюбиками: отвинтил головку первому тюбику и выдавил из него немного зеленой краски; из второго выползла довольно длинная синяя змейка; затем — двумя толчками большого и указательного пальцев — художник вытиснул миллиметра три красной краски; подумав, добавил еще миллиметр; наконец, у самого края мольбертной подставки лег тусклый кружок свинцовых белил.

Проверив еще раз взглядом лицо модели, художник швырнул тюбики в ящик и взял в руки кисти.

— Что это? — робко спросил я.

— Это она, — ответил художник, указав кистью на модель, — ее краски, больше на сегодня мне не понадобится.

Затем он придвинулся вместе со стулом к полотну. Сеанс начался.

Побасенка

Ладил мужик челнок — рубил, тесал — только и вышло, что весло. Стал строгать весло — свел весло на зубочистку.

Сел на берегу у старого дырявого челна, ковыряет зубочисткой в дупле зуба и говорит: «Эх, зубочистка, зубочистка, кабы ты вспомнила, когда веслом была!» Только сказал — и зуб его в мелкий дрызг, а рот распялило, как гармонь: лопастью весла.

Вытащил мужик край весла изо рта, сел в дырявый челн и плышет. Только поднялась на воде непогода, стало бить челн волнами, начал челн пить воду ведровыми глотками да и ушел на дно.

Плышет мужик, горстями гребет, до берега не близко, до смерти ближе, обнял руками весло — и говорит веслу слово: «Ах, весло, весло, вспомнило б ты, как было челном!»

Только сказал, а под ним новый челнок качается, смерть все дале да дале, а берег все ближе да ближе.

А сказке и вовсе конец.

Последние минуты скупца

Это было за несколько лет до революции. В одном из тесных переулков Москвы. Жизнь была не так скупа к этому старику, как он к ней. Она дала дожить скряге до восьмидесяти четырех и сказала: будет.

Скупой даже и рад был, что не придется больше тратиться на докторов.

Он лежал в своей темной спальне, среди вздыхающей родни, и думал. Вдруг рот, узкий и будто втянутый внутрь, как прорезь кошелька, приоткрылся. Старший сын, человек уже с сединой в висках, на цыпочках, стараясь не скрипеть сапогами, подошел к кровати и наклонил ухо.

— Вот что, — прошуршал рот умирающего, — когда умру, не надо класть пятак на глаза — хватит и алтынов.

Сын кивнул головой.

— Постой, постой, — поморщился отец, — ну их, и алтыны, хватит и по копейке на глаз.

К лицу

Я люблю дорогую Анастасию Николаевну. Это старушка из старого дворянского рода, годы ее подбираются к цифре столетия. Вся она в мелких морщинках, лицо, вернее, маленькое кукольное личико — цвета воска, но вот зубы у Анастасии Николаевны, как у девушки, все целы и лишь чуть-чуть тронуты желтизной.

Я прихожу к ней как к источнику истории. Когда я писал статью о «Войне и мире», она всла меня назад за восемьдесят лет, в свою юность, и я — скажу прямо — влюбился в ее юность.

Вот она, эта маленькая старушка, говорит мне сейчас, озабоченно щури выцветшие глаза:

— Одно мне больно: умру, и похоронят меня в моем синем драденаповом платье, другого нет, а синее к желтому лицу, к покойницкой коже, не к лицу. Нехороша я буду в гробу, ах нехороша, голубчик мой, как быть?

Смерть радиста

Был выходной день. Пригородная река не любит выходных дней, потому что в ней в эти дни купаются, и ей хоть из берегов вылезай.

Купался в пригородной реке и радист.

Он не умел плавать — и дно потянуло его за пятки вниз. Радист начал кричать. Но поблизости было мало людей, да и те, кто были, не разобрали, в чем дело. Тогда утопающий стал кричать по буквам:

— Тону! Татьяна — Ольга — Николай — Ульяна!

Вдоль берега шли две пары, но их имена были Павел и Надежда, Семен и Наталья.

Так радист и утонул.

Последний из атуров

Это не вымысел. Зачем выдумывать такое?

Александр Гумбольдт точно сообщает, что стена гор Восточных Кордильер в конце XVIII века рухнула. Грохот ее падения слышало несколько деревень. И только.

Племя атуров, жившее за этой стеной, перестало общаться с миром. Их, атуров, никто не посещал, кроме чумы, которая персползла через горы и уничтожила всех до последнего. Кроме старого, с сединой в сине-зеленых перьях попугая. Племя атуров умерло и перестало говорить, а попугай в берестяной клетке все еще продолжал выкрикивать: «Утур-р-атур-дзен-дзео-дзин!»

Попугая кормили мошки и мухи, залетающие в его берестяную клетку. Через год после гибели племени атуров по проложенной заново тропе спустился исследователь этих стран. Он нашел пустые дома, потухшие очаги и попугая, который кричал в своей клетке: «Утур-р-атур-дзен-дзео-дзин!»

Это было последнее, что осталось от погибшего народа атуров.

Эмблема

Это были обыкновенные солнечные часы, поставленные на открытой площадке сада, в одном из наших южных курортов, где солнце вещь тоже более чем обыкновенная.

Квадратный камень, врытый в землю; на камне выдолбленная кривая; на ней цифры часов; от цифры к цифре — медленно ползущая, похожая на треугольный парус тень.

Проходя мимо меряющего время камня, я всегда останавливался секунду — взглянуть на треугольник тени.

Но однажды рядом с черным клином, ползущим от цифры к цифре, я заметил тонкое теневое лезвие, узкое и длинное: прикасаясь то к одной, то к другой цифре часа, оно появлялось либо справа, либо слева от неподвижной указки, вздрагивая и меняя контур.

Через минуту я понял, в чем дело: ночью был дождь, вытянувший растущие около часов травы. Одна из них, раскачиваемая еле заметным ветром, суетилась над черной треугольной стрелой, пробуя прочертить на камне циферблата свое никлое и робкое, но свое время.

Три сестры

Они работали, как всегда, втроем: Клото, Лахезис, Атропос. Через их тридцать пальцев проходили человеческие жизни. Клото аккуратно ссучивала нити дней. Лахезис протягивала их — вдоль мерки годов. Атропос ждала с раскрытыми ножницами, лезвия их смыкались — и недожитые концы жизней падали вниз, в корзинку из тростника, сорванного у берегов Леты.

Как-то случилось, что одна из сестер сказала:

— Милые Парки, давайте, так, ради шутки, поменяемся местами. Ну, хоть на одну жизнь.

Сестры согласились. Атропос пересела на место Клото, Клото, тронув локтем Лахезис, смеющуюся шутке, заставила ее чуть подвинуться на опустевшее место Атропос.

И сестры принялись за работу. Атропос отрезала коротким защелком своих ножниц новую жизнь от всех ей предшествующих. Клото, не умевшая тянуть нить, но искусная сучильщица, сделала так, что жизнь у нее получилась короткой, но свитой из множества нитей. А Лахезис, зная лишь, как протягивать нить, когда дошло до смерти, все тянула и тянула свою руку в вечность.

Затем сестры, смеясь, снова расселись по привычным местам и продолжали свою работу Парок.

Но есть предание, что в этот день в мир пришел гений.

Одна копейка

Попылся, ну, скажем, Иван сено косить да в копны складывать.

Договорились с хозяином. Сказал хозяин:

— Плата моя невелика, да воля ей велика. Коси!

Стал Иван косить. Выкосил поле и поле. Свалил семьдесят копен. Пришел к хозяину. Плати!

Хозяин расщелкнул кошелек, позвонил деньгой, вынул копейку и говорит:

— Плата моя невелика: копейка. Только копейка эта вольна, хоть пропей-ка, хоть... получай копейку!

Взял Иван медную копейку, почесал в затылке и говорит:

— Ин так. Только и я не такой простак.

Пошел, купил на копейку коробок спичек. Пересчитал спички: семьдесят; вспомнил: копен семьдесят. Пошел — и семьдесят спичек сгорели, ну и семьдесят копен сена тоже.

Вернулся к хозяину:

— Вот те сдачи пустой коробок. Дал ты волю копеечке, не говори, что дурак, не говори, что глузд у тебя кривобок.

Баскская сказка

Первой была создана Смерть. Смерть точила косу и ждала. Но ничего, кроме нее, еще не было.

И Смерть стала скучать. Она пошла к Богу и попросила работы. Бог молчал. Смерть еще лучше отточила косу и еще раз поклонилась Богу:

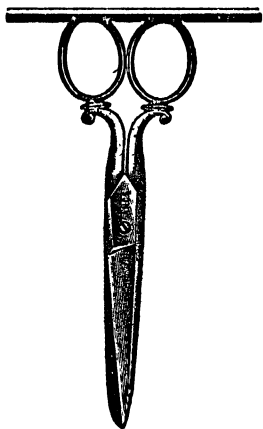
— Работы.

— Ну, хорошо, — сказал Бог.

И создал мир.

1937

Рассказы
1920–1940-х годов



Случаи

I

— Да, юный мой коллега, зашить салфетку в брюшине оперируемого — это, конечно, рассеянность. Рассеянность отнюдь не похвальная. Но в конце концов салфетка рассосется. Гораздо опаснее оставить в психике пациента некую инородность. И в этой области мы, врачи, я бы сказал, профессионально забывчивы. Люди — при частой смене — превращаются для нас в «случаи». В клинической практике, как вы знаете, так и говорят: случай номер такой-то, у случая повысилась температура, случай помер, экзиит.

Этот метод безразличия, унификация человека приводит иной раз к несожиданному — и всегда печальному — исходу. Ведь если в случае заведется случайность, то... вы понимаете?

Расскажу вам один факт. Я тогда был начинающим врачом, как и вы. По ночам мне еще часто снилось, как я срезываюсь на экзамене, и, просыпаясь, я с удовольствием вспоминал, что вся эта зубрежка, лотерея билетов и прочее позади. Я тогда не понимал еще, что университет — в широком смысле этого слова, — собственно, нельзя кончить и что практика есть ряд экзаменов и что на каждом из них легко «срезаться».

Это была худенькая, бедно одетая девушка. Боялась, нет ли чего в легких. Я тщательно осмотрел паци-

ентку, аускультировал легкие, проверил сердце. Организм был вполне здоров, безызыянен. Только острое малокровие, сильный недостаток жировой клетчатки. Необходимо хорошее питание. Не менее четырех раз в сутки. Девушка молчала, глядя куда-то вниз и в сторону. Не пускаясь в дальнейшие расспросы, я написал рецепт. Необходимо было иннервировать аппетит. Аппетит, естественно, повысит питание. Питание же... ну и так далее. Занятый логическим ходом своей мысли, я не заметил, что пациентка, вынимая из портмоне, чтобы положить на край моего стола два рубля, нечаянно уронила его на пол. Из портмоне выкатился двугривенный и выпал ключик. И все. Предупреждая мое движение, девушка быстро нагнулась, подняла. Через минуту ее уже не было в кабинете. Мелочь эта вспомнилась мне позднее. А напрасно. Но вслед случаю другие случаи. Факт снова выпал из памяти.

Прошло лет пять. Проводя отпуск в Ялте, я как-то встретил на набережной молодую женщину, одетую в простой, но изящный костюм. Хотя лицо ее было под тенью зонтика, но я признал в нем что-то знакомое. Рука моя поднялась к полям шляпы, и в тот же миг я увидел поверх зонтичной тени, я бы сказал, другую тень, психическую, скользнувшую по лицу женщины.

— Простите, я ошибся.

— Да, но не на этот раз. Мы встречались.

Голос был тоже знаком. У меня прекрасная память на голоса. Но слова, как и та, вторая тень, были несколько смущающи. Я задал осторожный вопрос, дама с еще большей осторожностью отклонила его. Мы шли рядом вдоль череды розово-желтых мимоз. Забытый «случай» успел вернуться в память. Да, это была та, худенькая, боявшаяся за свои легкие. Только теперь лицо и фигура ее значительно пополнели, острые углы закруглились и щеки были под ровным здоровым румянцем. Очевидно,

рецепт мой, стимуляция аппетита, оказал надлежащее действие, и вот... Признаюсь, я даже с некоторой дозой самодовольства оглядел, так сказать, дело своих рук и хотел было бывшей пациентке напомнить о рецепте. Но в эту минуту я услышал:

— Вот мой муж. Знакомьтесь. Я тебе говорила, помнишь, это доктор..

Моя фамилия подействовала как щелк ножниц, перерезающих нить. Высокий мужчина в спортивном костюме, любезно осклабивший было рот улыбкой, вдруг сдернул улыбку с лица, и по глазам и губам его скользнула та вот психогенъ, на этот раз единственная.

Через минуту мы расстались. Несколько безразличных фраз, которыми мы успели разменяться, ничего не объяснили.

Только случай свел меня в третий раз с моим давним «случаем». Это было дня через три, в городском саду, на музыке. Скамьи почти все были заняты. Заметив, что край одной из них свободен, я присел и оказался соседом все той же пациентки. Она была одна. Правда, в окружении посторонних ушей. На этот раз я прямо задал свой вопрос. За эти дни он, как раз увязавшись за сознанием, не отставал от него, как приبلудившийся бездомный пес. Но соседка отрицательно покачала головой: к чему? Я решил настаивать. В этот момент нас прервала музыка. Неожиданно она оказалась моим союзником и ходатаем. Не знаю, что играли. Что-то грустное, но с той грустью, от которой делается легче, даже радостно. Я, разумеется, не музыкант и ничего в этих струнно-трубных делах не понимаю, но мне кажется глупым распространенное мнение о том, что так называемая «бодрящая музыка» должна быть веселой, мажорной. Печальный шопеновский ноктюрн в ре-миноре, если только я не путаю, дает мне гораздо больше бодрости, чем какой-нибудь залихватский распровеселый марш.

Пока мы слушали, пододвинулся вечер. Соседка разрешила проводить ее до дачи. Это было довольно далеко, по ту сторону Чукурлара.

Вначале мы шли молча, потом она сказала:

«Хорошо, я вам расскажу. Вы, вероятно, не помните всех деталей нашей первой встречи, встречи пациентки и врача. Я очень трушу докторов. И думается, не совсем напрасно. По крайней мере, случай с вами... Только прошу вас, не сердитесь на меня. Я ведь исполняю ваше же желание. Притом начатое еще не поздно прервать. Хотите дальше? Хорошо.

В то время мне жилось очень трудно — так трудно, что иной раз, проходя мимо нищего, я завидовала нищему. Его деревянной чашке с медяками. Одна, в чужом городе. Помощи ждать было неоткуда. Вначале у меня были уроки музыки. Потом я их растеряла. Почти все. Пришлось продавать вещи. Но и всцей-то у меня было небогато. Сперва недоедание, потом голод. Самый обыкновенный голод, когда во рту ничего, кроме слюны, сердце вдруг падает в пустоту, головокружение и чувство какой-то странной безалкогольной пьяности. Помню сны, сны человека с желудком, готовым, кажется, переварить самого себя. Нечто вроде этого, в сущности, и происходило. Я еще меньше понимаю в медицине, чем вы в музыке, доктор, как вы поторопились в этом признаться. Но я не знанием, а ощущением чувствовала, что мое тело съедает себя самос... Мне даже как-то приснился скелет, понимаете, пористый скелет, который всасывает в себя тело; от него, от тела, осталась только липкая какая-то перепонка, но ненасытный скелет засасывает и ее; а сам он, заглотивший тело, разбух, раскостился и из белого стал розовато-красным и широкопорым, гадость такая. А другой раз, сейчас мне это кажется даже забавным, приснилось дерево на откосе, над вертикалью срыва: дерево было похоже на дикую вишню, но только

вместо вишен с тонких зеленых черенков свесилось множество желтых копеек; копейки — на моих глазах — растут и круглятся в пятаки, пятаки, подергиваясь серебристым налетом, разбухают в серебряные рубли. Я тянусь к дереву монет, взбираюсь по круче, вот-вот дотянусь и на меня брызнет дождь монет; но песок под ногами осыпается, и я съезжаю вниз. Хоть бы ветерок, хоть бы легкий удар воздухом, чтобы сорвать хоть несколько серебряных плодов. Но вокруг дерева полное безветрие и ветви его застыли.

А тут еще — я возвращаюсь в явь, доктор, — сочувственные кивки и советы людей, знавших, вернее — полужнавших меня: вы плохо выглядите, надо к врачу. Я порядком мнительна. Что, думалось мне тогда, если к нужде прибавится болезнь? Тогда конец. Свалюсь в смерть, и жизнь пройдет по мне, как по ровному месту. А жить-то хотелось, о, как хотелось! Молодость во мне кричала. И я решила: бороться до конца, бороться правдой, точным знанием своих сил. Да, надо пойти к врачу. Я пошла. Деньги, которые отнял у меня визит, были почти последними. Я все-таки еще поддерживала в себе жизнь, расчетливо распределяя гроши: дешевая столовая раз в три дня — одно второс. Лекарство, которое я купила по вашему рецепту, оказалось дороже, чем я рассчитывала. Ну, делать нечего. Хорошо помню эту плоскую склянку с рецептным хвостом и мутно-желтой жидкостью внутри. Помню, с какой надеждой смотрела я на нее в первый день — и как жгуче возненавидела потом ее. Ее и вас.

Прежде всего, на лекарстве было написано: по три раза в день за час перед едой.

Для человека, обедающего раз в три дня, это создавало некоторые затруднения. В первые два дня я аккуратно выполняла требование аптечной склянки и после каждого приема — точно через час — проглатывала кусок хлеба. Все-таки. Но склянка была недовольна. Уже на

второй день я почувствовала такой волчий приступ голода, что, нарушая бюджет, отправилась в столовку и израсходовала сразу свой недельный фонд.

И однако в эту ночь я не видела даже голодных снов. Голод не давал мне уснуть. Я проворочалась до утра, глотая обильно подступающую к языку едкую слюну.

Я и раньше знала, что значит быть в лапах голода, но только сейчас лапы эти выпустили свои когти. Мне положительно разрывало внутренности. К следующему вечеру я почувствовала жар и озноб. Жидкость в склянке медленно — ложка за ложкой — опускалась. Еще ночь, и нечто снообразное вернулось ко мне. Но я видела его с раскрытыми глазами. Так, окно моей комнаты — под светом уличного фонаря — вдруг превращалось в витрину гастрономического магазина, заставленную всякой снедью. Я прятала лицо под подушку. От этой желудочной фата-морганы. И плакала, помню, плакала злыми, скудными слезами. Это было состояние, подводящее к самоубийству. По крайней мере, я тогда поняла, как это человек сам себя... Спасло меня, может быть, то, что лекарство в склянке несколькими часами раньше достигло стеклянного донца, чем мое терпение дна души.

Помню, как я, временами хватаясь за стены, с трудом дошла до ближайшей аптеки. В руках у меня были: склянка и рецепт. Перед глазами прыгали черные, в красных оторочках пятна. Они то срастались, застилая свет, то разрывались, обнажая прилавок, ряды бутылочек и пузырьков и вопрошающее пенсне фармацевта. «Что вот это?» — спросила я, подавая рецепт. Пенсне повисло над бумажной лентой: «Средство для возбуждения аппетита, сударыня. Прикажете еще бутылочку?»

И вдруг высокий подпотолочный шкап, беззвучно качнувшись, стал на меня падать: стеклянные квадраты дворец — стеклянные пузыри пузырьков — сверкающие грани бутылей — все это, пересыпанное мириадами

стеклышек пенсне, заблеставших отовсюду, стеклянной лавиной рушилось на меня. Защищаясь, я размахнулась склянкой и бросила ее навстречу. Чей-то крик, мой или чужой — не знаю, и сознание оборвалось. Говорят, я была в продолжительном и глубоком обмороке. Не знаю. Когда я очнулась, я увидела себя в какой-то незнакомой комнате, лежащей на кушетке. Надо мной наклонилось два лица: одно — лицо фармацевта, предлагавшего вторую склянку, другое — совсем незнакомого, с губами, крепко сжатыми над отстегнутым воротом, в спортивной куртке. Если лицо аптекаря было равнодушно за двоих, то другое, то, что с ним рядом, было... за двоих взволновано. Это был случайный посетитель аптеки; участие его не ограничилось получасом. Во время моего медленного выздоровления он терпеливо помогал мне в моем возврате к жизни. Но не к той, прежней, — к другой. Не прошло и года, как мы стали мужем и женой. Мой муж — вы его видели — не медик, но ему я обязана жизнью. Вот и все, кажется».

Мне, коллега, остается повторить: вот и все. Потому что говорить о том чувстве стыда и растерянности, которые получил я в виде добавочного морального гонимого в тот вечер, мне что-то не хочется.

II

— Ну вот, я предоставил вам паузу, молодой коллега, чтобы вы могли хорошенько обдумать сказанное. Кстати, на чем специализировались? По нервным? О, это самое тонкое место в медицине. Сам я не психиатр, психов не лечу, но порядком читал и слышал. Мозг человека, эти три фунта мяса, строящие мирозерцания, — престранная штука. С одной стороны — я по ассоциации

с только что рассказанным случаем — при крайнем похудении, при потере всеми тканями свыше сорока процентов веса, мозг теряет лишь ноль целых и какие-то десятые доли одного процента: дьявольская сопротивляемость. А с другой стороны, возьмем любой пример, ну хотя бы знаменитое Мартиникское землетрясение. Стоило земле потрястись в течение каких-то двадцати девяти секунд — и в результате несколько сот сумасшествий. Не помню сейчас процента, но что-то очень высокий. Да, пускаться на нашем мозге плыть сквозь долгую, таящую рифы и штормы жизнь — предприятие более чем ненадежное.

Беру самый крохотный случай. Рассказал мне его мой товарищ по университету.

Супруги. Любят друг друга. Год за годом. Но постепенно меж двоих вклинивается болезнь. Не помню что. Может быть, табес, может быть, иное что. Болеет муж. Постепенно болезнь отнимает у него одну группу мускулов за другой. Он уже муж только по имени. Конечно, привычка умеет сшивать души и пришивать тело к телу. Но сексуальный инстинкт тоже умеет вспарывать и даже рвать нити. Короче, с постепенностью, имитирующей постепенность болезни, — половая жизнь жены отвращается на сторону. Чувство — как это бывает в такого рода случаях — сперва секрет и тайна от самого себя, затем явно для себя, тайно для другого (тем более для третьего, разумеется), потом не секрет для двоих и тайна для третьего, наконец, молчаливый несекрет для всех троих. Все живет несколько ущербно, психика каждого слегка нарушена: женщине мучительно осознавать себя делимым, тому, другому, не слишком приятно быть делителем, а мужу, мыслящему полутруп, ощущать себя чем-то вроде арифметического остатка. Все молча делают свое. Болезнь — тоже. Когда течение ее убыстряется и процесс поворачивается острием, жена — сиделка; когда

болезнь чуть отпустит, она — любовница. Меж мужчиной глухая, больше — глухонемая вражда. Когда жена уходит из дому, больной не удерживает ее, но у молчания... самые разнообразные тембры. Когда женщина отнимает несколько дней у здорового для больного, здоровый молчит, но делается болезненно раздражителен или угрюм.

Наконец смерть выдергивает клин. Муж с постели на стол. Но не сразу, конечно, а после долгой многодневной агонии и предагонии. Женщина забыла о себе как о любовнице, почные бдения и отражение боли умирающего сделали ее только сиделкой. Она одна в комнате с покойником. Им осталось провести последних два-три часа. А там суета похорон и после... нет, о «после» — после. Эти последние минуты ему. Он лежит спокойный, стройный стройностью трупа, глядя двумя пятаками, подменившими глаза, прямо в небо. Кстати, эти похоронные пятаки, молодой человек, сейчас они теряют свой смысл и уж не оттого ли выводятся из быта. Но прежде, когда горизонт у жизни был пятаковый, получалось нечто вроде прощания глаз с своим горизонтом. Но я, по стариковскому обычаю, разболтался. Вернемся к ситуации.

Итак, молчание втроем: труп — вдова — смерть. И вдруг металлический толчок звонка. Женщина открывает дверь. Почтальон, письмо. На конверте знакомый почерк: от него. «После», воспользовавшись мгновением, вхлынуло сквозь дверную щель раньше, чем ему было позволено. Теперь его уже не прогнать. Женщина хочет прикрыть дверь, но голос почтальона останавливает ее: «С доплатой: за вес — двадцать копеек».

Действительно, в письме — на ощупь видно — больше слов и страниц, чем может вытянуть одна почтовая марка. «Бедный, соскучился, изждался». Рука вдовы

торопливо разрывает конверт, но за незакрытой дверью напоминающая улыбка почтальона: двадцать копеек.

Ах, да. Но куда запропастилась мелочь? Гробовщи-ки, женщины-обмывальщицы, ну и всякий вкругпохоронный люд выпотрошили все серебро и медь из кошелька. Впрочем, кажется, тут вот, в шифоньерке: гривенник, алтын, две копейки. И все. Еще пятак. Женщина оглядывает комнату: где бы? И вдруг — навстречу глазам ее — два неподвижных пятака, уставившихся в потолок. Нехорошо. Но почтальон торопит. И после, письмо... Женщина подходит к трупу и, сняв пятак с правого глаза, присоединяет его к шифоньерочной мелочи. Дверь захлопнулась. Наконец-то она вдвоем с письмом. Пальцы нервно передвигают страницы, глаза жадным блеском по таким милым, таким родным, таким неторопливым строкам.

Письмо прочитано и перчитано. Мечтательно улыбаясь, женщина поворачивает голову назад: прямо на нее, уставившись пристальным белым зрачком — изпод приподнявшегося тяжелого мертвого века смотрит труп. Шок. Улыбка, перерванная, как гнилая нить, коротким рывком крика. И мозг опрокинут секундой, весь его опыт, вся его жизнь, накапливавшаяся десятилетиями, зашаталась и падает вниз от удара об один-единственный миг.

Женщину, так мне сказал по крайней мере психиатр, лечили около восьми месяцев. Показания были, в общем, благоприятные, и психическое равновесие в конце концов почти восстановлено. Споткнулась ли впоследствии психика об это «почти», не знаю. Известно одно, что возлюбленный нашего «случая» воспользовался этим случаем, чтобы... Ну, это не относится к делу. Вот такой, доложу вам, докториссима, пятаковый казус, а?

III

— Да, глубокоуважаемый юниус, мозг человека — это, так сказать, последний крик природы. Устойчивость его где-то около нуля. Был у меня случай. Нам, земским врачам, приходится пользоваться все — от чирья до сложнейшего психического расстройства. Помню, был у меня больной, который вообразил, что голова его одуванчик. И стал жить на одуванчикову стать. Чуть ветер — все форточки на зажим. Вдруг воздухом развевает голову. И, в сущности, у больного была не слишком больная мысль: ведь наши головы — больные и здоровые — одуванчиковой консистенции. Ударит ветром непредвиденности — и взрвет.

Конечно, мы, врачи, дорогой юниус, часто бываем виноваты. Но и пациенты, я вам скажу! Помню, в Ментоне. Великолепно оборудованный санаторий. Для тяжелых заболеваний легкими. Казусы с пунцовыми пятнами на скулах. Горный воздух, замедляющий переселение в горение. Юноша. Дышит охлопьями легких. Полон надежд, чайный, короче — эутаназия. Внезапно санаторий получает телеграмму: мать юноши умерла. Как сообщить больному? Старший врач, скользнув глазами по телеграммной строке: «Сперва скажите ему, что температура его прыгнула на пять десятых, а потом покажите телеграмму — из-за пяти десятых не заметит смерти матери». И врач был прав. Но я, по стариковской привычке, опять отъехал на запасной путь. Давайте вернемся на основную магистраль.

Случай, о котором я хочу вам рассказать, произошел всего лишь за год до войны. Я работал тогда в одном из приграничных городков, расположенных на скрещении торговых путей. Человечье содержимое городка: солдаты и купцы. Преимущественно купцы. На один из

утренних моих приемов явился престранный человек, я бы сказал, балык человека. При всей своей врачебной привычке, я не мог удержаться от рефлекса отдергивания. Человек раздвинул нитевидные губы, обнажая желтую кость зубов, и сказал:

— Шкилета не нужно ли? Так вот я.

Я оглядел посетителя. Он был, я бы сказал, остеологичен. Глаза запали на самое дно глазниц. Поверх черепа не было ничего, кроме тонкой кожи, охватывавшей костевые сочленения. Шея — шесть позвонков, охваченных проводами мускулов и нервов в кожаном чехле.

Человек, предлагая улыбаясь, расстегнул одежду. Из-под нее четко вычертились ребра и подреберья, с двумя кнопками сосков и пульсирующим сердцем меж третьим и четвертым вздутием левой доли груди.

Заметив мое движение, человек-скелет раздвинул улыбку шире, и острый хрящ кадыка дернулся под кожей шеи.

— В Дерптском университете демонстрировался. По скелетной науке. Студенты весьма довольны были. На водку — прямой наводкой брал-с.

Феномен был действительно изумителен. Я спросил его: откуда родом, наследственность, как зовут.

— Годяй, — отвечал скелет, но в «откуда» и «как» был нетверд.

Я объяснил ему, что наш городишко не университетский и что простой скелет на проволоке, находящийся в моей лаборатории, не требует никаких дополнений. Годяй грустно вздохнул, вращая шапку в желтых костяшках рук. Он спросил, нет ли в городе купеческого сословия, имеются ли трактиры и притрактирные развлечения. Я был несколько удивлен крутым поворотом его мысли, но мне не оставалось ничего иного, как краткое: да. Годяй надвинул шапку на череп с ясно проступающи-

ми сквозь кожу острыми зигзагами швов и, сугуля ребра, вышел за порог.

Прошло несколько недель, и я ничего не слышал о своем случайном посетителе. Но однажды в местном трактире, куда осенняя тоска и осенний дождь зазывали всякого, я встретился с компанией местных купцов. Они были уже в навеселейном состоянии. Один из них когда-то состоял в числе моих пациентов. Этого было достаточно, чтобы заставить меня пересесть к их столику и включиться в их пьяную питописетину. Пили здоровье человека, возвращающего здоровье. Водкой — коньяком — шампанским. Кто-то проделал мыслете от идеи жизни к идее смерти. И другой кто-то предложил:

— Идем к шкилету.

К трактирному крыльцу подкатило несколько саней. Полозья скользили по белоснежью, мимо потухших окон спящего городка. Потом откинутае полога саней, еще потом теплые сани и бревенчатая клеть комнаты, смутно освещенной желтой свечой.

Человек-скелет спал. Его разбудили. В ожидании появления феномена купцы раскупорили еще пару коньячных бутылок. Кос-кто предлагал плюнуть шкелету меж ребер и схать прямо к девочкам. Но в это время дверь задней комнаты раскрылась и на пороге появился человек-скелет. Заспаные глаза его смотрели мертвой мутью из-под костной навеси лба. Он был одет в белый саван. Профессиональным движением он распахнул его бумажные створы — и глазам нашим предстал лишь легким кожным покровом прикрытый скелет. Купцы удовлетворенно загоготали и захлопали ладонями по коленкам: ах ты, кондрашкин сын, смертюга смертюговая, зашкелечивай на все на шесть.

Скелет, равнодушно озирая гостей, медленно обошел круг. Иные перебирали пальцем ребра, другие тыкали указательным в дергающееся под кожей сердце, иные

же с любопытством всматривались в линию четко проступающих черепных швов. Скелет сделал второй круг. Теперь в пальцах его накапливались шелесты трещек, пятерок и десятков. Он поклонился, выставя протискивающиеся сквозь кожу ключицы вперед, и исчез за дверью. Мы допили вино и уехали.

После этого прошла еще некая толика времени. Это было не в приемный час. А так, перед вечером. Меня разбудил костистый стук в дверь. Кто бы? Я открыл. Фигура, окутанная в сумерки, молча и почти бесшумно шагнула в комнату.

— Это вы, Годяй?

— Да. Только они говорят, будто я не Годяй. Меж мясом и костью заблудился. Не впервой мне это.

И тут, представьте себе, мне пришлось услышать прелюбопытнейшую исповедь. Знаете, у Лассалья есть не безостроумный железный закон заработной платы. Я получил его в биологизированном виде.

Профессией моего посетителя была торговля своей худобой, сбыт шкелетности, как он сам говорил. Но в этом своеобразном торге невежественный бедняк натолкнулся на нечто, что требовало — для своего объяснения — не годяевского мозга, а мозга марксовского склада. Странствуя с места на место, человек-шкелет жил шкелетностью. Но по мере того как шкелетность давала ему заработок, он получал возможность повысить свое питание, что приводило к потере заработка. Пища затыгивала ребра мясной тканью, заращивала провалы меж ребер, и человек-скелет терял всякий интерес для любителей макабрных раритетов. Лишившись заработка, человек снова тощал, снова скелетизировался, с тем чтобы с получением новых доходов, а следовательно, и пищи, опять утратить свою остеологическую ценность. Бедняк рассказал мне в этот вечер о длинной череде городов, через которые гнала его жизнь, то обнажая, то вновь

пряча под мясом его кости. Диалектика жизни человека, наживающегося на умирании и умирающего от оживления, представилась мне тогда уходящей в бесконечность. Это была клавиатура белых и черных клавиш, убегающая за пределы касаний.

Но действительность вскоре опровергла эту логическую фантазмагорию. Дело было к весне. Вверху над городком грязные облака. Внизу, под ногами, грязные лужи и хлюпкие кладки. Меня вызвали на констатацию смерти. Пройдя чередой чавкающих кладок, я дошел до как будто бы знакомого бревенчатого домика. Сени — первая комната — потом вторая. На лжанке во второй лежал человек с синим языком, застрявшим меж распяленных челюстей. До сердца было недалеко: оно лежало отстучавшим молотком, под выпяченным ребром, покрытым желтой пупырчатой кожей. Я констатировал. С тем вот, что за решеткой ребер, было кончено. Заплатилось меж жиром и костью. Что ж.

Да, любезный эскулапус, медицинский случай нельзя брать лапами, а надо осторожно, легко.

1934

Тринадцатая категория рассудка

Всегда так бывает: сперва ходишь к друзьям, а потом — как развезут их на катафалках — к могилам. Настал и мой черед променять людей на могилы. Кладбище, куда я — все чаще и чаще, за высокими зубцами стен и извне как крепость: все бойцы полегли, и только тогда открылись ворота. Войдешь — сначала сутолока крестов, а дальше — за внутренней стеной — новое бескрестное кладбище: в нем нет монументальной статики старых человеческих могильников, ни громоздких склепов, ни каменных ангелов с крыльями по-пингвиньи в землю: красные металлические звезды на тонких проволочных стеблях беспокойно ворошатся в ветре.

Сейчас еще весенне тало и земля липнет к подошвам, мягко удерживая: остаться подольше, а то и навсегда. Вот уж четвертый раз я встречаю его: медленным чавком заступа в тугую и трудную землю — старик могильщик; сначала он мне виден по пояс, затем по плечи, еще немного, и голова его нырнет в развороченную глину. Но я подхожу ближе, стараясь разминуться с швыряками земли из-под мерно звенящего заступа, и говорю:

— Здравствуйте.

— А что ж, здравствуйте, — оглядывает он меня из ямы.

Есть одно обстоятельство, которое привлекает меня к этому человеку: старик явно выжил из ума и живет внутри какой-то апперцептивной путаницы, узлы которой не развязать бы и самому Канту. Кстати, ведь все (не буду искать другого определения) выжившие или, точнее, выжитые из своих умов, высленные, так сказать, из всех двенадцати кантовских категорий рассудка, естественно, принуждены ютиться в какой-нибудь тринадцатой категории, этакой логической боковуше, лишь кой-как прислоненной к объективно обязательному мышлению. Если принять во внимание, что на эту тринадцатую категорию рассудка мы даем явки, в сущности, всем нашим вымыслам и алогизмам, то старик могильщик может быть полезен затеянному мною циклу «фантастических» новелл.

Итак, предлагаю закурить, старик тянет потную руку за папирсой; присев на корточки, я огоньком к огоньку — и тринадцатая категория рассудка распахивает для меня свою потайную дверь:

— Что это за аллея там, под тополями?

Старик сощурил глаза на шеренгу деревьев:

— Актерский ряд. Вот потсплст, барышни с тетрадками придут, цветов нанесут, друг дружке из книжек зачитают: не богато, а уважительно.

— А там вот? — скольжу я глазами дальше по стене.

— Для сочинителей, «Писательский тупик» прозывается.

Дед-могильщик хочет поподробнее, но я перебиваю и перевожу глаза к стыку двух стен: могилы здесь прикрыло зубчатой длинной тенью, и кой-где меж ржаво-желтых взгорбий белые кляксы нестаявшего снега.

— Ораторский угол, — поясняет голос из ямы, — тут ночью лучше издаля.

— А что?

— Непокойно. Ораторы, известно: чуть стемнело, заговорят все сразу, — случится, идешь мимо ихнего угла, а из земли так и шепотит. Лучше издаля.

— Видно, правду про вас говорят, дед, что из ума выжили: где это видано, чтоб закопанный человек — и вдруг шепотил?

— Я и не говорю, что видано, — упирается старик, — а что слыхано, так это так. Вот недавно случай был. Хоронили зампреда какого-то — вот тут, в ораторском угле, левая с краю. Папироски не найдется еще? Красный гроб, венков не счесть, и народу видимо-невидимо. Оратор, говорят, был знатный. Ну вот. Спустили гроб, веревки наверх, ну, как водится, речи. Говорили-отговорили, потом и нам, мне с Митькой (сподручник мой), за лопаты. Плюнул я на ладони — и вдруг, что вы скажете: снизу из-под крышки: «Прошу слова. Выслушав, мол, предыдущих...» Но тут — и боже мой! — и предыдущие, и всякие, кто ни был, все наутек. Даже Митька-дурак, лопату бросив, туда жс. Разгляделся я, а вокруг только штук несколько калошк из снегу торчит да портфель чей-то, забывшись, на крестовине качается. А тот — из земли ему да сквозь крышь, понимаете, не видать, — так и частит, так и: «Граждáне и товарищи, не закапывайте меня в тот свет — все одно и трубы суда заслышав, крышкой надвинусь и не отзовусь, как отзовист, я, и...» — а что, есть такое слово, или почудилось мне, старику? Не учен я...

— Есть. Ну, дальшс.

— Дальше? Как бы не так. Захотел было он дальше, но я, как обидно мне стало, Митьки не дожидаясь, за заступ, и единым духом и суесловца, и речи его землей закидал. Ведь, скажите, какой беспокойный народ пошел. Слыхано ли дело, чтобы раньше такое вот случалось?

— Э, дедушка, ни раньше, ни не раньше. Прибрeдилось вам. Полечиться бы надо. К районному врачу не ходили?

— Земля вылечит, сынок. Недолго уж мне тут с вами. А только, если не верите, идем — могилку покажу.

И, отставив лопату, старик уже локтями о край ямы, но я удерживаю его:

— Ну, ладно, верю, верю.

— То-то же, — и успокоенный, он продолжает свои путаные рассказы.

— Этот что — глотнул с лопаты землицы и нишкни. А вот с другим безупокойником таким вот долгая у меня канитель была. Живу я — тут вот сейчас за воротами, домик в два окна у пустыря на отшибе. Мимо меня, катафалка за катафалкой, всзут и везут. И вот как-то, к вечеру это было, зажег я ночничок и к столу повечерять сел, как вдруг что-то в дверь: торк. «Кто бы?» — думаю; подхожу, окликаю, а в ответ опять: торк. Снял я крючок, глянул за дверь, ну, и много я их перевидал, сразу мне понятно, кто таков: стоит, руки скостенелы и к груди вжаты, длинен и желт. «Чур тебе, — говорю я, — откуда таков?..» А он: «С катафалку. На огонек. Впусти».

«Ну, — думаю, — как бы не так!» И, рукой порог перегородивши: «Непорядок: из вони на огонь — и, гляди, хватятся там, что пустоту хоронят; и как это ты изловчился?» — «А так, — говорит, — как закачало по ухабам, крышка возьми и сдвинься — и в щелочку огоньком меня поманило: последний ведь, последний, думаю. Оглянулся назад: какие поотстали и поразбрелись (далеко до вашего кладбища, дедушка), другие еще бредут, но глаза по земле, потому — лужа на луже. Сдвинул я покрышь и снова приладил и тишком... впусти, дедушка». — «А если, — говорю, — не успеешь, на похороны свои не поспеешь, чудака?» — «Поспею, катафалка еле спицами ворошит, не откажи на последний огонек перед тьмою вечной в останный раз глянуть». И так это просит неотступно, жалко мне стало. «Входи, — говорю, — но только чтоб раз-два — и в яму».

Я к ночнику, он за мной и, рук с плеч не раскрестив, ликом завосковелым к свету. А потом: «Тронь, бабушка, за ресницы: застеклило что-то, еще заплутаюсь и дороги к домовине своей не найду. Ох, пора мне, пришли мои сроки, пора». И в раскрытую дверь как пришел, так и ушел. Посмотрел я вслед: сумерком все заволокло, ударили встречные звоны. «Поспел, — думаю, — или не поспел?»

Повечерело. Дверь на крюк. Молитвы отчитав, лег я и хочу на ночничок дунуть, как опять там за дверью: шорох. «Ишь ты, неладная его носит». Но только делать нечего — открываю. «Не поспел?» — «Не поспел, — отвечает, — прихожу, а уж могилу мою лопатами заровняли». «Непорядок, — думаю, — но только контора уже закрыта, придется до утра».

«Что же в дверях стоять, — говорю, — избу холодить, будь незванным гостем, ложись уж, господь с тобой, там в сенцах у стены: тесновато, но не обессудь, в гробу и того теснее». И рогожки ему бросил. Легли. Проснулся я о полуночи, может, сон это все, и хотел на другой бок, но только тут почувал: тленью тянет. «Эге, — думаю, — видно, снами от этакого не оборониться». И, засветив ночничок, — все равно глаз мне с незванным не сомкнуть, — в сенцы. «Ну, как там тебе?» — «Спасибо», — и, вздохнув тяжело, молчит. «Евангелие над тобой читали?» — спрашиваю. «Нет». — «Ну, вот то-то же», — и, по силе грамоты, книгу раскрыв, зачитал я над ним. Только вижу, слушает он, слушает, а потом: «Умилительно это, бабушка, но мимо правды». Ну, тут уж я не стерпел: «Твое дело покойничье лежать — и ни бровью, ни ухом, а он туда же, с алтыном под полтину. Чина своего не блюдешь». Замолчал и не шелохнется. А тут и утро. «Ну, вставай, — говорю, — пойдем закапываться». — «Тяжко мне, закостенило всего». — «Вставай-вставай, сам напутал, иди и распутывай: нечего». Тяну его за руки и плечи —

и что же, подается, несгибень заледенелый, встает вслед за мной и ногами о землю, как ходулями: тук-тук.

Пришли в контору. «Так и так», — говорю, а конторские на смех и, как вы вот: «Из ума выжил, дед», — и из ворот прочь и меня и его. «Ишь, лодырь, — перемигиваются, — в покойники наниматься вздумал; проваливай откуда пришел».

«А откуда ты пришел?» — за ворота выведши, спрашиваю. «Кривоколенный, квартира 39, а дому моему номер...» Ну, что ж, подсадил я его — под скрещенные руки — на трамвай, а там уж народ и сам: «Граждáне, вперед», «Пройдите, граждáне», — на себе понес: им что живой, что мертвый, все равно. Взшел и я и к уху чьему-то: «Уступите место покойничку». Тот шарах, а я моему незваному коленки подогнул (еще ту же скостенели), спиной его к скамье, и затрясло нас всех. Ну, нога за ногу, нога за ногу, пришли мы на Кривоколенный. Лестница. «Не могу, — говорит, — пусть спустятся и внесут». Вижу, и впрямь трудно ему. Прислоня к стене, поднялся я — от номера к номеру: 39. Звонюсь — открывают: «Недохорошили вы жильца, — говорю, — получайте обратно». — «Какого жильца, откуда?» — «Известно, откуда: с кладбища. Насилу довез; внизу дожидается». И — как закричат на меня в десять голосов: «Да он пьян! Из ума выжил, не видите! (Вот как вы давеча.) Звоните в Антирелигиозное, пусть-де его заберут куда надо! Тут и живым друг на дружке, а они еще с кладбищ полезли! Вон, шарамыга, пока поленом ног не перешибло!»

Делать нечего, ну их, вернулся я к бесприютнику своему, тронул плечо и говорю: «Пойдем дале». А он уж, — и челюсть у него свисла, и глаза белы, — шепчет тихмя: «А может, это уже душа моя по мытарствам идет?» — «Где там, — говорю, — мытарства впереди, под крестом ждут мытарства-то, а это у нас жизнь прозывается...»

Ну, долго про все. На другом дню вволок я его опять на 17-й, и повезло нас; на катафалке, оно б поспособнее, но где уж тут. Как стали слезать на Театральной — народ сзади надал и кричат: «Сходите!» — «Не задерживайте!» — «Да что он, как мертвый, копается!» Обернулся я и говорю: «Правильное слово, мертвый, мертвый и есть». И опять как закричат и локтями в спину: «Ну, вот и этот!» — «Да сходите вы, так вас и так!» Ну, я понимаю, народ занятой, бегут, глаза растерявши, что им до того, что вот человека недохоронили?

Намучился я еще с ним, с незакопной несчастным, пока до биржи труда — по стене и по стене — не доволок. Там, на Рахманном, легче пошло: вставил я его в очередь, — передний подастся, задний толканет, — и вижу я: дело на лад. Ну, сунул я ему в щепоть документ, а сам: «Дай, — думаю, — за табачком сбегая, да и знакома одного неподалеку, в Кисельном, проведать, авось присоветует что доброе». И пошел. Ну а тот, знакомец-то, и скажи. «Ты, — говорит, — трупьяна своего брось, потому что это дело незапараграфленное!» (Так и сказал.) И вот от слова этого, от незап... второй раз и не выговоришь, верите, вдруг страшно мне стало. Дось не было страшно, а тут...

Бреду назад — по Рахманному, — и одна надежа у меня, авось документ вывезет. Стал я искать своего: стоят спины за спинами и за спинами спины — окостенело и в бездвижье — и не разберешь: которые тут мертвые, которые живые. Поднялся я по лестнице, вхожу, а моего-то к загородке притиснуло, головой в оконце застрял — и ни туда, ни оттуда. К оконцу и я — и слышу, чиновник волнуется: «Да что вы, — кричит, — гражданин, глухонемой, что ли? Документ ваш не тот, не было распоряжения, не задерживайте! Следующий!» Вытянул я его за локти из оконца, руки мои старые еле держат — тяжел стал, и к земле его клонит, — а тут любопытствующие: «Не

зарегистрировали? Почему? Какой документ, покажите?» Я и показал: «Вот, — говорю, — люди добрые, что же это такое: по метрике о смерти, и вдруг перестали регистрировать? И если б неправильная какая, — а то вот и номер, и печать, и все. Как же так?» И сразу вокруг нас, знаете, попросторнело.

И опять мы с ним, с никудышей безмогильным, в суето-лохье и в суету. Машины отовсюду гудут. Люди бегом — и так, и сяк, и этак, портфелями в портфелья, глаза растерявши. Плюнул это я в сердцах, очень уж меня это знакомство «не раснагр...» тыфу, не выговорю.

— Не раснаграфлено, — подсказал я.

— Вот-вот... «рафлено» растревожило. «Прощай, — говорю, — незванный». А он уж и губ разжать не может. И тут хлынуло народом, расцепило нас — его в одну сторону, меня в другую, — и вижу: плывет мой незакопа, как вот пузырь по канавке, несет его людем людящимся все дале и дале. Снял я картуз и перекрестился: царствие небесное, аминь.

И сколько раз потом ни случалось в город навещаться, кого ни встречу, смотрю: уж не безмогильный ли мой? Только не довелось в другажды, не свело судьбой. Ну а вам, часом, не попадалось?

С минуту мы оба молчим. Потом прикуриваем. Старик берет за заступ:

— Это что — так, обыкновенность. А вот был у меня случай...

Но в это время на надвратной колокольне вздрогнули колокола и из-за стены, как сквозняком, потянуло тонким и протяжным пением. Спина старика тотчас же провалилась в яму — и сквозь звяк лопаты и бьющую о землю землю я расслышал:

— Вот, заговорили вы меня, а могилка и не готова. Неладно выходит: то яма без новопреставленного — то

новопреставленный без ямы. Отойдите, еще землей зашибет.

Я направился к выходу. Одни ворота, потом другие. Здесь, под каменной навесью, я посторонился, пропуская процессию. И, шагая из ворот, думал: Леонардо был прав, говоря, что у пятен плесени можно иной раз научиться большему, чем у созданий мастера.

1927

Когда рак свистнет

Между двух стран озеро без имени, над зыбями ивы, под зыбями рыбы без голоса, на зыбях звезды без времени, вокруг озера нивы колос-к-колосу; дале, от озера без имени — зеленый пар, на пару коровы без вымени, волос-к-волосу, сто-ста-сот пар. Направо идти — придешь к авосям; налево — к небосям.

Искони — кони у небосей не расседланы; искони они, небоси, без опаси, войной на авосей шли. Авоси живут — беды не ждут: стоят авосевы города не горожены, авоськины дети не рожены. Придут — и пустят все с дымами, угонят коров без вымени, возьмут в полон, кто не рожен; долго потом озеро без имени кроваво стоит, ниже никнут ивы, косами не кошены, а уж копытами вымолочены нивы, и плачут малые авосята нероженные, еще пуще авосевы жены, и того пуще старые авосихи:

— Когда небосевой неправде конец?

Отвечают авоси:

— Когда рак свистнет.

И еще:

— Когда рыба запоет.

Из озера без имени выплывала река: плыла река без устали до самого моря. А у самого дна («одна голова не бедна») в песке и тине, вместе с женой актинией, жил

старый рак-отшельник. И когда первую кровь из озера без имени — речным пльвом — в море синее занесло и береговые пены залило, повел рак длинным усом и:

— Не пора ль мне, Актиньюшка?

Но та, нежными аконтиями колыхнув:

— Крови мало, моря много. Уйдем.

И ползет рак задом, а сказка передом.

Кабы мог старый рак поперек моря на другой край, увидали бы его пучьи глаза страну Какнибудию: живут какнибудни ни в два — ни в полтора, никто во двор, все со двора; тяп-ляп — выше корापь, и сели б на корабль, да ни ветру, ни тех, чтоб гребли. Сидят у моря — ждут погоды, а поверх моря белые пены бегут. Ждут.

Ждут и авоси: ждут и терпят; авось небоси бога побоятся, но не боятся небоси: и за зарсвами, за ревом рев, за кровью кровь, у авоськиных дсток нсроженных головы можжены, а жсны... таково уж их женское дело. Пришли времена, когда авось и рыбака толкает под бока: «Вези, рыбак, через озеро без имени». Везет рыбак через озеро без имени, а с весел кровь. Пришли времена, когда иной авось в лес уйдет, а за ним еще и еще; и, в лесу зата-ясь, держат, авосясь, совет авоси:

— Авось пронесет.

— Жди, когда рак свистнет.

— И рыба запоеет.

И порешили: ждять в лесах, меж ох да ах, еще жданки съедят; пошлем мы послов в Какнибудиеву страну, а ну как из-за синего моря придут какнибудни и помогут горю.

Как решили, так и сделали.

Стоят тяп-ляп-корáпи, якоря в дно вкляпя. Сидят у моря какнибудни, сидят — ждут погоды. Видят — белые пены, а за белыми пенами алые пены — а за алыми пена-

ми малый парус — и во се, авоси челом бьют: небоси, мол, бьют, нельзя ль как-нибудь беде помочь.

Какнибудди не прочь: то да сё, так ли, сяк, помочь готов всяк. На тят-ляп-корáпи подняли якорям лапы и по шатущему морю — помогать горю.

Кораблевы донья под зыбями плывут, черные тени донья по дну волокут. Доползала кораблева тень до старого рака-отшельника; шевельнул спросонья клешней и:

— Не пора ль...

Но актиния, изгибью аконтий обняв:

— Спи-спи, старый; тени мало, тени много: глубоже в тину и, юлешней октись — в имя отца и сына, — спи.

Как приплыли какнибудди, в железо кованы груди, в руках палицы: царство небесное валится. Стонет небось: хоть брось. Прошли какнибудди вокруг озера без имени, хлещет кровь как из вымени; прошли и по прямым, и по криви, и по коси, легли небоси кровавым покосом. И пришло время, какой уцелел небось, рыбака толкает под бока, а тот: «Как везу — весло в сукрови вязнет».

И бежали иные небоси с опасью в леса, небосих и небосят босых и безымущих уводя, и, малость погода, собрали небоси совет и надумали всем советом навет. Пришли к какнибуддям небосевы послы и говорят:

— Побило нас, небосей, небо. Будь что будь. Какнибуддии покоряемся, богам какнибуддиевым поклоняемся. Были мы небоси — стали мы боси. И босы. Только не верьте авосям. Искони о них сказано: от авоси добра не жди; на авось и кобыла в дровни лягает; авосю не вовсе верь.

Какнибудди, им будь что будет, вместе с небосями пошли на авосей: взяли авосевы города негорожены, побили авось-деток нероженных, а жен их... таково уж женское дело. Кровавым крапом травы окропило, трупам

ми озеро без имени запрудило — и не Христос бы как посуху прошел.

Похваляются какнибудди:

— Мы-де и авосей, и небосей, как траву, косим. Авосю не вовсе верь, да и небосю вовсе не верь.

И пошли тут: авось на небося, небось на авося, а какнибудь — и на этих, и на тех. Плывет кровь из ран в землю, земными жилами в озеро и реку, а там, речным пльвом к морским приливам, с волны на волну, красным крапом к морскому дну.

Вспучил из тины старый рак глаза:

— Уж не пора ль мне...

Но актиния дрожью нежных аконтий к шершавой коже — и:

— Много боли, моря боле. Ползи, старый, вглубь, ползи.

Был среди небосей именем Канеав. Отца-мать Канеава извели авоси, сестру Канеава увели блудные какнибудди. Но у бедра Канеав не носил меча, а в сердце Канеав не носил зла. Взял Канеав в руки посох странника, пошел от небосей к авосям, от авосей к какнибудям и учил:

— Живите, небоси, по-христосьи. И какнибудди — люди. Авоська небоське набитый брат.

Пошла про Канеава слава: свят.

И сказали авоси небосям, а небоси авосям: станем жить по-христосьи. И, съединившись, решили вместе, как набитые братья, пойти на какнибудей и перебить без изъятья. А когда стал Канеав их удерживать, говоря: простите и какнибудям, ведь и какнибудди люди, — разгневались на него и авоси, и небоси: мил тебе какнибудь, так туда тебе и путь. И изгнали Канеава. Пошел Канеав берегом озера без имени: под зыбями рыбы без голосу, под

ногами поля без колосу. Застигла Канеава в пути ночь. Лег он наземь рядом с посохом, и привиделся ему сон: будто вознесли его белые облака в горний сад, где золотые яблоки висят, и думает небось: «небо» — «ось»; идет по небесным тропам — цветет вокруг троп райский крин, но только видит Канеав, что он один: не топтаны тропы, не хожены дороги, не рваны золотые яблоки, не тронуты жемчужны желуды. И спрашивает Канеав: а где же люди? Невидимый голос ему в ответ: помни, Канеав, и знай — все люди погибли за свой рай.

И тут проснулся Канеав и, опечаленный, думал путь. Встретился ему в поле ратный какнибудь. «Не имею меча у бедра, а зла в сердце». И какнибудь его не тронул, а указал путь к своим. Пришел Канеав в какнибудиев стан и стал учить:

— Авось-небось да третей какнибудь. Братом друг другу будь, кто ты ни будь, хоть бы и какнибудь. Не вынимайте мечей из ножен, но жен их суженым отдайте.

Посмеялись над Канеавом какнибуды. И порешили какнибуды судьи: посадив на доску святого небоську, бросить в море — пусть слезами посолонит море.

И как бросили на волны пророка какнибуды, он им: верую, буди-буды. Но ударило истром — и доску и небоську волной унесло, а какнибуды опять за мечевое ремесло: мечи из ножен, авосей-небосей косят, но жен небосьих-авосьих любить хоть как-нибудь их, какнибудей, просят.

По морю — по синим зыбям — доска; на доске Канеава тоска; плывет сердце в тосковом тиске; роняют очи горе в море; солоней стало солено-море; сушат очи с ночи до утра ветра, а с утра до ночи мчат доску что есть мочи — по волнам-глубинам, с бурями в размин, тихо, невредимо к острову нелюдимому, а остров тот не без имени: Курия-Мурия.

Был Курия-Мурия мал и дик, все паруса издалека и мимо, только волн плеск и птиц крик на острове нелюдимом. Тут Канеав, изгнанный какнибудью, авосью и небосью, дыша полной грудью у морских просиней, вспоминая их брани и рати, написал невеликую хартию. Называлась хартия так: «Когда же наконец свистнет рак».

А тем временем вновь бьются авоси да небоси с какнибудями, днем им светит солнце — ночью зарево, на костях и мясе кровавое варево: мечами замешено, слезами засолено, бьет в него алым паром, пузырится-пучится из земли могилами, сходятся в полях ратные силы с ратными силами.

Поначалу стали одолевать какнибудей. И захвастали: держался-де авоська за небоську, да оба упали.

Но потом стали одолевать какнибудей. И запечалились какнибудей: авоська, мол, веревку вьст, небоська петлю накидывает. Не бейте нас, какнибудей, ведь говорил ваш пророк Кансав, что и мы люди.

Но те не слушают, жгут и бьют, веревки вьют, петли накидывают. А судьи какнибудей тем временем умом раскидывают: уж не послать ли нам малую тят-ляпину, быстрюю карапину, на остров Курию-Мурию, куда своею же дурью сослали мы мудрого Канеава, — пусть спасет нас от неправой напасти.

И тят-ляпина подняла снасти. Плывут какнибудей к Канеаву, и, воздав Канеаву славу: так и так — уйми авосей с небосьями, хотим с ними жить по-христосьему. Отвечает Канеав: «Не нужно мне ваших слов; одно мне нужно, чтоб мужья были женны, а жены были мужьи; чтобы жили вы друг с дружкой по-дружьи; чтобы детки были рожены, а города горожены; чтобы пришла на кровь схлынь, а на зло стинь. Аминь». И, приплыв к берегам, где все враги врагам, где идет на полк полк, а человек чело-

веку волк, идет Канеав к авосям и небосям и слезно просит:

— Не меч, но мир, не смерть, но серп; послушайте меня, Канеава, не живите кроваво, а живите братней семьей: авось, небось да какой-нибудь третей.

Озлились авоси, а небоси и того пуще:

— В нас кровь гуще — в тебе жиже; ведь ты же из нас, из небосей, родом, а с какнибудиевым народом заодно.

Прибили небоси к бревну бревно, а раскрестив Канеава, пядь и пядь, кисть и кисть — вверх, вниз, влево и вправо — гвоздями к бревну, и говорят: ну, дали тебе какнибудеи мзду, вот тебе и наша плата — в каждую ладонь по гвоздю, по заплаате.

И, оголив мечи, бросив труп Канеава в ночи, пошли небоси-авоси, грудь к груди, добивать какнибудей. Но случилось тут у озера без имени такое, что и не сыскать ему имени. Клюнул старый ворон тело Канеавово и с первого же клева насытился; насытившись, вынул клюв закровавленный и полетел к морю дальнему; прилетев к морю дальнему, опускался ворон на тихую волну, и чуть клюв в воду, чтоб кровь омыть, — заворошилось море и ну — полной о полную бить, перскатами через вал — вал. А старый рак в это время крепко спал. И слышит: сквозь сны острыми клиньями колют-будят его стрекальца актиньевы. Клешни рачьи в песок врыты, но глаза пучьи у старого рака всегда раскрыты:

— Дай доснить, Актиньюшка, не буди.

А та:

— Буди-буди, старый, иди-иди.

Рак было:

— Над нами не каплет.

А та:

— Иди!

Он было еще:

— Стрекай стрекалами, свистни.

А та свое:

— Иди, иди, свистни.

Видит рак: делать нечего; клешню за клешней, задом наперед, назад головой, сквозь волнный вой, выполз на берег, клешнями в песок, огляделся, сел и, подумав «пусть», поднял свой правый ус и... засвистел.

Понесли ветры рачий свист из страны в страну. Просыпались авоси, какнибуду и небоси и говорили: ну-ну, или: что за дивный свист? А от свиста на деревьях стал зеленее лист, воздух благоуханен и чист, золотистее золота заря, и мечи вдруг стали мягки, как актиниевы стрекала (не рубят — щекочут), и вражды на земле как не бывало, всякому вольно жить всяко, кто как хочет. Вкруг озера без имени стада коров без вымени, волос-к-волосу, в полях колос-к-колосу, никто — ни авось, ни небось, ни какнибудь — не толкает рыбака под бока и в грудь; сидит рыбак, ноги свеса, глядит в зоревую полосу и слышит: рыбы без голосу, подняв из зыбей прозрачные рты, выводят тонко, как на клиросе: «Блажен, еже милует и скоты». На росе, рядком с рыбаком, неразмотанные удочки. На дудочке играет пастух. И с той поры никто не скажет: небоси, или авоси, или какнибуду, — а говорит просто: люди.

Сквозь кальку

Это был один из тех поездов, что перевозили войну из фронтов в тыл. Паровоз его, надсадно дыша и выкашливая искры, с трудом протискивался сквозь ночь, от времени до времени злобно крича на перегораживающие путь красные огни семафоров. Ветер шнырял сквозь битые окна, буфера лязгали о буфера, но весь человеческий груз поезда был неподвижен: солдатское сукно на скамьях и под скамьями, на вещевых полках, на полу, на площадках и поверх качающихся выгибов крыш. Распяленные локти, подогнутые плечи, груди, втиснутые в спины, затылки поперх плюси, колени, подтянутые к подбородкам, спрессованные меж стен и потолка выдыхи, храпы, вдохи, прель, махорочная вонь.

Узконосый сапог, осторожно выбирая место для шага, медленно выбирался из месива снов по направлению к двери. Когда ему не удавалось отыскать хотя бы дюйм пола, из-под подошвы, из распаренной мякоти, выдавливались короткие вскрики и ругань, тотчас же проваливающаяся назад, в сон. Над переступью сапога подымающаяся и опадающая сверху на шаги полá офицерского сукна. О бедро трется полевая сумка. От верхнего ее угла узкая ременная дорожка к плечу. На плече над перегибью ремня — ничего. Выше — подоткнутая

двумя выпушками длиннолицая голова с бровями, спрятанными под козырек. До двери было не больше десятка шагов. Но носок ткнулся в чью-то шею; рядом топорщился ушной хрящ и выставленные наугольниками вверх колени. Плечо, охваченное ремнем, слегка нагнулось, стараясь разобраться в путанице тел: грязные налипи волос из-под шапок; чей-то по-рыбьи распяленный рот; ладонь с зацепенелыми пальцами, упавшая на чужое мучительно выгнутое лицо. Было похоже, будто на поезд погрузили поле битвы и везут его, затрущенное поганое поле, сквозь черную ночь, напоказ столицам: осмотр от — до, дамы по пятницам.

Человек распрямился и, поймав рукой выступ полки, шагнул наугад. Первый шаг пришелся по чьим-то вскостенным лопаткам, второй поскользнулся на прижатой к полу бороде, третий увяз в сердито сцепившихся пальцах. Но идущий выдернул носок, отвел им мягко откатившуюся на длинной тонкой шее голову и, дотянувшись до дверной ручки, рванул на себя.

Площадка и тамбур были тоже забиты людьми. Ссутулившиеся на мешках тела, головы враскачку под мерный метр колес. Раздвигая плечом плечи, человек в офицерском сукне дотиснулся до ступенек. Скользя ладонью по поручню, он опустился на верхний выступ лестенки и уперся ногой в нижнюю ее ступень. Сквозь ночь, как сквозь закопченное стекло, виднелась горящая крышами деревня. Несколько сбившихся в кучу деревьев уплывало — вместе с полем — за горизонт. Земля была еще под рваным одеялом снега, но ветер был предвесенне тепл и влажен. На параллелях телеграфной проволоки, как знаки на нотном черновике, громоздились — с линии на линию — вороны. Человек на ступеньке, охватив правым локтем вертикаль поручня, левой рукой отстегнул сумку. Полевая книжка пододвинулась к паль-

цам и легла поверх колен. Пальцы, сжатые зябью и мыслю, быстро вкрючивали в листок:

«Еще отметина: последняя поза смертельно раненого всегда до крайности нарочита, напряженна и неудобна. Как если б не на всю вечность, а на долю секунды. Эта нецелесообразность, выпадение из стиля смерти...»

Что-то плоское и прозрачное выскользнуло из-под карандаша, блеснуло легкой бабочкой перед глазами и, схваченное ветром, кануло в ночь. Человек посмотрел вслед, потом отогнул страницу: кусочка кальки, прятавшегося меж листков, не было там, где он был только что. Оборвав запись, он сунул ее назад, под кожаную крышку. Площадка, вздрагивая на стыках рельс, мерно плыла над стланыю полей. Ветер тянул длинную тонкую ноту. Человек закрыл глаза и, плотнее охватив поручень, притиснулся виском к раскачивающемуся железу вагона. Сквозь медленно тухнущий мозг длинные, как провода, нити: нити тянутся, тончась и тончась, и вдруг с них — точно с нотных линеек — голос: «Поручик Зыгмин».

«Это меня», — думает позванный и поворачивает голову на звук.

Над качающимся из душной тьмы фонарем лицо солдата и рука, протягивающая пакет. Под плечом умятая трава. Поднялся; щуря от укулов света глаза, вскрыл: «с получением сего» выступить и занять позицию между высотами 223 и 122. Дурацкий сон: какая-то ступенька, поле—поезд... Что ж. Остается поднять батарею и сквозь ночь — меж 122 и 223. Фонарь, вороша тени, снует меж пней, колес и лафетных хоботов. Разбуженные постромки звенят, сонно ворохнулись спицы, приглушенный говор, копыта о землю, и восемь запряганных в чехлы жерл — в походную колонну. Под носком левой ноги стремя, колено, разжимаясь, подает тело в седло — «ма-а-арш!» — и за спиной гулкая земля. «Вольно, закурить».

Через минуту, оглянувшись, поручик Зыгмин видит вспыхивающиеся точки, смутные контуры орудий и силуэты номеров, дремлющих на зарядных ящиках и на спинах тяжелых коней.

Глубокие колеи проселка. Сперва вдоль опушки леса, потом круто в поле. Всклмие, пологий спуск и опять подъем. Кони выкатывают обода из вязких падей. Черный воздух чуть тронуло предсветьем: можно различить извилистую линию холмов впереди. Гул ночного боя, вначале смутный и слианный, с каждой минутой жестчит голоса, надвигаясь ближе и ближе; ясно слышим металл разрывов, уханье жерл и механическая строчка пулемета. Красные точки позади тухнут, но спереди навстречу глазам синие падалицы ракет. Предутренняя зябь пробралась под шинель, из-за ракет — не то заря, не то зарево.

Дорога вдруг раздвоилась: направо — в поле, под ракетный дождь, налево — в провал извилистого и глухого оврага.

Зыгмин знает — нужно направо, туда вот, откуда протарахтела патронная двуколка и вразрознь по обочинам череда раненых, но почему-то, по какому-то непонятному «почему», дает левый шенкель и по крутому спуску на овражью тропу. Вслед за ним и батарея. Оглянувшись, он видит, как шестерки, оседая на крупы, сдерживают накатывающуюся медь и — взвод за взводом — к дну высоко поднявшего свои края оврага. Да и овраг ли это? Может быть, русло иссохшей реки, протянутое длинью извивов к далекому иссохлому морю?..

Орудия, переваливаясь с колеса на колесо, беззвучно вперед; сверху упали тени, словно вернувшаяся ночь. И странно: ни лета синих ракет, ни мерного такания пулемета, ни пушечных взрывов — боя как не бывало. Путь выгибается то вправо, то влево, запутывая и колеса, и мысль в дезориентирующем плетении кривых и петель.

Тихий говорок там, позади, у лафетов, примолк, лишь изредка стук камня об обод да шорох чиркнувшего о свесь оврага постромка. Теперь Зыгмину ясно: он совершил недолжное — русло не к позиции, а от, не ведет, а уводит — неведомо куда. Надо повернуть батарею. Но как? Овражные свеси все ближе и ближе друг к другу, оси колес то и дело трутся о сдвигающиеся стены земли. Нет — повернуть уже нельзя. Значит, дальше.

И Зыгмин дает шпоры. Наверное, там, позади, сейчас начнется ропот. Он вслушивается: да, действительно, приглушенный гул, но почему не вслед спине, а оттуда навстречу овражьей щели, и несблизка, издалека, и не десятком голосов, несчетным тысячеголосием. Зыгмин тянет к себе удила: батарея стала. И он, и люди слушают: да-да, по темному зигзагу неведомого русла плывет гул смешавшихся криков, смутный ляг ударов об удары, топот мириадов копыт и над всем тягучий и тонкий из множества освистов свист. Похоже, будто где-то впереди бой, но какой-то иной, не наш — без пересыпи пулеметов и пушечной пальбы. Стрелой сквозь мозг: «Или я заблудился не только в пространстве?» — и Зыгмин чувствует холодок по позвонкам.

Дальше. Кони в упряжках храпят и бьют землю. Приложив ладонь к шее своего жеребца, он ощущает дрожь и подергивание кожи; наклонясь с седла, видит округлившийся в кровавых жилках глаз и настороженно прядающее ухо. Что бы ни было — надо, чтоб скорей было, иначе... Повернувшись на стремянах, поручик Зыгмин резко кричит: «Рысью марш!» Из-за грохота батарейных колес и шума осыпей близящийся бой мнится утихающим, но Зыгмин знает, что скоро, что вот сейчас. Постепенно высокие овражки края оседают, крутые срывы их, точно отшатываясь перед разгоном идущей на рысях батареи, отступают отложьями склонов.

«Стой!» Зыгмин и связь поднимают коней на гребень холма справа. Из-под копыт прыск камня. Воздух, трущийся об уши, полон теперь голосами битвы. Бросив солдату поводья, Зыгмин из стремян и, цепляясь за кусты, — на взгорбье холма. Ладони к глазам — и навстречу широкая, под смесившимся туманом, зарей и тучами низина. Поперек низины извив реки, лишь кой-где синими пятнами из-под движущейся гущи голосов, копий, коней и щитов. Чье-то войско, опрокинутое и сбитое с переправ, отходит, роняя трупы и стяги, прямо на холмы, на одном из которых он, Зыгмин. Сначала бинокль к глазам: в выпяченных стеклах пляшут — да-да — чалмы и шлемы, гривы коней, взмахи клинков и шестоперов. Сердце уже поняло и бьется рыбой, изловленной в ребра. Но надо до конца: под прозрачным гляncем полевой сумки, рядом с прыгающей компасной стрелкой, серые штрихи двувёрстки. Он быстро ориентирует карту: зигзаг оврага — есть; 113 — не то; 223 — здесь; река — есть: ближе к глазам изгибы параллельных букв. Зрачки собирают их, роняют и снова знак к знаку, — и: «река Калка». Надо перечитать, проверить, ошибка топографа, не может быть... Но что-то со звоном мимо виска и вниз — взгляд — в фуге от ноги вклевавшаяся в глину еще дрожащая лётком — стрела. Нельзя терять ни секунды. Толпы бегущих от реки ближе и ближе, там, за рекой, конский топ надвигающихся под пестрыми бунчуками орд. Века прорвались сквозь века — пусть! — он их встретит. Древний ужас, восставший тлен идет на него: значит — не дать дойти. Зыгмин повернул назад и слышит, как сердце вместе с голосом бьется в его горле: «Батарей на меня! Справа повзводно! Позиция вдоль гребня!» И тотчас же стук берущих уступы колес и повтор команд. Въезд на позицию труден, — копыта скользят по срывам, но десятки рук за обода, мускул к мускулу, и люди, и даже кони включились в схватку веков — или они, или их, — и во-

семь жерл, снявшись с передков, навстречу прибою боя. «По наступающей кавалерии. Трубка 04». Номера рассыпались по местам. Лязгнули затворы. «Первое — пли! Второе...» Удар и откат — удар и откат, и над извивом Калки дымки и взлески шрапнельных разрывов: батарея с механической точностью перекачивает огонь от фланга к флангу. Зыгмин уже не может перекричать медной гаммы орудий, он только взмахивает рукой, бросая огненные удары навстречу тмящим небо стаям стрел. И несметные тьмы тем — он видит — дрогнули. Да, да, пестрые полчища сменились и бегут. Там, где были выкрики победы, — длинный гортанный вопль. Надо добить, не дать уйти. И Зыгмин снова в стремянах. Свисток, затиснутый меж зубов, останавливает огонь. Короткая команда — передки сцеплены с лафетами. И в это время в десяти шагах из-за кустов, сначала шишак, потом бородастое лицо. Поручик Зыгмин конем на прищельца, и тяжкая окольчуженная фигура, странно и страшно щерясь рассеченным ртом, подымается с земли: «Слава ти, Стрибозий внуче, слава ти, Перунодавче!» Но Зыгмин: «Кто на фланге? Связы!» Теперь все ясно, и сквозь двуязычь: «Мстислава князя дружина, ова непотыта мала остать. И куряне. Трубчевы воины тож». «Тимченко», — поворачивается Зыгмин к связи. «Здесь, господин поручик». «Взять его за седло и туда конвой: пусть всеми дружинами в контратаку. Батарея за мной». Выбросившись конем вперед, Зыгмин слышит свист ветра в ушах и грохот накатывающей сзади — по наклону — батареи. Череда орудий, сверкая в пурпурном разливе зари, достигает открытой позиции у самой реки. «Картечь!» Смешавшиеся пестрые орды еще не успели опростать переправ. Тысячи луков выгибаются навстречу восьмижерлому ужасу. Рои стрел, брошенных с закрытыми глазами, в судороге конца, изнизали воздух. Но орудия — прямой наводкой — перекачивающимся частым огнем еще и

еще — в самую гущу. Перегнувшись вперед с седла, Зыгмин видит расшвыриваемые сталью тела, вздыбленных коней, руки, роняющие оружие и жизнь. А уже справа и слева колышущийся лес копий. Это они — поднятые им — древние дружины. Они возвращаются в бой. Победа. Зыгмин еще раз карту к глазам: да-да, она, она, отныне священная Калка. Острие компаса, потеряв полюс, мечется по кругу. «Битва при Калке — моя. Но если так, то и иго с плеч, и ни его, ни того, что вслед. Это я, я опрокинул им семь веков. По отступающим столетиям, батарея, огонь». И сквозь дымную стлань боя уже не разглядеть, что шевелится там, за разрывами. Цифры по дистанционной шкале вверх и вниз, раскаленные орудия все выше запрокидываются на осях, пробуя настичь убегающий за горизонт — смутный сквозь пыль — контур. Зарядные ящики пусты.

Привстав на стременах, поручик Зыгмин обводит глазами обездвиженное поле. И странно: травы стали белы; а воздух у правого виска тверд и неподатлив, как железо. Зыгмин взглядывает вниз: под ногой — что это? — не стремя, вагонная подножка. Земля под подножкой неподвижна, поезд стал почему-то в поле, и только впереди тревожные гудки локомотива. С соседней площадки, думая, что станция, спрыгнуло трое или четверо, жестяные носы чайников недоуменно тычутся из стороны в сторону. Поезд, оборвав гудки, дает тихий ход. Светает.

Рисунок пером

Директор Пушкинского кабинета Долев чувствовал себя в этот день очень утомленным. Четыре экскурсии, работа с машинисткой, ответ на тринадцать настоятельных писем и, наконец, этот маститый пушкиновед профессор Гроцяновский плюс, как его, ах да, поэт Самосейский.

Пушкиноведу нужно было собрать материал по поводу того, в бане или у колодца возникли пушкинские стихи по поводу вод Флегетона. Профессор долго, не выпуская из рук полы пиджака Долева, втолковывал ему, что в деревянной баньке села Михайловского вода не могла «блистать», поскольку баня была парной и в ней не было электрического освещения, что же касается до поверхности воды в колодце села, у которого, как нам достоверно известно, Александр Сергеевич неоднократно останавливался, то тут возникает ряд проблем, требующих точной документации и анализа материалов.

Самосейский выражал горестное недоумение по поводу того, что в альбоме музея, собравшем в себя литературные высказывания о Пушкине, нет его стихотворения, обращенного к Пушкину, напечатанного в газете такой-то, там-то, тогда-то и как раз о том-то.

Дело было уже к сумеркам, когда Долев услышал внизу звук защелкивающегося замка и вошел к себе в

свой, ставший внезапно очень тихим, директорский кабинет. Наконец-то можно взяться за свою работу. Долев посидел минуты две молча, положив руки на поручни кресла, затем придвинулся ближе к столу. Он уже вторую неделю писал, черкал и снова начинал писать статью о «Медном всаднике». Перо побежало по строчке.

«...Учитывая литературные и внелитературные влияния, толкавшие руку Пушкина во время его работы над „Медным всадником“, нельзя забывать, как это все обычно делают, о возможности воздействия образов мифологических и геральдических. Славянская мифология, как известно, христианизировалась; древний палеологовский герб государства Российского получил, как раз во времена Петра, новое изображение на своем щите: Георгий Победоносец на коне, топчущем змея. Если убрать копье, то оказывается, что фигура Фальконетова Медного всадника и геральдическая фигура Георгия Победоносца совпадают. Что же нам говорит дохристианский миф о Георгии? В древности приносились человеческие жертвы на алтарь «духам вод». Волны, грозящие поглотить все живое, изображенные и на гербе, и на памятнике волнообразным, извилистым телом змея, пробовали умиловить, бросая в море людей. Но пришел Георгий Воитель, поправ волны, и — как говорит миф — приношение человеческих жертв было отменено. Таким образом, если...»

На стене прозвенел телефон.

«...образом, если принять во внимание, что...»

Телефон повторил звонок.

«...несмотря на, я бы хотел сказать...»

Телефон напомнил о себе еще раз. Долев отшвырнул перо и подошел к трубке: «Как, ах да, да-да, знаю. Статью о рисунках Пушкина? Видите ли, у меня тут своя научная работа. Но, конечно, с другой стороны, я понимаю.

Гм, хорошо. Пять страниц на машинке? Пожалуй. Рисунки? Это я подберу».

Прежде чем вернуться к столу, Долев вышел в соседнюю залу музея. Теперь рядом с чернильницей и стопкой белой бумаги легли две толстые папки с пронумерованными рисунками поэта.

Часы за стеной пробили семь, потом восемь, а Долев все еще сидел над листами своих любимых папок. Они проходили перед ним, эти небрежные, прижатые к краю рукописных полей чернильные рисунки, блуждания пера. Вот покосившийся крест и несколько стеблей, изогнутых вокруг заглавия «Страшник»; вот странная процессия, точно сделанная из чернильных клякс пером, в расщепе которого застряла крохотная ниточка: рисунок к «Гробовщику» — с длинным гробом, поднятым кверху на упругих рессорах катафалка, с длинным бичом возницы и коротенькими фигурами провожающих катафалк; а вот и веселый росчерк, оторвавшийся от подписи поэта и вдруг круглыми спиралями распахивающий чернильные крылья, превращающие росчерк в птицу.

Но особенно долго автор будущей статьи задержался на таинственном рисунке, который много раз и до того притягивал его внимание: это было изображение коня, занесшего передние копыта над краем скалы; две задние ноги и хвост, как и у Фальконета, упирались в каменный ступ скалы; как и у Фальконета, под конем извивалась попрунная змея; как и в «Медном всаднике»... но Всадника не было. Поэт как бы подчеркнул это отступление, пририсовав к спине коня, к желтоватому контуру его вздыбленной фигуры, чернилами более темного оттенка некоторое подобие седла. Где же всадник, где звучала его медная поступь и почему седло на рисунке № 411 было пусто?

Долев, сосредоточиваясь на той или иной мысли, имел привычку закрывать глаза. Так и теперь. Веки были

странно тяжелыми, как свинцом давили на зрачки. Он сделал усилие раскрыть глаза. Что за диковина? Конь, как и прежде, стоял на профиле каменной глыбы, но длинная морда его, в ракурсе, была повернута в сторону Долева и чернильные точки-глаза шевелились. Надо было стряхнуть с себя иллюзию, протереть глаза, но руки чугунными перилами вросли в подлокотники кресла, и Долев мог только одно: наблюдать.

Конь сделал легкий прыжок и широкой рысью двинулся вперед. Плоское пространство бумажного листа разворачивающимся свитком неслось впереди него. Волнообразный гад, высвободившись из-под копыт, уцепился ртом за конец длинного конского хвоста, от чего тот казался втрое длиннее. Рысь перешла в карьер. Секунда — и конь, точно упругий мяч, оттолкнувшись от земли, взлетел, снова ударился копытами оземь — и тут у его движущихся лопаток, вывинчиваясь из плоского тела чернильными росчерками, стали быстро расти легкие крылья. К двум парам ног пришла на подмогу третья, воздушная, — и конь несся теперь высоко над нижним краем листа, ныряя в облака и из них выныривая. Долев (пульс все чаще стучал в висках) еле поспевал глазами за полетом.

Но вот конь прижал крылья к вздымающимся бокам и скользнул вниз. Копыта его остро цокнули о каменистую землю, и из-под них, прозрачной струей, брызнул искристый луч. «Иппокрена!» — мелькнуло в мозгу у Долева. Конь, отдыхая, спокойно щипал чернильно-черные штрихи травы, выросшие из нижнего края свитка. Местность уходила в глубину мягкими холмами, за контурами которых виднелась вершина какой-то горы, одетая в легкие росчерки туч.

Седло, пририсованное к спине коня, по-прежнему было без всадника.

И тут внезапно Долев почувствовал, что он не один. Справа и слева от его закаменевших рук было еще по паре глаз. Одна принадлежала, как он это увидел, скосив взгляд, запыхавшемуся Самосейкину, другая — почтенному пушкинисту, профессору Гроцяновскому. Через мгновение оба они очутились на рисунке, так что не надо было поворачивать головы к плечу, чтобы их видеть. Оба они были покрыты чернильными брызгами пыли; галстук Самосейкина съехал почти что на спину, а из прорванных локтей черного сюртука профессора торчали его голые натруженные мозолистые локти. Сейчас оба они подходили, профессор со стороны узды, поэт — со стороны хвоста, к мирно щипавшему штрихи травы коню. Тот шевельнул острыми ушами и, приподняв узкую голову, оглядел их веселым, юмористическим оком. Профессор протянул руку к узде, поэт — к хвосту, но в тот же миг конь резко вздернул голову и хлестнул учетверенным хвостом. Профессор взлетел вверх и тотчас же рухнул наземь; поэт, получивший размашистый удар хвоста змеи, присосавшейся к хвосту коня, отлетел далеко назад. Оба они, привстав, с испугом смотрели на поровистое четырехкопытное существо.

В то же время в глубине рисунка появилось, вначале неясно для глаза, два человеческих контура. Они подходили все ближе и ближе. Через минуту уже можно было различить, что один одет в белую складчатую тогу, другой — в черный, как клякса, узкий в талии и широкими раструбами расходящийся книзу сюртук. Контуры шли по змеевидной извилистой тропинке среди лавровых кустов и фантастических росчерков наземных трещин. Белый, теперь уже это можно было разглядеть, держал в левой руке вощенные таблички, в правой — поблескивал стальной стилос; черный размахивал в воздухе изогнутым, как запятая, хлыстом. Белый иногда вчерчивал что-то в свои таблички, черный, обнажая улыбкой

белые, под цвет бумажному листу, зубы, вписывал свои мысли острым кончиком хлыста прямо в воздух. И от этого, точно черная летучая паутинка, на белом пространстве листа возникали строки, строки вырастали в строфы и плыли, меж трав и неба, чуть колеблемые слабым дуновением ветра. Это были какие-то новые, не читанные никогда никем стихи поэта. Гроцяновский и Самосейкин сперва раскрыли рты, потом опрометью кинулись навстречу скользящим в воздухе строкам. Но от резкого движения воздуха строки эти теряли контур и расплывались, как дым, потревоженный дыханием. Однако исследователь и поэт продолжали их преследовать. Спотыкаясь о камни, они падали, подымались снова. Гроцяновский, одышливо дыша, рылся в карманах, отыскивая записную книжку. Но она, очевидно, затерялась. Самосейкин, вынув вечное перо, тщательно подвинтил его и, подражая человеку в черном сюртуке, пробовал вписывать свои заметы в воздух. Тот не терял при этом своей гладкой белизны. Движения Самосейкина с каждым мигом делались все лихорадочнее и некоординированнее. Он искал причину неудачи в несложном механизме вечного пера, встряхивал им, пробовал писать на ладони: ладонь была покорна его воле, но бумажный воздух упорствовал.

Впрочем, вскоре оба они, увлеченные погоней, скрылись за чернильной линией холма.

Тогда конь, стоявший до сих пор почти без движения, оторвал копыта от земли и, кругля бегом ноги, приблизился к тем двоим, черному и белому.

Человек в тоге ласково потрепал его по вытянутой шее. Конь, выражая радость, нервно стриг воздух ушами. Затем он подошел к человеку в черном и положил ему голову на плечо. Тот, бросив в сторону толстую палку, на которую опирался, нежно обнял шею коня. Так они простояли, молча, с минуту, и только по радостно горящим

глазам человека и по вздрагиванию кожи на шее коня угадывались их чувства.

В это время из-за линии холма показались снова Самосейкин и Гроцяновский. Они были измучены вконец. Пот градом сыпался с их лбов. Вместо сюртука с плеч профессора свисали какие-то разрозненные черные кляксы. О штанах Самосейкина можно было вспомнить «с благодарностью: были».

— Александр Сергеевич, — простонал задыхающимся голосом пушкинист, — маленькую справочку, только одну справочку...

Самосейкин в вытянутой руке держал какой-то томик, вероятно, своих собственных стихов: взор его молча молил об автографе.

— Александр Сергеевич, не откажите, дайте за вас Бога молить, обогатите нас датой, одной крохотной датой: в ночь с какого числа на какое (год нам известен), с какого на какое изволили вы начертать ваше «Пора, мой друг, пора!» э цетера?!

Человек в черном улыбнулся. Потом тронул коня за повод и поднял ногу в стремя. Уже сидя в седле, он наклонил голову к груди. И прозвучал его такой бесконечно милый сердцу, знакомый воображению каждого голос:

— Да, пора.

Несколько секунд длилось молчание. И снова его голос:

— Ночью. А вот какого числа, запомятовал. Право.

И последнее, что видели на его лице Самосейкин, Гроцяновский и Долев: вежливая, смущенная улыбка. Конь сверкнул чернью четырех копыт — и видение скрылось.

Настойчивый стук в дверь заставил Долева проснуться. В окно смотрело солнце. Циферблат часов показывал час открытия музея. Долев встал, бросил беглый

взгляд на рисунок коня без всадника, лежащий на прежнем месте, и на не тронутую пером стопку писчей бумаги. Сделав нужные распоряжения, директор Пушкинского кабинета вернулся к стопке бумаги. Он попросил не тревожить его до полудня. Без десяти двенадцать звонок в редакцию извещал, что вместо статьи о рисунках Пушкина получился фантастический рассказ. Как отнесется к этому уважаемая редакция? Уважаемая редакция, в лице замреда, недоумевающе пожала плечами.

1934

В очереди

(Фельетон)

Писатель развязал шнурки тесных ботинок, надел на ноги просторные мягкие туфли и подошел к столу. Здесь его давно уже ждала чернильница. Он откинул ей крышку, придвинул стопку бумажных листов и обмакнул в черный чернильный раздумчивый омут кончик пера.

И в то же мгновенье от правого угла доски стола к чернильнице выстроилась незримая очередь. Это была очередь тем, давно ожидающих, чтобы глотнуть хотя бы каплю чернил.

Человек был погружен в мысль: с чего бы начать? Поэтому он не слышал и не видел суетоки и споров среди своих замыслов.

— Послушайте, вы, гражданин сюжет, не толкайтесь, я уже десять лет жду, а вы...

— За десятилетнюю давность подлежите исключению. Я, вот, только что возник, у меня десять секунд жизни, но я злободневен, зол, меня ждут типографская краска и ротационная машина — и я не позволю себе наступить ни на единую букву. Отсейтесь.

— Ну, нет. У вас, молодой сюжетец, на губах чернила еще не обсохли, а вы нагло лезете вперед. А меня наш хозяин пять раз набрасывал. Я набросочная тема и

шутить с собой не позволю. А ты куда лезешь? В очередь! Концовкой в завязку.

— Миленький, разрешите мне бочком, я ведь всего в один столбец. Я на тему о том, что не дважды два четыре, а что четыре, если подумать углубленно, это почти что дважды два.

— Проваливай. Много вас тут таких шляется. А этот откуда? Так брюхом и прет! Осади, брюхан!

— Не обижаюсь. Я, изволите видеть, толстый роман. На пятьдесят процентов оплачен, на двадцать процентов обдуман. Прошу посторониться.

— Пустить, что ли?

— Кой черт. Он все чернила вылакает. Гнать его!

— Но позвольте... У меня обширнейший охват. А вы все, извините, коротыши, мне и в радиусы не годитесь.

— И шиши коротыши, да не спрятаны в кармане, проходи, пока не бит, толстая романия!

— Да-да, вставим ему палку в колесо катафалка.

— Позвольте. Это что же за хулиганщина? Кто вы такие?

— Мы фельетоны, смех для всех. А тебя как звать?

— Мое заглавие: «Поле, оханьем перейденное» — в четырех частях и двадцати восьми главах. Художественная история российской интеллигенции. На протяжении трех поколений. Глядя критическим оком на, так сказать...

— Простите, перебыю, критическое око — это я. Статья — обзор литературы истекшего года. Будемте знакомы. Я, собственно, до половины уже написана. Остается дополнить немного чернил с примесью желчи. Хотелось бы вас полистать, гражданин роман. Вы подошли бы мне для концовки. Впрочем, все в свое время: пишитесь-пишитесь, я за вами.

— Очень приятно, хотя... А какова ваша точка зрения, ваша, так сказать, критическая ретроспекция по отношению к отошедшему году?

— Очень простая. Обследуя продукцию ныне покойного года, я пользуюсь, как схемой, рецептом, прописанным одним из чеховских персонажей, выдающим себя за врача: «Реципе несколько граммов „сик транзит“, т. е. швырни камнем в прошлое, в это самое поле, оханьем переиженное, пусть поскорее убирается в небытие; за сим „глюрия муиди“, нескупо дозированная, и, наконец, „аква дистиллата“ в неограниченном количестве». Вот то трехчастное деление, те три элемента, из которых складывается, увы, почти вся наша сюжестика, почти все наши литературные факты. Я даже и заглавие взял у Чехова: «Ночь перед судом». Все вы, и толстые и тонкие, подлежите суду и осуждению.

— Вот как? А вы подумали, многоуважаемая статья, что чеховский врач был самозванцем?

— А что же мне ждать, пока вы, всякого рода романоделы и новеллистикаторы, сами призовете на себя критику? Знаю, вам мало приятны уколы критических перьев, вы не любите глотать срыса с хвоста, вам не спитсы на тюфяке, посыпанном иглами.

— Ну, как сказать!.. Ставьте мне свои минусы и плюсы, но... знаете, есть пословица: не величай меня по батюшке, да не ругай меня по матушке. Все в меру.

— Относительно ваших дарований нельзя не согласиться: они в меру. Не больше.

— Лучше прекратим этот разговор. Притом я не понимаю, тут какое-то недоразумение: ведь мы с вами, так сказать, из одной чернильницы, одним пером воспены, зачем же нам ссориться?

— Вот, вот, вам бы по старинке: писатель пописывает — читатель почитывает — критик отчитывает. Надо

уметь самому быть и своим читателем и своим отчитывателем.

— Э, знаете, вот это-то и есть стародавняя старинка. Некогда богатые бары-самодуры держали при себе так называемых баяльщиков и нукальщиков. Баяльщик рассказывал всякого рода сказы, а нукальщик нукал, чтобы сказитель как-нибудь не задремал непароком. Поверьте, к каждому из нас приставлено по семи нукальщиков, обойдемся и без самопонукания.

Внезапно откуда-то сзади раздался негромкий, но четкий голос. Роман и статья невольно оглянулись. В самом конце хвоста стоял щуплый рассказ. Рот его был замотан в черное кашне. На нем был обтерханый из редины перечеркивающих друг друга строк плащ, в который рассказ, сутуля спину, зябко кутался. Когда он поднял свои запавшие, но полные блеском глаза, спорщики невольно утихли, прислушиваясь к словам нового собеседника:

— Мне трудно говорить. Боюсь, и сегодня для меня не хватит чернил и я по-прежнему останусь среди замыслов. Ну что ж, желаю вам счастливого пути — из чернильных строк в типографские знаки, под миллионы глаз. А я подожду. Меня придумали в одну из бессонных ночей. Мое имя: «Последняя встреча». Схема моя несложна: некий писатель просыпается среди ночи, разбуженный ощущением присутствия кого-то постороннего; действительно, в кресле, у письменного стола, наклоненный над листками еще незавершенной рукописи, смутный, реюющий в сумраке контур. Проснувшийся человек тянет руку к стеклам очков, но пальцы не находят привычного футляра. «Кто это?» — спрашивает он. И слышит тихий, еле различимый ответ: «Это я, твоя Совесть; я пришла проститься; мы видимся в последний раз». Человек, приподняв голову с подушки, с недоумением вглядывается в гостью; в женственном очертании ее лица, в горь-

кой складке у рта что-то бесконечно милое, близкое, но за далью и далью. «Как же так, — говорит человек, — жить без тебя — это как без себя. Останься...»

Но Совесть листает страницы его последней рукописи.

— Не надо, прошу тебя, не надо.

— А помнишь, — говорит ночная гостья, повернув к человеку свое прекрасное лицо, — помнишь, как мы вместе работали над повестью о человеке, большом чуде, который огорчил самое правду, обвинив ее во лжи? Что с нею?

— Под штемпелем: «не печатать». Но скажу тебе, и ты хуже всякого цензора, ты вычеркнула мне почти все, что я написал тогда, еще в юные годы.

— Но я оставила тебе, помнишь, новеллу о человеке, позволившем залить не чернилом — кровью свою жизнь ради того, чтобы завтра поторопилось прийти на помощь сегодняшнему дню?

— Да.

— Признаюсь, это было немного истерично, тенденция оттесняла форму, так что я... — не спорю, я ведь не профессор эстетики, я всего-навсего Совесть. Итак, простимся...

— Но вижу, товарищи сюжеты, вы меня не слушаете?

— А? что? признаться, вздремнулось малость...

— Нет, отчего же. Но как литератор литератору... Искренний совет: помалкивайте и ждите своей очереди. Разрешите представиться: «Порожняком», лирическая-с миниатюра.

— Это что же?

— Начало написано Пушкиным: «Телега жизни». Телега колесит проезжей жизненной дорогой сквозь утро, полдень и сумерки. Вот и знаменитый пушкинский «ночлег». Жизнь обрывается чрезвычайно быстро, на

четвертой строфе. И тут вступаю в движение образов я: путь окончен, тот, кого везли по колеям и ухабам, уснул навсегда, а телега жизни, порожняком, сквозь тьму, продолжает свой путь. Подчеркиваю: порожняком.

— Ну и езжайте порожняком подальше от очереди, к гримзам и криксам в гости! А я на ваше место.

— Да откуда вы?

— Отовсюду. Завсегда с клубных сцен, весельчак, смех в одном акте, короче — скетч.

— Ну а если подлиннее?

— Писан семью авторами. Вот вам и подлиннее.

И ни на каких цыпочках ни до каких проблем тянуться не намерен. Занавес пошел. Действуют двое. Оба — шахматисты. Приятель, ожидая приятеля, уже расставил на шахматнице свои деревяшки. Появляется второй персонаж. В руках у него какие-то пакеты, из карманов пальто два-три винных горлышка. Сошвырнув в ящик деревяшки, гость расставляет по линиям два и семь, восемь против восьми, рюмочки красного и белого стекла. Хозяин недоумевает. Но его старый партнер уже успел по первой и восьмой линии — красное против белого — на место слонов четыре толстоногих фужера, на клетки ладей — четыре толстостенных стопки и т. д. Булькают откупоренные бутылки, фигуры и пешки наполнены до краев — и начинается игра. Дебют королевских пешек. Размен: игроки выпивают по вражеской пешке до конца и задумываются над развитием партии. Далее следует редко применяемый вариант: ферзь за ферзь. Приятели, чокнувшись королевами, опрокидывают их стеклянными ступнями кверху — и игра делается оживленнее. Белые жертвуют офицера, но черные, выпив офицера до последней капли водки, прозевывают тонкую комбинацию противника и теряют две рюмкастых пешки подряд, выпитых добросовестно, с благопожеланиями здоровья, партнером. Ощущается надобность в закуске.

Но кому за ней идти: каждому грозит цейтнот. Шахматная доска постепенно пустеет. Белые хотят выпить черного короля, но...

— Прекратите эту пошлую скетчовину. И прошу посторониться. Я тороплюсь в очередной номер, посвященный литературной дискуссии.

— Граждане сюжеты, позвольте мне досказать. Партия капельно-жидкими шахматами проводится — разрешите курсив — в выходной день, когда каждый гражданин имеет право развлекаться, как ему угодно.

— Вероятно, и вы были придуманы в выходной день таланта пансто хозяина. Посторонитесь.

— И не подумаю. Тем более что думать мне не свойственно. Но скажу вам откровенно, товарищи глубокомыслы и мозгопята, что хозяин наш, вот тот, который держит сейчас в руках перо, колеблясь, с кого из нас начать, — что начнет-то он с меня, а не с вас, нудное распроблемное охвостье! Знаете побасенку: «Тридцать лет смех у ворот стоял, а свое взял».

— Ну а пока и еще постоишь. Дорогу мне, дискуссионной статье.

— Ну а вы, собственно, о чем?

— Разумеется, как всякая солидная дискуссионная статья, ни о чем. Если спорят о чем-то, то и приходят к чему-то. Это не дает дискуссии возможности развернуться. Вот мы спорим о гении. Скажем, Лев Толстой. Ясно, гений. Гений, стоящий впереди движения всей культуры, явление сугубо прогрессивное. Но, как свидетельствуют лишь факты, убеждения Толстого скорей консервативны. Черные по белому. Ну, по розовому. Гм. Следовательно: Толстой не гений... Но, все-таки он же ведь гений! Так как же быть?..

— Извините, высокоученая статья. Это опять я, скетч. Я бы вам посоветовал начинать не с гения, а с бездарности. С гения, так сказать, навыворот. Оно понятнее.

Конечно, я не получил философского образования, чужд всяких этих кафедральных курсов да лекций, кое-как скетчую, за медные копейки, но поверьте, высокоученый коллега, что...

— Прошу меня не прерывать. Итак, литература есть нечто, состоящее из литер, итер, по латыни «путь», и т. д.

— Что же, это не лишено интереса. Разрешите представиться: пьеса.

— Ваше заглавие, афишное имя?

— «Розенкранц учится играть на флейте». Я в трех действиях.

— Ну что ж, трехдействуйте. А вы, собственно, о чем? Слышу запах Шекспира.

— Вот именно. Я из Гамлетовой щели, меж двух сцен четвертого акта пробую протиснуться в бытие. Вы помните диалог Гамлета с двумя половинками людей: Гильденштерном и Розенкранцем? Обращаясь к Розенкранцу, принц недоумевает, как человек, не умеющий играть на флейте, на деревянной глупой дудке, думает, что он сможет сыграть на его душе, на гамлетовской психике. Ну и вот, первая же сцена первого акта у меня начинается с того, что Розенкранц, обдумав сказанное ему Гамлетом, добросовестно учится играть на флейте. Все по порядку. Сперва на дудке, потом на душе. Ведь вся современная большая западная политика (думаю, я не ошибаюсь) — это Розенкранц, который учится играть на человеческой душе.

— Звучит дискуссионно.

— Может быть. Но вы представляете себе северное холодное море, корабль, свернувший паруса в безветрии, удары весел о волны, принца Гамлета, который, сидя у кормы, завернувшись в черный плащ, слушает флейтные гаммы Розенкранца. Именно тогда он и придумывает,

как расправиться с мерзавцами, которые учатся сперва играть на флейте, потом на душе, на бессмертной человеческой душе! Это у меня в третьей сцене второго акта.

— Пойдите. Не дают и послушать. Вы куда лезете? Вам тысячу раз говорили...

— Ну а я говорю в тысяча второй. Меня зовут: «Тысяча вторая ночь Шахразады».

— Это что же, по По или по..?

— Нет, слушаете — поймете. Вы помните, гражданин замыслы, зачин великого Шахразадового цикла. Купец, сидя на пороге своей лавки, ест финики. Случайно одна из финиковых косточек, выплюнутых им, попадает в пролетающего джина и убивает его. Отец погибшего, царь всех джинов, требует жизнь за жизнь, сердце за финиковую косточку. Купец просит отсрочки, чтобы устроить свои дела, уплатить долги — и таким образом возникает вереница сказок. Уже во второй сказке, рассказанной шаху, финиковая косточка забыта. Но ведь, наверное, она, упав на землю, проросла и дала многолетнее финиковое деревце. Это только присказка, а сказка — вот я, слушайте меня, и да будет вам дана тысяча третья ночь с ее тысяча третьей сказкой.

Как это всем известно, в опочивальне великого шаха — из ночи в ночь, — кроме Шахразады, присутствовала и ее младшая сестра, Дуньязада, которая всегда удалялась, когда на место сказки приходила любовь. Тысяча сказок — это тысяча ночей, это годы и годы. Маленькая Дуньязада на семисотой сказке из девочки превратилась в отроковицу, а на девятисотой — из отроковицы в девушку.

Шахразада, ее старшая мудрая сестра, знала много сказок, но у каждого кувшина есть дно и у каждого дна — закат. Запас ее чудесных сказок иссякал — и Шахразаде не раз снилась черная тень белого топора, прика-

сающаяся к ее шее. Однажды, когда они, вместе с сестрой, шли в опочивальню шаха, Шахразада обняла сестру и, заплакав, сказала, что сегодня она расскажет последнюю сказку, а завтра шах отдаст ее в руки палача.

Но когда в эту короткую летнюю ночь Шахразада досказала свою сказку и Дуньязада, выйдя из опочивальни, прошла мимо сонных стражей навстречу розовой заре, она увидела в ста шагах от дворца, под наклоненными к земле ветвями чинары, юношу, который стоял, прислонясь спиной к стволу дерева. Хотя ночь еще противилась звездами свету солнца, но Дуньязада узнала юношу. Это был знаменитый поэт Али-Джаммедин, чье имя прославляемо всюду, куда доходит звон верблюжьего колокольчика. Джаммедин, почтительно склонясь, сказал прекрасной Дуньязада, что он пришел отдать ей все свои стихи, все биения сердца и самую жизнь, если этого потребует прекрасная Дуньязада.

Девушка отвечала, что ей не нужно ни его души, ни ударов его сердца, но что она попросила бы дать горсть сказок, которые нужны ей, чтобы защитить сестру от удара секиры. Али-Джаммедин, коснувшись пальцами лба и левого соска своей груди, сказал, что каждый день, прежде чем солнцу зайти, взойдет его сказка, в чем он клянется своим калямом и тростниковым пером.

Так и повелось. Каждый вечер Али-Джаммедин встречал сестер у входа во дворец и передавал Дуньязада маленький свиток с краткой, как кратка багдадская летняя ночь, сказкой.

И когда великий шах даровал Шахразаде право замолчать и не рассказывать больше сказок, Шахразада пала перед тем, кому она подарила пятерых детей и тысячу одну сказку, и просила соединить сердца и души своей сестры Дуньязада и поэта Али-Джаммедина. Шах в этот день был в добром настроении духа, засмеялся, назначил богатый калым и сказал: «Пусть».

Наступила короткая пауза. Позади сказки раздался тихий, чуть заикающийся голос:

— Я тоже родом из страны фантазмов Востока. Мое содержание можно рассказать так. Турция. Богатый купец и бедный сапожник. У богача красавица-дочь. Сапожник любит ее, но не смеет и мечтать о гордой красавице. Стучит молоток, стучит печальное сердце, бегут, как потоки с гор, дни и дни. В лавку сапожника, ну, скажем, пусть это будет Гассан, приходит отец прекрасной Джамилé. Он заказывает Гассану пару туфель. Но Гассан, думающий все время о черных глазах Джамиле и о ее прелестных ножках, делает слишком малые и узкие туфли. Старик взбешен; он обвиняет Гассана в краже кожи. Согласно закону, издревле введенному в Турции, всякий ремесленник, обмеривший или обвесивший заказчика, должен понести кару. А именно: в присутствии кадия и членов городской общины левое ухо виновного прибивают гвоздем к дверям его лавки. От утреннего намаза до вечернего. Отец Джамиле подал в суд, судья присудил Гассана к пригвождению. Вот истец, судья и свидетели пришли к опечаленному Гассану, чтобы привести приговор в исполнение. Но тут оказалось, что в нищей лавчонке сапожника Гассана нет даже двери. Тогда богач, с соизволения судьи, ведет несчастного Гассана к дверям своего дома. Исполнителем судебных решений левое ухо ответчика прибито сапожным гвоздем к одной из ее створ. Прошли час, еще час и еще раз час. И вдруг Гассан слышит: за дверями тихий, сладкий, как звон ручья, женский голос. Его прибитое гвоздем к доске ухо ясно различает даже тихие слова. Это говорила...

— Тсс. Замолчите. Он обмакнул перо. Соблюдайте очередь. Сейчас он начнет писать.

— В затылок, граждане темы.

— О, как я изжаждалась. Мне бы хоть каплю чернил.

- Умираю от жажды!
- Тсс.

В это время у внутренней стены комнаты зазвонил телефон. Писатель подошел к трубке, сказал четыре или пять раз «Гм-гм, да, да, приду», повесил трубку, вернулся к столу, защелкнул крышку чернильницы, подошел к вешалке, надел шубу и калоши и выключил свет. Хлопнула дверь. Темы молча расходились.

1940

Мышук

I

Прежде чем стать котом, надо сперва быть котенком. Тот, о котором здесь речь, был в серых пятнышках, с розовым носом и белыми усами. Крысы его еще не боялись, но мыши уже убежали. Правда, не всем это удавалось.

Проглотив мышь, вместе с хвостом и шкуркой, котенок любил, забравшись на поручень пустой веранды, греться на апрельском солнце и умывать нос лапкой со спрятанными кривыми когтями. Говорят, будто это предвещает гостей. И действительно, в пустую дачу с заколоченными ставнями и мокрым потолком приехали гости. Это были люди. Котенок и раньше видел эти большие существа, ходящие на задних лапах, но издали. Он испугался: почти как мышь.

Надо было спрятаться. Окна раскрылись. Выпрыгнуть в одно из них? Котенок попробовал, но ударился о странно скользкий твердый воздух. Очевидно, большие существа принесли его с собой. До сих пор котенок был в дружбе с воздухом — и тот не мешал ему ходить и прыгать. Котенок забрался в самую дальнюю комнату, оттуда — в полутемный чулан, но отовсюду двигались, грохоча, какие-то огромные объемы и громко стучали плоские задние лапы пришельцев. Чувствуя, как страх дергает его за кожу, он попробовал скользнуть вдоль стены и

выпрыгнуть наружу, в сад, хотя лапкам его были глубоко омерзительны грязь и влага луж, а носу — запах прелых листьев. Но тут произошла встреча. У третьего порога, перегораживая путь, перед ним выросло одно из пришлых существ. Котенок выпустил когти и присел. Существо тоже присело и расставило огромные передние лапы. Очевидно, и оно готовилось к прыжку. Это бы еще не заставило растеряться котенка, но удивительно было то, что голубая шкура врага опустилась до самого пола и задние лапы под ней исчезли — будто их не было. Если тебя пугают — пугай и ты: котенок выгнул хвост и издал боевое мурлыканье. В ответ голубошкурое стало бить передними лапами — одной о другую — и ответило рядом острых крысиных писков; при этом рот его раскрылся, обнажая белые блестящие зубы. «Голодное», — подумал котенок, сжался в клубок и закрыл глаза. И в то же время почувствовал, как что-то теплое и гладкое заскользило по его спине, которая сама собой выгнулась навстречу прикосновению. «Сейчас схватит зубами ниже уха, как я это делаю с мышами, и начнет играть, а потом...» И действительно, прямой твердый коготь врага чесал его под ухом, но медлил вонзаться в шею. Котенок бешено рванулся — но он был уже внутри мягких теплых лап, крепко, но без боли сжимающих его тело.

II

Когда котенка впервые ткнули ртом в блюдечко, он хотя еще и боялся, но нюхал и думал: мать. В блюдце было молоко. Мать давно уже покинула его и не возвращалась. И котенок часто скучал по ее теплой шерсти, вкусным соскам и играм. И вот запах вернулся. И вкус молока вернулся. Может быть, она и вся вернется — по-

немногу, по капелькам, по частям. Котенок стал оглядываться по сторонам, но видел только огромных пришельцев, всегда скаливших зубы при его приближении. Котенок теперь уже не пугался этого. Он стал привыкать к повадкам непонятных больших зверей. Налаживалось даже нечто вроде дружбы. Ему бросали крошки, кормили кусочками мяса. Мясо было без лапок и не убегало, даже когда его выпустишь из когтей. Есть его было скучно. Но понемногу и к этому можно было привыкнуть. Особенно добрым оказалось голубокожее чудовище. Укладываясь спать, оно забирало с собой и котенка и делилось с ним своим теплом. При этом происходили удивительные вещи. Например, перед тем как устроиться на ночь, чудовище сдирало с себя голубую кожу: под нею была другая, белая.

И началась спокойная, сытая, сонная жизнь. Котенок забыл и про свою мать, и про охоту на мышей. Он сделался круглым, шерсть его заблестела, а на шее появилась голубая ленточка с подвешенным на ней круглым бубенчиком. Этим подарком котенок особенно гордился. У бубенчика был тоненький и острый голосок. Стоило встряхнуть им — и головы поворачивались на звук, рты склабились и говорили: «Мышук».

Котенок не сразу понял, в чем тут дело: сперва он думал, что чудовище пробует подражать звуку бубенчика, но не умеет этого делать — и получается совсем не то; потом перешел к мысли, что «мышук» — это бубенчик, — и только после долгого ряда повторов наконец догадался, что Мышук — это он сам, кот. После этого простая вежливость научила его откликаться на подаренное имя.

Как-то раз перед самым его носом задержался скомканный белый шар. «Мышь», — подумал котенок и выпустил когти. Он бросился вслед за шуршащим комком, вонзил выгибы когтей, но под ними плющилось что-то слабое, мертвое, бескровное. Котенок понял, что

это забавляет пришельцев, что им хочется поиграть, и, хотя его белый сморщенный комок нисколько не забавлял, он решил — из чувства благодарности — делать вид, что охотится за сморщенным комком. Жизнь, что ни день, становилась все более сытой и привольной. Блюдечки с молоком сменяли друг друга. Иногда позволялось пососать тонкий палец, обмакнутый во что-то сладкое. Дорожки сада высохли. Теперь котенок, превращавшийся незаметно для себя в кота, замахивался лапой на мотыльков-капустниц, летающих вокруг дорожек, и прищемлял рыжих жуков, которых тут же и освобождал, по их несъедобности.

Иногда Мышук — он теперь точно знал, что он Мышук, — взбирался, повисая на остриях когтей, на серую яблоню и пробовал поймать воробья. Воробей, собственно говоря, ему был и не нужен — Мышук был достаточно сыт, — но в нем пульсировала профессиональная жилка: нападать и схватывать. Так жители Тараскона, как нам рассказал Альфонс Додэ, растрачивали заряды своих двустволок, стреляя по своим же брошенным в воздух кеши.

Мышук теперь уже сам лез в кровать к голубокожей и очень обижался, если его отбрасывали ударом голы пятки. Он даже узнал дорогу к буфету, за дверцей которого было спрятано не менее десятка чрезвычайно аппетитных запахов.

Деревья расцвели. У них были теперь не только листья, но и цветы. По вечерам около клумбы с глициниями (так их называют люди) кружили жужжащие щетинкоусые бражники и ползали жирные жужелицы. Это был чрезвычайно вкусный ужин — и Мышук после этого отказывался иногда от очередного блюдечка с молоком. Наяву он ел, ел и ел; а во сне ему снилось, что он ест, ест и ест. Пальцы его повелителей и повелительниц шуршали теперь в его шелковистой шерстке. Мышук позволял

чесать за ухом, но отдергивал усы, когда к ним прикасались.

Все в жизни нашего кота Мышука шло как нельзя лучше. Он забыл, что существуют там где-то в подполье какие-то мыши, что нужно их подстергать и ловить. Брюшко его лоснилось белыми и серыми волосиками, а на шее позвякивал золотой, с круглой горошиной внутри, бубенчик. Он переходил с колен на колена, ел теперь уже не только с блюдец, но и с мелких и крупных тарелок, заглядывал иной раз в суповые чашки и подолгу, с особым аппетитом, копался в помойном ведре.

III

И вдруг все круто изменилось. Тяжелые предметы опять задвигались от стен к порогу. На дворе появились телеги. Голубокожая надела поверх своей голубой кожи какой-то серый, стиснутый перетяжкой чехол. Мышук попробовал было вслед за уходящими вещами, но на него замахало несколько лап, чья-то нога наступила ему на хвост, — и Мышук с визгом бросился в глубь дома. Потом он видел: снова сомкнулись ставни окон, за дверью били молотком в гвоздь — и он остался снова один, как прежде. Пришельцы стали ушельцами, и все, что осталось у него, Мышука, от них: имя Мышук и бубенчик на шее.

Зачем имя, если тебя не зовут, зачем бубенчик, если ты им никого не зовешь? У древнего кошачьего рода есть древнее средство, исцеляющее от всех обид, и имя ему — сон. Мышук прижал уши к голове, подогнул передние и задние ноги под тело и ушел в страну снов. Ему снилась голубая кожа, которая, вздергиваясь кверху, вдруг превращалась в голубое теплое небо; ему снилось,

как он взбирается на сливу, у синих слив вырастают желтые крылышки, они пробуют улететь от него, но он, Мышук, вцепляет их в когти и прижимает к стволу; много-много блюдечек, и все они до края полны молоком, и маленькие блюдечки выливают молоко в большие, а большие в бóльшие, — и вот перед ним огромное, в лесную лужу величиной, блюдище, и молока в нем на все кошачьи роды, только пей и пей.

Проснулся Мышук. Повел усами. Темно. Вокруг знакомый шорох: бег мышьих ног. Кот проглотил слюну и подумал: «Я вас...» Добыча была очень близка. Мыши явно обнаглели за это время, пока Мышук баловался у людей, пил из их тарелок и блюдец. Мышук вытянул, втянул и снова обнажил когти. Сделал шаг и остановился: под головой у него что-то остро и звонко зазвенело. Это был бубенчик, подаренный ему теми, пришедшими и ушедшими непонятными существами. Тотчас же он услышал шорох убсгающих мышьих ног. Попробовал броситься вслед, но круглый бубенчик на шее зазвенел еще острее и еще звонче. Вокруг было пусто, ни единой мыши, и только нос его чуял, что под полом — множество пищи.

Мышук не был котенком, он дорос до возраста здравомыслящего, рассудительного кота. Он бил хвостом об пол и думал. Мысли его шли приблизительно так: сперва я ел мышей — и все было понятно; потом я ел все, кроме мышей, — и все было непонятно; теперь все от меня убегает — и мыши, и смыслы...

Кот пробовал ложиться у прогрызенных мышами дыр, иногда они попадали почти что в лапы, но малейшее движение шеи — звенел колокольчик — и пища ускользала.

Кот пробовал оторвать острый и тонкий звон, привешенный к его шее. Но ленточка была завязана ту-гим узлом и не давалась. Мыши, даже самые малые мы-

шата, смеялись теперь над ним, выросшим в большого, длиннохвостого, с круглыми крепкими когтями кота. Они подходили совсем близко, чуть ли не концами хвостов к когтям, и убегали при первом звоне бубенчика пошевелившегося кота. Кот глотал слюну. И перед взглядом его расширенных в темноте глаз вставал образ желтоволосого, голубокожего чудовища, предавшего его на гибель.

Шли дни. Точнее, дней никаких не было, а тянулась черная непрсрывная лента времени, жизнь внутри короба с зажатыми ставнями. И еще раз кот — я было назвал его Мышюком, но он уже успел забыть свое имя — предался древнему обычаю своих предков: уходу в сны. Имя он уже забыл, но круглая горошина в бубенце не позволяла о себе забыть — и кот прикрыл передними лапами глаза, втянул хвост между задних ног и ушел в последние видения, когда удары сердца, отпущенные на данную жизнь, отсчитываются уже не на миллионы и не на тысячи, а на сотни и десятки.

Пока кот, забывши обо всем, даже свое имя, спит, я напомню вам об одной сказке: герой ее, пробравшийся в глубь земли на глубину трех цветов — медного, серебряного и золотого, — взбирается назад, но, оступившись, падает снова вглубь и, пробив тяжестью тела все три царства, попадает в «не наш свет». И что же это за «не наш свет»? Сказка отвечает совершенно точно: «ровная-ровная равнина, ни кустика, ни травинки и лишь в далеком далеке сухо-дерево».

Сюжет сказки, пусть ценою невероятных усилий, всегда выкарабкивается на поверхность земли, в наш свет, где деревья цветут, ставни распахнуты навстречу солнцу, а блюда полны неиссякающим молоком. И будь эта история сказкой, ее следовало бы закончить так:

В мышинном царстве заброшенной дачи есть любопытный маленький мышюнок. Сколько родители ни пре-

достерегают его против коварства котом, мышонок страшно заинтересован — как бы ему познакомиться с бубенчиком и его звоном. По целым часам сидит он у норки, слушая музыку металлической горошины. Однажды, когда родители его ушли на промысел в соседний подвал, он решается взобраться на половицу темного надполья. Они встречаются с котом. Сперва один раз, потом другой. Незнакомец вовсе не страшен, как говорили ему родители. Он приятно мурлычет, даст поиграть своими высунутыми когтями и после мягко прячет их в пушистые чехлы. Они беседуют, мышонок и кот: мышонок попискивает, кот урчит. Оказывается, обладатель бубенчика довольно бегло говорит по-мышиному и охотно учит малыша котячьим словам. Теперь они друзья. Мышонок носит ему зерна крупы, корочки хлеба, жеваную бумагу и опливки сальных свечей. Кот благодарит, но не ест. Желая позабавить молодого друга, он встряхивает головой, заставляя бубенчик звенеть. Юный мышонок готов для своего нового знакомого на все. Однажды он притащил даже кусочек сала, дерзко снизанный с крючка мышеловки. Кот растроган. Он расправляет лапами тронутые жирком усы и благодарно мурлычет. Его рот полон слюны. Нет, он не хочет быть глухим к добру. За подарок — подарок. Пусть его юный друг примет на память этот звон, нежный звон, спрятанный в бубенчике. Мышонок смущенно попискивает: это слишком ценный дар, он не достоин, как же так... Но кот настаивает, путая кошачьи и мышьи слова, он требует повиновения. Пусть мышонок привстанет на задние лапки и перегрызет ленточку, на которой повис волшебный звон. Мышонок радостно взволнован: он подбирается острой мордочкой к шерстистой шее друга и пускает в дело острые, как иголки, зубы. Бубенчик, звякнув, упал на пол. Друзья обнялись. Мышонку хочется скорей к себе, в подполье, с драгоценным подарком. То-то он будет хвас-

тать перед всем мышиным царством, то-то порадуются ему родители, старые мышь и мышиха. Но объятия кота не разжимаются, лапы стягиваются все туже и сильнее, из них выползают когти. И снова кот Мышук царит над мышиным подпольем. Запавшие бока его выравниваются, беззвучно скользит он по половицам, внюхиваясь в новую добычу. А от любопытного мышонка только ножки да ушки...

Да, так бы я кончил, если бы это была сказка. Но в том-то и дело, что здесь, во всем рассказе, нет ни одного выдуманного, сказочного элемента: дачи — суть, дачник — есть, а бубенчик можно приобрести в любом игрушечном магазине.

Итак, концовка: когда снова весной были открыты ставни и двери дачи, в одном из углов лежала влипшая в пол шкурка кота с ржавым бубенчиком у шеи.

1930-е?

Урна

- До свидания. Передайте привет Анне Николаевне.
- Не берусь. Мы уже не вместе.
- Так скоро? А казалось...
- Да, казалось. Про наш медовый месяц приходится сказать: был он февралем, и при том не високосного года. Ну, а за медовым пыльный, по пословице.
- Вот не подумал бы. И так-таки все прахом?
- Прахом. Точнее, из-за праха.
- Это звучит как-то странно. Нельзя ли пояснее?
- Можно и пояснее. Если у вас есть лишних пять минут.
- Слушаю.
- Видите ли, с Анной Николаевной я познакомился незадолго до смерти ее первого мужа. Вы, кажется, тоже знали его?
- Да.
- Порфирий Порфирьевич, которого я навестил как больного товарища (раньше мы встречались лишь по службе), был тогда уже плох. Это можно было видеть хотя бы по заплаканным глазам жены. Обычно слезы не красят женщины. Красные веки, припухший нос. Но Анна Николаевна как раз из тех немногих, которым слезы к лицу. Да, есть женщины, которые плачут, я бы ска-

зал, синдетиконом, приклеивают слезинками к себе. И я почувствовал, что сразу же... приклеился. Чуть-чуть, краешком сердца, так что можно бы и отодрать, но... Похороны — Анна Николаевна недолго была кандидаткой в вдовы, — так сказать, легализируют тайную слезу в явную и придают ей особую вязкость.

Я хлопотал по спроваживанию трупа из жизни, звонил в крематорий, подавал стакан с водой, утешал. Ну, и увяз.

Порфирия Порфирьевича сожгли мы вполне пристойно. Даже с органом. Когда гроб втянуло вниз к заслону печи, я пошел взглянуть в последний раз на своего, как оказалось вскоре, предшественника. Говорят, жутко будто. По-моему, ничуть. Раскал столь геенный, что гроб уже при приближении к огню вспыхивает как бумага. Но вслед за механически вдвинувшимся гробом тотчас же опускается заслонка, так что желающему досмотреть работу огня надо обойти печь вокруг и прикинуть глазом к особому глазку. Я потратил и на это несколько секунд. Порфирий Порфирьевич — как успел я увидеть — привстал, не разжимая рук с груди, и торчал, напоминая черный фитиль свечи, охваченный сине-желтым пламенем; в ярком свете его я заметил дергающую открытую улыбку на опаляемом лице; «открытую» я сказал потому, что ни щек, ни губ уже не было и улыбался мертвец лишь обнаженными челюстями.

Дальнейшие, в общем несложные, хлопоты я взял целиком на себя. Только в выборе урны не счел удобным вмешиваться. Анна Николаевна оказалась очень разборчивой и даже привередливой в подыскании подходящей оболочки для праха моего предшественника. Она рассматривала показываемые ей образцы то вблизи, то отступя на несколько шагов, и заставила продемонстрировать все имеющиеся формы. Точно это был не колумбарий, а модный магазин. Перед нами прошли: про-

стая цилиндрическая урна на круглой железной ноге — фаянсовая яйцевидная — фарфоровая, напоминающая большую сахарницу с изящной барочного вида крышкой — наконец, тяжелая медная урна с витыми выгибами ручек и высокой конусообразной крышкой; на ней-то и остановилось внимание вдовы.

Я хотел уже договориться с администрацией относительно ниши для Порфирия Порфирьевича, но Анна Николаевна решительно заявила, что не расстанется с реликвией. В этот момент желание ее казалось мне вполне естественным.

Через два дня я обменял квитанцию на прах. Прах был запаян в свинцовый патрон, цилиндрические бока и заостренная оконечина которого скорее напоминали снаряд. На донце был оттиснут номер. Служащий крематория привычным движением вдвинул снаряд в дуло медной урны, звякнула крышка, и урна перешла в мои руки.

От крематория до трамвая довольно далеко. Пока я дошел, неся Порфирия Порфирьевича на сгибе локтя, он успел оттянуть мне немного руку. В трамвае было тесно, от толчков крышка норовила соскочить, и я принужден был раза два переключивать сосуд из левой в правую и из правой в левую. Кто-то сочувственно спросил: «Тяжеленек?» — а другой кто-то даже уступил место: точно я был женщина с грудным. Затем отбрасываю некую горсть педель — до того дня, когда Анна Николаевна, которую выселяли из учрежденческой квартиры покойного мужа, переехала ко мне. Живу я, вы знаете, довольно тесно. Но делать нечего. Притом Анна Николаевна успела распродать большинство вещей, так что у нее только и осталось: пара чемоданов и урна. Содержимое чемоданов, так сказать, рассосалось по шкафам и стенкам, тряпки там всякие, коврики, гарнитуры, а урну мы поставили на подоконник. И тут-то началось, доложу я вам.

На подоконнике урне было никак. То и дело приходилось открывать створу, и всякий раз нужно было переставлять тяжелую медную одноногу. Однажды вечером, вернувшись с работы, я застал Порфирия Порфирьевича стоящим на моем письменном столе. Я ничего не сказал жене. Но ночью мне приснился мой сослуживец и предшественник, улыбающийся сквозь пламя крематорной печи.

Как раз в это время в мой портфель залез доклад, сложный — с миру по цифре. Я начал работать. Слева — чернильница, справа — урна. И представьте себе: возьмешь на перо чернильные капли, взглянешь на урну, задумаешься, и перо сухо. Никак не мог писать. Раздражало. Взял и переставил урну в угол у двери, рядом с керосинным бидоном и половой щеткой. Входит жена. Огляделась.

— А где Порфирий Порфирьевич?

— Я его сюда, в тень, — отвечал я, указывая на новое местопребывание праха.

В ответ последовали слезы. На этот раз они действовали на меня совсем по-иному. После довольно крупного разговора я согласился переставить прах на книжную полку, что насупротив кровати. Для этого несколькими книжкам пришлось уйти с полки на стол. Неважно. В течение пяти-шести дней медноногий вселенец не беспокоил меня. Но как-то ночью я проснулся от удара света по глазам. Против нашей комнаты пребеспокойное окно. Всю ночь не дают покоя штепселю. То вспыхи, то затухание. Поднявшись на локте, рядом со спящей женой, я увидел процеженный сквозь синюю занавеску свет, падающий на корешки моей книжной полки. Металлический выгиб Порфирия Порфирьевича ярко горел синезыким светом под ударом противоокна. Медная ручка урны жеманно выгибалась, разбрызгивая во тьму искры света. Какое-то неприятное чувство закопо-

шилось во мне: черт, развели в комнате кладбище, этого еще не доставало. Я оглядел контур жены, ноздри которой ритмически высвистывали дыхание, и какое-то недоброе колючее чувство зашевелилось во мне. Там, в противоположные стороны, повернули штепсель, и я лег под темноту и край одеяла.

У нас редко бывали гости. Можете судить по себе. Я ни разу не пригласил вас. Но как-то, по именинному делу, зазвал двух-трех. Гости оглядывали комнату, и глаза всех задерживались почему-то на урне. Один осведомился, другой ухмыльнулся. Мне сразу же стало тошно. Потом тарелки из шкафика и из-под стола бутылки. Гости, да и мы с Аней, подвыпили. Один из званных, когда тосты были исчерпаны, вдруг подошел к урне и, звякнув стеклом о медь, провозгласил здравье Порфирия Порфирьевича. Идиот. Ну, пили еще, но в общем пренеприятный осадок. Точно мертвец здоровест, поправляется на небытии, а я вот тут чахну.

Как-то, пользуясь отсутствием жены, я решил сделать генеральную уборку комнаты. Обмотал щетку тряпкой, тер во все теры, попереставлял вещи. И случилось, что от случайного тычка щетки урна, стоявшая на верхней полочной планке, качнулась и упала прямо на меня. От отводящего удара руки крышка ее отлетела вбок, но медное тулово, рухнувшее из-под потолка, грузно и больно ударило меня по пальцам правой ноги. Э, черт! Я пнул патрон с прахом Порфирия Порфирьевича, и он покатился по половицам, опрокинул корзину для рванных бумаг и, стукнувшись в стенку, утомился. Через час вернулась жена. Увидев Порфирия Порфирьевича в несколько растерзанном состоянии (крышка под столом, урна у порога, патрон под полкой), заахала и бросилась его собирать. Тут у нас произошло первое пренеприятное объяснение. Я заявил, что не желаю жить втроем. Пусть она кладет урну на ночь хоть себе в кровать, а я

согласен переехать в колумбарий. Первые же слезинки я, так сказать, оборвал с ресниц, преградив путь всякого рода хныку. Жена, глядя на меня сухими злыми глазами, сказала, что я сухарь, черствый человек, что вот Порфирий Порфирьевич (она сделала движение к урне, но я отшвырнул ее назад). ...С четверть часа мы молчали, глядя — я в окно, она — в дверь. Потом она начала говорить, внезапно увлажненным голосом, о том, что я несправедлив, что вот, если б и я умер, она хранила б мой прах в... меня взорвало: что ж, сказал я, этак лет через десять ты принесла б в приданое твоему мужу дюжину медных урн; для воспоминаний есть память, если мы из памяти начнем выгружать в урны все содержимое, то нам придется сделаться кладбищенскими сторожами своей собственной памяти; нет, поскольку прахом Порфирия Порфирьевича нельзя чистить ножей, вилок и дверных ручек, то я предлагаю ей подумать о дверной ручке.

Мы расстались не сразу. Было еще несколько цепляний за совместность. Все-таки... ну, одним словом, все-таки. Но в конце концов эта наглая, с начищенными медными боками, с гнусными выгибами ручек, упершихся в желтый глянец, урна оторвала мою жизнь от ее жизни. Так что передать поклон не берусь. Простите, если отнял не пять минут, а...

— Что вы! Стоит ли говорить о минутах, когда дело идет о...

— О жизни? Д-да, пожалуй. В сущности, все мы... Ведь когда ни глянь, а труба этого проклятого колумбария дымит и дымит.

1933?

Окно

1

Илья Ильич Витюнин, собственно, и не заметил, как превратился из господина Витюнина в товарища Витюнина.

Он медленно, но упорно восходил по стержневой лестничке банковских счетов: сперва ему доверяли отщелкивать на стержне копейки и рубли — после он был допущен к сотням и тысячам — и наконец вошел в миллионы. Дальше над счетной рамой верхняя планка счетов, а над карьерой господина-товарища Витюнина низкий, высотой в дверцу собачьей конуры, выгиб кассового окошечка, а над окошечком пять вразумительных черных букв: КАССА.

Витюнин созерцал мир сквозь свое кассовое окошечко в течение двадцати девяти лет и четырех месяцев. До пенсии не хватало какой-то горсти недель. Но в глазах Витюнина, пересмотревших миллионы пятерок, десятков, трехрублевых желтых мельков, завелась желтая вода. Два-три просчета, затем — комиссия, затем — временное освобождение с пенсией и премиальными.

Еще года за два до расставания с перешутом кредиток Витюнин записался в коопстрой. Коопстрой — в ответ на аккуратные взносы — предоставил ему комнату на седьмом этаже нового, в мокрой белой известке коопдома.

Пенсионер переехал на свое доживальное жилище.

2

Вначале мысли Витюнина были заняты заполнением стен и кубатуры жилья. Стены удалось задобрить географическими картами, приобретенными на Кузнецком, и двумя-тремя ахровскими полихромками. Кубатура была жаднее: пришлось месячную полупенсию ухлопать на кровать, скрипящую, как совесть.

Но все это мало раздражало экс-кассира Витюнина. Единственное, что топорщило против шерсти его нервы — окно. Широкошестифрамужное итальянское окно. Он привык — тридцать лет кряду — жить под узким и низким кассооконцевым вздутьем, а тут вдруг широко разведший углы стеклянный пруд окна, выпускающий беспорядок солнечных лучей.

Весь день Витюнин проводил, стараясь повернуть окну спину. Глаза его искали теней и тупоуглия. Ночью его беспокоили странные лунные сны. Ему снилось, будто сквозь него, точно сквозь пальцы, просучивают синие лунные нити. Он просыпался от безощущения своего тела и видел за прозрачной пленкой широкого окна либо лунные вливы, либо лунно-синие лучи уличных фонарей. Окно ворочало его с боку на бок, будило ранее пробуждения дня, а днем не давало отдыха и рассредоточивало мысль.

3

Витюнин посоветовался с тридцатью годами кассооконцевой жизни, и годы ему нашептали совет. Витюнин позвал стекольщика и столяра. Рабочие, выслушав заказ, почесали правыми пястями в макушках и попроси-

ли на водку. Заказчик дал. После этого работа показалась менее странной ее исполнителям, и они ушли с добродушным: «Ну, что ж».

Через трое суток на место выставленной итальянской рамы было вставлено — под пристук молотков и топоров — новое, несколько необычное окнообразное нечто. Вся верхняя часть оконной плоскости была затянута расфрамуженным диктом; только внизу, у подоконничьего ската, выгибалось маленькое оконце под застекленной створой; над оконцем снаружи четкой чернью проступали буквы: КАССА, изнутри же, готовая опуститься по первому движению пальца, желтела закассовая дощечка.

Рабочие направили раму, получили чаевые и ушли. Это была первая ночь, когда кассир спал неразрывным сном. К утру он встал — за час до служебного срока — попил чайку, оделся в такое, чтоб перед людьми не стыдно, и ровно в 9.15 приоткрыл желтую заслонку оконца. Утренние дождевые капли весело стучали в кассовое стекло. Воробьи чирикали, гомонясь на жести подоконника. Кассир, благодушно щуря веки, ждал, привычно глуша ладонью привычную утреннюю зевоту, очередного вкладчика или получателя.

И с этого утра дни его вправились в дни, как вывихнутые вертлуги в костяные чашки.

4

Это было перед вечером. Солнце спряталось за завеси туч, отказываясь показать закат. Над улицами моросило мелкой дождевой пылью.

Двое шли, держась у мокрой стены. Их единила спиртовая мокрель, дождившая сейчас в их капиллярах.

— Послушай, — сказал один, подняв глаза к седьмому этажу и щуря их, — что это там вверху, вроде пчелиной летки, а сверху какие-то знаки? Пенсне у меня не помню где, да и задождит стекла.

Второй, подняв голову, долго всматривался в освещенное — над темным, еще не разжегшим огней домом — окно:

— Ка с с а. Что за черт! Касса. А о чем касса, для чего, для кого?

— Гм, и замсть, весь дом без огней, а она как Кассиопея, созвездием оброшенная.

— Да, до седьмого. И без пожарной лестницы до нее, до полочки, никак.

— Никак. И только свету, что в окне... кассы, Кассиопеи. Пойдем выпьем.

— Дождина проклятый. Пойдем вдождем. Ужо пожди...

Узкой желтой щелью поднятое над сумерками улиц оконце продолжало маячить навстречу медленно всасывающейся в воздух черной ночи.

Состязание певцов

1

Чайник, стоявший на желтых язычках греча, запел не сразу. Может быть, потому, что ему незачем было опережать сверчка. Сверчков, как известно, в щелях московских комнат не водится. Да и вместо печей — все больше витое железо калориферов. Торопиться чайнику было ни к чему.

Сперва он завел слегка в нос — точнее, в чуть поддымленный эмалированный носик, — раскачиваясь на двух сиповатых нотах, затем скользящим фортаменто перенесся на высочайший, тонкой нитью сматывающийся в воздух звук.

— Ого, да он у тебя с пением. Ишь как забирает. Но только вот у меня есть старый чайник: с виду так, не слишком казист, а твоего перепоеет.

— Ну, это еще неизвестно.

— Вот охота человеку спорить. Твой гнупонос с сипинкой. Разве не слышишь? А у моего старичишки, — еще от покойной тетки он мне достался, — голос как стеклышко. С ноты на ноту, как по лесенке. И откуда такое в бездушной вещи берется? Не поймешь. Говорят, от трещинки. Да приходи, дам послушать. Иной раз, как паром его расшевелит, поет и крышечкой призванивает. Твоему так не вытянуть. Куда...

— Мой тоже иногда с коленцами умеет. А впрочем, стоит ли о таком вздоре...

И хозяин несколько обиженно снял чайник с огня и наклонил его над стаканом.

Гость сидел, не отвечая и не придвигая стакана. Брови его слегка поднялись кверху. Казалось, он всматривается в какую-то еще не совсем ясную мысль. Затем:

— Послушай, брат, вот что я придумал...

2

Штепсель поставил лампу на полусвечность. Публика и судьи сидели полукружьем у затененных стен. В центре — желтоязыкая керосинка. Рядом с ней — шестью носами кверху — шесть состязающихся чайников. Председатель позвонил ложечкой о край пустого стакана:

— Товарищи, мы живем во времена далеко не диккенсовские. Еще недавно нашим барабанным перепонкам эпохой были предложены оружейные канонады. Но так случилось, что сейчас вот нам позволено заслушать шелестиное пение чайничковых горл. Катастрофы и уюта, очевидно, стоят в очереди к бытию. Но я не намерен расфилософствовывать повестку дня. Точнее — повестку сумерек. Жюри избрано: Анна Александровна, товарищ... простите, запамятовал, ах да, Годяев и ваш покорный слуга. Слово предоставляется голубому чайнику с прорыжиной на боку. Прошу вас.

Хозяйка чайника, дама с зябким лицом, отбросив концы пестрой тедженской шали от плеч, нагнулась к круглорукому чинному чайнику. Ей передали графин с водой. Вода вхлынула под голубую шапочку. Шапочка надвинулась на круглый рант, и первый из жестяных

претендентов стал поверх желтых огоньков. С минуту собравшиеся молчали.

Затем начались громкие мены словами. Кто-то заговорил об итальянском теноре, билеты на которого уже расхватаны, кто-то вспомнил о прошлогоднем моцартовском «Реквиеме».

И вдруг — сквозь приглушенные голоса — тишайшим пианиссимо начал голубой чайник. Это было похоже на песню шмелиного зуда, заблудившегося среди колосьев или мелкоцветья стеблей гречихи. Металлический зуд то сращивал свои зудинки в одну тонкую и острую ноту, то снова распался дробной звуковой зыбью.

— По-моему, это похоже на лет шмеля перед третьим действием в «Сказке о Салтане», помните? — наклонился хозяин к уху соседа.

— Да, но мотив в поисках тональности. И после... погодите.

Чувствовалось, что у голубого эмалированного певца подпертос крепким паром дыхание: он перетреливался — по тонкой, свистящей скале — все выше и выше. Вслед звуку из острым асиком вострящегося носа певца вывентилась серая струя пара. Голос поющего вдруг сел, жалобно булькнул и оборвался.

— Бис, бис, — сказал кто-то из затененного угла и беззвучно прижал к ладони ладонь. Но импресарио чайника, подоткнув концы шали, поспешно убирала его с огневой ramпы и чугунной эстрады.

Один из членов жюри, нагнувшись, перелил кипяток из голубого исполнителя в его соседа и выставил его на керосинную решетку.

Это был толстобрюхий, медно-красными отливами рефлексирующий пузан. Именно такие широкогорлые кувшины можно купить на рынках Мир-араба и Кишмиш-базара в Узбекистане.

Металлический толстяк не заставил себя долго ждать. Пята круглые бока над кипящей водой, он весело

забулькал круглыми лопающимися звуками. Голос его был низок и глуховат: как бассо буффо. Он перекувыркивался с ноты на ноту, нырял и всплывал над поверхностью веселой и примитивной мелодии.

Нос Анны Александровны сморщило смехом. Человек в затененном углу откровенно прыснул. Хозяин медного эшулечи по кивку судьи снял состязавшегося с эстрады.

На минуту был дан полный свет. Гости закурили папиросы. Коробка с печеньями обошла круг. И вслед свету, зажатому под сурдину, на узорную решетку гресца выступил третий состязатель. Это был белый, высокогорлый, с чуть примятым левым боком чайник. Его треугольный короткий, гордо вздернутый нос смотрел сверху вниз на стеснившихся возле желтого огневого круга керосинки. Хотя кипяток, влитый под самое горло третьему, был дважды перекипячен, но белый чайник запел не сразу. Сперва из треугольной ноздри его вздыбилось легкое паровое облачко. Потом оно опало. И только тогда началась песнь.

Так можно петь не голосом, а вспоминая о голосе, который был и отзвучал. Металлическая дрожь боли — сквозь прозрачно парские пара — песня тончайшей трещины скользила сквозь воздух, пыталась уйти из звука в беззвучье. И все же она была слышима. Не столько ухом, сколько самим слышаньем, обнаженной мозговой тканью, прильнувшей к россыпям паролетных пылиц.

Самые керосиновые языки потянулись вверх, к донцу песни, и кто-то сказал: «Коптит».

Хозяин дебютанта, молодой человек с плешинкой на темени и золотой искрой в стеклах пенсне, быстро вытянул руку из манжеты и отставил чайник.

Довольно длительная пауза отделила это выступление от следующего.

Затем в круг света вдвинулся высокий, с тяжелой крышкой, темный, но в светлых яблочках чайник. У него

был прямой и тупой нос. Широкое дно его подгибалось под себя желтый пояс огоньков. Чайник стоял довольно долго, храня важное молчание. Кто-то, пододвинувшись к керосинке, подбавил огня. Чайник не разжимал рта.

— Что за черт, — пробормотал хозяин, тыквообразный человек с кожаной папиросницей на ремешке через плечо, — ну, ты: «Первую, зардевшись, спеть».

Но чайник не зардевался и не пел.

Председатель жюри бросил взгляд на часовую стрелку: пора бы...

Круглый человек присел на корточки у своего прямоносового протеза, подверчивая фитили. Вода клокотала, трясла крышкой, но чайник упрямо молчал.

— Что за притча, всегда поет, колоратирует этак, а сегодня хоть ты что!

— Снять, — произнес голос из темного угла.

Чайник уступил место следующему.

Два других дебютанта — желтый низкорослый носач и продымленный, с рубчатым горлом кофейник — хотя и вызвали ряд одобрительных кивков, но особым успехом не пользовались.

Победителем, по единогласному решению жюри, был признан белый чайник с мятым левым боком. Его хозяин отслушал легкий переплеск аплодисментов, вылил из белобочного чайника кипящее содержимое и тщательно завернул его в мятую газету. После этого гостям был предложен шестьюжды перегретый чай и остатки печенья.

3

Гости спускались по лестнице враздρόбь. Человек, медленно спускавшийся с газетным свертком под мышкой, не сразу почувствовал прикосновение к локтю.

— Анна... простите, отчество?

— Александровна. — Послушайте, не продадите ли вы мне свой чайник.

Человек крепче зажал сверток в подмышке и недовольно взглянул на улыбочивые ямочки у губ спутницы:

— Я не торгую песнями. Прошу извинить.

— Что ж, простите и вы.

У нижней двери она приостановилась, роясь в сумочке, чтобы дать монету швейцару. Он прошел вперед, наставляя воротник навстречу льдисто-мокрым осенним снежинам.

4

Прошло несколько недель. Пожалуй, даже несколько месяцев. Сезон уже шел к концу. Они встретились в фойе театра. В этот вечер ставили «Тангейзера». Жители Чебоксар только что слышали: «Алло-алло, говорит Москва, третий акт «Тангейзера» кончился, перерыв несколько минут — слушайте очередную хронику...»

Анна Александровна была в черном платье с козым вырезом и темно-красной шелковой розой под левым плечом.

— Здравствуйте. Вы меня, кажется, не узнаете?

— Помилуйте. Анна... простите, отчество?

— Александровна. А чайник ваш, этот вот кривобокий, все у меня из головы не идет. Серьезно. Вот сегодня, скажем. Пели там всякие заслуженные и прочие. А ведь в них гораздо больше эмалированности, чем вот в вашей непонятной жестянке.

— Второй звонок, если не ошибаюсь.

— Да. Но послушайте, будь в вас хоть малая малость галантности, вы бы подарили мне свой чайник. Зачем вам?

— А вам зачем? Третий. Тушат свет. Простите.

— Погодите. Если вы такой скряга, то все-таки как бы устроить так, чтобы услышать его еще раз?

— Очень просто, — золотая искра дернулась в двояковогнутом стекле, — благоволите навестить меня: чайник будет служить вам: сперва пеннем, потом чашкой чая.

— Ну, это немного... Впрочем, у вас есть карандаш? Ах, уж началось. До скорого.

5

Они сидели вдвоем у потушенной керосинки. Хозяин, болезненно морщась, протирает платком стекла пенсне, точно стараясь затушить золотую искру в чечевице.

— Сегодня она пела, ваша жестяная нежить, особенно хорошо, — сказала гостя, — под слушанье откуда-то из хрестоматий, из детства в память возвращалось: «Он душу младую в объятиях нес...»

— А чайник поставить пора на поднос, — подчеркнул рифму хозяин, возвращая стекла переносью.

— Вы нехороший. Жестянее его. «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли».

— Анна Александровна, Анна, а дальше нарочно не хочу помнить: не надо. С песней кончено. Теперь сядем к столу и будем пить скучный земной чай. Из грубых листьев. «Продажа для всех граждан».

Строка петитом

I

— Хочу писать рассказ. На конкурс новелл. Только желание длинное, а темы — и короче короткой нет. Не рассказисто живем. Не придумашь.

— А зачем придумывать. Плати четыре целкача и получай тему. Впрочем, даже не четыре, а три шестьдесят. Лишнего не берем.

— Вот.

— Сорок копеек сдачи. Тема за мной.

II

Писатель оправил утреннюю постель, полил желтолистый цветок из чайника и присел к своим листкам. В дверь тихо постучали. Затем два звонких костных удара.

— Войдите.

Дверь отшатнулась и в комнату, на робком полушажьи, вдвинулась девочка, лет 11, укутанная в серый платок. Над ней наклонилось лицо соседки с игловатой улыбкой:

— Вот к вам. По объявлению. Не то с куличом, не то...

Голова соседки, вслед за дверной створой, отодвинулась в коридор. У порога стояла, робко шевеля зрачками, девочка. Под левым плечом, завернутое в белый плат, цилиндрилось, действительно, нечто по форме напоминающее взогнанный дрожжами упитанный кулич.

Писатель сделал пригласительный жест:

— Подойдите. Что это у вас?

— Бабушка прислала. Цилиндр. Вот.

Смутлая рука девочки сняла покров. Из-под него, выблискиваясь черным шершавым гляncем, показался высокoдонный, в черной ленте у полей, цилиндр.

— Я не совсем понимаю...

В левой руке у девочки забелела длинная газетная вырезка. Хозяин комнаты прочел и перечел:

КУПЛЮ цилиндр. Сутягинов переулoк, 7/11.

Здравствуйтe, первая глава, — сказал писатель и улыбнулся, — присядьтe. Как это у Пушкина: «под лавку ножи. Теперь начнем». Кто это тебе, девочка, дал этот «цилиндр» и для чего?

После паузы посетительница ответила:

— Он с антресольев. Бабушка грит, когда за ейного дедушку замуж ходила, он в цилиндре был. Народу тогда тьмущая тьма была. Бабушка грит, одних свещов тыща сторело. Ну, а сейчас бабушка больны, денегов на лекарство не хватает. Вот я и принесла.

— Так. Ну, а о свадьбе своей бабушка тебе, небось, не раз сказывала, вспоминала?

— Да. Хоры, грит, тогда пели, будто ангеловы голoвки в крылах с неба слетели. И кандило кандилило. «Радуйся, невеста нeневeстная». Ну, а сейчас, импература у бабушки под сороковье подкатнула. Вот и принесла — продать: цилиндр.

Писатель внимательно oглядел туюлю высокoдонной шляпы. Она повернулась — кружа в его ладонях — своими шелковистыми круглыми боками.

— Сколько нужно твоей бабушке на лекарство? Вот, и иди, детка, я как-нибудь проживу и без «цилиндера».

В дверь четко и настойчиво стукнули. Одноударно. Выпуская девочку, хозяин комнаты увидел стоящего за порогом человека пожилых лет в кепке, надвинутой на седые виски.

— Прошу вас. Войдите.

III

— Тут вот, сжали объявление не лжет.

— Не лжет. Присядьте. Глава вторая.

Человек снял с головы кепку: лысинная просека пробежала от лба через темя к затылочной косточке. Он сел и поставил на пол завернутый в черный футляр цилиндр.

— Осмелюсь спросить, какого такого и для ради цилиндренное объявление поместить изволили?

— Я — писатель.

— Ах, так. Из любопытственных. Ну что ж, будьте покупателем, а мне, видать, быть продавцом.

Из-под футляра вынырнул невысокий, тронутый желтизной лет, раструбчато ширящийся кверху цилиндр.

— Вот, не угодно ли. Преудобная, доложу вам, шляпчуга. Темени не давит, донце кверху уводит. Мыслям простор. Мозгуй сколько хошь. Ну, и для винных паров тоже есть некое парозбиралище. Ох, вспомнить только, сколько я в нем...

— Например?

— Какое там «наприме», когда вся жизнь моя без промеру прошла. Помнится это, с Клюекуровым, купцуем проклятым, на тройке, по питерскому, за Яр, ярь его, на санных полозах, тройкой троезвонкой гнали. Ци-

линдр — вот этот самый, на бекрешке, эх, гни, загибай, колокольцами заливай. А цыганочки, доложу я вам... Впрочем, разрешите к делу: сколько за сию шляпу намерены ассигновать?

— Она у вас желтцой тронута.

— На желтинке сбавим полтипку. Ну, а все-таки от сколька откажетесь? Должен сказать, крайне нуждаюсь.

— На тройке отъедете?

— Если с десятирублевым колокольцем, пожалуй.

— Ну, этакой не про меня звонит. Дороговато.

— Да, что вы, в прежние времена, когда вот он не под покрывой, а на голове глянцевел, я бы и лакею такую малость постыдился на чай. Ну, что ж, видно подешевели мы. С жизнью вместе. Берите за десятку.

— Да нет, знаете...

— А тогда и объявления незачем объявлять. Что ж это, сегодня вы у меня цилиндр за треху купите, а завтра голову за ничтожное ничто. Нет, гражданин, так нельзя. Полезай, брат, назад, в футлярину. Видно, не ко двору мы оба. Прощайте.

IV

Писатель присел к доске стола и стал набрасывать экспозиционные строки рассказа. Но в дверь мелким, горошинным стуком застучала чья-то рука.

— Прошу вас.

В дверную щель сунулось щелисто узкое старухино, в тугой обмотке платка, лицо.

— Еле нашла, сударышко. Кабы б не баба с поганым ведром, так бы меж ступенев и заплуталась. Вот, в самый раз вам будет, рантом к височку, донцем к темячку.

— Позвольте, тетушка. Ведь это не цилиндр — я о цилиндре объявлял, — а котелок. И с продырью...

— Какая продырь. Так, для винтиляторности дырушка. И после: что котелок, что цилиндр — ни того, ни этого не носят. Ну, вот и я принесла неносимое. Носи на здоровье.

— Нет, это мне не подойдет.

— Ишь, распривередничался как народ. Ты надень да погляди: может, он тебе не подойдет, а ты ему подойдешь.

— Нет, тетя.

— Вот беда, не угнаться, вишь, за копеечкой. Ты за ней, а она в улепет. Надел бы, пра, котелок на свой... котелок. Не хошь? Тогда вот, щипцы каминные купи. Хорошие щипцы.

— А зачем мне, когда у меня и камина-то нет. Центральное у нас.

— Центральные вы, это верно. Ну, тогда вот эти малые щипчонки для съема нагара. Не пожалей двух рубликов.

— Да какой же нагар, тетенька. С электрической нити, что ли, сымать его?

— Эх, батюшка, видно, и гривны от тебя не отодрать. Народ такой. А прежня...

Старуха вышла за дверь. Писатель хотел было вернуться к своим листкам, но в дверь что-то цокнуло металлическим цокком.

— Кто там?

V

Человек вошел, сутуля широкие плечи. Под правым локтем его круглилось нечто, завернутое в посконь.

— Объявляли вы, товарищ, про цилиндр, а какой цилиндр неизвестно. Строки пожелели. Разные они бывают: паровозный цилиндр, ротаторный, к примеру ска-

зять, динамовый, осевой, ну и мало ли... Вот, принес, может, подойдет?

Из-под ткани выблеснула серебряным глянцем цилиндровая сталь. Рука рабочего ласково провела по круглому ее боку.

— Подойдет, товарищ, для рассказа подойдет. Сам бы не придумал. Спасибо. И простите, что побеспокоил. Но я объявлял о других цилиндрах, о тех, что на головах...

— Как? в головах? Ну, да, оно, конечно, сперва оно в головах у инженеров там, зацилиндрится, потом чертежом на бумагу, а там и к нам в руки ввертится. Только не пойму я...

— Простите, товарищ.

— Ну что там.

Дверь плотно зажалась за ушедшим.

VI

«Итак, рассказ как будто бы вчерне готов. Ах, черт, еще кого-то несет».

— Разрешите.

— Пожалуйста.

В дверную раму вдвинулась высокая, под самую притолоку фигура. Поверх фигуры просторный, в металлическом двурядьи пуговиц, парусиновый, к пяткам убегающий сюртук.

— С кем имею?

— Факельщики мы. Прочтемши про цилиндр, дай-ка, думаю, понесу. Ведь, окромя как у факельщика, нигде ноне цилиндра не сыскать. Вот, не угодно ли поглядеть (вошедший вынул белую цилиндровидную шляпу и повернул ее на вращающемся кулаке), берите факел на пле-

чико и шагайте. Цилиндр, что там скрывать, малость с износом. Ну, да дело наше факельщицкое такое уж: и в дождь и в снег. Человеку ведь умирать надо. Смерть у погоды не спрашивается. Да я недорого и возьму.

VII

Острый зуд — циркульными уколами — пробежал по пальцам писателя. «Сейчас я тебя поймаю», — подумал он о теме и, сняв с чернильницы стеклянную шапочку, заставил ее церемонно раскланяться с самим собой. Но в дверь глухо ударил чей-то кулак.

— Я занят. Цилиндр? Никаких цилиндров. Прошу извинить. Прощайте.

И, наклонясь над чернилящейся строкой, писатель, улыбаясь, думал: «Пустить их всех — получится не рассказ, а повесть, эпопея, цилиндриада, черт ее знает в скольких песнях».

Пропащий человек

Иглицын — в обычное время — подымался на четвертый этаж. Сквозь стены квартир было слышно, как радио дало один длинный и два коротких. Иглицын шесть раз нажал кнопку звонка. Открыли.

Он вошел, сдернул с плеч пальто и повесил на крюк, пожал вялую руку, не глядя в лицо хозяйки. Прошел к знакомому креслу, которое, как всегда, недовольно закрипело, — и тут только поднял глаза. На табуретке, что напротив, в левом углу длинной комнаты, на которой обычно лежало несколько сложенных вчетверо газет, сейчас сидело живое существо, ответившее на его вопросительный взгляд спокойным, долгим, еще более вопрошающим взглядом.

Это была девочка лет пяти, в синем платьице, с двумя крысиными хвостиками косиц. На коленях ее лежала книжка с пестрыми картинками, ноги в потертых серых туфельках свешивались с табурета, не доставая до полу.

Затем раздался мягкий голос Марии Ивановны (так звали женщину, которая писала писателю его диктанты):

— Эта девочка тут из застенной комнаты. Наташа. Мать ее ушла в очередь. Она вам не помешает?

— Нет, — сказал Иглицын и начал диктовать. Сперва это была рецензия на какую-то книгу. Иглицын

излагал, потом подсекал критическими крючьями, наконец встал и, шагая из угла в угол, бросал злые слова, грозя кому-то большим пальцем правой руки.

Наташа сидела не шевелясь на своей табуретке, лишь расправляя складки платья.

Затем в дверь тихо постучали.

Марья Ивановна подошла и открыла. Нырнула в коридор. Вернулась через минуту.

— Простите, меня отрывают минут на пять-шесть. Так, Наточка, займи дядю. А я сейчас.

Дверь закрылась. Иглицын и девочка молчали минуты две или три.

Затем она сказала:

— Так вы и есть тот пропавший человек?

Иглицын пошевелил пальцами и продолжал молчать.

— Тетя Маша моей маме говорит, что вы пропавший человек, что от вас всегда пахнет водкой. Что она бы вас и на порог не пустила, если бы не то, что нужно зарабатывать. Она для вас стучит в машинку. И она говорит, что вы погибший. Я этого не понимаю. Это правда?

Иглицын снял очки, протер, провел левой ладонью по лбу и сказал:

— Правда.

И снова пожилой человек и девочка молчали минуты две или три.

Вернулась Марья Ивановна. Опять застучала клавиатура круглых клавишей. Сейчас Иглицын диктовал для детского журнала — маленькую сказку. Девочка ушла собирать грибы в лес и не заметила, как настали сумерки. За сумерками ночь. Девочка пробовала вернуться назад, но заблудилась. И тогда лесные колокольчики стали звонить, указывая девочке путь. И она вернулась к своим.

Иглицын кончил, потер бугристый лоб, стараясь дышать ноздрями, чтобы не было слышно водочного перегара, и сказал:

— Чепуха. Ведь вот, приходится сочинять и этакую колокольщину. А ведь все-таки нельзя же так, товарищи.

Иглицын притронулся к вялой руке, сдернул с крюка пальто и вышел. На улице его встретила мелкая липкая осенняя морось.

На следующий день, когда радио тянуло свои один долгий и два коротких, он снова подымался в квартиру машинистки.

На табуретке сидела, чинно поджав ножки, Наташа.

— Можно мне? — спросила она и готова была соскользнуть с табурета.

— Ну что ж, — сказал Иглицын и сел в свое злобно проскрипевшее кресло.

Диктант продолжался.

Мечтатели

Разговор этот был подслушан мною довольно давно. Близился жаркий одесский полдень. Я шел по Ришельевской, стараясь держаться чахлых теней чахлых акаций, длинной цепью протянувшихся вдоль улицы. Витрины магазинов, фруктовые ларьки, газетные киоски. Вдруг мы — сперва мое внимание, а там и мои шаги — были остановлены у одной из пыльных витрин. На железном стержне, защищающем ее со стороны улицы, сидело, повернувшись лицами к витрине, свесив со стертого желтого стержня босые пятки, двое мальчиков. Один лет восьми, другой — шести, не больше. Старший охватил рукой плечи маленького. Оба они, не отрывая глаз, созерцают то, что находилось за стеклом.

Я подошел ближе и остановился за спинами созерцателей. Теперь мог видеть и я: за стеклом магазина на серебряных и синих нитях свешивались игрушечные звезды, жестяные аэропланы, птицы, распахнувшие свои набитые ватой крылышки. Ниже, на косо́й деревянной подставке, стояли: слоны, грузовички, пятнистая жирафа, плюшевые медведи и прочее неживое зверье. Игрушки как бы скатывались по наклону подставки навстречу детям. Но на пути стояло стекло. «Не только оно, — подумал я, оглядев выцветшие бумазейные рубашонки и куцые заштопанные штаны мальчиков.

Они, вероятно, не расслышали, поглощенные своим игрушечным миром, моих шагов. Вскоре созерцатели перешли от молчания к тихой сосредоточенной беседе.

— Гулька, почему у медведя — вот этого — глаза голые?

— Без век?

— Ну, я не знаю; голые.

Старший, обдумав вопрос, объяснил:

— Чтоб он и во сне видел: охотников. Понял?

И помедлив с минуту, добавил:

— А может, и материи не хватило.

— А вот если б слоник в настоящего слона вырос. Так он бы все игрушки растоптал.

— Ну, еще бы. Махнул бы хоботом — и стекло вдрызг. И пошел бы, и пошел бы по Ришельевской прямо к себе в Африку.

— А милиционер бы его в милицию. За хулиганство.

— Эх ты, капустная голова, да как же его в милицию привести: ведь там двери узкие, а слон — вот он какой. Ну, он бы и застрял.

Говоря это, Гулька широко распялил руки, и оба они, и учитель и ученик, чуть не свалились со скользкого стержня наземь.

— Вот, хотел бы я знать, — не унимался шестилеток, — который из верблюдов, который с одним горбом или который с двумя горбами, больше может поднять груза и через всю пустыню пронести.

— Одногорбый больше. Ясно.

— Почему?

— Двугорбому и так два горба всюду таскать приходится. А одногорбому все-таки легче.

Помолчали.

— Красивенькая куколка, — вздохнул меньшей, движением головы указывая на целлулоидовую с красивыми пятнышками на щеках куклу, выставившую прямые руки из коробки, — она, знаешь, не как медведь, умеет закрывать-открывать глазки.

— Кто тебе сказал?

— Манька.

— Ну это ихнее девочкино дело. Нам это вовсе неинтересно.

— Нет, мне вот... — запротестовал было малыш, но, встретив сердитый взгляд учителя, остановился.

Затем, желая, очевидно, переменить тему, сказал чуть заискивающе:

— Ты вот, Гулька, все знаешь. Звезды, настоящие, которые в небе, тоже как вот эти, на серебряных ниточках подвешены?

— Скажешь. «На ниточках». Эх, ты...

И Гулька, вероятно, не преминул бы вспомнить про капустную голову, если б собеседник его не успел выкрикнуть скороговоркой:

— А отчего же они тогда не падают?!

Гулька задумался:

— Дда. Как же это они не?.. Некоторые, положим, случается, что и падают... Разве не видел?

— Некоторые, — неумолимо подчеркнул вопрошатель, — а другие?

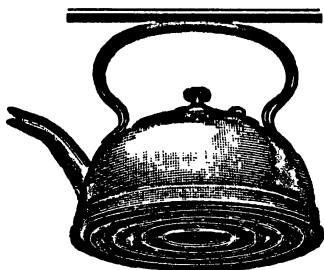
Гулька, после длинной паузы, заговорил снова. В голосе его было колебание:

— Вот, не падают. И ничего ты с ними не поделаешь. Я, брат, понимать-то понимаю, да не все. Только ты Маньке об этом ни-ни! Например, отчего люди непохожие игрушки делают. Скажем, трамвай. Здесь вот, — Гулька протянул руку к витрине, — он пустой и без кондуктора. Садись и поезжай без билета, а так вот...

И мальчики повернули головы на звук проходившего как раз в эту минуту по скрежещущим рельсам трамвая. Мое присутствие и подслушивание было мгновенно раскрыто. Мальчики соскользнули с предвитринного стержня и, опасливо оглядываясь на непонятого незнакомца, побежали вдоль тротуара.

Мне оставалось продолжить свою прогулку.

Салыр-гюль



*узбекистанские
импресии*

I

Окно

Уже несколько часов, как мы оставили позади закат. Помню ныряющий в ночь каменный контур Оренбурга: вертикали минаретов, отряхающие с себя плоский — из казарм и складов — город.

Сейчас ночь. Сон не идет ко мне. Приходится довольствоваться суррогатом сновидения: мыслью.

Между учебником логики и железнодорожным путеводителем, между мышлением и путешествием есть несомненное сходство. Мышление — это передвижение образов в голове. Путешествие — передвижение головы мимо сменяющихся образов. Переставив термины, можно сказать: странствовать — значит мыслить объектами; думать — странствовать в себе самом.

Аэродинамическое испытание летной модели основано на том, что совершенно безразлично — движется ли самолет сквозь среду, преодолевая ее сопротивление, или же среда движется на самолет. Поэтому, закрепив модель неподвижно внутри особой трубы, гонят на нее вращающимися лопастями ток воздуха. Это — полет на месте.

Что я делаю сейчас? Прогоняю пространство через мозг. Но как только окна перестанут быть черными,

углая модель заскользит — вместе с поездом — по рельсовым нитям: внутричерепное превратится в законное.

Время гораздо настойчивее пространства. Тоненькая секундная стрелка толкает весь массив жизни вперед и вперед. Воспротивиться ей — то же, что умереть. Тяга пространства гораздо слабее. Пространство терпит бытие мягких, приглашающих в неподвижность кресел, ночные туфли, походку с развальцей. Бесконечное пространство столь терпеливо, что переносит даже человеческую усидчивость. Время — сангвиник, пространство — флегматик; время ни на долю секунды не приседает, оно живет на ходу, пространство же — как его обычно описывают — «разлеглось» загоризонтным увальнем; оно спит, подложив горы под голову и растянувшись своей беспредельной протяженностью на песке и травах наших степей. Его надо растолкать, разбудить паровозными свистками, — и только тогда оно начинает медленно и неохотно приходить в движение. И вот сейчас — я ясно ощущаю — пространство на ходу; оно идет, еле поспевая за семенящей стрелкой секунд; оно шагает, медленно переставляя невидимые пейзажи. Теперь оно даже стало слегка похоже на своего спутника, у них есть право на некое *space time**. И когда рассветет...

Но я уже смутно различаю фигуры, растянувшиеся на соседних полках. Не пора ли переключиться на законный лад?

Встаю и прохожу меж спящих. Да, если чиркать головой, как головкой спички, вот об это черно-серое пространство, она вспыхивает. И смешной образ: эти люди разложены в вагонной коробке, как...

Я уже в тамбуре, недалеко от тимпанных ударов буферов о буфера. Взявшись за ремни, толкаю оконную

* Пространство-время (*англ.*).

раму сперва вверх, потом книзу. Рама скрипит и упирается, затем медленно оползает внутрь стены. В лицо сухой и пряный ветер казахстанской степи. Поезд еще спит. Я, вероятно, первый открыл свое окно... В Азию.

Челкар

Рельсовый путь выбирает культурную полосу. Он сторонится песков и безводья пустыни. Его паровозам нужно пить воду. Верхнее строение пути должно иметь прочный упор и защиту от песчаных наносов. Поэтому справа то и дело показывается изжелта-синий извив Сырдарьи и по обе стороны полотна, среди никлых солянок и землисто-зеленой верблюжьей колючки, стелющейся меж почвенных щелей, вспыхивают красные заросли мыльного корня и какой-то довольно яркой, метелками из земли торчащей травы, до странности похожей по форме на метелковидные реденькие бородки местного мужского населения. Пустыня отеснена за горизонт. И только? У станции Челкар ей разрешено вклиниться в культурную зону на какой-нибудь получас пути. Это, так сказать, показательная пустыня, небольшой отрез голого, избарханенного песка — и глазам надо торопиться: было бы досадно выйти из промелька пустыни с пустыми зрчками.

Итак, что же я видел за мой челкарский получас: песчаное море, показанное с исключением времени — валы остановились в полной неподвижности; медленно выкрутившийся из-за всхолмия белесый солончак; посредине его, точно терракотовая фигурка, поставленная на блюде, неподвижный контур верблюда; заходящие в обход вторгшейся пустыне реденькие цепи кустарников,

напоминающие цепи стрелков, атакующих противника. И это немного больше, чем метафора. Всей этой прогибающейся к земле чахлой поросли дано боевое задание: остановить барханы. Цепь за цепью, кусты взбегают на гребень, берутся за корни, как за руки, напряживают стебли, — и пустыня отступает вснять.

Полустанки

Что делают пассажиры поезда Москва — Андижан?

Во-первых — они едят. И во-вторых. И в-третьих: едят. Они возят с собой свои желудки, как раньше — в мешочное время — возили мешки. И навстречу желудкам Восток выставил аванпостные базары. И на каждой станции, полустанке, разъезде — полукруг лотков со всяческого рода снедью. Это клочок настоящего азиатского базара, с его криком, зазыванием, пестротой цветов и звуков.

Чуть поезд начинает замедлять ход, все человеческое содержимое вагонов теснится к дверям и сыплется со ступенек навстречу жаровням, сковородам, корзинам, бутылкам, кувшинам и пиалам базара. Пиджаки и халаты смешиваются в одну шумно роящуюся толпу. Свисток паровоза — и пиджаки, охватывая обеими руками груды накупленного, догоняют тронувшиеся вагонные ступени. Сквозь взволнованное бегом дыхание быстрый размен словами: яйца на два рубля дешевле московских — надо купить; но и рыба втрое дешевле столичного — значит, и рыбу; арбуз — в десять раз. Надо вкатить в себя и арбуз. Под Ташкентом ведро яблок — два целковых. Не потому ли следующая станция за Ташкентом называется: Ташнит?

Можно бы весь шестидневный путь от Москвы до Самарканда разбить на гастрозоны: сперва яично-молочная зона, потом — при приближении к Аралу — рыба, баранья и, наконец, плодовая.

Как-то, уснув среди дня удавчим сном после заглотанной мною дыни, я увидел во сне такое: очередь желудков, эмансипировавшихся от тел; очередь тянулась вдоль стены и заворачивалась за угол. Желудки стояли друг за дружкой, подоткнутые тонкими вилкообразными ножками. Одни из них были вздутые и огромные — они лезли вперед, тычась своими испучьями в соседей и разрывая очередь. Другие дрябло обвисали со своих подгибающихся развилий, робко налипая на впереди стоящих. Вдоль очереди перекатывалось глухое бурчание: «живая очередь» — граждане желудки, не будьте брюхами, хватит всем, на все е м».

На руководящем подъеме

Я люблю точную железнодорожную терминологию: «руководящий подъем» — «вписывание в кривую». Можно бы ввести их в литературу. Впрочем, иные и пробовали. Так, некий очеркист о так называемом тормозном башмаке тотчас же сочинил рассказ о герое-проводнике. На подъеме от состава оторвался задний вагон. Он катится вниз, набирая скорость и грозя катастрофой. Но проводник не растерялся: он расшнуровывает сперва свой левый башмак, потом правый и швыряет их — один за другим — под колеса. Проводник героически бос, но вагон остановлен на полном ходу и полсотни жизней спасены.

Итак, мы сейчас берем подъем. В два паровоза. Оси надсадно скрипят. Обода медленно сматывают с себя

метры. Над нами зенитное солнце. Кроме ромбических теней от наших вагонов повсюду только солнце.

В стороне от полотна — шагах в сорока — несколько голых согнутых спин. Над их потными розблесками взлетают и падают кирки. Вдруг один из рабочих разогнулся и бежит наперерез поезду. Я не сразу понимаю, что ему нужно. Но вот он настиг скользящую по земле вагонную тень и — движением пловца — бросается в нее. Длинная членистая тень глядящим движением движется по его телу. Вот грудь купальщика полоснуло солнечной межвагонной щелью, опять холодный черный ромб, и еще щель — ромб — щель; последний вагон прошел, волоча за собой пленку тени, — и человек снова стоит один, под раскаленным солнцем, беззвучно рушащимся на беззащитную — от горизонта до горизонта — землю.

Этот малый случай напоминает что-то не столь уже малое: допустим, жизнь.

Постройка пейзажей

Жара все длится. Хотя на станциях и чернеют стрелы с надписью «к кипятильнику», но кипятильник, в сущности, повсюду, весь воздух перегрет и перекипячен. Телеграфный столб пьет этот синий кипяток сразу всеми двадцатью фарфоровыми стаканцами. Впрочем, здесь надо говорить: фарфоровыми телеграфными пиалами. И библейский стих: «да минет меня чаша сия» — здесь тоже получает лексическое подновление: «да минет меня пиала сия».

— Нет, это невыносимо, — говорит пассажир, сидящий на боковой скамье, — опять пейзаж.

В руках у него тощая книжонка с бахромчатыми, прорванными пальцем полями.

— Возмутительно. Следовало бы запретить вокзальным киоскам продавать книжки с пейзажной начинкой!

— Почему?

— Очень просто. Когда человеку осточертеет пейзажирующая природа, он берет книгу, прячет глаза от принудительного ассортимента видов меж ее страниц — и вдруг и из книги, как из окна, пейзаж: ловушка. Здесь ничего. А вот помню как-то на линии Батум — Тифлис. Все время холмы, зубчатые башни. Кура, и опять холмы, и на них башни, и снова Кура. Раскрываю — самозащиты ради — книгу, а отсюда: «Солнце освещало живописно раскинувшиеся холмы. Лента реки, медлительно извиваясь меж...» Оставалось вышвырнуть книгу в окно и попробовать заснуть: после двенадцати часов сна. Здесь, в Средней Азии, много легче. Люблю эту дорогу. Вагонные рамы не лезут в картинные — и никаких лендскэйпов.

— То есть как это никаких. А это?

— А так. Места под пейзаж сколько уютно. А пейзажа: хоть шаром покати — и шар, без всяких иносказательностей, не наткнется на холм и не скатится в реку. Вот. Поднос для пейзажей гигантский, в горизонтовой кайме. А на подносе ничего, кроме его поверхности. Ну, те три юрты не в счет. В этакой перспективе они и за кротовьи всхолмья сойдут. Эти не портят.. пейзажем. Хорошая дорога. Чуть отпущу, я всегда сюда — и качусь, как по бильярду.

— Ну, скоро вам, товарищ, придется в лузу, — раздался внезапно голос из-под потолка.

Человек, лежавший на полке для вещей, очевидно, еще не вошел в роль вещи и отдельно бросал слово вслед слову вниз:

— Да, придется вам или приобрести наглазники, или разрешить обеспокоить ваше зрение.

— Почему это?

— Потому что мы здесь скоро начнем стройку пейзажа. Да, нового географического пейзажа. Оросительная сеть, еле доходящая сейчас до Кзыл-Орды, вскоре протянет свои петли к северу. По краям арыков, там, где сейчас вот эта дарана, вода вытянет из земли иву, фисташки и тополь. Вот уж вам и нечто вроде пейзажа. Устье Амударьи мы оторвем от Арала. На месте гнилого болота станут города, а вокруг них прямоугольные поля хлопка и риса. Куда мы пришьем устье, — спрашиваете вы? О, придется проволочить его более тысячи километров на запад. И пришьем мы его к Каспийскому морю. Что это значит? А это значит, что садитесь на пароход в Москве и поезжайте без пересадок до предгорий Памира. По пути обеспечено многое множество пейзажей. Вас, вероятно, не будет среди пассажиров.

Буферная сцепка

Ташкент уже позади. Стучат стыки. Луна светит ярко, точно солнце под синим абажуром. Я вышел в тамбур на минуту-другую, чтобы после пополнить запасы сна перед Самаркандом, но очень уж не хочется назад, в духоту вагона. Тем более что за окном начинает вырастать «пейзаж». Это неоспоримый пейзаж. В нем бы не усомнился даже пассажир с боковой полки. Но он, вероятно, уже спит.

Мы едем долиной Санзара. Слева и справа фантастически взгорбленные холмы. Рельсовым путем пейзаж как бы разрезан на две продольных половины. Слева раскрывается его лирическая часть: мягкие склоны, пригибающиеся порой к водам Санзара; купы деревьев и вы-

нырывающие из воды островки; легкий прыжок моста от берега к берегу. Правая часть пейзажа драматизирована: Санзар отодвинулся от нее по ту сторону полотна; здесь только вертикальные каменные стены, осыпи камней и прыгающая, как кривая температуры малярика, линия вершин.

Это здесь, на одном из этих склонов, врезана древняя арабская надпись.

Вскоре поезд выходит сквозь широко раскрытые ворота ущелья на равнину. Он идет по выгибающейся гигантским луком насыпи. По склону ее движется вырезанное черными ножницами черное и плоское подобие поездной гусеницы. Лунная модель сделана с такой точностью, что я вижу даже очертания буферных тарелок нашего вагона и свесь цепи, качающейся меж них. В черном схематическом упрощении я различаю деталь, ускользавшую от меня при свете дня: два трущихся друг о друга буфера неодинаковы — один мягкой выгибью выдается вперед, другой — абсолютно плосок; и между обоими сглаживающий толчки и сам взятый на цепь — зазор.

И кто знает, может быть, эту увеличенную лучом схему можно доувеличить так: может, самое жизнеспособное соединение — это соединение выдающегося, изрядовонного с плоским, вмещающимся целиком на своей же поверхности. Разумеется, при условии некоторого зазора. Не в зазор мне будь сказано.

Еще станция или две. Теперь уже поздно ложиться: скоро город. Провожу рукой по щеке: шестидневная щетина. Голая до того земля тоже начала куститься. Кусты переходят в заросли. Вкруг зарослей здесь и там — белый обвод стены. Это начались присамаркандские сады.

II

«Хариф мысли»

Поезд бросил меня в самую середину ночи и ушел. В станционном зале засиженная мухами скука. С дорожным мешком через плечо иду, как диктует указка: выход в город.

Но до города семь километров. Как быть? Невдалеке, куда кое-как дотягиваются лучи вокзальных огней, какой-то темный короб. Из-под короба человечьи ноги. Починка захромавшего автобуса. Вскоре внутри его появляются: гудение и свет.

Решаю ехать. На ночное свидание с Регистаном.

Вскрик сирены — и желтые огни мчащихся фонарей начинают прорывать голубоватую тонкую сеть луны. По краям шоссе бегут карликовые домики. Справа и слева наклоняются, припудренные пылью, лиственные парики деревьев. Несколько крутых дезориентирующих поворотов, потом скат, вкат — и авто тушит огни. Регистан.

Две небольших площади — как два форельных пруда — со стекающими из верхней в нижнюю ступенями. Иду как влечет меня течение ступеней. Вот они — три древних каменных громады, ставших по трем краям прямоугольной площади: медресе Улутбега, Тилля-кари, Шир-дор. Наконец-то я их вижу не со страниц книги,

а с земли Маверраанагра. Их изразцы и сейчас — при притушенном свете луны — отливают рыбьей чешуей. Минаретовые руки Улуга — широким архитектурным жестом — протянуты вверх. Каменные кулаки их сжаты. Простоять так пять веков, не меняя позы, согласитесь... Но даже и сейчас видно, хотя бы по тени, что минареты этой медресе чуть наклонены вперед. Может быть, это усталость камня, а может быть, замысел строителя, который заранее, предвидя долгую жизнь медресе, построил ему и усталость от нее.

Кстати, надо все-таки отыскать пристанище. Где-то тут под входной аркой 'Тилля-кари база ОПТЭ. Но сейчас все двери наглухо. Два пополуночи. Возвращаюсь на верхнюю площадь. Она в окружении смутных — за расфрамуженными стеклами — огней. Подхожу, волоча рюкзак, к одному из них. Вывеска: Къы Саҗ-хапа.

Под вывеской, за стеклом, точно в витрине, выставка манекенов — посетителей чайханы. Посетители не из воска и бумаги, а из крови и плоти. Но они разложены — в манекенной неподвижности на уступах внутрочайханного помоста.

Прохожу по деревянным мосткам через шепелявый арычок, в переулок, ответвляющийся от площади. И здесь. За столбами навеса, под мягким светом лампы, укутанные в желтые блики, лежат экспонаты чайханы, очевидно, к полуночи превращающейся в ночлежку. Вероятно, это грошовое заведение, но сейчас, когда шелковый свет и ночь смешали свои краски, нельзя различить, истерты ли ковры чайханного приюта и грязны или новы, целы или рваны халаты спящих. Пестрая груда тел, чалмы, вдавленные в черно-красную орнаменту подушек, смутные узоры ковров, подостланных под спутанный — дыханиями и видениями — клубок снов, купленных за медь тиингов, — все это кажется какой-то искусно срежиссированной феерией, живой картиной, расчи-

танной на тысячеглазый зрительный зал и аншлаг. И мне, единственному видящему сейчас это, даже неловко. Что можно тут поделывать, располагая всего лишь парой глаз. Из-за гигантского самовара, тоже спящего с потушенными углями и понурсннгой трубой, неслышно приподнимается хозяин почлежки. Он предлагает мне место на нижнем уступе. Но я отхожу: главное схвачено, а дополнительные подробности, в виде укусов вшей, не обязательны. Возвращаюсь на площадь. Мешок оттягивает руку. Позволяю ему опуститься наземь и сам сажусь поверх. Буду ждать зари. Как ждут поезда.

Прямо против глаз спиной к луне стоящая Ширдор: прямоугольные плечи питаба, голова под рубчатой каменной чалмой; позади, чуть отступив в перспективу, две башни.

Книги — удивительная вещь: они помогают нам вспоминать о том, чего еще не было. Так сейчас, глядя на верхний край питаба, я даже не могу различить очертаний старой персидской надписи, но уже вспоминаю ее — слово вслед слову:

«...и такое медресе соорудил он на земле, что та возгордилась его высотой перед небом: и в несколько лет не долететь до верха этой арки орлу ума, как бы он ни напрягал своих крыльев; даже череда карнов (поколений, веков) — слишком малый срок, чтобы искуснейший хариф (вор) мыслей, забрасывающий свою веревку с крюком на конце на стены домов, смог забраться на вершину этих башен. Когда зодчий выгнул свод этой арки, то само небо, исполнившись удивления, прикусило свою новую луну, как палец.

И так как Ялангтуш-Бахадур был основателем медресе, то год постройки его назван именем Ялангтуша-Бахадура».

Кажется, так. А теперь, пока ночь не израсходовала всей своей тьмы, попробую (все равно, сидя на мешке, не уснешь) прокомментировать темные места надписи.

Начну с конца. То, что год и строитель оказались тезками, уже освещено историографами. Попросту каждая персидская буква имеет и цифровой смысл: сложив буквы как слагаемые, получим сумму: тысяча двадцать какой-то год — по-нашему, начало XVII века.

Что касается до неба и его способности удивляться, то она, очевидно, не исчерпана: каждый раз, завидев при блеске своего новолунного пальца башни Шир-дора, оно снова прикусывает его, и палец-луна неизменно пухнет, вспучивается синим нарывом, пока его — на четвертой фазе — не прорвет.

Слова о харифе, искусном воре, пытающемся забросить свой крюк на вершину Шир-дора, очень внушающи. Работать ему, конечно, удобнее всего по ночам. Так что сейчас как раз время, спрятавшись в длинной тени медресе, в полном безлюдье, разматывать свою воровскую лестницу.

Бедный хариф, он, как и я, зябнет теперь и не спит у темного срыва питаба. Может быть, ему удавалось иной раз добраться вот до этого арочного выступа, но южные ночи короче веревки вора. Утро, будящее стражу, конечно, прогоняло ширдорского харифа, пока с наступлением ночи он снова мог пристаться за свою работу.

Надпись говорит о карнах — о поколениях — харифского труда. Значит, вор передавал свой замысел сыну, а тот сыну сына харифа. Чего они добивались, эти поколения похитителей? Что можно украсть, забравшись на каменную крышу громады? Допустим, можно прикарманить широкий кругозор, открывающийся сверху вместе с рассветом. Но зачем? Чтобы тотчас же быть изловленным на кругозоре, как иные изловлены на мирозерцании. Глупый вор, вздумавший выкрасть себя самого, свою личность: вот ты и пойман с поличным. Так и надо.

А как надо?

Прежде всего — и вор, выдуманный древней надписью, должен это запомнить — не следует быть «искусным»... для искусства. Вот, например, нынешние ташкентские вокзальные воры тоже пользуются, формально следуя традициям харифа, веревкой с крючком на конце. Но забрасывают свой крюк они не искусства ради, а во имя идей утилитаризма.

Кстати, пора блюсти точность комментария. Ялангтушевская надпись к родовому понятию харифата не забывает прибавить видовой признак. Она говорит о «воре мыслей». Есть и такие у нас. Мы их называем плагиаторами. Но работают они совершенно в иной технике. Зачем взбираться на высоты похищаемого, когда можно под него подкопаться, пролезть в смыслы снизу. Да, завтра надо будет непременно пойти в Бибиханум, там, во внутреннем дворе, — я читал — хранится каменный гигантский пюпитр для Корана (еще тимуровских времен). Неплодные женщины протискиваются в щель меж камнем пюпитра и землей. Это, говорят, способствует зачатию. Не знаю, насколько лазейка под каменным пюпитром оправдывает чаяния верящих в приметы узбечек. Но плагиаторам это помогает. Проползши под любой книгой любого пюпитра, они рожают. Не зачав: беспорочно.

Но если притянуться еще на строку выше, читаем: «И не долететь до верха этой арки орлу ума, как бы он ни напрягал своих крыльев». Это и есть награда: не долететь.

Но что там, за минаретами Шир-дора. Как будто первая проступь рассвета. Да, яснее выконтурились спады камня. Где-то вдалеке заревел ишак. Дверь чайханы открылась. Заспанный чайханщик с ведром в руке. Он опускает ведро в арык и выплескивает из него поперек улицы. Еще и еще. Надо предупредить проснувшиеся подошвы и копыта и прибить пыль к земле. Встаю и раз-

минаю затекшие ноги. Пора. По диагонали через площадь. На карнизе медресе копошится стайка молодых ворон. Это не воронята мысли, а так, просто проснувшаяся воронова детвора. И все вообще просто.

Вхожу в арчатую дверь экскурсбазы.

Мазаробазарье

Большинство городов страны, прислоненной к Памирам, — из двух частей: среднеазиатской и посредственно-европейской. Последняя всегда из последнего тянется быть не последней, не хуже европейских согородов. Но обычно ей это плохо удается: на книжных витринах прожелклые от солнца новинки еще нэповских времен; музеи, иной раз напоминающие физический кабинет довоенной гимназии, с его ржавыми магдебургскими полушариями и набором батавских слезок; и так, например, музей естествознания на улице Энгельса в Самарканде; двухэтажные «центральные почты», стоящие с видом небоскребов. Но если всхожесть домов на здешней почве пока не велика, то деревья зато растут здесь буйно. Прекрасны просторные парки европейской половины Самарканда и длинные, вдоль шеренг домов, аллеи ташкентских белокожих тополей.

Но ведь когда там, у себя, в Москве, под железной крышей, мечталось о поездке в Узбекистан, то из плана воображенного странствия железные крыши были вычеркнуты. За их привычность и... немечтабельность. Помню даже ту радость, с какой я замечал, как аксансирконфлексный угол кровельных скатов Москвы у Джуруна из прямого стал тупым, а за Оренбургом постепенно растянулся в прямую: начиналась страна плоских кровель, к которой я ехал.

Старые города Востока нельзя назвать — так мне кажется — ни шумными, ни тихими. Шумы и тишины здесь врозь друг от друга, чета крик и молчь живут «на разных половинах».

Когда вы попадете в базар, то выйти из него не так легко: продавцы зазывают в лавки — нищие призывают к милосердию — ослы кричат о тяжести ноши — покупатели громко негодуют на дороговизну — шипят ворочающиеся на вертелах кебабы — стучат молотки кузнецов и лудильщиков — поют бродячие певцы — и сквозь все, вместе с чередой верблюдов, проходящей через базар, неустанный звон колокольцев, раскачиваемых в такт шагу.

Сначала вы слушаете, подставляя ухо, как пиалу под зеленую чайничную струю... Но базар продолжает полнить слух пестрейшими смесями звуков. Вы хотите уже уйти хотя бы в полувзвучье, звукотень. Уши ваши переполнены.

Вы сворачиваете с площади в изгиб улицы. И здесь перестук молотков, топот копыт, рев звериный и вопль человеческий. Еще поворот. Но базар идет по пятам. Качалось бы, изнитенный узким переулком, он должен вот-вот оборваться. Нет, переулок вдруг связывается с другими переулками в узел площади — и снова навстречу отовсюду — и из-под навесов лавчонок и прилавочных ступенек, с ковриков и циновок, разостланных по земле, — многоголосая симфония базара.

Таков Киш-миш, базар в Ташкенте, рассовывающий свои запахи, пестроты и шумы, как по карманам, по сложному переулочью. Таковы самаркандские торжища, вращающие свои гомоны вокруг Чаар-су, как вокруг раскрипевшейся оси. И рынок Бухары, который, спустившись со ступеней Мир-араба, протягивается затем от площади, как по кишкам, длинющим систему желудка,

по узким улицам, то и дело ныряющим под глухие купола Таки-зергарона, Таки-тилпака и Соррафана.

Как раз возле Соррафана мне и довелось наблюдать примитивную базарную рулетку: она была похожа на небольшой круглый стол, вдруг завращавшийся на своей ножке; от края к центру, разделенные сбегаящими радиусами, стояли синие и черные цифры. Выждав, когда столик остановится, игроки, столпившиеся вокруг рулетки, расставляли свои медяки, серебро и мятые рублевки по отдыхающим номерам. Затем хозяин толкал диск снова, и вместе с номерами начинали кружить отделивающие цифру от цифры выступы гвоздей. Сбоку из надставки, высунувшись, как шпага Мюнхгаузена, отсчитывающая дробь верстовых столбов, торчало острое, пестрооперенное перо. Сперва оно шуршало, быстро скользя по мчащимся мимо столбикам, затем движение постепенно замедлялось — теперь можно было видеть, как перо, выгибаясь при встрече со столбиком, все неохотнее и неохотнее уступает ему дорогу; вот оно будто и решило остановиться, на этой вот черной цифре, но медленно пододвинувшийся гвоздь отстраняет гибкую преграду; значит, синия? Нет, остаток инерции пододвигает еще одну желсзную вертикаль: это последняя схватка двух борцов, гибкого перышка со сталью, — дюжина приостановленных дыханий — и гвоздь, с трудом дожимая противника, бросает перо, распластанное теперь поверх неподвижной черной клетки.

Почти в такую же игру, находясь на кружащей шаги и голоса базарной площади, можно сыграть с переулками, сбегаящимися в площадь. Помню, я поставил на черное, на тишину — и выиграл. Несколько поворотов по первому попавшемуся переулку — базар как отрезало: я стоял перед одетым в молчание и тени старинным мазаром, «усыпальницей святого». Вокруг, сросшись

стенами, молчала глина домов; все их дверные створы были поджаты друг к другу, как губы молчальника; о двухэтажности домов можно было только догадываться, так как окон не было (если не считать редких и узких прорезей). Вокруг не было ни единого человека; даже зеленовато-серая пыль не показывала мне ничьих следов, кроме моих. Только у одного из порогов лежал спящий пес: разбуженный, может быть, моим запахом (я стоял неподвижно), он приподнял голову, но не залаял. Казалось, молчание мазара распространяется вокруг, оно центробежно, в противоположность центростремительной, звукособирающей силе базара, сметающего невидимой метлой все шумы и пришумья старой Бухары — от Каршинских ворот до Тали-пача — в себя.

Это не единично. Даже в относительно шумных (по сравнению с Бухарой, разумеется) Ташкенте и Самарканде мне нетрудно было отыскать и даже нанести на схематические планы городов — россыпью черных точек и пятен — «узлы молчания». Ведь когда струна даже звучит, на ней есть точки совершенно неподвижные и никак не участвующие в звучании: это ее, так сказать, струнные мазары.

Археолог Вяткин утверждает, что теперешнее расположение улиц Самарканда почти совпадает с планом тимуровых времен. Только русла базарных улиц, несущих на себе основной человеческий поток, были несколько распрямлены и расширены во второй половине отошедшего века.

Молчание щелисто-узких улочек, прилегающих к мавзолею Гур-эмира, мазара Ходжи Даниара над обрывистым берегом Сиаба или иных тупиков старого Ташкента совсем иного тембра, чем тишина замоскворецких тупиков и переулков. Отстой молчания здесь, на Востоке, гораздо гуще и наложенное.

Производились опыты, подтвердившие предположения некоторых физиологов и лингвистов, что мы всегда мыслим вслух. Особыми вогнутыми звукообирающими поверхностями удалось добиться того, что мышление — правда, лишь на отдельные мгновения — было сделано слышимым. Очевидно, при возникновении в мозгу того или иного звукового (особенно словесного) образа, голосовые связки дают строго соответствующую, но чрезвычайно слабую вибрацию. Со временем, усовершенствуя эти звукоусилители, может быть, мы научимся вылавливать мышление из-под глухо сомкнутых черепных костей, выводить в звучание все — до мыслей, тайных не только от других, но и от себя. Скоро ли это будет, не знаю, но знаю, что иные ведущие в конденсированную тишину зигзаги старых узбекских городов являются естественными резонаторами того внутриголовного шепота, который мы называем мыслью. Эти «узлы молчания», колодцы беззвучия почти что возвращают уху еще не сказанные слова. Принцип эха, который, вероятно, ляжет в будущем в основу конструкции чувствительнейших мыслеотражателей, уже сейчас отражен в сконструированности иных узбекских слов, передающих типичные звучания, граничащие с беззвучием: джилдир—джилдир (çıldır-çıldır) — слово, изображающее журчанье арыка; чир-чир (cir-cir) — звукоподражание стрекоту кузнечиков; шатыр-шатыр (şatır-şatır) — шелест листьев; буль-буль (bul-bul) — соловей, соловьиное пение.

Если углубиться несколько далее во время и в Восток, то мы найдем в истории Китая несколько отрывочных сведений о древнейшем (VI век до нашей эпохи) философе Фу Ги, авторе книги «И-Кинг», который, пытаясь зарисовать «молчание земли», изобразил его в виде двух повторяющих друг друга, тушью нанесенных линий. А именно так: — —

Арка и купол

При приближении к Самарканду меня встретила тугоизогнутая мостовая арка, анахронистически называемая Тамерлановой. Сейчас, когда я возвращаюсь, после обхода самаркандских раритетов, к себе в худжру медресе Тилля-кари (почти все экскурсбазы Узбекистана расположены в старинных духовных университетах), я прохожу через арчатые ворота, вводящие в прямоугольный, выстланный древними плитами двор медресе. Всякий раз я приношу толстый слой пыли на сапогах и яркое кружение арабесок в глазах.

Впрочем, за арабесками, орнаментами из цветных кирпичиков и узорами поливы незачем и ходить. Стоит только сесть на пороге мосей кельи и смотреть: внутренние стены двора под пестрым налетом арабических извилий.

Многоповоротные узоры из кирпичных уступов и спутавшихся линий чем-то напоминают многоповоротность и запутанность улиц старого Самарканда, и вся стена похожа на план восточного города. Мысли нетрудно заблудиться в этом настенном городе линий. Орнаментальные узоры, разыгранные в тональности синезеленого или желто-белого, незаметно для глаза переходят в фигурные буквы цитат из Корана, а излом лесенок цветной кирпичной кладки столь же неожиданно превращается в древние куфические надписи.

Как расшифровать трудные шифры восточного узора? Я пробовал было так: прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками а и б; арабеск самая длинная из всех возможных линий, какими можно соединить а и б. Синие изгибы на стене как будто бы и соглашались со мной, но самой своей выгибью напоминали: слишком

прямолинейно для истины; по крайней мере, для восточной истины.

И мне вспоминается побасенка, которую я слышал недавно в чайхане: жили-были правда и неправдивый человек; правде было противно встречаться с неправдивым, а неправдивый боялся встретиться с правдой; и они ходили всегда по разным сторонам улиц — человек по левой, а правда по правой. Но однажды человек подумал: «А вдруг я попадусь на глаза правде — лучше отойти в сторону». Но и правда тоже подумала: «Лучше мне отойти в сторону, а то еще, чего доброго, встречу недоброго». И они оба — правда и человек, — чтобы не встретиться, сошли с пути — и оттого встретились.

Но я тоже сошел с пути. Возвращаюсь к теме. Когда узбекский дехканин сеет рис или насаждает овощи, сев и рассада у него стеблятся тесно, потому что земли у дехканина мало, в обрез. Но и рука художника, засеявшая растительным орнаментом вертикальные поля узбекских мадрасс, действовала так, как если б пространства ей было отпущено в обрез. Среди немногих сохранившихся имен встречаются персидские и даже китайские. Трудно поэтому догадаться, существует ли в данном случае хотя бы дальняя психологическая тропа от навыков обработки поля омачом к художественной проработке проблемы заполненности пространства.

Но сейчас не только в глазах, в мыслях пестрит от собранных в память линейно-точечных сложностей. Лучше о чем-нибудь простом, как.. полукружье купола или выгиб арки.

Эти два образа неотступно следуют за мной из города в город и из улицы в улицу, давая зрительные реплики почти на каждый поднятый взгляд. В сущности, все пространство всех узбекских городов — от поверхности земли до поверхности кровель — исчерчено арчато-купольным росчерком.

Если, взяв в руки лук, постепенно оттягивать его тетиву, то полуэллипс лука начнет круглиться; можно прервать натяжение имменно в тот момент, когда выгиб лука будет близок к окружности: это поперечное сечение купола; но если длить выгибание лука так, чтобы преодолеть его коэффициент упругости, лук хрустнет и сломается как раз в центре кривой: линсый момент его гибели и будет — арка. Если в этом будет участвовать и правильно наложенная на тетиву стрела, то направление ее точно совпадет с направлением линии, называемой в архитектуре: стрела арки.

Какой-нибудь житель Бухары, встав поутру, пьет свой утренний чай из чайника с арчатым заостренным носиком и, вынув из ножен свой забравшийся внутрь ножен вместе с рукояткой нож, режет его двусторонним арчатой формы лезвием овощи. Затем, надев поверх тюбетейки арчатой формы шляпу (они именно сейчас очень распространены в Бухаре), он берет стоящий в углу заступ, имеющий постепенно суживающуюся к концу в виде арки форму, и идет по хозяйству во внутренний двор. Здесь его ждет арба и лошадь. Подобрал на заступ осыпавшуюся со стены глину, он впрягает лошадь в арбу; хотя лошадь и не пойдет под верх, но на спине ее закрепляют тяжелое седло с торчащим из него большим — строго арочной формы — деревянным придатком. Можно выезжать. Шум рынка доносится уже из-за стены двора. Но бухарец забыл туфли, он возвращается за ними, и тут — не бухарец, разумеется, а глаз стороннего наблюдателя — видит, что даже стельки, вдетые в туфли, вырезаны по аркообразному шаблону, подтвержденному рядом синих или красных линий, в виде системы арок, вписанных одна внутри другой. Бухарец выезжает на площадь, что у Каляна. Образ арки, спрятавшийся под пятками владельца арбы, точно выпрыгнув со свесив-

шейся туфли, разворачивается теперь гигантскими арками противостоящих друг другу фронтонов мечетей Кальян и медресе Мир-араб.

Если подойти ближе к их сломанным каменным аркам (бухарец опять-таки и не подумает этого сделать — ему надо продать свои овощи, и только), то внутри арочных вдужий высоко над землей глаз различит ячеистой формы каменную лепку, взбирающуюся под самый арочный слом; это мастерски проработанная — во всех возможных вариантах — уже не плоскостная, а стереометрическая аркограмма. Если затем войти внутрь арочной навеси во двор медресе, то вошедшего сразу же окружают легко взнесенные в виде аркообразных сферических треугольников окна келий вдоль внутренних стен медресе. Если... но так можно продолжать до бесконечности. Вся жизнь жителя старого узбекского города точно в арочном плену. И даже когда он умрет, его понесут на кладбище, что за городской стеной, покрытой арочноподобными зубцами, и заруют в землю столь знакомой ему арковидной лопатой, прикрыв, если только покойный был достаточно богат, каменным надгробием, имсющим форму длинного ларца с острым, аркообразно выпнутым верхом.

Если он богат. Но если он беден, то может рассчитывать лишь на обыкновенную полушаровидную земляную насыпь в виде неясного купола с двумя-тремя опознавательными кирпичами или обломками камней поверх. Купол, в отличие от иронически выгибающей свои каменные брови изысканной арки, более приземист, демократичен и общедоступен. Если идти в нисходящей гамме: синий купол неба — куполообразная юрта — в юрте человек в звездчато расшитой тюбетейке, в руках у него опрокинувшийся куполок пиалы. Купол не взбирается здесь (как в зодчестве Византии) на слишком

большие высоты. Каменной тубетейкой прикрывает он все старинные здания рынков Бухары и Самарканда. С несколько даже показным смирением обнажает он свое плоское глиняное темя над мазарами исламистских святых. Не брезгует круглиться над грязной водою полу-крытых в землю бань. В медных, вдавленных в очаги куполах, называемых казанами, спокойно дозревает под паром палая (плов) и беспокожно ворочается с боку на бок мертвый баран.

Пиала у губ

Из всех куполов Узбекистана глаза мои, пожалуй, больше всего сдружились с маленьким фарфоровым куполом пиалы. Почти весь туркестанский день проходит в игре в прятки с солнцем. Отыскиваешь себе завесу тени и прячешься в нее. Но солнце, пошарив горячими пальцами, вскоре тебя находит и отдергивает черную завесу. Ты найден. И игра начинается снова. Были, вероятно, времена, когда какой-нибудь метр тени ценился дороже метра шелка. Производство теней, благовременное изготовление их в нужном для хозяйства и жизни количестве — предмет величайших забот местного населения. Окна всюду узки и сощурены, как узки и сощурены глаза жителей степей. Насаждаются, в целях теневодства, деревья, при мечетях (как при старой Биби-ханум) строятся особые каменные навеси, защищающие от удара солнечных лучей. Но самое лучшее средство от жары — ничегонеделанье в чайхане. Чайхана вдвигается в улицу — поперек движению — своими деревянными помостами. На помостах с наступлением дня расстилаются ковры, а сверху — в защиту от солнца — дикт и циновки. На ков-

рах сидят люди, подогнув под себя ноги и полы халата. Рядом с ними чайники, пиалы и снятые с ног туфли. Эти плотно поджатые, с акробатическим вгибом, ноги — предмет моей зависти. Как я ни усаживаюсь, стараясь вобрать внутрь торчащие врозь колени, классической восточной позы у меня не получается. Я чувствую себя как секундная стрелка, пересаженная на ось стрелы, отсчитывающей часы. Даже чай под крышечкой моего чайника странно медленно набирает зеленый цвет. Пока пиала ждет чая, подставляю глаза улице. Посредине ее стоит человек в бурнусе, подвязанном нестрой косынкой, треугольно свисившейся сзади: он погружен в газету, неподвижно впластавшуюся бумажным двукрылием в воздух. Гигантские колеса арб, трусца ослов и шарк туфель огибают газету стороной. Вот ослик, впрягшийся в корову: веревка, одним концом прикрепленная к хомуту ослика, другим привязанная к рогу коровы, туго натянута; подрагивая ушами, маленький ишак тащит живой груз, как буксир неповоротливую баржу.

Наливаю пиалу до краев и подношу к губам.

Но другие пьют не так. Вот двое в круглых бухарских шапках с меховой оторочкой. Они сидят друг против друга на подгибах ног. Один налил пиалу на четверть ее глубины и вежливо пододвигает соседу. Тот, не торопясь, пьет. Затем, с видом человека, обдумывающего ответный ход, наливает чуть-чуть, у донца и возвращает пиалу. Пиала опустела, и снова легкий наклон чайника и новый ход неполной пиалой. Таков здесь обычай. По преданию, пророку Мухаммеду пришлось как-то скрываться от врагов в маловодной пустыне. Чаши его и его спутников никогда здесь не были полными. И в память об этом магометане пьют из неполных чаш. Мало того. Поскольку не установлено, в какой из месяцев года блуждал Мухаммед по безводной степи, то и поминальные дни рузайта (праздника, посвященного этому эпизоду)

стали блуждающими днями, с каждым годом перекочевывающими из месяца в месяц: в одном из них должны же они нагнать изгнанного пророка.

Обычай неполных пиал прорастает своими корнями гораздо глубже религии. Не только пиалы, но и все колодцы туркестанских равнин хранят воду лишь у самого дна. Их черный пунктир, отмечающий караванные пути на карте, до странности редок и разрывчат. Страна блуждающих песков, ссохшихся такыров, солончаков и лесса изжаждалась по воде. Поверхность ее растрескалась от засух. Плоские поля, точно ладони нищих, поставлены под дождь. Они просят хотя бы мелких дождинок. Тщетно. Зачастую с мая по октябрь — ни единой капли. Богара сгорает, не дождавшись влаги.

В краю, столь обделенном водой, неполная пиала является напоминанием и символом. Вопрос о «су» — вопрос жизни и смерти. За водой, как и за тенью, охотятся; ей расставляют сети ирригационных каналов, устраивают ей колодцевые капканы. Но стихия противится: она забирается под донья колодцев, прячет устья рек в песок. И Мухаммед в своем Коране не просит о неиспитии чаши. Образ этот в стране, где повсюду грозит смерть от жажды, совершенно бессмыслен.

Старинные орнаментальные надписи Самарканда называют обычно эмира или бега «тенью Бога на земле». Этим надписи льстят не только бегу, но и Богу. Плох Бог, не осеняющий тенью, и самая светлая его сторона — это тeneвая.

По мусульманскому преданию, вместе со смертью человека закрывается «книга деяний» его. Но книгу эту и после кончины можно приоткрыть, если заблаговременно составить у казия «Вакфнамэ» — завещательное распоряжение о том, чтобы оставленная сумма шла на приобретение и бесплатную раздачу холодной воды, сараджу, — всем прохожим, мучимым зноем.

Сама природа этих сожженных равнин — это сплошное «моление» о влаге. Туркестанские сухостои, чуть приподнятые над землей, почти целиком ушли в свои корни: нити их, длиннющие вглубь и вглубь вдогонку за спрятавшимися под почву каплями, достигают иногда очень значительной протяженности.

Это здесь кочует — среди казахских кочевий — странное растение, странник: богородицына ручка (или перекасти-поле). Растение это сперва располагает свои ветви по радиусам от корня, расстилая их кругообразно по земле. Но когда ему настанет время плодоносить, «ручка» загибает свои ветви внутрь, точно сжимает распяленные пальцы в кулак, и, зажав в нем свои семена, отрывается от корня и отдается ветру. Толчки ветра несут шарообразные перекасти-поле, помогая ему разыскивать влагу. Для большинства этих растений поиски оказываются безрезультатными. Пересекая казахстанскую долину, из окна вагона можно видеть эти мертвые восково-желтые, но все еще грозящие кулаки перекасти-поля. Полотно дороги перегородило им путь, и они погибли — в отрыве от своих рук.

Но иному из перекасти-полсей удастся доехать до влаги. Тогда зеленая рука распрямляет свои пальцы и роняет семена на землю. Для самой руки — это предсмертный, агонизирующий жест. Но семена дают проросли — и приключенческая жизнь перекасти-поля передается новому поколению.

Удивительны гидроприспособления желудка верблюда, этого «корабля пустыни», часто — в кильватерной колонне — пересекающего сотни километров безводья. Перед отправкой в путь желудок верблюда наполняют водой — совершенно так же, как бак автомобиля — бензином. Воду из ближайшего хауза черпают бурдюками и, вставив рукав бурдюка в горло верблюда, как в воронку,

запрокидывают бурдючное дно. Но вода не рассасывается в теле верблюда. Одна из частей сложного желудка животного, так называемый рубец, состоит как бы из ряда плотно составленных небольших пиал, раскрытых внутрь. Вода, поступающая по пищеводу, попадает в эти поставленные под нее углубления, и они, по мере наполнения, закрываются действием стягивающей мускулатуры. Таким образом, запас воды оказывается распределенным по семистам—восемистам хранилищам. По мере надобности хранилища эти — одно за другим — возвращают воду желудку. В дополнение к этой внутренней системе водозагрузки по обе стороны верблюжьего горба снаружи подвешивают узкие бочки с водой, и «корабль» снаряжен к рейсу через песчаное море.

Но мой чайник отдал все до последней капли. Пора уходить. Я приподымаюсь с ковра и только сейчас замечаю прятанную под мой подошвой деталь узора. Это затейливый рисунок цветка. Кажется, розы. А может быть, и нет. Не угадаешь, настолько своеобразен рисунок. Лепестки плоского цветка женственно вогнуты внутрь, будто пряча что-то под своими вгибами. И что страннее всего — этого не затоптали наши подошвы, — у каждого из лепестков своя окраска, свой цвет. Я стою, очевидно, слишком долго, наклонясь над ковром. Чайханщик, путая русские слова с узбекскими, спрашивает, не уронил ли я монеты — может быть, закатилась в щель? Но человек, сидящий у стены на подогнутых костистых коленях, понимающе улыбается и кивает мне:

— Это роза Салыра, — говорит он по-русски лишь с еле заметными гортанными и носовыми призвуками, — самый древний из ковровых рисунков. Сейчас уж его не ткут. А в садах такие и не цвели никогда. Выдуманый цветок, ха: салыр-гюль.

Салыр-гюль

Я перевожу взгляд на человека, познакомившего меня с вписанным в ковер, как в страницу пестрот, цветом: глаза под стеклом очков, чуть удивленные вздужья седеющих бровей, высокий, прячущийся под тюбетейку лоб; на губах, отговоривших слова, из-под стриженных усов выражение радушия и сугубой вежливости. «Наверно, он даже в мыслях и даже с самим собой всегда на вы», — мелькает у меня.

— Рехмет.

Мы обмениваемся кивками. Меня уже нет в чайхане. «Салыр-гюль: надо заблокнотить. Может пригодиться».

III

Чучванность

Обычно очеркисты, странствующие по касательной к Востоку, путают термины: паранджа и чучван. Благая проповедь о снятии паранджи подходит к женщине не с той стороны. Если даже женщина Востока и скинет паранджу, то лицо ее все-таки останется под чучваном. Паранджа — укрывает лишь затылок, шею и спину; ее длинные рукава, спускающиеся до самых пят и связанные у кистей шнуром, столь уродливо вытянуты, что для пропорционально им выкроенного тела понадобился бы рост вровень с кровлями одноэтажного дома.

Чучваны, к сожалению, еще не вывелись окончательно из быта старых узбекских городов. Наряду с яркими лицами узбечек, лицами, точно вылупившимися из черной скорлупы чучвана, нет-нет вдвигается в яркий день темная заплата, заштопывающая наглухо лицо. Делается она из конского волоса, сплетаемого в очень частую сетку.

Чучван, разумеется, не жилец на новом Востоке. Пропаганда срывает его, как срывают старую афишу со старой отыгранной датой. Но не только пропаганда. Чучван отлипает от лица, сам отшелушивается от него, как старая кожа, уступающая место новой. Он слишком долго прятал — теперь настало время прятаться самому.

Но исцеление от этой наднакожной болезни, от чужванности, идет постепенно, по определенным градациям.

Вот они:

глухой черный покров, плотно закрывающий все лицо; белый скупой узор по прямому краю, опускающемуся на грудь;

такая же черная завесь, но с прорединками для губ и глаз;

чужван, приоткрытый снизу, чтобы дать волю дыханию;

сеть чужвана отодвинута к плечу, но при встрече с глазами мужчин лицо поспешно прячется под набегающую ткань;

чужван отброшен через голову назад — он треплется, как ненужный мертвый придаток, все еще тянувшийся вслед за открытым лицом;

чужвана нет, — он снят, но при встрече с мужчинами лицо отдергивается в сторону и ресницы — крохотными чужванами — прячут глаза;

даже и ресницы не дают рефлекса при встрече с мужским взглядом, только на лице чуть-чуть... чужваншное выражение.

Особенно мне памятен один чужван, встреченный на самаркандском базаре. Это был порядком истертый, порыжелый от солнца старый чужван; жирный и высмальцованный в своей надгубной части, он привлекал к себе базарных мух: облепив его сетку, напомнившую мне те проволочные колпачки, под которыми раньше прятали всякую снедь, мушья стая взволнованно зудела и совала свои хоботки внутрь, пробуя проникнуть в тайну чужвана.

Кстати. Хору наших очеркистов, столь красноречиво и многословно пишущих о вопросе ясном без

слов, убеждающих в том, что не требует уже убеждений, надо бы вспомнить о своих музах. Восточная женщина сбросит свое покрывало, она его уже сбрасывает. Но почему иные — вовсе не восточные — музы до сих пор прячут свое подлинное лицо под чернильного цвета чуваном. Распропагандируйте своих муз, поэты. Не чувваном к правде, а лицом к ней.

Ремесло

Узбекский глагол «иок кылмак» (joq qylmaq) переводят обычно: истреблять. Дословно пришлось бы так: делать из есть нет.

Этим и занимались Александры Македонские, Чингисханы, Тимуры и Надир-бег-ханы. Истребление, делание из есть нет, было их ремеслом. Юре городам, к которым близились «царь и его пыль» (так одна старинная хроника называет войско, предводимое завоевателем). И недаром разрушенная стена Афросиаба — предка Самарканда — носила имя «стены последнего суда» (дивари-и-Кыямат). Надо отдать справедливость воителям, чьи войска маршировали из Согдианы в Бактриану и обратно: свое ремесло истребления они совершали с величайшей тщательностью. Города сжигались дотла, стены истирались в пыль, жители убивались поголовно — до детей, рожденных и вчревных включительно. Впрочем... И тут дань справедливости была бы недоданной, если не упомянуть о следующем обстоятельстве: ремесленники меча уважали соремесленников. А именно: профессионалов шила и дратвы, молота и клещей, иглы и ножниц. Как многократно рассказывают нам историки, завоеватели древности истребляя всех и все, — всегда

падали кузнецов, слесарей, каменщиков, кожевников, башмачников, портных. Они нужны были им, как воинствующим муравьям запрятанные под примуравейниковую кору тли. Калыч против калыча, меч против меча, был неверной и недолгой защитой, но шило успешно парировало меч, сохраняло жизнь — правда, ценою рабства. И конечно, роды ремесленников, передававших свое искусство от отца к сыну и от сына к внуку и правнуку, — самое древнее в этом много раз кряду омытом начисто кровью краю. Генеалогическое древо иного плотника, наверное, высоковершиннее и корнистее, чем иного саида или бега. Но плотники имеют дело со всеми видами древ, кроме генеалогического. Так, раздумывая, я вышел — в одно из утр — на площадь перед Тилля-кари. По одну сторону выводящей арки приютился «моментальный» фотограф, снимающий на арабесочном фоне мадрассы, по другую — расставивший на ковре свои калымы и свертки бумаги наемный скриба, строчильщик просьб и кляуз.

Прежде чем выйти из полосы тени, я выбираю меж «налево» и «направо».

Если направо, то за последней дверью Кари, приглашающей в Комстарис, несколько ступенек вниз, а дальше бесступенный наклон улицы, вдоль которой — вперемежечной чередой — зергеры и этикчи, ювелиры и сапожники. Сапожники, хоть они и под раскаленным солнцем, все-таки холодные сапожники. Из крохотных обрезков, кожаной рвани и истертых насмерть подошв этикчи, следуя технике лоскутного одеяла, слоскучивают башмаки и туфли. Под веселый пристуки молотков из множества слагаемых быстро вырастает сумма. Песне, подпрыгивающей под барабанный ритм молотков, над горлом, нельзя, не уколовшись, протиснуться сквозь губы, забитые деревянными гвоздочками, и поэтому ей

приходится выбираться наружу сквозь ноздри гнусавым η ($\eta\eta$). И рядом, весело задрав носы, стоят в ряд наскоро склепанные, вновь готовые плыть по пылевому морю Самарканда туфли.

А если налево... — иду налево. Там еще не все из пространства в память.

Пересскаю начинающийся меж стен Тилля-кари и Шир-дора базар, стараясь не задерживаться у подстилающихся всюду под шаги ковров, заваленных снедью. Впрочем, у одного из довольно пестрых расстилов любопытство к любопытству других заставляет меня замедлить шаг. Ковер, вокруг которого сгрудились два ряда непокупающих покупателей, продает не то, что на нем, а самого себя. Ковер как надо, что говорить, хорошей цены стоит ковер, но... — и кандидаты в покупатели сожалительно причмокивают и покачивают головами — как на похоронах: в углу — нет, не в этом и не в том, а вот здесь чуть поистерто. Продавец спорит: истерто? ха, так это же пыль. Совсем новый ковер. И, сорвав с бритой головы шапку, он отчаянно трет ею, стараясь стереть истертое место. Шея его набухла и покраснела от усилий, но в толпе смех: тащи в тень и продавай слепому, а тут... и два-три пальца показывают на солнце. И действительно, расшвыривающее пригоршнями золото своих лучей солнце не хочет бросить выбившемуся из сил продавцу хотя бы один лишний пул. Круг людей вокруг ковра рассеивается, но продавец, наклонив свое мокрое от пота лицо, все еще трет — уже механическим движением — нестираемую протерть ковра.

Но кому как. Неподалеку чистильщик сапог. Стряхнув пыль с подставленного ему ботинка, он накладывает указательным пальцем на кожаном подъеме один крупный мазок мази. Затем, откинувшись, позевывает и ждет. Солнце, точно нанявшееся к нему в подмастерья, в несколько секунд расплавляет и мелкими струйками раз-

мазывает мазь по всему ботинку. Теперь и мастеру, после передышки, можно братья за свои щетки.

Но ремесло не любит открытых площадей. Оно обычно окантовывает базар своими прижатыми друг к другу карханами (мастерскими). Кархана — это прямоугольный, почти квадратный ящик, величиной в семь-восемь раз больше гроба, поставленный на один бок и не прикрытый крышкой.

Какие-нибудь ишачьи подковки изготавливаются с той же наглядностью, как и шашлык (кебаб). Покупатель может наблюдать, как на его глазах сырое мясо разрезается на куски, потом шипит на жаровне и проворачивается на узеньких вертелах, а сталь накаляется докрасна, догибается и подправляется молотком; потом на шашлык машут кожаной лопаточкой, а сталь холодят — и подковы и блюда готовы: можно есть или подковывать тут же дожидającegoся флегматического ослика.

Остановившись перед тем или иным из опрокинутых коробов с ремесленником внутри, нелегко оторвать глаза от рождающейся вещи. Вот положенный на выступ доски медный кувшин. Его горло вздуто зобом, а круглый рот топырится наружу. По медной губе кувшина и бьет молоток. От каждого удара кувшин отдергивается на миллиметровый интервал и получает новые и новые удары, постепенно окаймляющие чередованием вгибов и выгибов его края.

Вот седельник. Он стягивает ивовые прутья поперечными связями, затем туго заматывает их в кожу и закрепляет кожаный чехол множеством мелких гвоздиков. Через короб еще седельный мастер. Здесь прутья уже до конца затиснуты в кожу, выгнуты заостряющейся книзу дугой и крепко связаны у концов. Хомут почти готов. Остается только растянуть его отверстие и уточнить форму. Для этого в лавке помещается особый пень, который отесан так, что ему придана форма омикрона,

к основанию постепенно расширяющего свой контур. Хомут напаян на пень, и седельщик, вскочив на раздувья хомута, пляшет на нем голыми пятками, наплясывая требуемый размер.

Вот изготовитель пятипалых вил. Прямая деревянная рука и виловое запястье с пятью короткими, врезанными ножом выступами готовы. Теперь надо подвязать пальцы. И пальцы ремесленника, проворно перебегая от ящичка с грудой сваленных в него деревянных пальцев, быстро прибирают, прилаживают и прикручивают лозовыми нитями дерево к дереву. Проворство, почти пианистическая беглость работающих пальцев, по сравнению с распрямленной неподвижностью пальцев сработанных, разительна. Такая техника может быть в фаланги лишь выграна множеством дней труда.

И куда ни взглянешь — всюду искусность, доведенная до своего предела. Но что дает эта ремесленная виртуозность самим виртуозам молотка, шила, клещей и резака? Грязный короб карханы, рваный халат, несколько щепоток наса в день и кусок серо-желтого, похожего на мыло сыра, валяющегося тут же вместе с инструментами, обрезками и опилками. Традиционное ремесло, передающееся от поколений к поколениям, древний ушталык Узбекистана осужден на гибель. Весь этот инструментарий дотимуровых времен, прапрадедовские точильные ремни, накрученные спиралеобразно на вал и вращаемые двумя руками, какие-то старинные бронзовые наковальни, ветхие крюки и прикрючья — все это не может бороться с машиной, бессильно против нее, как кремневое ружье против пушки.

Эта остановленность традиционного мусульманского искусничества и искусства равна выключению его из жизни. Культуры, слишком быстро нашедшие себя, тем самым себя теряют. Они выпадают из дальнейшей истории.

В Бухаре есть мавзолей Исмаила-саманида. Там же стоит медресе Абдулла-хана. Их отделяют друг от друга узкий переулочек и семь веков (X и XVI). А между тем оба одинаково прекрасны. И в этом «одинаково» — смерть: от прекрасности.

В течение этих веков рождались новые строители и новые постройки. Но строители эти были лишь душеприказчиками искусства. Они выполняли завещательную волю, отдавая работу и жизни посмертным произведениям архитектуры X века.

Однако, скитаясь по базару, нельзя позволять мысли отлучаться от окружающего. Вот я и опрокинул носком сапога какую-то миску с брызнувшими из нее вразбег медяками. Потрясенный нищий кричит мне вслед, ловко промодулировав из минора в мажорные выклики.

У поворота стены, возле маленького ослика, только что освобожденного от тяжести двух корзин, наполненных белым луком, и двух людей — дехканина и его жены — собралась кучка зевак. Среди них и дети. Старик в пестрой чалме, с видом заправского маддаха, рассказывает какую-то, очевидно забавную, историю. Слушатели поддакиваяюще качают головами и улыбаются.

Заметив мое непонимание, какой-то плечистый узбек, благожелательно повернувшись ко мне, объясняет. Другие — в моменты нехватки слов — помогают рассказу, кто фразой, кто словом, а кто и жестом.

— Это так — эртек, сказка.

— Почему у ишака длинные уши.

— Ха.

И постепенно — общими усилиями — им удается втолковать мне сюжет. Вот он.

У первого ишака — прапрадеда всех ишаков — уши были как уши. Но зато упрямяство было еще длиннее... то есть не больше чем теперь. Поэтому хозяин, идя за ишаком, должен был подгонять его палкой. Ишаку не нрави-

лось ни ходить под грузом, ни слышать, как палка ходит по нем. И вот однажды, оставшись наедине с палкой, он ей сказал: «Почему бы тебе не выбрать другое место для прогулок; правда, ребра мои кривы, но улицы Самарканда еще кривее». Палка отвечала: «Я бы и сама предпочла быть третьей ногой старого муллы, идущего в мечеть, чем погонять четыре ноги ишака, идущего на базар. Но бью не я: мной». «Так как же нам быть, — спросил осел, — чтоб реже встречаться?» «А вот как, — отвечала палка, — найдем в сторожа воздух — пусть он свистит всякий раз, когда мной размахнутся. И ты убегай. Приятнее ударять по мягкой пыли, чем по ишачьему ребру». Воздух согласился, и они стали делать, как было условлено. Перед каждым ударом палка предупреждала воздух, воздух свистел, и ишак отпрыгивал. Но ничего не выходило. Пока палка успевала сказать воздуху, пока воздух складывал губы, чтобы свистнуть, пока свист доходил до ишачьего уха и пока ишак успевал отпрыгнуть, рука хозяина настигала бок и удар попадал туда, куда хотел попасть. Тогда стали совещаться все четверо: ишак, палка, воздух и свист. Свист сказал: «Я бы, пожалуй, успел обогнать руку, если бы мне не так далеко было бежать». Тогда палка, подумав, сказала так: «Если я пододвинусь к ишаку б л и ж е, то мое ближе, боюсь, перегонит б л и ж е свиста; воздух всюду — и ближе и дальше, — а где воздух, там и его губы, а там, где его губы, там и свист. Значит, мы ничем не можем помочь ишачьему уху, придвигаясь к нему: надо, чтобы ухо само выходило навстречу свисту, и тогда все уладится». «Но как же уши могут ходить навстречу звуку, — спросил осел, — я этого не понимаю». — «Очень просто, — отвечала палка, — мы, растения, понимаем это лучше других. Мы знаем, например, как ходить навстречу солнцу. Ходить — это значит расти. Надо научить твои уши ходить». — «Туда и обратно?» — «Нет, мы — растения — никогда не ходим обратно: ведь каждую ми-

нугу из-за облака может показаться солнце, надо быть всегда готовым его встретить; так и тебе — каждую минуту может упасть удар, стоит уху повернуться к нему спиной и уйти обратно, как спину (не его, твою) посетит боль». Палка вспомнила то время, когда у нее был корень, пивший воду из арыка. И она научила ишака, как растить уши. Теперь он не пропускал ни одной лужи, чтобы не остановиться перед ней и не опустить уши в воду. И постепенно уши ишака стали длинниться. Настал наконец долгожданный час, когда ухо, вышедшее навстречу свисту, уловило его раньше, чем палка успела домахнуться до ребер. Все были довольны. Кроме человека. А человек хитер: видя, что длина ишачьих ушей побеждает длину его палки, он придумал такое. Нагрузил ишака, сел ему на спину вторым грузом, а позади на крестце посадил жену. Он не забыл также взять с собой и палку. И бедному ишаку длинные уши теперь ни к чему. Он не только должен нести на себе тяжесть груженных кошм, хозяина, хозяйку, палку, но еще и ее свист в ушах. И ишак разгружается как может: хозяина не сбросишь, только прибавится ударов на ребрах, хозяйку тоже (она крепко держится за две спины), палку тоже (она зажата в руке), и ишаку только и останется, что вытряхивать из ушей свист. Все-таки легче. Вот почему он всегда прядает ухом. Что ж, всякий помогает себе в пределах возможного. Но ишаку не нравится мой рассказ — видите, как вытряхает он его из своего слышания. Ну, а вам?

Соседи

Сегодня, начав свой день еще до света, я иду путем гробниц. Сперва довольно длинная прогулка по Енгийолу (Новой дороге) к гробнице (и медресе) Ходжи

Ахрара, потом обратный путь под успешным нагнать меня зноем и краткий прощальный визит к шестисотлетнему мертвецу, Тимур-ленгу, принявшему меня лежа, под нефритовым одеялом, в своей мрачной, под цвет его темпераменту, усыпальнице. Потом гигантские древка знамен Рухад-абада, безливыми деревьями смерти вытянувшиеся под самый яйцевидный купол абада (место вечного отдохновения).

Далее — мимо распавшегося в каменную труху надмогилия Биби-ханум (что против мечети ее имени) — к подножию Шах-и-Зинда. Шах-и-Зинда — это целая череда погребальных склепов, точно в обгон друг другу, вскарабкивающихся по крутому склону холма, в смерть. Марши ступенек помогают следовать по иссохшему руслу прошлого, от одной гробничной арки к другой. Тут довольно пестрый набор тлена: сестра Тимура, кое-кто из эпигонов, шедших вслед за «железным хромцом»; наконец, на гребне холма полулегендарный «шах-и-зинда» (живой царь) Кусаибин-Аббос, родственник и современник Мухаммеда, якобы впервые принесший на эти мертвые теперь холмы его религию.

Вот они, когда-то носившие на себе груз городов, пустые теперь холмы Афросиаба. Стоит сделать два-три десятка шагов, и вместо мозаичного пола мазара бин-Аббоса под ногами растрескавшаяся поверхность древнего городища. Оно — почти до того места, где линия горизонта совпала с огибающим Афросиаб Сиабом, — покрыто мелкой сыпью могил, обыкновенных, не мазаризированных могил. Именно эти, из иссохлых комьев вывороченной заступом земли могилы и строили величественные могильники ханов, шахов, бохадуров, ходжей и саидов. Но вместо голубеющих камней мазарного свода над ними общий для всех пыльно-голубой купол; вместо звездчатого орнамента и зеленой вязи линий стен и пола мазара вокруг них бледно-зеленый извив и иглы

мизерной верблюжьей колючки, джантака. Я пересекаю по прямой поросший смертью мертвый город и выхожу на Ташкентскую дорогу. Здесь, у ее обочины, я вижу пасущегося верблюда. Его брюзгливые губы терпеливо жуют джантак, густо припыленный пылью. Его шея, выгнутая, как знак интеграла, неотрывно наклонена к иглам джантака. Точно он пробует пройти в ушко каждой из игл; но кончается тем, что не верблюд сквозь иглу, а игла сквозь верблюда.

Усталость торопит меня назад — из-под зноя в прохладу мой хуждры, — но она же замедляет мой шаг. В результате я с трудом добираюсь до Регистана. Но тут в память всплывает уже несколько дней кряду мучающая меня строка путеводителя: «к Ю. от Регистана, в ста шагах, находится гробница шейбанидов, известная среди населения под именем Чиль-Дукторон». Я затратил несколько тысяч шагов на прохождение этих ста шагов. И всякий раз переулки запутывали меня. Чиль-Дукторон, «Сорок Дев», гробовой восьмидесятиножкой ускользала от глаз.

Решаюсь. В последний раз. Спрашиваю пожилого человека в белой чалме муллы (я заметил — они лучше других знают топографию старины). Спрошенный недоумело оглядывает меня: мой измученный и пропыленный вид красноречивее просьб.

Кивнув, он молча ведет меня кульбитами переулков. Стараюсь запомнить их повороты, чтоб выбраться потом обратно. Но раньше, чем я успел отсчитать четыре «налево» и три «направо», мы уже у цели. Ворота. На них доска Узкомстариса: Чиль-Дукторон.

Но ворота плотно сомкнуты, и на них висячий замок. Ключ? Стучу в дверь глиняной хибарки, прислонившейся к краю высокой саманной стены, спрятавшей гробницу. Дверь открывается. Из полутьмы, вместе с запахом грязи и юфти, желтое с провалами глазниц и щек

лицо. Вероятно, сапожник. О ключе он ничего не знает. Иногда приходят, да, открывают ворота, потом закрывают и уходят опять. Но я твердо решил если не ногами, то хоть глазами пробраться внутрь. Пробую вскарабкаться на стену. Но не за что уцепиться — обрываюсь. Видя мои усилия, сапожник сочувственно, даже жалостливо качает головой. Спрашиваю, не найдется ли лестницы? Нет. Ну хоть бы табурета. Сочувственник опускает глаза и молчит. И тут, заглянув внутрь его темного короба, я вижу всю неуместность вопроса. Под плоской, из обмазанных глиной плетенок кровли такой же плоский пол — и все. Ни стола, ни скамей, ни лежанки. Только в одном углу настил из рогожи, а посередине какой-то задымленный казан, несколько инструментов и обрывков кожи. Я готов уже отступить, но хозяин лачуги предлагает использовать вместо лестницы поперечные перекладины двери. Снимаем ее с петель и верхним концом — к стене дукторона. Он поддерживает доску, я с трудом, после двукратной неудачи, все-таки взбираюсь на стену. Внизу, в глубокой яме, заголившей кирпичный фундамент, свалены в груды ребристые из почерневшего мрамора надмогильные плиты. Считаю: двадцать — двадцать два — двадцать восемь. Меж плит проросли крапивы и еще какого-то сорняка. Спускаюсь назад. Водворяем дверь на место. Извинившись в причиненном беспокойстве, поворачиваюсь, чтобы уйти. Но бедняк останавливает меня вопросом:

- Там за стеной что смотрел?
- Как, разве вы ни разу не видели?
- Нет.

— Ваши соседи — цари Шейбаниды. Лет четырехста тому назад им принадлежала вся страна. Все камнетесы, кузнецы, плотники, сапожники — как вот вы — работали тогда на них. Тут их должно бы быть около сорока, но на самом деле...

Сапожник, махнув рукой, равнодушно отворачивается от стены. Попрошавшись, я ухожу. Переулки благополучно выводят меня на площадь.

Из всего классического пантеона, в сущности, больше всего прав на бытие у Немезиды. Все насильственно вторгшиеся в память народа, естественно, этой памятью и отвергаются. Все эти шейбаниды умирают дважды, попадают под двойной поворот ключа забвения: сначала умирают они сами, потом начинается умирание их гробниц. Я не все рассказал сапожнику. Гроба шейбанидов, первых узбекских властителей, тяготевших над страной более сотни лет, поросли не только сорняком, но и легендой. Легенда эта, превратившая полководцев в «Дев», рассказывается так. Некогда жил человек, изучавший звезды. Издалека ему прислали ценный и редкий астрономический инструмент. У изучателя звезд было сорок дочерей и один сын. Он запретил им всем, грозя смертью, прикасаться к прибору. Дочери были любопытны, но сын, которого притягивал таинственный звездомер, как-то в отсутствие отца стал поворачивать его колесики, пересекающиеся круги и трубу. Нечаянное движение сломало инструмент. Боясь наказания, брат просил сестер спрятать его. Те сделали, как он хотел. Разгневанный отец, увидев, что прибор испорчен, стал вызывать одну за другой своих дочерей, требуя раскрытия виновника. В ответ череда из сорока молчаливых. И сорок смертей: отец не пощадил ни одной из ослушниц.

Легенда груба и примитивна. Это быль, данная вразбивку и перемешанная с небылью. В начале XVI века жил действительно царь и астроном мирза Улугбек, но он не был из рода шейбанидов и не убивал своих детей, а, наоборот, сам был убит своим внуком, захватившим престол. Следы его астрономической обсерватории недавно отысканы в окрестностях Самарканда. Следы леген-

ды теряются в смутном и спутанном, от поколения к поколению искажаемом воспоминании. Так или иначе, но и с легендами шейбанидам не повезло. Но легенд нельзя искать на пути могил. Трудно улавливаемая тропа легенды может быть найдена не столько видением, сколько угадкой. Если история требует, как говорят, «чувства истории», то легенда еще требовательнее. Легенды, как и растения, растут лишь по ночам. Следование за этими странными образованиями и исследование их возможно при наличии как бы особого легендоскопа, мозгом, улавливающим сквозь историческое «было» столь же историческое «могло бы быть». Малейшее нарушение этого аппарата — и погибают сорок сороков легенд, дев, не родивших... факта.

Путеводитель по небу

Бюргер из немецкого анекдота, удивлявшийся, от куда господа студенты узнали имена звезд, разумеется, наивен, но не на все сто.

Хорошо, когда ощущаешь звездные точки на расстоянии световых годов. Но когда в прозрачные самаркандские ночи ощущаешь звезды странно приблизившимися, не щурящимися сквозь мировое пространство, а глядящими на тебя в упор расширенными изумрудными зрачками, — появляется чувство некоторой астрономической неловкости. И помнится, я не раз жалел, что «Путеводитель по небу» (Покровского) остался там, в Москве, на нижней полке.

Но если общаться с людьми ли, с звездами, не зная или путая их имена, невежливо, то знакомиться с кушаньями чужой страны, заходить в этом знакомстве так далеко, что даже съесть их, не интересуясь при этом их

именами, — это уже попросту хамство. По приезде в Самарканд я постарался тотчас же завязать самые дружеские отношения с жителями жаровен, разогретых казанов, сковород, горшков и вертелов.

Они, мои новые знакомцы, не хватали грубо за полы, как это делают порой их продавцы, а осторожно брали за ноздри, прося остановиться. Запахами, шипением, бульканием, скворчанием они всячески к себе зывали, себя не называя.

Поэтому пришлось прибегнуть к такому методу. Присев на корточки возле незнакомого мне кушанья, я просил продавца его назвать имя снеди. Те обычно удивлялись: едят ведь не имена. Но я настаивал. В результате нёбо получало новое вкусовое ощущение, а блокнот новое имя.

Со временем я собираюсь написать пространный «путеводитель по нёбу». В него войдут все гастрономические импресии, какие может дать восточный базар. Но здесь я притронуся только к нескольким клавишам того широко диапазонного инструмента, какой представляет собой даже теперешний, требующий настройщика самаркандский базар. Ведь иные из клавиш западают, иные струны фальшивят. Так классическое поляу (плов) детонирует из риса в крошечную морковь (за недостатком риса).

Итак, в путь. Голод при мне. Фляга тоже. Зачем фляга? Видите ли, баран даже после смерти превращается в бурдюк, полный вина, а все здешние яства так пробаранены, что если время от времени не смывать жир с губ глотком из фляги, то... Ныряю под вывеску Узбвинторга. К вывеске прислонен плакат, изображающий человека, утонувшего в бутылке. Мертвец синь и вздут, изо рта его кверху пузыри. Но это никого не пугает. Водку здесь цедят прямо из бочек. Во что угодно и сколько угодно. Можно принести бутылку, кувшин, консервную коробку, ведро и положить на стойку десять червонцев, червонец,

рубль, полтинник, двугривенный: кран откроется или приоткроется и отольет или откапает копейка в копейку. Я видел однажды нищего, который, подойдя к бочке, высыпал целую грудку медяков; здесь было не менее двухсот скудных человеческих состраданий, быстро и точно превращенных сидельцем в капельно-жидкое состояние.

Разминувшись с утопленником, выхожу на базарную площадь.

Прежде всего надо приобрести нан. Наны лежат друг на друге как грампластинки: это плоские «лепешки», как тщательно выговаривают продавцы, не жалеющие трех ударений на одно слово. Желтовато-белая поверхность нана в легком точечном узоре. Если разрывать это хлебное колесо на ломти, то оно легко вкатывается в желудок. Вот у стены всхлипывает, захлебываясь в своем собственном жиру, беш-бармак. Беш-бармак по-узбекски значит «пять пальцев». Впрочем, едят его всеми десятаю, пуская в ход обе «адамовы вилки». Блюдо получается от тесного союза теста и мяса: сначала вываривают из барана жир, и в тот момент, когда мясо готово им захлестнуться, тесто бросается на выручку, ныряя в жир; затем друзья дают себя — друг ради друга — резать на куски, с тем, чтобы после любовно смешаться в единый беш-бармак.

А вот баран в задумчивом посмертном одиночестве. Он лежит в монументальном казане, подпертом железными колонками; под тушей медленный приглушенный огонь; только редкие жирные слезы каплют на дно казана — покойный сдержанно оплакивает себя самого; над гордо выпяченным курдюком белый — под цвет ему — бумажный свод, архитектурно завершающий мавзолей коя. Из курдюка, взятого отдельно, можно приготовить особое блюдо, так называемое думбе. Но не будем отвлекаться.

Если дать человеку, стоящему на страже у бараньего мазара, рубль или два, то он отрежет вам: кусок? Нет — так бы сделали у нас в Москве, на Болоте — самаркандский же баранопродавец отрежет или оторвет пальцами целую серию крохотных кусочков, почти невесомых сувениров о самых различных частях бараньей туши.

Рядом с коем, на огромной черной сковороде расположена целая семейка четырехногих чучвере. Это нечто, напоминающее наши пельмени. Но мучнистое тело чучвере сложено несколько иначе, чем у сибиряка-пельменя. Приземистый чучверс задирает все свои четыре припудренные мукой носика прямо в зенит.

Пересадка: со сковороды на тарелочки, расставленные вокруг нее. Чучвере разлучают. Тщетно они цепляются прижаренным подом за сковороду. Грубые толчки вилкой в бок, щепоти красной перечной пыли, посыпанной на головки осужденных, вслед разбрызг капелек кобыльего молока — и чучвере отдают на съедение ожидающимся их человеческим ртам.

Однажды мне довелось наблюдать самый веселый способ изготовления чучвере. Это было в одной ашхане. Пилавчи, стоя перед рубленным мясом и тестом, левой рукой отщипывал кусок мяса, правой сворачивал раскатанное тесто в мешочек, вбрасывал в него мясо и отряхивающим муку движением ударял ладонью о ладонь: получался как бы короткий аплодисмент своему искусству. Но сейчас он у меня ассоциировался с лермонтовскими «рукоплесканиями» широкой арены. Песок базарной арены мягко стелется под шаги.

Вот еще гастрономические вариации на тему: баран. Резкий крик: «беррэ кебаб» заставляет меня оглянуться: разрезанный на шашлычные куски молоденький барашек резво кружит на вертелах. Неподалеку в тяжелом котле, прикрытом конусовидной крышкой, напоминающей шапку дервиша, зреет казаный кебаб, об-

лизываемый снизу желтым копотным пламенем. Этот вариант — из больших неповоротливых кусков, густо пересыпанных луком.

Дальше пряный запах маленьких пухлых пирожков, начиненных всячиной: это подбодряющий уже еле волочащий за мной ноги аппетит острый гош. Рядом тертое из гороха с какими-то кислящими ее примесями зелено-желтая лобия. Можно и ложечку лобии. Но вот долма, находящаяся если не в родстве, то в свойстве с нашим голубцом, или кифта, приготовленная из особым образом битого мяса; одетая в пар шорба, не могу, как ни просят настойчивые завывания продавцов. Среди этих призывов к нёбу особенно выделяется один — жалостливый и длинный: «мазалеек» — запекает лирически голос подростка, сидящего над своим блюдом. Мазалеек ссыпан в кучу прямо на циновку, меж двух босых пяток продавца. Это небольшие овальные кусочки мяса, выкатанные в сухарной пыли. Продаются они десятками. Покупатели, роясь в куче мазалеековых облепков, тщательно и терпеливо подбирают десяток пожирнее. Затем идет пересчет. После проверка продавцом. Облепки переходят из пальцев в пальцы, возвращаются назад в кучу и снова попадают на потные ладони. Сухарная пудра уже частью обсыпалась, частью перемешалась с базарной пылью.

Фляжка на ремне стала чуть легче. Еще чего-нибудь сладкого и назад — в прохладу хуждры.

Вот бслая, пузырящаяся, легкая иншалла. Это белки, взбитые особым образом с сахаром. Пузырьки надо прикрывать тенью, чтобы они не растаяли на солнце, прежде чем им растаять в чьем-нибудь рту. Вот приближается один маленький, заранее облизывающийся рот. Мальчишка сует иншаллальщику пятак и протягивает указательный палец. Продавец, взглянув мельком на монету, снимает ложкой немного просахаренной пены и

намазывает ее на вытянутый палец покупателя. Палец ныряет в рот и возвращается без иншаллы.

Но еще лучше на сытый желудок рахати-джан, что значит «душа сладости». Изготавливается рахати-джан просто: из пористого снега, собранного с гор, и сахара.

Вокруг горы узума разных калибров — от крупно-ягодного до мелкого, славящегося своей сладостью. Здесь же на циновках и досках желтые россыпи урюка. Сладкий зазывный голос, напевно предлагающий отве-дать «миндальский халва». Маленькие пестрые из стран-но скрученных леденцовых нитей пананы.

Довольно. Домой. Но навстречу мне оборванный нищий старик. Его протянутая за подаванием рука не пу-ста: в ней на деревянной ручке дымится круглая жаро-вня. Свободная рука нищего, порывшись в лохмотьях, вынимает какую-то зеленую щепоть и бросает на угли. Синий дым взвился над жаровней и снова опадает. Это продавец запаха. Я вижу: женщина с лицом, спрятанным под чучван, подошла к продавцу благовония и, дав ему монету, слегка отстранила покров. Синий дымок, выги-баясь спиралью, юркнул под черную свесь. Чучван опу-стился. Продавец и покупательница продолжают свой путь. Но я кончил. Сытый до отвала желудок хочет при-валиться в мягкое и уснуть. Наконец-то голова на подуш-ке. Вокруг прохлада двусветной кельи. Перед тем как за-снуть, вспоминаю — сквозь полуявь — недавнее базар-ное квипрокво.

На глаза мне попались желтые треугольнички из теста с запрятанными под тестовую кожу какими-то та-инственными пузырьками. Три раза спрашивал я жен-щину, продававшую неизвестную снедь, как называются непонятные пузырьки. Женщина или не понимала, или не умела, или не хотела назвать. Я упорствовал. Разговор привлек внимание соседей-продавцов. После несколь-ких оживленных с ними консультаций женщина нако-

нец понимающе улыбнулась и повторила несколько раз кряду: «гар-рох, гар-рох». Так как я был сыт, то завернул несколько треугольников в бумагу и отметил в блокноте: гар-рох. Через два «р» и с ударением на втором слоге. Через некоторое время, уже придя домой, я решил отведать гастрономическую новинку. Сунул треугольник одним из углов в рот и откусил: из-под зуба весело выпрыгнула зеленая горошина.

Так я был посрамлен в собирании фольклора нёба.

Мейдэ-чуйдэ

Человек сидел перед квадратным ящиком, наполненным грудой ножей. Точнее, кинжалов. Еще точнее: ножами-метисами, помесью кинжала с простым кухонным ножом. Одни в простых одноухих ножнах, другие в тисненом полусафьяне, одни по самую макушку эфеса нырнувшие в кожу, другие любопытствующие, выставившие рукояти наружу.

Я подошел и притронулся к одной из рукоятей: канча? Продавец поднял в ответ руки, как для намаза, распрямив все десять пальцев. Я перевел глаза на другой нож, поскромнее. Левая рука торговца упала вниз. Глаза мои перепрыгнули на короткое лезвие, выставившееся из черной кожи, — и тотчас же ладонь, подогнув мизинец, услужливым чегырехпалием пододвинулась к ящику: этот?

Продавец играл на груди лезвий, как на терменвоксе, причудливую мелодию цен.

Виноградным гроздьям здесь обдергивают виноградины, нет, собственно, не у гроздий, а у рубля отряывают лишние копейки, пока не получится единица без дробей: бир пул. Даже в самом узбекском языке, в сле-

довании его слов, название знаменателя дроби, все идет впереди числителя, части. Не «две седьмых», а «семь с двумя» (jettiden iki). Как не вспомнить известную гравюру английского мастера, изображающую сэра Фальстафа с мальчиком-оруженосцем, несущим позади его щит.

Старый Восток, Восток традиции, не любит одробления жизни, хроматизма копеек, размельчения дня на секунды. Не только узбекская песнь, при встрече с ней моего уха, оказалась строго диатоничной. И шаги здесь диатонично широки, потому что хотят скорее дошагать до бесшажия.

Запад и Восток по-разному видят время. Мы видим его с наших круглых светлых циферблатов, напоминающих диск солнца; это солнце мы каждое утро заводим и прячем в жилетный карман — оно у нас в услужении. У него только три луча: часовой, минутный и секундный. И странно: минутный длиннее часового, хотя мы из этого не решаемся сделать вывод, что минута в наших раздерганных жизнях оказывается иной раз больше и важнее часа.

Восток и сейчас еще меряет время колебанием длины тени. И не тени солнечных часов, а просто тени, отброшенной столбом, выступом, стеной. Жизнь здесь — говорю о старом, исламистском Востоке — ориентируется не на солнце с его полднем, а на ночь с ее... но «полночь» — это уже дробь. Наши пифагорийцы встречали гимном приход солнца. Мусульмане приветствуют намазом — через закат — близящуюся ночь. Жизнь покорно следует за тенью: утром, когда она длинна, и жизнь растягивается во всю длину базаров; к полудню, вместе с укорачивающейся тенью, укорачивается, втягивается в дома и жизнь, и только с наступлением ночи, когда тень поднимается во весь свой рост, Шахразада продолжает прерванный солнцем рассказ.

В сущности, еще года три тому назад мне удалось, идя как-то по Волхонке, свернуть в Кита Ходжа Ахрар. Это было в дни исчезновения мелочи: из кошельков, кондукторских сумок, кассовых сеток. Как бы хотелось прибавить: и из голов. Увы, головы наши именно в ту пору, как никогда, были набиты мелочью: желчинками, всплывшими в мозг, самоуколами, психической копотью, забившей все мозговые извилины. Мне предстоял большой конец от Сретенских до Пречистенских. Хотя я и держал в протянутой руке желтую рублевую бумажку, но она провезла меня метров на десять, не более: «нет сдачи» — «сойдите, гражданин». И я пошел параллельно перегоняющим меня вагонам. Трамваи стали для меня мнимостью, бесполезным грохотом, который лишь отвлекал от моих переходных дум. Я мысленно вырезал рельсовый путь из каменной ленты улицы, дома сдвинулись, и уличный извив стал похож на ручьеобразный ход длинных улиц Востока. У перекрестка сидел мальчонка, подоткнув колени под застекленный ящик со спичечными коробками. Я помахал ему рублем. Мальчик, откинув стекло, стал отсчитывать пять десятков набитых спичками коробок. Я отрицательно покачал головой: лучше ни одной, чем пятьдесят. И снова трепаная желтая бумажонка вернулась в карман, а я продолжал путь. Минутная стрелка уличных часов, точно стряхивая с себя брызги секунд, дернулась и переместилась на деление. Она прошла уже почти полкруга, а мне еще шагать и шагать. Дело уйдет раньше, чем я дойду до него. Но инерция шага продолжала переставлять мои ноги.

Вот киоск. У киоска очередь. Она восково неподвижна, и головы стоящих повернуты не к оконцу, а назад: они дожидаются человека с гривенниками и копейками. Бело-синие, желтые, зеленые бумажные флажки склоняются перед гривенником, самодовольно разрывающим очередь. Перед ним сторонятся, позорно уступа-

ют место: так в Калькутте индийские тюрбаны отжимаются к стене, чтобы пропустить белое кепи.

Иду далее. Замечаю: самый шаг мой из скороступи превратился в размеренную, почти паломническую поступь. Так идут, вероятно, пыльным проселком, ведущим к Мекке. И серый куб дома, близящийся навстречу сквозь вечерний сумрак, чем-то напоминает о камне Каабы. Подхожу ближе: нет, дом как все, в переблеске стекол и цепью номеров над подъездом. Но у подъездной ступени ссутулившийся пищий. Он до того опечален, что даже не просит. Бесполезно. Кормившие его копейки, алтыны и пятаки исчезли из обращения. Он сидит над пустой деревянной чашкой погруженный в горестное созерцание. Как дервиш, который... что за странная мысль: моя желтая бумажка падает в чашку. «Спасибо», — это сказал я, а не он. Рубль за мысль, которая вошла в это мгновение в мои глаза, — это ведь почти даром.

Как-то над ступенями одной из мечетей (имя забыл) я увидел плачущего ребенка. Его посадили на верхней площадке, но сойти назад он не мог: ступени для него были слишком высоки. Игра в единицы, в целостности, пожалуй, самая опасная из всех игр ума. У нас она привела к «первой заповеди» и витализму. На старом Востоке она сделала гораздо больше культурных разрушений. Поиски целого, отказ от мейдэ-чуйдэ напоминает процесс раскрытия японских коробочек, вложенных друг в друга. Но есть и разница, она заключается в том, что процесс раскрывания начинается изнутри и что проделывает его одна из коробочек, самая малая, называющая себя «я». Как только она попытается самораскрыться, приподнятая ее крышечка упирается в крышку облегающей ее большой коробочки, приходится приоткрывать и эту, большую, и писать «я» с большой буквы; и так, пока мысль не попадает в самую большую, герметически запечатанную и поэтому полную тьмы коробку.

Пытаться охватить весь мир — это значит не сделать ни одного шага.

Еще с отроческих лет в память мою попала — не весть откуда — легенда о некоем ученом мусульманине, который хотел постигнуть все целое, но дела которого постоянно заставляли путешествовать. Не позволяя все же делам вторгаться в дело жизни, ученый возил за собой на двенадцати верблюдах библиотеку. Но дела, очевидно, мстили за уничтожение — и ученый стал постепенно беднеть. Постепенно сокращая свою библиотеку, отбирая самое ценное и из ценного ценнейшее, он возил ее в своих странствиях уже не на двенадцати, а на шести верблюдах, потом на двух, и наконец — на одном. Но случилось, что последний верблюд пал в пути, вдалеке от жилья. Бедный эффенди принужден был отобрать наименее ценное среди ценнейшего, так как был стар и не в силах поднять на себя всего книжного груза. Но мейдэчуйдэ, мелочь продолжала злобствовать, и дряхлый постигатель всецелого должен был продать последнюю пачку книг.

Перед тем как расстаться с друзьями своей мудрости, он сделал из них выписки, отжал сок смыслов, из выписок снова выписки, пока не дошел до фразы «аллах иль аллах, Мухаммед россулях». Написав эту строку на дощечке, он повесил себе ее на шею и стал у перекрестка, как нищий.

Возможно, что легенда возникла среди одной из дервишских сект, дивана, чьи исступленные пляски ввинчивания в пустоту, кружения оси, потерявшей обод, можно было еще так недавно видеть около Лаби-хауза в старой Бухаре.

Мне удалось наткнуться, правда, на довольно смутные исторические указания, говорящие о том, что торговое посольство Небесной Империи, доехавшее в конце XV столетия до Амударьи, было очень огорчено и ра-

зочаровано, узнав, что Аму во что-то еще впадает и что вообще за степями Двуречья есть еще какой-то мир. До сих пор им думалось, что степи эти постепенно переходят в ничто. Вероятно, эти купцы были по тому времени очень просвещенными людьми. И, конечно, нельзя не посочувствовать их философическому огорчению. Действительно, если мир можно понять только как целое, как великую единицу, то выгодно для познания, чтобы он, мир, был по возможности меньше. Иначе какой же смысл заниматься смыслом.

Мы, свропсойцы, не относимся с пренсбрсжением к мейдэ-чуйдэ. Мы не стыдимся не только учиться на медные гроши, но и изучать те медные гроши, на которые разменена ценностность мироздания. Мы благодарны каждой крупнице знания. Мы начинаем не с суммы, а со слагаемых. Потому что сумма — это нищенская сума любого из своих слагаемых. Если подходить к вопросу чисто методологически.

Человек, ставший меж двух наших эпох, средневековья и современности, Картезиус-Декарт, в ответ на письмо своего престарелого школьного учителя, напминавшего, что он сму «учитель», отвечал: о, да, он готов назвать себя «почтительным учеником любого дождевого червя», попавшего под его «скальпель и лупу». Ступени наших лестниц, по которым мы ходим, и ступени наших логических скал, по которым мы мыслим, всегда часть, дробь по отношению к росту идущего и поперечнику сознания. Но сами мы, в самомнительнейшие минуты нашей жизни, когда нам кажется, что наше «я» есть завершенность, единица — не более чем «дробь, вставшая на цыпочки»: это, собственно, не моя мысль, а мысль одного из моих персонажей. Иной раз выдуманное выдумает такое, к чему лишь позднее приходит выдумавший выдумщика. Так или иначе, если дробь, привстав на цыпочки, и может дотянуться до себя как до едини-

цы, то поза эта слишком утомительна и не может долго длиться.

Уже на обратном пути из Узбекистана, листая свои записи, я увидел сквозь их строки новеллу, точнее, костяк новеллы, который когда-нибудь, может, и обрстет живой тканью. А пока перескажу его с остеологической сухостью.

Мелкий советский служащий. Допустим, счетовод. Каждый день от дома до службы и обратно. И каждый день счетные костяшки под пальцем — по стержню — от края рамы до рамного края и обратно. Но человек, служащий в прислугах у чужих цифр, все же сын запада. Ему знакома тяга пространства. И раз в году, получив двадцать один день в собственность, он выбирает, после долгих раздумий, какой-нибудь дальний маршрут. Счетовода притягивают белые пятна глобусов и ландкарт. Его подштопаным подошвам хочется ступить туда, куда «не ступала ни одна человеческая нога». Но белые пятна для избранных, для любимцев бога путей. Счетоводам же надо ездить в Феодосию или в Ейск. И лишь в крайнем, крайнем случае... и герой мой берет билет до одного из городов Туркестана. Дни убывают быстро, деньги еще быстрее. Еле достигнув цели, приходится в очередь за обратным билетом. Вдалеке, за голубоватой завесой воздуха виднеются смутные контуры предпамирских гор. Но Предпамирье — это уже для бухгалтера или заведующего канцелярией. А счетоводам надо назад. В последний вечер перед отъездом бродит он от чайханы к чайхане и мимо затухающего базара. Неожиданно знакомство у опорожненной пиалы. Сначала встретились глазами, потом навстречу друг другу слова. Новый знакомец немолод; редкие длинные зубы из-под нестриженных усов, грязноватая чалма, свесившая плоский язык на плечо, протертый, выцветший халат. Но по-русски говорит довольно бойко, умеет спрашивать, ка-

чать в такт ответу головой и сочувствующе прицмокивать. Разговорившийся счетовод от закончившегося путешествия переходит к неначатым, настоящим, делится огорчениями и надеждами и в откровенности своей доходит даже до мечты о белых пятнах. Слушатель его полон сокрушенного сочувствия и готовности помочь. Он придвигается ближе к собеседнику, взволнованно прирагивается к его колену и рукаву, оглядывается по сторонам и переводит голос в шепот. Помочь бы можно. За самые скромные деньги. Но... присзжий заинтригован. Спрашивает: как? В ответ отрицательные кивки головой. Он настаивает. Тогда новый друг, пододвинувшись губами к уху собеседника, сообщает: у него есть пузырек — от прадеда к деду и отцу, от отца к нему переходил он по наследству — а в пузырьке под шестизвездой шахматной печатью запрятана... Что? Снова долгие отказные движения головой, вздохи о нерушимости печати и тайны. И наконец, под затиском печати там хранится т а й н о е средство для выведения белых географических пятен. Приезжий хохочет, абориген тоже, но не очень веселым и вместе с тем прощающим смехом. Так мудрые смеются неверию неведжд. И вскоре гость Востока даже без легчайшей улыбки слушает брюзгливый причет человека в чалме: люди оттуда, из Москвы, дети-люди, они, как тень карагача, движутся сперва вперед, потом назад и опять вперед; а сам карагач смеется над своей тенью и не ходит ни вперед, ни назад, а только невидимо для глаза вверх и вниз; их глобусы, по которым учатся в школе дети этих детей, глобусы круглые, как карагач, вертятся вокруг своих стволов; и глаза людей с заката тоже кружат, ища новое и новое, это маленькие глобусы, заболевшие вертячкой и ворочающиеся с боку на бок, пока их не прикроют белым пятном смерти; они истирают свои подошвы о землю, гоняются за солнцем, убегающим в закат, — а между тем достаточно

одной капли из-под шахрудовой печати на кончик вот этого платка, достаточно чуть потереть смоченным углышком о белое пятно глобуса и... И? — спрашивает гость с запада. Он не все понял в этой дивагации, но однообразное кружение слов, маятниковое — в такт словам — качание чалмовой свеси передалось его мозгу. В мыслях счетовода уже перекачиваются монеты. Если экономить в дороге, то, может быть, у него хватило бы на две-три капли. А продавец шахрудовой тинктуры продолжает нахвал товара: о, он знает силу своего пузырька, он мог бы сам, при его помощи, обойти всю землю, ни разу не коснувшись ее ступней, но зачем ему земля, он охотно готов уступить ее другу; а ему, владельцу тайны, ничего не нужно, разве несколько затяжек наргиле и глоток шорбы в день; друзья познаются по их благодарности. Пусть саиб странствует, а он, сидя на своей старой циновке, будет смотреть, как странствует дым над водой его кальяна.

И покупатель из собеседника превратился в спутника. Двое молча идут по пустому руслу ночной улицы. Отщелк висячего замка, низкая притолока, сараеобразная комната без окон. Темнота неохотно отступает от огня ночника к углам. В одном из них, среди всякогохлама, железным меридианом кверху поваленный наземь глобус; он на подкривленной у основания оси, но, очевидно, старинной работы. Он не знает или притворяется, что не знает, ряда давно открытых островных точек, стран и даже морей. Он весь точно в хлопьях белого, точнее порыжелого мартовского снега. Продавец присел у глобуса на корточки и начинает свои манипуляции. Вот блеснула пузырчатая скляночка. Вскрыв ее, человек, распластавший полы своего халата крыльями по земле, нюхает сам и приближает склянку к ноздрям наклоненного над глобусом покупателя. Еще? Можно и еще. Аромат шахрудовых капель горьковат, прян и будто из укулов.

«Люди собирают мир в глаза — они не знают, что его можно вынуть из глаз, что можно сжать горсть звезд в небо вот так», — и продавец делает движение зажатым в пригоршни смоченным платком. Перед глазами покупателя тинктуры промельки искр, разгорающихся в пламена. Сквозь их лет он уже не совсем ясно видит, как глобус поворачивается под пальцами странного знакомца, и словно не глобус даже, а голова, его собственная голова, пересаженная с шеи на железную ось, мягко поддается под толчками рук. Вот пестрокрылый выбрал: приостановив кружение, он притрагивается влажным утлышком ткани к оваловидному белому пятну.

«Такла-Макан», — шепчет он, подморгнув совиным веком, — и тотчас же пятно начинает расти и распестряться: желтая зыбь песков, змеевидные выгибы безлистого саксаула, черный провал колодца с круглой вырезкой из неба, упавшей на дно. Внезапный ветер бросает навстречу глазу кружащийся клуб песку; клуб, тьма пустыню, вворачивается в себя, оваловидно стягиваясь, — и снова перед глазами на вспучине глобуса небольшое, сейчас чуть влажное овальное пятно. «Кутб шымалы» — и из-под трущих движений ткани выступают стеклисто мерцающие полярные льды; солнце вечного дня остановилось, точно заледенев у горизонтного круга; лучи его, ударившись о ледовые грани, разбились на пестрый дребезг спектра; чья-то жирная, сизая лопасть выблеснула из полыньи и снова нырнула вглубь. Холод так силен, что кругозор начинает стягиваться; круглый горизонт, ежась, умалывается и набегаёт на зрение; от страшного сжима сквозь пейзаж проступили его ребра — это радиально расположенные черные линии, ясно теперь различимые сквозь прозрачность льдов; видны даже цифры — 85° — 86° — 87° ... и снова круглое арктическое пятно глобуса.

Не буду продолжать. Развернуть ряд прозревающих глобусных бельм дело писательски нетрудное. Ясна и сюжетная концовка. Она вряд ли допустит много вариантов. Только боюсь, что преждевременным рассказом о своем будущем рассказе я у него отнял право на рождение. Недозрелый плод можно, конечно, вынуть из чрева. Но как его вложить обратно для дорожденности — наукой до сих пор не дознано.

Запад и Восток сталкиваются не мирозерцаниями, а миром и созерцанием. Мы строим мир, тщательно освобождая его от налипей созерцания, конденсируем действительность в чистую действенность; мы учим наши ноги широкому спортивному шагу, а не старовосточному подгибу пяты под пяту. Восток же старых мектебэ, седобородых мугаллимов, домулля, затейливых пожелтелых писанных китабов — это созерцания без мира, пустая чашка нищего в городе, лишенном мейдэчуйдэ, колодец без воды, оставившей после себя лишь солевой осадок, бессильная попытка взять ступень, превышающую шаг.

Самые уклады этих противостоящих жизней таковы, что попытка быть исключением карается бытом. Так солипсист Штирнер, провозгласивший себя «единственным», а мир своей «собственностью», принужден был сесть в тюрьму — и даже не в одиночную камеру — за неплату долгов кредиторам, находившимся в его «собственном» мире. Еще ранее философ Фихте попробовал разжаловать мир в простое «не-я», объявив последнее «манифестацией» я. Но однажды случилось так, что студенты, протестуя против некоторых выводов (несомненно, логически честных и последовательных), устроили манифестацию пред стенами фиктовской квартиры и побили профессору окна. Тайный советник Гёте, возглавлявший просвещение Веймарского герцогства, хотя и заступничал за пострадавшего, но в письме к одному

из своих приятелей писал приблизительно такое: случай, конечно, прискорбен, но спиритуалисту господину Фихте полезно все-таки удостовериться, что «не-я» не спрашивает разрешения у «я» на битье стекол. Арабский философ Аль-Газари жил еще во время слюдяных окон (XI в.) и не терпел от вторжения не-я, наоборот, жизнь его, по преданию, проходила при дворах ряда арабских властителей вполне благополучно. Но тем не менее он учил, что философов, отрицающих наличие зла в мире, следует бить палками по пяткам до тех пор, пока они не признают ошибочности своего миропредставления. Поскольку, как указано, аргументатор этот был придворным мудрецом, то нельзя считать доказанным, что максима эта не получала никогда практического осуществления.

IV

Мыслегорск и легендострой

У Количества свои десять пальцев, десять цифровых знаков, которыми оно дощупывается почти до всего. Длина рук Количества не меренная, но, думаю, есть предел, дальше которого им не протянуться. Я очень люблю цифры. Но без взаимности. Они как-то сторонятся меня. И, нарушая очеркистский обычай, я не привез с собой числа труб, раскуривающих свое фабричное наргиле под небом Туркестана, количества гектаров, перешедших из-под риса под хлопок, процентных отметин роста грамотности и других цифр. Все это сделано до меня и без меня теми, кто это может сделать много лучше моего. Я — существо в наглазниках, и мне уютнее всего в расщепе моего пера. Правда, у станции Каган я с волнением видел вынырнувшие из-за холмового горба горбы верблюдов с притороченными к ним огромными кошмами, вздувающимися от хлопка; хлопковая ость, пробиваясь наружу сквозь мешочные поры, казалось, продолжала послесмертный рост.

Помню и чуть подболоченные рисовые прямоугольники, взятые в земляные фрамуги. И особенно запомнился мне экскаватор, окунающий свои черпаки в воду заиленного арыка. Экскаватор был стар и скрипуч; проворачивая свою тугую цепь, он ржаво брюзжал: чер-

пай-черпай, а ради чего; все равно на смену песку песок и илу ил — или не так? Скрипи, чтобы пили, скрежещи от надсады, чтобы сады над арыком процвели.

И как ни плакался, скрипя зубьями о звенья цепи, старый брызга, мотор внутри его продолжал вращать черпаки, разлучая арычье дно с поверхностью.

Но я так и не научился отличать американский хлопок от египетского и двуногой прогулке по полю, засеянному злаками, предпочитаю двуглазую прогулку по книжному полю мимо бороздчатых строк, засеянных черными знаками. Здесь я у себя, здесь я не боюсь спутать литературную рожь с пшеницей, здесь мне ясно выколосование смысла, степень всхожести посева идей. Никогда не забуду, с каким вниманием в свои самаркандские утра я следил за раскладкой узбекских брошюр и листовок на книжных ларях, что расположились у начала Регистанской улицы. Это, в сущности, еще и не посев. Это только предпосевная литературная кампания. Вот, например, «Мои университеты» Горького, переведенные на узбекский язык. Книга сплющилась в листовку, заглавие «Как я учился». Да, новая узбекская литература, литература латиньяляшдырыша, пока чистая ученическая тетрадка, начинающаяся таблицей умножения, прижавшейся к обложке. Но в таблице умножения искусство умножать, обещание богатств. Каждая же белая страница напоминает мне снежную поверхность: чуть прикоснись лучом пера, снег стаял и таившаяся озимь — под взгляд.

Итак, в дальнейшем я сосредоточиваюсь на будущих днях литературы советского Туркестана. Я постараюсь угадать (разумеется, в пределах отпущенной мне догадливости), как сочетается вот эта фигурная полуобсыпавшаяся куфическая надпись на стене медресе с латинизированной строкой над входом в библиотеку, в kitab-xanu. Прежде всего оглядываюсь с некоторой

опаской на мои азартные рассуждения о «Западе» и «Востоке». Это традиция, из которой я и попытался выпрыгнуть. Может быть, потому что боязно прыгать на ходу.

В Тану-Тувинской республике, где-то на огороде у аила Салдам, стоит шест, на шесте доска, а на доске «центр Азии». Шест был водружен неким англичанином, который, вычислив центр неправильной плоскости азиатского континента, пришел сюда, преодолевая огромное расстояние и множество трудностей пути, чтобы «осмотреть» математическую точку. Корабли, идущие в долгом направлении через Великий океан, пересекают условно проведенную демаркационную линию, отделяющую сегодня от завтра: судну, пересекающему линию в восточном направлении, присчитывается один восход и один закат, и есть момент, когда на носу парохода одна календарная дата, а у кормы его — другая.

В области культуры мы тоже с тщанием отчерчиваем понятие Запада от Востока, часто не желая понять всей условности такого рода демаркационных разлинований. Конечно, нет никакого самодовлеющего Востока и самозаконного Запада. На самом деле они непрерывно переходят друг в друга, опрокидывая все отсихпоры и досихпоры нашего рассудка. Именно это дает мне мужество додумать начатую мысль.

На северо-востоке страны в Узбекистан открываются Джунгарские горные ворота. Полторы тысячи лет тому назад сквозь них прошла — держа путь с востока на запад — череда народов. Это была беспокойная длительная эпоха их переселений, перемены становий. И затем движение прекратилось. Джунгарские ворота широко раскрыты и ждут. Но народы живут не в кибитках, а в небоскребах и не намерены переселяться. И тем не менее покоя нет, мимо врытых глубоко в землю фундаментов непрерывное движение все новых и новых сотрясающих мир смыслов. Я давно уже привык называть это:

эпоха великого переселения мыслей. Но мысль больше похожа на птицу, чем на человека. И наши головы лишь гнезда, в которых она выводит свой выводок... выводы. Стоит мне закрыть глаза, хотя бы вот сейчас, и я почти вижу стаи мыслей, перелетных идей, совершающих свой лет с запада на восток и с востока на запад. Оттуда, из страны закатов, логические косяки трехкрылых силлогизмов. Это — ночные птицы познания. Они вообще дискурсивны. И когда логический холод переходит в логическую стужу, начинается перелет.

Отсюда же, из страны сказок и созерцаний, поднимаются легко парящие пестроперые образы, эти крылатые джинны и ифриты поэзии. Образ вообще летуч: как аромат. Взгляните на старый текинский ковер: красочный орнамент его так легок, что, кажется, достаточно одного удара ветра, чтобы рисунок взлетел над ковром рисунком-самолетом. Сидя теперь под косыми лучами заката на привычной ступеньке моей комнаты, впутывая глаза в закаменелый ковровый узор внутренней стены Тилля-кари, я упрямо возвращаюсь мыслью к ненаписанной литературе завтрашнего Узбекистана. Прежде всего мне представляется, что здесь, среди этой природы, людей, завернутых в пестро орнаментированную ткань халатов, рядом с синим куполом древней Биби-ханым, пробующей переблистать свою синью синь самого неба, невозможно осуществить реализм, по крайней мере, того реалистического коэффициента, который так свойственен нашей художественной традиции. Пейзажи, солнце, быт, странно сочетающий элементы старины и новизны, — все это толкает в фантазию. Дальние очертания гор, полускрытые чучваном пыли, постоянно меняют свои очертания, как облака. Облака же вообще всегда больше интересовали романтика, чем реалиста. Это не трудно было бы доказать путем простой литстатистики.

Принцип так называемого ультра-микроскопа в том, что наблюдаемый объект, включенный в яркий луч, раздвигает (так кажется глазу) свои размеры. Но луч самаркандского предосеннего солнца действует именно ультра-микроскопически; мелкие пылинки, попав в него, оптически разбухают в золотистых мошек, совершающих свое брачное кружение. А что такое легенда? Это — малый, пылинно-малый и пылинно-серый факт, увеличенный, гиперболированный ярким его освещением. Следовало бы под луч ультра-микроскопа — и самое понятие «реализм». Обычно он оказывается и в наших практиках и в наших теориях — обнищавшей реальностью, точнее, бедным литературным ее родственником, приживалом самой жизни. Литература «жизни как она есть», работая по-приживалочьи, своими беззубыми деснами не может разгрызть косточки факта, обдирая лишь его мякоть. Наш реализм фатальным образом всегда в близком соседстве с бытовизмом. Но быт «и я» бытия — блеклый и искаженный повтор.

Э. Золя, пытавшийся создать теорию реалистического (даже натуралистического) «экспериментального романа», не оказал должного внимания понятию «эксперимент». Эксперимент хотя и направлен всегда на природу (на натуру), но никогда не бывает натуралистическим. Говоря терминами именно наших теоретиков реализма, можно легко заставить их признать, что самое неестественное из всего нам известного — это лаборатория естествоиспытателя. В самом деле, в лаборатории этой приборы, дающие атмосферное давление в сотни и тысячи атмосфер, устройства, поднимающие температуру до 3000°С и выше... Но ведь в той «действительности», в которой мы живем, воздушное давление колеблется лишь в пределах одной (с малым процентным привеском) атмосферы, а жара в 50° законно описывается ре-

листами как «нависший над землей неподвижный, неестественный зной».

Фантазм Э. По, концепции Г. Уэллса, образ «шагреновой кожи» Бальзака реальны, чтобы оставаться в пределах ходового реализма. Художественное познание, как и научное, идет не по касательным к вещам, а по линиям центров, в вещи.

Узбекистан будет добывать и разрабатывать руду гор, столпившихся вокруг Ферганской долины, собирать хлопок с бухарских полей, добывать образы и темы из старых и юных пейзажей страны, руин и новостроек, быта, тянущегося в бытие, и быта, уходящего в смерть.

Но и руда, и образ, взятые, как они суть, нуждаются в «обогащении». Обогачительные процессы, как известно из фабричной практики, сводятся к удалению из обрабатываемого объекта чужеродных примесей, ослабляющих его действенность.

Роль такого обогатителя, обогатителя факта, выполняет легенда. Ведь люди внутренне настроены на деяния, но внешне не идут дальше дел. Деяния — материал легенды, дело — история. Легенда как бы возвращает дело в его первоначальную стадию, когда оно было деянием, переигрывает опровергнутый шахматный ход заново. Закон исторической игры: «тронуто — пойдено». Закон игры легендами: тронуть непойденым, транспортировать внутреннее действие вовне, никак и ничем его не снижая. В этом, в сущности, и заключается сущность фантазии. А без фантазии нельзя, как отмечал В. Ленин, «и пуговицы пришить». Здесь же, в этой стране гигантских неосуществленностей, в ближайшие же годы придется перешивать устье огромной реки, оторвав его от одного моря, чтобы прикрепить к другому. Как это сделать без затраты воображения? Тысячеверстия Кара- и Кзыл-кумов должны быть заселены сперва фантазией, мыслеобразами, цифрами, а затем уже можно развязать

воображение и высыпать из него, как семена из мешка, мыслезаготовки вовне. И литературе предстоит в этом деле сложное и трудное задание: научить умы видеть то, чего еще нет, притом с такой ясностью, как если б оно уже было. Образы ее должны быть предельно реальны, иначе они никого не убедят; но жить они должны за пределами реального, вне осязаемости, на некотором отстоянии от протянутой руки. Точнее: от притянутой, притягиваемой ими руки.

Понадобится много легенд, целый литературный Легендострой, образы которого, вместе с контрольными цифрами и научными схемами, двинутся в будущее, не дожидаясь его прихода.

Самый верный путь для узбекского слова: через реализм в реалиоризм.

Дуньязада

В первую же ночную встречу с Шахриаром Шахразада сказала: «О царь, у меня есть маленькая сестра, и я хочу с ней проститься». Царь послал тогда за Дуньязადой, и она пришла к сестре, обняла ее и села на полу возле ложа, и тогда Шахриар овладел невинностью Шахразады, и они сели за беседу. И младшая сестра сказала Шахразаде: заклинаю тебя Аллахом, сестрица, расскажи нам о чем-нибудь, чтобы сократить бессонные часы ночи.

— С любовью и охотой, если разрешит мне безупречный царь, — отвечала Шахразада, и, услышав эти слова, царь, мучившийся бессонницей, обрадовался, что послушает рассказ, и позволил.

Отсюда и начинается длинная нить с постепенно нанизываемыми на нее сказками; задача рассказчицы —

вдевать нить в новую сказку как раз в тот момент, когда ее, нить, хотят оборвать; стимул к этому прост и убедителен — нить сказок в то же время нить жизни сказочницы.

То, что губило ширдоровского харифа — краткость южных ночей, — Шахразаде было лишь на пользу: сказки ее всегда оказывались немного длиннее ночей, рассказ обрывался на полуслове обычным «но тут застигло Шахразаду утро, и она прекратила дозволенные речи». Однако этот прием мог оказаться недостаточным; и к нему присоединяется: «куда этому до того, о чем я расскажу вам в следующую ночь, если я буду жить и царь пощадит меня» — это уже договор о занимательности (неустойка — смерть).

Анализ первой же сказки 1001 ночи показывает, что это сказка о рассказчике. Схема: некий купец выплюнутой финиковой косточкой убивает невидимого маленького сына могущественного джинна; джинн, представ перед убийцей, требует жизнь за жизнь. Купец согласен, но просит позволить раньше уплатить свои торговые долги: уплатами то одному, то другому кредитору он, подобно Шахразаде, действующей сказками, отодвигает срок своей смерти. Когда длить это оказывается невозможным, честный купец несет свою жизнь к условленному месту встречи; но по дороге к нему присоединяются трое старцев, которые, придя вместе с должником к все еще требующему смерти кредитору, рассказывают ему опять-таки отодвигающие казнь сказки, требуя в уплату за каждую треть крови убийцы. Развязка ясна.

Таким образом, выдуманная своими создателями Шахразада легендизирует свою собственную ситуацию. Это вполне понятно: ведь каждая ее сказка может оказаться последним из сказанного ею, а последние слова, осознающие себя последними, всегда звучат как завеща-

ние. И этому нашим советским поэтам следует поучиться у Шахразады: каждую свою вещь писатель должен писать как последнюю, вкладывая в нее все смыслы, какими он владеет.

Впрочем, у ложа Шахриара и Шахразады всегда находилась внимательная слушательница, девочка Дуньязада. 1001 ночь — это без малого три года; притом у Шахразады рождались не только сказки, но и дети, что, разумеется, на время разрывало цифры. И к концу цикла Дуньязада превратилась из подростка в женщину. Она прошла хорошую школу слушания — теперь ее черед рассказывать.

Но самое имя ее от слова «дунья», что по-узбекски (так и по-персидски) значит «мир». Не ложу, а миру даст она свои сказки, не тирану, страдающему бессонницей, а проснувшемуся после вековой дремы народу, не 1001 ночи, а тысячам и тысячам трудовых дней.

Пафос монархии, особенно абсолютистской, всегда направлен на прошлое. Монархии опираются на плиты могил, с их «сын сына сына»; заслуги предков — взамен дел живущих; генеалогическое древо, растущее ветвями вспять и выставившее корень в пустоту. Во время закрепления таких династий появляются угодливые историки и поэты-эпики, пишущие медленными размерами бесконечные шах-намэ, то есть описи царей и деяний. Такого рода дастаны, поэмы царей, обычно обрываются вместе со смертью эпика, не успевающего дойти из глубины плюсквамперфектума до настоящего времени. И новый преемник, подобрав последний стих, длит шах-намэ дальше.

Но ветер истории, налетающий из будущего, сначала раскачивает, потом щепит и губит генеалогический лес. Троны качаются. Что делать? Прошлое изменило, сущность будущего в изменении, — остается цепляться за настоящее, за «после нас хоть потоп». И эпика сменя-

ется поэзией настоящего, лирикой. Психологически доказано, что не существует памяти эмоций: можно вспомнить геометрическую фигуру, дату, лицо, слова любви, но не эмоцию. Иначе разлюбивший, вспоминая чувство, опять бы переживал его, то есть влюблялся снова; этого не бывает. И только при помощи лирики можно изложить настоящее и в силки: на лету.

Но настоящее, возразят мне, это непрерывно движущаяся временная точка, оставляющая после себя все длиннющуюся линию прошлого. Пусть так. Однако линейное представление о времени не совсем точно, так как время имеет все-таки поперечник, другими словами, настоящее имеет некоторую, правда, очень незначительную длительность.

Как петля сети не должна быть больше рыбы, на которую сеть ставится, так и строфа лирического стихотворения не должна по длине намного превосходить длительность настоящего.

По вычислениям американских психологов длительность настоящего колеблется от одной десятой до трех секунд. Ясно: чтобы успеть «сделать» настоящее, то есть лирически заполнить его, раньше чем оно уйдет, заставить настоящее выслушать слова о нем — необходимо предельно сжать слова и сколь возможно растянуть настоящее (то есть промежуток между двумя осознанными изменениями в содержании сознания). И Восток в этом смысле чрезвычайно благоприятен для лирики. С одной стороны, здесь изобретены строфические микроформы — семнадцатисложные хай-ка, звукоорганизмы «танка», короткие двустрочья байтов (персидский, узбекский и чагатайский языки), мгновенные прыжки рифмы через рифму всевосточной газеллы (газаль), с другой стороны — самый поперечник времени, длительность настоящего на Востоке несколько больше, а пульс времени замедленнее. Стоит внимательнее взглянуться в

глаза людей, сидящих на подгибах ног по чайханам, в эти красиво прорезанные, акварельно вписанные меж фарфорово неподвижных век глаза, чтоб понять, что настоящее здесь не так уж торопится уступить место другому настоящему, а страдающую тиком, оттикивающую миги секундную стрелку тут до сих пор с успехом заменяет древняя мера времени — верблюжий шаг.

И любопытно отметить, что поэзия настоящего, мастерство байтов, кратких лирических сигналов, развивалось здесь именно в наиболее тревожные исторические моменты, обычно у стыка сменяющих друг друга эпох. Наилучшим примером могут быть лаконичные, в нескольких секундах уместяющиеся стихи знаменитого султана Бабур (XVI в.), писавшего в период катастрофически быстрого упадания значения старых торговых путей Средней Азии и лихорадочных поисков связи с Индией.

Но после того как приходит «потоп», он смывает вместе с царствами и тронами лирику и эпiku. Народу, и особенно рабочей его части, незачем склонять знамена перед своим прошлым. Обычно оно ему враждебно. Поэтому нужно позаботиться лишь о том, чтобы это прошлое действительно прошло, и обезопасить себя от его вторжений. За мгновности, за лирические соломинки хватается лишь утопающий в потоке революции, а не сама революция. Поэтому ей, вочеловеченной в массах, остается одно: будущее. Добывая прошлое, преодолевая искушение настоящим, люди революции строят грядущее. Наше слово «потомки» выражает пассивное отношение к будущему; но есть другое старославянское (как ни странно), которое называет поколение, идущее вслед за нами, «зиждемии» (строимые).

Будущее, как и все другое, разумеется, можно строить, вместо того чтобы просто подставлять себя под него, принимать свое завтра и послезавтра в готовом

виде. Можно и надо отказаться — и в этом вопросе — от потребленчества и перейти к производственности. Фундамент для будущего можно класть заранее, заранее же можно исчислять его план и соотношение частей. Его можно настолько точно вычислить, что оно, будущее, получит право иметь своих историков и вспоминателей предстоящего к свершению.

Мало того, может быть, удастся и самое легенду переселить из прошедшего, в котором она так долго зажилась, в просторы грядущего. Литература станет художественной разведкой, брошенной навстречу дням. На смену броуновскому движению чувств — истонченная техника предчувствий; вместо апарципирования — точнее, впереди его — антиципация.

Легенде все труднее и труднее ютиться в темных уголках прошлого. Фонарики историков высвечивают ее из всех укрытий, делегендизируя в исторически проверенный факт. Да и самый род занятий легенды среди умерших столетий мало почтенен: окликать сзади, заставлять оглядываться назад, во время, напоминать о гигантском некрополе истории. Не лучше ли ей, легенде, идти впереди событий, звать в них, художественно восхищать предвосхищением.

Рабле, говоря о любителях обсуждать вопросы формы, называет их людьми, «предпочитающими рукава рукам». Но думается, что и рукава, особенно среди не размерзшихся в жизнь дней будущего, вещь, о которой необходимо позаботиться. Такой формой будет не лирика, никогда не разлучающаяся с настоящим, и не эпос, ищущий прошлого попошлее, а драма.

Драма, по самой своей сущности, наклонена в будущее. Она — действительна, а всякое действие — переход из несвершенного в свершенное. Поступь поступков направлена в ненаступившее. Человек, бросающий письмо в почтовый ящик, более или менее точно знает, что его

«да» или «нет» через какое-то количество дней встретится с «нет» или «да» адресата. Но адресат не знает, когда он будет «зрителем» распечатанных слов и какие это слова. В сущности, каждый наш поступок, каждый акт вовне, мы бросаем в запечатанном конверте в мир. И неважно, лежит ли между отрывом созревшего действия от нервомускульной ветви и ударом его о землю, о внешнее восприятие, доля секунды, день или век. Драма и собирает человеческие акты, художественно их активизирует в... «акты».

Итак, драматизированная легенда. Вот та наиболее удобная, рабочая форма, которая — как мне думается — в ближайшие десятилетия окажется нужнее всех иных форм узбекским поэтам.

Но пока что они идут путями лирики: Гафур Гулям, Челпан, Уйгун (Рахматулла Атакузиев) — автор звучного «Джантемира», Хаса Булат, Фаткулла Гулям, Туйгон — все они в пределах лирической формы. Итальянцы словом stanza обозначают комнату и в то же время один из лирических размеров. В данном случае «комната» слишком тесна и притом она проходная: в будущее. Классический дистих султана Бабура слишком тесен для детей народа, освобожденного революцией. Уже сейчас стихи узбекских поэтов отказываются от искусственных аббревиатур мыслей; ступни их муз не затиснуты в «твердые формы», останавливающие рост; котурн подойдет им лучше.

В сценический куб — как в клетку, удобнее всего заманить дни, над которыми еще не взошло солнце; их приходится видеть при искусственном свете рампы, смутно, отдельными пятнами, как поверхность пластинки, проявляемой при приглушенном свете красного фонарика. Роль «завесы времен», чрезвычайно ответственную, предстоит выполнить скромным занавесам. Сейчас мы перед их поднятием. Стальным перьям, сменившим тростиночные калямы, предстоит огромная работа. До-

гнать наше великое настоящее далось далеко не всем. Но перегнать его — и того труднее. В работе этой не надо ничем пренебрегать. Я утверждаю, что талантливые строители «воздушных замков», если замки эти возводятся по точному расчету и плану, нужны не менее людей, строящих из кирпича и железобетона. Ведь прежде чем соорудить реальное, стенами оземь, здание, необходимо мысленно вчертить его в воздух. Нет, воздушный замок осмеян несправедливо. Наряду с поднятием грузоподъемности нашего транспорта надо думать и о поднятии грузоподъемности нашей поэзии.

Двойные заварки

Заварка первая

Ташкентский мост перебрасывает через Сиаб. Дальше только и можно, что запутываться в путанице улиц пригорожья. Сначала в улицах, потом в узбекских словах. Я и встречные дехкане стараемся друг друга пересоревновать в непонимании. Черт возьми, восточная сюжетики не может не быть похожей на верблюжий караван. От ноздри к ноздре натянутая веревка, и все носом в хвост. Шахразадная традиция в нанизывании ночей.

Или вот монгольский цикл о «Волшебном мертвце»: персонажу нужно каждую ночь тащить на спине мертвеца, который, припав мертвыми губами к уху, рассказывает сказки; задание — удержать реплику: «что дальше?», но реплика выпрыгивает сама собой, и с новой ночью мертвый рот снова у уха. Или изумительная пропись о старом попугае. Муж, купец, уезжает в дальнее

путешествие, оставляя жену. У жены есть человек, давно дожидющийся ее любви. Она собирается пойти к нему, но старый, облезлый попугай удерживает ее сказкой. За сказкой следует сказка, и жена остается верной мужу. Шахразадов прием отодвигания делает свое дело.

Мои ботинки под сизыми налетами пыли. У перекрестка пригородных улиц чайхана. Я присаживаюсь на один из ее ковров. Предо мной у фисташкового цвета глиняной стены журчит арычок. Ива, сугуля свой наростовой горб, опустила пальцы в воду. Чайханная стена вся под бумажными листами плакатов: трактор, давящий борозды поля, — наглядный курс верховой езды — стрелковые позиции, сочетающие плечо и ложе, — хлородонтовая вскипь на зубной щетке — портрет Ленина — реклама гуталина — плакат «Долой чучван».

И тут-то вдруг мне в голову впрыгнула мысль: о двойной заварке; к пятиалтынному я добавил пятиалтынный, и чайханщик, раскрыв второй бумажный свертыш, всыпал чайники в мой чайник. Зеленая влага стала медленно перецветать в рыжий отстой. Пригубь и еще пригубь — и в голове у меня завибрировало.

Сначала я вспомнил легенду, рассказанную мне Н. Л. Шенгели (Манухиной): некий узбекский властитель любил и был любим своей женой. У него не было гарема. Но франкский царь подошел к стенам его города и сомкнул кольцо осады. Осаждающий сказал: я уведу свои войска, если ты сочетаешься браком с моей сестрой, которая давно досаждала мне, осаждающему. Спросив у жены разрешения изменить ей, узбекский бохадур принял условие победителя. И на следующую ночь он вошел в шатер сестры победителя. Но первая жена его стояла у шатра, прислонясь спиной к стволу осины: она слышала вздохи и поцелуи и дрожала, прижавшись спиной к коре; с той поры дрожь дошла до сердцевины осины и дерево непрестанно дрожит осинной дрожью.

Я вливаю зеленую горячую воду из пиалы в рот и думаю: а можно бы эту легенду опрокинуть в пародийность так: «Ива забросила в реку сразу сотню удочек, а рыба не клюет. И оттого ива печальна и сутула: не клюет».

Мне вспоминается мой старый рассказ: «Странствующее „Странно“». Человек, отряхнувший пылинку с рукава, сам превращается в эту пылинку. Он попадает под ноготь своей возлюбленной, отстрижен вместе с ним и совершает длительный унижающий путь по логическим мытарствам, пока не приходит к сознанию пылинности нашего бытия.

Здесь, под самаркандским солнцем, новеллу эту нужно пересюжетить так: человек, стряхнувший себя с рукава халата, падает на пеструю свесь ковра, из которого его выбивают палками; удар ветра несет его сквозь воздух к окну возлюбленной; он попадает к ней — пылинное существо — в глаз и заставляет ее выплакать себя на щеку; вот он идет по красной земле ее губ и чуть не погибает от чьего-то поцелуя, готового раздавить его; он проникает внутрь по рекам кровеносных сосудов — в ее сердце и встречает там своего двойника, свое я, гораздо лучшее, чем он сам; он идет с ним беседы, предлагает ему поменяться местами и... но какая чушь. Разве можно у нас писать на такие темы? Вот один из молодых японских писателей попробовал было задеть сходный сюжет: муж, пробующий сдунуть пылинку с груди своей спящей жены, сам превращается в эту пылинку. Он обходит белую гору женской груди, эстетически любясь гигантским розовым ее сосцом. Все это построено на плохом знании анатомии. Теперешний студент Коммунистического университета Самарканда не напишет, конечно, такой поэтической чепухи. И я тоже не стану превращать мой замысел в новеллу. Пиала выжата до последней зеленой капли. Пора назад.

Заварка вторая

Итак, метод найден. Я захожу в чайхану и поднимаю два пальца: икинчи. Чай двойного натяжения выгибает фарфоровый нос передо мной. Я глотаю и думаю, думаю и пригубляю. Я подставляю свою голову под восприятия. Вот хозяин чайханы вышвырнул тычком туфли пса. Вот он придержал дверь камнем, засунутым между рамой и створой. Еще глоток. И вот —

Жил-был богатый купец, скажем, Ильм-Рухим. Однажды он шел, щупая монеты, завязанные в красный пояс, через площадь Мир-Араба. Рука нищего перегородила ему путь. Ильм-Рухим как раз думал в это время о том, что человек рождается нищим и собственной рукой вкладывает в свою руку богатство. Он нагнулся к земле, поднял камень и, улыбнувшись, вложил его в руку прощего.

После этого прошли годы и годы. Ильм-Рухим был предан дирхемами. Они укатились, одни за другими, и пояс его стал пуст. Рухим пробовал искать работу, но работа отвергла его, и однажды он сел у перекрестка с протянутой ладонью. И снова прошли годы и годы. Однажды он сидел на площади Мир-Араба, бормоча стих Суры о людях, потоптанных судьбой. Через площадь шел караван верблюдов. Под шеями их качались языки колокольцев, издавая медный звук, а над горбами их взгорбливалась кладь. И вдруг караван встал и медь замолчала. Человек в полосатой чалме, шедший впереди верблюжьей череды, подошел к Ильм-Рухиму и сказал: «О, господин, пусть твой карман дыряв, но мой караван войдет в него, и прости меня за то, что я недостаточно щедр».

Ильм-Рухим понял не сразу, но когда понял, спросил: «О, господин, почему твое благоволение ко мне, а не к этой грязной луже, что чернеет рядом со мной». И тогда человек в пестрой чалме сел рядом с нищим и стал

говорить так: «Я сам был нищим и сидел на этой вот площади, опираясь спиной о стены медрасы. Я умел только протягивать руку, и однажды ты, о, благодетель, вложил в нее камень. Ты хотел посмеяться надо мной, но знал ли ты, что рука, принявшая камень, была рукой зодчего. Я стал всматриваться в изломы и контуры камня, попавшего мне в пальцы. Посредине был крутой скос. Край — иззублен и покат. Несколько пестрых точек вкрапливалось в серое тело камня. И, вглядываясь в его очертания, я стал видеть: камень разрастался, множа свои грани и подымая кверху скосы кровель. Мж моими указательным и безымянным пальцами выростал дворец — вот тот дворец, который ты видишь за круглыми кирпичами Каляна. Твой камень, о господин, научил меня смыслу камней, я стал зодчим, слава и богатство сопутствуют мне. От каждого моего прикосновения к камню рождаются дирхемы. И все оттого, что ты вложил камень в мою просящую руку. Мое богатство — твое богатство. Пусть верблюды моего каравана преклонят пред тобой ноги. Да будет благословенен камень, вложенный в мою руку, о господин».

Мимо мого чайханного укрытия, медленно вороша длинными тенями сниц, прокатывают два колеса арбы. Пора и мне назад в город.

А концовку к истории о пылинном человечке надо бы сделать так: проблуждав по руслам мозговых извилин своей возлюбленной, человечек выбирается сквозь ухо наружу и идет по перелеску ее брови; затем он опускается в межбровную морщинку, превратившуюся для него сейчас в крутоберегий овраг. Несколько секунд, и он бы пересек его поперек. Но в это время девушка вспомнила об ушедшем в безвестие своем любимом: где-то он? Грусть заставляет ее брови сжаться, почва колеблется под пылинным человечком, и он гибнет, раздавленный стенками оврага-морщины. И с персонажем покончено: он убит грустью воспоминания о нем.

Третья заварка

Еще с утра на красной стене чайханы, разостлавшей свои ковры по обочине Регистанской площади, большая белая афишная заплата: коттэ консирт.

Вечер. Садится солнце. Рассаживаемся и мы. Особо рьяные любители музыки, ышкыляр, уже добрых два часа сидят у самого помоста, дожидаясь, когда молчание превратится, наконец, в музыку. Музыканты по качающейся лестничке взбираются под пестрые ленты и лоскутья, развешанные над эстрадой. Вот длинношея с папильотками струн, ввитых в колки, тихоголосая дутар. За ней прямой, точно проглотивший аршин, да, не более аршина, так как сам он не длиннее его, гыджак; единственная его деревянная пятка уверенно уперлась в землю. Маленькие ленивые флейты — тюйдюки разлеглись на подставленных пальцах, опутив головки на выпяченные, точно взбитые перед сном, красные подголовья губ тюйдюкчи. И над откачнувшимися назад тубетейками оркестра медленно взошел круглый, как солнце, в подвесах лучистооппадающих лент, дойрэ: это двулицый бубен; но по лицам его столько били пястью, ребром ладони и пересыпями пальцев, что обили все черты лица, оставив лишь самое необходимое — плоскость.

Оркестр сразу взмывает на *fff*. Руки опрометью по грифам, щеки тюйдюкчи вздуты, и все свободные рты — в помощь струнам и дереву — поют мелодию: она коротка, в два-три такта, и постоянно возвращается к своему началу, кружа все быстрее и быстрее, как колесо, катящееся с горы; в конце концов отдельные звуки ее, отдельные спицы мелодии сливаются в какой-то сплошной звуковихрь. И вдруг — бубен, резким рывком, к земле. Он ложится, в изнеможении, на цветы ковра. Музыканты вытирают пот с красных лбов. Аудитория одобрительно покачивает головами и прищелкивает пальцами. Пауза,

коммерчески выгодная для чайханщика: помощники его торопятся обменять заголодавший чай на горячий и принять новые заказы; я, осторожно придерживав пролетающую мимо подогнутую полу халата, прошу удвоить заварку.

На помост поднимается новое лицо. Это старик, одетый довольно грязно и неряшливо; борода лохмотная, из седых и рыжих ключев. Музыканты почтительно теснятся к краю, уступая пришедшему место в центре: это известный певец, эшулечи. Он садится, окруженный внимательным молчаньем, и долго роется пальцами правой руки в бороде и усах, точно в них запуталась, затерялась песня. Перед эшулечи пододвинутые к его коленям чайничек и дымящаяся пиала. Он опустил руку и смотрит на седой дымок над пиалой. Теперь он ищет прищуром глаз здесь, в вьющихся тонких нитях пара. Мне это ясно видно. И, вероятно, не мне одному. Сперва улыбка — «попалась-таки», из-под улыбки черные корешки зубов и лишь затем чистый — тонкий — длинный фальцетный звук. Чувствую, точно циркуль пробежал холодными острыми ножками по позвонкам. Даже бубен за спиной эшулечи нервно дрогнул, и под его тихий ритмический пристуки песня медленными движениями, как разматываемая чалма, начинает опадать в слышанье. Закрыв глаза, я ясно ощущаю холодок у висков и затылка, но невидимая чалма продолжает сматываться дальше: вслед за ней опадает точно очалмленная кожа, сматываются виски, ставшие мягкими, легкими и скользкими, как обмот шелка, — кости черепа, за ними мозговые оболочки — и мозг оголен, беззащитен, подставлен под все глаза, уличную пыль и тонкую, в мелизмы одетую фальцетную ноту. Впоследствии мне все растолковали: прием, которым пел старый эшулечи, называется джук-джук и состоит в вокализации на звуке «и»; еще лучше ему удастся джоглотмак, пение на «гю»; секрет сегдармека, форшлагирования, перемежаемого

музыкальной икотой, можно считать утраченным, он плохо дается и старику; но зато лучшего мастера дамак-какмака, требующего от певца подстукивания песни ударами пальца по собственному кадыку («сам себе дойрэ, хоб»), пожалуй, сейчас не отыскать.

Но я не стал дожидаться дамак-какмака. Я торопился остаться наедине с отзвучавшей песней. Сейчас мне трудно припомнить, какие ассоциации заставили меня ответить на песню сказкой. То ли это было смутное смысловое ощущение мелодически раздлинненного «и», как грамматического союза, являющегося путем от вещей к вещам, то ли впечатление от тонкого и нервущегося «иини», как от нити, хотящей быть пронизью для образов.

Так или иначе, но, лежа на горячей простыне в своей хуждре, я придумал, точнее, во мне придумалась сказка о великане, носившем свой рост в мешке. Правда, я на себе убедился, что южная ночь действительно короче веревки харифа. Рассвет обогнал мою мысль, сюжет остался недостроенным, точно без кровли. Пусть. Я не делал вторичной попытки.

Их было двое: последний великан и последний волшебник по имени Хаял. О прапрадеде Хаяла люди говорили, что это он лечил землю от горной сыпи, и не разбейся склянка с его лекарством — вся земля стала бы гладкой и безгорной, как степи Туркестана. По другим рассказам, великанов раньше было много и жили они попеременно с людьми обычного роста, ничем не нарушая дружбы. Как ишаки и верблюды, связанные в одну караванную цепь. Тот же Хаялов прапрадед, например, каждую ночь ночевал в туфле одного из великанов, сбрасываемой тем перед сном с ноги. Великан этот, очень добрый, был как раз предком последнего великана, о котором пойдет речь. Но однажды спросонок он забыл о своем друге, укрывшемся в его туфле, и, сунув в нее ногу, раздавил его. Великан сам был очень сконфужен и

огорчен, но сын погибшего, прадед Хаяла, затаил в своем сердце месть. Он обладал двумя чудесными вещами: маленьким камешком, прикосновение которого каменист, и палкой из виноградной лозы, которую достаточно хотя бы на миг опустить в воду, чтобы превратить ее в вино. Он удалился, держа путь к востоку, и, дойдя до полноводной реки, которой теперь нет, построил здесь себе хижину. Прошло много лет, все забыли о несчастье, кроме неотомстившего сына. Каждый раз, перед тем как снять или надеть туфлю, он клялся, что раздавит весь народ великанов. Борода его свисала седыми лохмотьями, но ненависть была в цвете сил. И вот однажды он созвал всех великанов к себе на пир. Великаны пришли: все, кроме жены невольного убийцы, которой предстояло с часу на час родить. Волшебнику незачем было раздумывать, чем угощать гостей. Он опустил свою палку в реку, и та стала бить винными брызгами и винноворотами. Великаны, рассевшись на пологом берегу, выпили реку до дна. Опьянев, они легли, отползши немного от пустого русла, и уснули крепким сном. Тогда-то волшебник и пустил в дело свой каменящий камешек. Он подходил к беспечно растянувшимся великанам — сперва к одному, потом к другому — и притрагивался к ним своим камнем. Великаны превратились в горы, спящие и по сей час каменным сном, а русло выпитой реки можно видеть, пересекая пустыню. Но мстителю этого было мало. Он взбирался на окаменелые тела врагов и топтал их ногами. Так возникли первые горные тропы.

Все это больше чем присказка, но меньше чем сказка. Она начинается, собственно, с рождения последнего великана, спрятанного от гибели во чреве своей матери. Его появление на свет стоило ей жизни. Огромное дитя росло среди чужих ростом существ. Отрок-великан с тревогой и изумлением наблюдал свое от года к году увеличивающееся тело. Почему другие — все, что вокруг, — растут медленно, как саксаул в сухой степи, а

его тянет, как тополь, увлажненный арыком? Люди, побаивавшиеся великорослых соседей, пока тех было много, смеялись над нелепым выростнем и гнали его прочь. Когда он хотел войти в чей-нибудь дом, ему говорили: «Нельзя, еще проломишь теменем потолок»; когда великан просил работы, ему протягивали крохотную иголку и паутинно-тонкую нить, со смехом предлагая продеть нить в ушко, или говорили: «Видишь эту монету, закатившуюся в щель, — вынь ее из щели пальцем, и она твоя». И великану стыдно было своих огромных рук, плеч, поднятых над кровлями домов, и всей своей непомерности.

Все чаще и чаще стал он задумываться о том, как избавиться от своего роста. И случилось однажды так, что слава об имени Хаяла привела последнего великана к последнему волшебнику. Выслушав просьбу, Хаял сказал: «Принеси большой мешок и крепкую веревку». Просящий принес. Хаял усадил гиганта на четырех подостланных циновках, сам присел на корточки под черный навес великаньей тени и вынул из-за пояса маленький тюйдюк.

Тюйдюк смотрел на пришельца всеми своими дырчатými глазками, но волшебник, отдавая дыхание дереву, заткнул ему сначала один глаз, потом другой, третий, пока оно не ослепло, высокой тонкой ногой крича о своей слепоте; и снова перебег пальцев от широкозвучья к узкозвучью; и рост, выманиваемый из тела, как змея, изломленная мелодией, стал медленно покидать своего владельца. Это можно было видеть по тени, которая, стягиваясь, подползала к отверстию мешка, лежащего меж двоих. И вдруг оборвав мелодию, Хаял замахнулся тюйдюком на рост, рванувшийся было назад, и короткими ударами загнал его в мешок. «Вяжи», — крикнул Хаял, и вместе с развеликаненным великаном они навалились на вздувшийся мешок, наузливая узлы поверх узлов.

Выполняя волю избавителя, человек, бывший великаном, взвалил мешок со своим ростом на плечи и пошел к реке, чтобы сбросить его с крутого берега в воду. До реки было недалеко. Но уменьшившиеся шаги превратили «недалеко» в «далеко», а останавливаться по пути не хотелось. Надо было скорее отделаться от ноши. И когда, наконец, став у срыва, великан, переставший быть великаном, захотел сбросить рост вниз, в волны, движение его оказалось тщетным. Дело в том, что рост, даже в глухом мешке, делает свое: растет. От раскачки шага мешочная ткань терлась о спину, постепенно прорезываясь и утоняясь; рост, ища выхода, проник сквозь поры ткани в кожу спины, тысячами проростков уцепился за лопатки и задние вздужия ребер: назад, внутрь тела, откуда его прогнали, он боялся, но и в темном мешке было страшновато. И когда человек подошел к самой воде, он увидел в ней отражение горбуна. Как быть? Возвращаться назад, к людям, знавшим его, — это значит завалить на спину, поверх горба, груду новых насмешек и издевательств. Лучше идти в незнакомые страны к не знающим его глазам. Солнце шло, направляясь к западу; вслед ему направил свой путь горбун.

Он думал, что люди теперь будут радушнее и сговорчивее. Ведь не отказывают же они в работе своим горбунам. Но он ошибся: горбун, разумеется, имеет право на жизнь и костыли, так что на него можно смотреть сверху вниз. Но горбун высокого роста, каким сделал волшебник незадачливого великана, горб, на который надо смотреть самым стройным людям чуть-чуть снизу вверх — это раздражающе и анатомически неуместно. И новые глаза встречали пришельца враждебными прищурками. Работа не отыскивалась. Только в одном из городков, расположившемся уже среди лесистых холмов, сменивших степи, путнику предложили внутреннюю заклепку труб и котлов. Но горб, застревая в полом цилиндре трубчатого колена, не подпустил и здесь к зара-

ботку. Провожаемый сожалительными улыбками, странник поневоле должен был длить свой путь. Пройдя через сотни закатов, он увидал сквозь один из них одетый в стекло и камень город. Люди здесь шли вдоль стен, а посреди улиц кружили колеса и железо, кричащее из коротких раструбов. Путник робко вошел в улицы города. Вверх и поперек всерху, солнчась сквозь почь, желтые сплящие буквы. В городе было многое множество дверей и ни единого приюта. Горбун уперся горбом в одну из стен. О, если бы он был великаном, каким был прежде, он мог бы протянутой рукой перегородить всю улицу. Но Хаялов тюйдюк укоротил руку, рост, жизнь и смысл. Он не вошел ни в одну из закрывающихся и открывающихся дверей.

Он шел вдоль череды дарахтляров (их здесь называли «деревья»), всматриваясь в движение огней и людей. Вот он увидел круглый дом, вращающийся вокруг самого себя: лодки, заседланные лошади, лебеди кружили, уходя от глаз и к глазу возвращаясь; дети, сидя в лодках и седлах, махали руками своим матерям, стоящим у закружившегося дома; матери и сестры поднимали веющие платки, точно провожая своих детей в какую-то новую, выкруживающуюся из круга жизни жизнь.

Горбун сделал еще несколько шагов, и среди обступив деревьев он увидел высокий шест, вокруг которого двигались растянутые разбегом веревки: ухватившись двуручьем рук, дети с радостным смехом бежали вокруг шеста; они были малы, но шаги их были великанскими, его прежними гигантскими шагами. Горбун спросил, как называется эта игра. Человек в рыжей кожаной куртке вынул изо рта табак, завернутый в клоч газеты, и сказал: «Гигантские шаги».

Горбун взглянул дальше: он увидел площадку, заставленную с краев скамьями. По площадке медлительным пустынным шагом шагал верблюд; по обе стороны его двугорбия раскачивались пестрые гнезда, в гнездах

сидели дети. На их личиках — улыбки в полном цвету. Но верблюду было не до жизни, он шел, опустив голову книзу, и шерсть его клочилась намогильным мохом, а из глаз, вместе со слезью, сочилась смерть. Горбун долго искал в большом городе Запада хотя бы какой-нибудь самой малой работы. Он говори лицам, а отвечали ему спинами. И как-то, исхудалый и обессиленный, кружа вдоль улиц, как стрела часов, ищущая будущего, он пришел к той же отороченной скамьями площадке, где встретился с верблюдом, несущим гнезда, полные детей. Верблюда уже не было. По кругу ходил, дергая ушами, маленький пони, выпряженный в колясочку и подщелкиваемый бичом. У сарая лежала сбруя и крашенные кабинки умершего верблюда. Горбун — после колебания — вошел внутрь площадки и открыл дверь в сарай. Навстречу ему поднялся хозяин детских увеселений. И горбун предложил себя в верблюды. У него были все данные: горб, терпение, непряхотливость в пище и любовь к детям. После короткого торга хозяин увеселений сказал: да.

И с той поры развеликаненный великан стал носить подпертый горбом живой, смеющийся, хлопающий в ладоши груз. Свой рост он потерял, но поверх его качающейся спины был чужой, жадно растущий рост, рост человеческих детенышей, преджизней, устремленных в жизнь. И горбун, осторожно ступая, нес на себе грядущее. Он был добрым тьюо, он шел в караване, идущем с грузом предсвершенного из страны заката в страну восходов. И каждый рассвет, расстилающий свои спектры по кровлям домов, напоминал ему о его родине. На деньги, плаченные хозяином детских увеселений, он покупал не только пищу, но и газеты. Газеты говорили языком легенд. Легенда переселилась из извилий арабского алфавита в четкий отсчет арабских цифр. Он узнавал, ему говорили теснящиеся в зрачки черные знаки: там, где желтелились пески, колышутся тонкостебельные коробочки с хлопком; там, где илились древние болота, растут,

наливаясь зеленым хмелем, виноградные лозы. Там, где руинились в землю руины, встают трубы и дымы фабрик. Упряжь издохшего верблюда — что ни день — становилась тесней и тесней. Хотелось опоясать себя меридианами земли, кружить не по площадке, обставленной скамьями, а по орбите, обставленной звездами.

И однажды развеликанснный великан разверблужил себя. Выйдя за заставы города, он пошел навстречу начинающему дневную работу солнцу. Путь его был длинен и труден. Не будем тратить на него слова Позади шагов остались скошенные кровли, толпы дерев и холмящиеся волны земли. Дни и дни сквозь сухую безводную степь. И вот однажды навстречу глазам приречью родного города. Сквозь пылевую завесь — каменный вырост минарета. Но минарет как-то странно вытянуло кверху: точно он прикупил роста. Еще сотня и сотня шагов. И вот видны расходящиеся кругом от минарета нити, бегущие к земле. Еще шаги, и видно ясно: это не минарет, это — строительная вышка, поднявшая свои прозрачные фермы и растянувшая паутину тросов над горами растущего вверх камня. Горбун, бывший великаном, подошел вплотную. Он видит: большое гнездо, наполненное людьми, ползет по канату вверх, направляясь к вершине вышки. Скрипят лебедки, слышно шуршанье подъемного колеса о трос. И вдруг снизу крик. Гнездо качалось. Перетертый канат накренил гнездо — миг, и люди просыплются с высоты в смерть. Великая дрожь проникла в сердце человека с загорбленным ростом: «О, Хаял, отдай мне мой рост, мне, носившему гнезда с детьми, разве это не мои дети — люди, отдай рост!»

И рост, дремавший в его горбе, разбуженный криком, проснулся. Он вскочил ото сна, и горбун раскрылся во весь свой рост; его протянутые на помощь руки крыльями птицы возносились вперед, его голова поднималась ввысь, как купол обыденного храма, возводимого по обету в один день, его плечи поднимались, как плечи ве-

сов, готовых взвесить землю и небо, и рухнувшая бадья упала в его гигантские ладони, столько раз осмеянные колючими иглами и спутанными нитями людей. И тот, кто был последним великаном прошлого века, стал первым великаном грядущего.

Четвертая

Чайхана эта, в которой я сейчас, чуть европеизирована. Вместо ступенчатых помостов, застланных ковровыми узорами, стулья, пододвинутые к столам. На стене тикающие часы. За окном заштрихованный серым карандашом вечера воздух. Через улицу наугольник мечетьевой террасы в обставе покосившихся деревянных колоннок. От колоннок к крашеным стенам мечети шесты. На шестах громоздящиеся в сон курицы. Где-то издалека, вероятно от Регистана, крик автомобильной сирены. С другой стороны, из загорожья, длинный голос разбуженной ночью ночной птицы. Мне не очень хочется пить. Но темно-зеленый отлив чая в пиале, усиленный добавочной заваркой, самой своей окраской притягивается к губам. Образы встречаются в моем мозгу, обмениваются ассоциативными рукопожатиями или поворачивают друг другу спины. Мое внимание не слишком внимательно на этот раз. Оно идет прогуливающимся шагом, разглядываясь по сторонам. И вот что оно видит.

Жила-была сова. Именно та сова, портреты которой можно видеть на книжных знаках иных издательств и которая могла бы написать мемуары о небезызвестной в древности Афине Палладе. У совы, несмотря на ее вековую ученость, не было почти никаких литературных заработков, и она квартировала на пропаутиненном чердаке, под дырявой кровлей какого-то не то разрушенного, не то недостроенного дома. В слуховое окно ей не

только было слышимо, но и видимо круговращение дня двора, прилегающего к стене заброшенного ее обиталища. Это был птичий двор, заселенный пестроперыми петухами, хлопотливыми курицами, утками и цесарками.

Мысль совы специализировалась на проблеме о куриной психике. Наблюдая со своего затененного чердака жизнь птиц, сова не могла не прийти к выводу, что мозгоклюй курицы, вечно клюющей птицы, куриный кругозор ее уже, короткорadiusнее всех других птичьих кругозоров. Она не видит дальше тут, умовосприятие ее не длиннее ее клюва. И ученая сова поставила вопрос чисто научно: какие внешние воздействия влияют столь укорачивающе на ум курицы, превращая его в так называемый «куриный ум».

После ряда медитаций и исследовательских работ сова пришла к следующему строго обоснованному умозаключению: курица ничем не глупей других птиц, отнюдь, но она попросту не успевает войти в ум, так как ее, пользуясь ее одомашненностью, режут раньше, чем в ней прорежется мудрость; ведь мудрость — это проработанный в мозгу опыт. Курице же не дают возможности накопить его в достаточном количестве, не позволяют ей успеть поумнеть; наследственность, естественно, закрепляет дело, начатое кухонным ножом.

Придя к такому смелому выводу, сова решила бороться за интеллектуальные права курицы и курицыного потомства. Однажды вечером она слетела со своего чердака и, опустившись среди круга кур, готовившихся ко сну, прочла им чрезвычайно ученую совиною лекцию о грядущей курокультуре.

Но вечерние курсы, затеянные совой, поневоле были краткосрочными. Два сна — сон, смыкающий пленки глаз, и сон, размыкающий лезвием горло, — противились одействованию совинологии.

Тогда сова, после нескольких дней размышлений, решила перейти от теории к практике. Зло, причиненное людьми курице, — размышляла она, — не только в том, что они приручили ее мозг, укоротили ее логику, но и в том, что они укоротили ей крылья, отучили их от лета.

Только крылья — продолжала размышлять сова — могут изолировать обескультуренных кур от человека и его ножа. В сущности, Ламарк прав: путем упражнения, биологических экзерсисов можно вернуть органу утерянную им способность.

Вскрикнув носовым совиным криком, культуртрегерша кур на распластанных крыльях снова опустилась в куриный двор и дала точную инструкцию. Отныне каждая курица, перед тем как отойти ко сну (днем надо быть осторожным — глаз человека следит за ними), обязана проводить небольшую крыльевую гимнастику; удобнее всего это выполнять на невысоком расстоянии над землей, на ...каком-нибудь, ну, назовем это «насесте»; «лёт на месте» постепенно разовьет крыло, раздлиннит его, и настанет день, когда куриное племя, поднявшись на крыльях, подобно стае орлов, покинет птичники и полетит в свою, свободную от человека, обетованную страну.

Каждый день, как раз в тот миг, когда солнце садится на горизонт, все куры садились на насестные шесты и аккуратно хлопали крыльями, перед тем как сон захлопнет им глазными перепонками день.

Однажды сова решила: пора. Она назначила полночь для лёта. Но в это время все куры — как назло — сидели на яйцах и не посмели поднять свои крылья для лёта.

Сова очень огорчилась. Она продолжала размышлять по всем правилам силлогистики: кто — откуда — посредством чего — для чего — куда: куры — от человеческого бесчеловечья — посредством крыльев — сво-

боды для — куда? С куда было нелегко. Дело в том, что вылупившиеся из яиц цыплята имели крылья, не прошедшие еще курса совиных экзерсисов. Затем, лететь от человека не к человеку — значит перекрылить жизнь в пустыню, беззерную и лишённую вод. Следовательно, надо учить летать не только куриц и курицыны выводки, но и мешки с пшеном и бадьи с водой. Это уже много труднее. Если же лететь от воды к воде, от зерна к зерну, то это значит — менять клетку на клетку, одну человечесью неволю на другую. И сова повесила клюв на увеличенную квинту. Не только руинный дом, в чердачном сумраке которого она жила, — весь мир стал казаться ей падью распадов.

В одно из глубоких послеполуночий она улетела на своих серых крыльях сквозь сумрак и тишину, и куры остались без вождя и пророка.

Но все равно с тех пор с каждым закатом, прежде чем усесться на насестах, все курицы всего мира хлопают крыльями о свои куры бока, повторяя физкультурный экзерсис, которому их научила мудрая и печальная сова. Научит ли она их крылья лёту, об этом знают лишь профессор Ламарк и бесследно исчезнувшая сова.

Вот. Под круглой крышкой моего чайника лишь разбухшие темно-зеленые чаинки. Кровь трется о виски. Пора. Я не знаю, придут ли в будущее этой страны предвосхищенных зорь новые Нсвай-и-Мухтум-Кули и Даулят-Дурды. Но я слышу их шаг, звенящий сквозь века.

V

Коронованный зуб

Это было в одно из утр, до того как прохлада прогнана зноем. Я проходил мимо кротовьих холмиков одного из кладбищ. Шаг вел меня мимо, но его остановил звук. Это был надорванный старушечий голос, запутавшийся в выкликах, как в стеблях травы. Вслед ему короткая юная вибрирующая нота — молчание. Я остановился, затем включил память: здесь есть обычай — женщинам не позволено провожать прах до могилы, но им вменено в обязанность оплакивать зарытое тело каждодневным плачем. Могильные холмики вели меня по выгибу холма — и вскоре я увидел над одной из спесих кротовин двух женщин, которые, присев на корточки, раскачивались в такт плачу. Одна из них была старухой; чучван, сбившийся на плечо, показывал ее дрожащие вокруг беззубого рта морщины. Другая, с косами, откинутыми на спину, подставляла под солнце свое смугло-розовое лицо и снежный блеск приоткрытых зубов. Старуха учила юную кызчу искусству плакать: она вела свой голос по витым лесенкам трагических фиоритур, падала в всхлипы, как в всплески омутов, вела голос приливами скорбей и отливами жизней. Бронзоволицая кызча с испуганным удивлением смотрела на шевелящийся рот старухи. Изредка она пробовала подхватить напев, но ее

голос был слишком молод, в нем звучала полнота упругого грудного дыхания, а не резонанс могильной ямы. И кызча сконфуженно обрывала втору. Мы встретились глазами. В ее суженных солнцем зрачках я увидел то, что радостнее всех радостей: жизнь.

В органической химии принято разделять все соединения углеродного атома на два ряда: ароматический и жирный. Анализируя старый перезрелый Восток, я раскладываю его в своей голове тоже по двум рядам. Есть Восток ароматический и Восток ожирелый. Каждое явление в свете здешнего солнца и моей привозной мысли включается в один из этих рядов.

Ароматический ряд: глаза кызчи, не повинующиеся плачу, — сказки Шахразады — музыка тюйдюкчи и пристук дойрэ — запев базарного маддаха — сплетающиеся лучами звезды настенного орнамента — игла, изостренно грезящая по стлани сюзанэ.

Жирный ряд: старушечий чучван — щиколотка, лениво подогнутая под щиколотку, — сонное многочасовое чайханничанье — толстозадый бача — кошель бая, перекрученный над животом, — халат и его эманация: халатность — сумах и тувак.

Последние два звена нуждаются в объяснении: еще до сих пор не искоренен обычай держать грудных детей в особых коробах — сумахах, к дну которых они крепко привязываются специальными перетяжками; тут же на дне находятся отверстия — туваки, которые избавляют матерей от необходимости следить за отправлениями новорожденных. Говорят, что затылки младенцев, на много месяцев притиснутые к дну сумаха, приобретают от этого плоскую форму. Это только пример: у многих и многих явлений, если взглянуть за них, плосковатые затылки. Необходимо растувачить жизнь.

Ароматическое, обаяющее своей наивностью, и жирное, застоялое встречаются здесь бок о бок неисчислимыми встреч. Вспомнить хотя бы два забавных случая с автобусами, которым я был внимательным свидетелем. Первый случай произошел на ходу, при повороте из улицы в улицу (кажется, со Склянской на Ленинскую). У узбека, придерживавшего ногами мешок с дынями, не хватило денег на билет; кондукторша дала было знак шоферу — остановиться, но владелец мешка, развязав его, вынул большую пахучую дыню и передал соседу; шофер, начавший было тормозить, снова надбавил ходу, мы снова закружили от перекрестка к перекрестку, а дыня — своим чередом — совершала круг по ладоням в поисках покупателя. После долгих постукиваний по ее кожуре и проб на затиск она, наконец, нашла его — инцидент был исчерпан.

Другой случай имел место у стоянки автомобилей, курсирующих меж Новой и Старой Бухарой. Предполуденный зной. Одна машина, набрав комплект, укатила из-под самого носа. Делать нечего. Становлюсь в терпеливую очередь, состоящую почти сплошь из людей, вдетых в халаты. Наконец отдаленный гул, потом ниль, потом машина. Рассаживаемся. Кондуктор раздает билеты, затем отходит в тень дерева и, сняв сумку, подкладывает ее под голову, очевидно готовясь вздремнуть. Халаты молча ждут. Но я протестую: почему не едем? Шофер, обернувшись, отвечает сквозь зевок: нет комплекта. Действительно, из шестнадцати мест два пусты. Ждем. Стрелка часов идет по минутным делениям, а мы стоим как заклятые. Снизу разогретая кожа сиденья, сверху застывший зной. Я снова делаю попытку бунта: ведь пассажиров дает поезд, до нового поезда еще четыре часа, неужели нам стоять все четыре; наконец, черт возьми, в

погоне за какими-то копейками теряется уйма времени, которое тоже стоит денег.

Кондуктор глубже задвигается в тень, шофер молчит. Замолкаю и я. Ждем. Вдалеке показался человек: а вдруг пассажир? Соожидатели, приложив ладони к глазам, стараются угадать. Спорят. Человек идет чрезвычайно медленно, то и дело останавливаясь; недалеко от стоянки он ныряет под притолку лавки, но через минуту снова появляется, на этот раз прямо шагая к автобусной подножке. Слава Богу! Еще бы одного, и двинемся. Вдруг из-за угла сразу двое. Очевидно, это супруги. Они торопливо направляются к нам. Наконец-то. Кондуктор приподнимается и раскрывает билетную сумку. «Икины? Два билета? Два нельзя: одно место». Супруги начинают спорить — кому ехать, кому остаться; потом решают вместе дожидаться следующей машины. Я в бешенстве вскакиваю и требую, чтобы с меня взяли за пустое место. Ни шофер, ни кондуктор не отвечают. Шофер пригнулся к рычагу: самый мотор начинает глухо протестовать. Трогаем.

Разумеется, жирный ряд надо перечеркнуть. Дряблые сгустки лени, насиженные столетиями, теперь, когда статика исторически преодолена, исчезнут сами собой. Но как быть с феноменами ароматического ряда, как найти приложение Шахразадову началу?

В химии схема молекулы ароматического соединения изображается обычно в виде замкнутой цепи атомов, как бы вросших друг в друга своими валентностями. Например так.

Сцепление радикалов и черточек, означающих сродство, до странности напоминает глазу те старинные запястья, нитевидные браслеты, билек-узуки, которые продаются базарными ювелирами Бухары. «То обстоятельство, — пишет химик Лонгинов, — что молекула

ароматического соединения *замкнута сама на себя*, что в ней значительная доля энергии... уже использована на это замыкание, определяет пониженную способность ароматического ряда к реакциям и превращениям...» (курсив мой. — С. К.). Да, аромат Востока «замкнут на себя». И его надо разомкнуть, расцепить за пястье, вросшее в пясть, как кандалы. Так, по-моему, решается схема о старом, дышащем ароматом легенд Узбекистане.

Их было двое. Русский и узбек. Русский был юн. Узбек стар. Они сидели на одной из ступенчатых десятиграней каменной оправы Кош-хауза. У юноши горизонтальная морщина удивления от виска к виску; на коленях газета. У старика короткая вертикальная складка меж бровей; в длинных пальцах левой руки гроздь винограда.

Оторвав виноградину, старик сказал:

— Ум — связка ключей: от смыслов. И вся суть в том, чтобы их не перепутать: смыслы и ключи.

Юноша смешливо поднял белые, выгоревшие на самаркандском солнце брови:

— То-то ваши узбекские глаза похожи на замочные скважины.

— Молодые твои слова, а молодость — стара-стара. Ой, как стара. Так стара, что не слышит.

Морщина удивления на лбу юноши стала четче. Собеседник его оторвал виноградину:

— Всякий доживает до своей молодости, но до старости — не всякий. Значит, у молодости больше жизни, чем у старости, она старше старости. И люди научились быть молодыми, но вот как быть стариком, этого еще никто хорошо не знает. И после скажу тебе такое: один человек не заметил, как прошла мимо молодость; только спину ее и увидал; тогда он стал кричать: «Эй, моло-

дость, вернись, эй-эй», — а та даже не оглянулась: скажешь, не глухая, а?

Сидевший рядом прошелестел газетой. Словоохотливый старик, сдернув с веточки еще одну зеленую бусину, продолжал:

— «Кзыл-Шарк»? Красный Восток. А кто его будет строить? Юный и старый, а человек, который уже не юный и еще... как это у вас называется?

— Человек средних лет?

— Хо, тогру: средних лет. Вот такой (неожиданно я, слушавший разговор, стоя в стороне у стены дворика, увидел палец, протянутый в мою сторону). Обе зари, утренняя и вечерняя, красные, а посередине нет; и дупло у дерева — посередине. Юный бросает зерна в будущее, потому что дождется жатвы, старый мстит прошлому за то, что оно платит ему за все труды смертью, гробом, деревянным кошельком, в котором ни тиина: в этом и есть мудрость. Ну, а вот такой (я снова почувствовал на себе жест длиннопалой руки) — он не с нами: уже не юн и еще не мудр. Не с нами. А что пишут в газете?

— У нас: пахта и пахта. «Все силы бросить на фронт хлопкосбора».

— Справедливые слова. А у них?

— У них? И не разберешь. В Германии вот гинденбурговщина расшумелась: рано, мол, раскороновались, гогенцоллерновской короне музейный билетик приклеили...

Рот старика раскрылся злорадной усмешкой; из усмешки блеснул золотой зуб:

— Отчего нет? Все можно короновать: даже зуб, когда он подгнил. Знаешь, оглу, у нас на крутой тропе заревшанских гор есть старая надпись, я бы отдал ее им, отклеивателям билетика: «Путник, ты в шаге от своей могильной земли — будь осторожен: как слеза на реснице».

И в досыл словам говоривший бросил пустую, всю в арабесочных изгибах, сухую веточку винограда.

Я отошел от разговора. В этот день — перед вечером — мне довелось заглянуть в один из старых мазаров: над каменными ребрами гробницы, как обычно, огромные древка исламистских знамен, сделанные из цельных древесных стволов, лишенных лишь коры. У вершины одного из древок, наряду с полуистлевшими желтыми и зелеными лоскутьями, я увидел ярко алеющий советский флаг.

День и день

Я быстро усвоил обыкновение: солнце к зениту — человек к постели. Голова моя была уже подоткнута подушкой и сознание пересекало нейтральную зону меж явью и сном. Правда, за зажмуренными створами двери слышалось какое-то шарканье и приглушенные голоса. Это не мешало. Я готовился уже оторваться от дня — и вдруг сильный, на высокой баритональной ноте — острым звуковым лучом — голос. Я вскочил и распахнул двери.

Внутри медресного двора, почти у самой его середины, стоял высокий человек в белой чалме с руками, поднятыми к лицу. Впереди него правильными шеренгами коленапреклоненные люди. Перед ними раскрытые двери (обычно они были под ключом) противоположащей моей стене внутри монастырской мечети. Ряды склоненных непрерывно росли поспешно подходящими, а то и подбегающими людьми. Все это были сплошь мужчины. Каждый из включающихся в богослужение расстилал перед собой квадратный коврик, намазлык, а то просто кусок материи или ситца; иные, победнее, стлали под ко-

лени свои набедренные платки, а то и просто какие-то грязные лоскутья.

После нескольких призывных возгласов к Аллаху, мулла вошел внутрь мечети, и служба продолжалась. Я видел только одновременно — по гортанному выклику из-за дверей мечети — падавшие к земле и тотчас же распрямлявшиеся спины. Это было похоже на какое-то строевое учение пред лицом Аллаха, принимающего смотр. Отряд молящихся был невелик, но фанатически истов.

Все окончилось так же внезапно, как и началось. Намазлыки свернуты, бороды опущены на грудь, и крутые носки туфель движутся назад к выходу. У выводной арки скопилась уже группа нищих. Среди них глухонемой с дутаром в руке. Дергая струны, он издает какие-то бессловные, лающие звуки и идиотически скалит зубы. Правoverные проходят чередой мимо нищенских чаш и протянутых ладоней, раздавая медяки. Я внимательно разглядываю проходящих; почти все они стары или близки к старости; спины их согнуты, шеи в складках. Последний отряд Аллаха в порядке отступает, защищаясь медными тиинами. И над всем этим смерть.

На другой же день в тот же час я подходил к Тиллякари. Но дорогу мне перерезала толпа, бегущая к входу в Шир-дор. Веянье халатов, топот ног и возбужденные вскрики. Бежали отовсюду: снизу — из переулка, сверху — с базара, но все устремлялись к забитой стеснившимися входной арке Шир-дора. Отждав, когда приток людей несколько утишился, я протискался во двор медресе.

В глубине его, за веревочным барьером, на стульях в несколько шеренг сидели люди в халатах; все они были повернуты спинами к входу и окружены красноармейским конвоем. Толпа, шумно вливавшаяся во двор, попав в него, затихала и бездвигалась, как вода в хаузе.

Достаточно было короткого взгляда и одного вопроса, чтобы понять: люди, отделенные винтовкой, отряд басмачей, целиком попавший с большой дороги на скамью подсудимых. Я на время покинул судилище.

Через час-два, отдохнув в своей хуждре, вернулся назад. Заседание уже началось. Председатель, крепколицый и широкоплечий человек, упершись локтями в сукно стола, допрашивал главного, курбаши. Тот стоял, повернувшись ко мне в профиль. Это было очень странное лицо: молодое и в то же время старчески серое, с опущенными углами губ и почти трупозаостренным клювовидным носом. Он отвечал тихо, слова проглатывало арками стен. Я осмотрел шеренги тех, кто с ним. Его помощник — седоусый обрюзглый человек со слезящимися глазами; рядом чья-то выставившаяся из-под тюбетейки плешь; дальше борода с седой прорединой. Все это были люди если не старые, то с подстарью, люди «средних лет». И над всем этим была смерть.

Я вышел наружу, на площадь. У нижней ступени Шир-дора сидел глухонемой с дутаром. Под монотонный звон струн он пробовал вылаять какие-то не удающиеся ему слова.

Ызбаш

Я увидел ее перед самым утром, во сне. Перед тем я встречался с ней в реальном пространстве только раз. За Бузулуком. Вместе с десятком других низкорослых деревьев она выбежала из оврага — навстречу рельсовому пути — и, опередив их, вдруг остановилась, запрокинув назад свой тонкий белый ствол. Вероятно, ее испугала мертвая стлань степей, шедших на нее тысячеверстиями оттуда, с Востока. Это была последняя береза на пути

сюда. Я понял: пора вспомнить слова «городская станция — билет — плацкарта — скорый».

Я уложил свой рюкзак. Кстати, надо уложить и мысли. Иной силлогизм так же легко выронить из памяти, как зубную щетку из дорожного мешка.

Вспомнилась вся — в сущности страшно скудная количественно — пригоршня дней, моих узбекистанских дней.

Это было на мир-арабском базарном аукционе. Крикливый аукционист, забравшись под самую аркатуру мечети, господствующей над шумливым рынком, всходил голосом еще выше по лестнице цен — и вдруг, оборвав цифры, бросал купленную ткань в толпу — прямо в подставленные руки покупателя. Как сейчас вижу лёт одного пестрого переливчатого бухарского халата: брошенный в воздух аукционистом, он взмыл над площадью, горя парчовым блеском, перекувырнулся ярким летучим клубом и, прощально взмахнув рукавами, мягко упал в многоголовье базара. Мой путь был немногим длиннее. Остается догнать траекторию лёта.

Снова проходят передо мной: фисташковые деревья над фисташковой водой Чирчика, за деревьями — фисташкового цвета стекло уличных фонарей, льющих фисташковый свет сквозь пробель цифр, — это Ташкент; пыль, осевшая в виде города, спрессованная в серые стены и оползни Арка, слипшаяся в мёсивные зубья городских стен Бухары, или, наоборот, Бухара в порошке, истираемая ветрами в пыль, летающую над пылью, осевшую в виде строений; Самарканд... но это я могу еще увидеть глазами, не памятью.

Поспешно взбираюсь по спиральной лестнице на кровлю Тилля-Кари: вот он, разбросанный по всхолмьям пепельно-коричневый, вечереющий город. Если бы здесь, рядом со мной, стоял хромой Лесажев бес, озорной Асмодей, ему вряд ли удалось бы сорвать все кровли

с домов, как он это сделал с кровлями засыпающего Мадрида. Здесь они все плоские — их не за что взять: даже мыслью. И если делать литературные попытки проникнуть в тайну глухих, на висячих запорах, стен самаркандских жилищ, то надо придумать совсем иную сюжетную рамку. Например, такую.

Некий заезжий человек хочет знать: что там, в запретных для глаза чужестранца беззаконных домах столицы Маверраанагра? Однажды он сидит, отдыхая от зноя, запрятавшись под черный чучвал тени, прикрывающий стену. Ему дремлет, он прислонился ухом к глине — и вдруг слышит из ее толщи голос. Это голос человека, научившегося ходить сквозь стены, но заклятого своим врагом и увязшего в одной из них навсегда. Он рассказывает ему о том, как учил свое тело, силою чудесных мазей, проскальзывать меж частиц глины, просачиваться сквозь стены жилья, как это умеет делать сырость. Достигши — путем долгих упражнений — высокой степени искусства в хождении сквозь, он стал посещать ночные гаремы, сокровищницы богачей, полные золота, наконец, тюрьмы. С помощью своей сверхскользкой мази он хотел помочь проскользнуть сквозь стены тюрьмы несправедливо осужденному другу, но пузырек с мазью, как раз в тот миг, когда он, прокладывая путь другу, уже вошел в глиняную толщу, ударился о... но, черт возьми, что там внизу, на Регистане, за странная вереница людей? Уже очередь ли к автобусу? Пока я тут играю в прятки с реальностью, мой поезд свистнет и уедет. Осталось два часа.

Сбегаю по лестнице, взваливаю на плечо мешок и бегу в конец хвоста. Нет — так невозможно. Приходит один автобус. За ним другой. Очередь почти не укоротилась. Бросаюсь к извозчику:

— Эй, ызбаш, вокзал, сколько?

Ызбаш великолепно учел ситуацию и заламывает пятерную цену. Бросаюсь к другому перекрестку. Возница сидит, невозмутимо перекинув кнут через плечо: цена его еще покруче. К третьему: уже занят. Возвращаюсь к человеку с кнутом через плечо — цена за эти секунды успела вспрыгнуть еще на пару нулов. Делать нечего. С проклятием громозжусь на сиденье: вперед, гони!

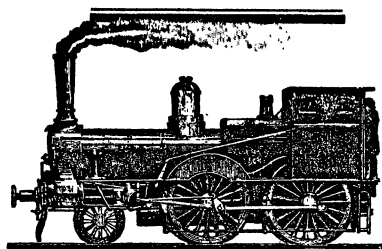
Но возница, флегматически сдернув кнутовище с плеча, легонько покручивает им в воздухе и везет не по прямой, а по кругу Регистанской площади. Мимо нас мелькают знакомые огни чайханы, витрины сартараша, громады трех медресе и снова чайхана, и снова сартараш. Ызбаш ищет второго седока. Он не перестанет кружить, пока не добьется своего. Повернув голову к периферии круга, он выкрикивает:

— Вокзал — десять рублей, вокзал — восемь рублей. Вокзал — садись за семь.

Люди, медитирующие за своими пиалами на скорченных ногах, люди, рассматривающие свои изображения в зеркалах сартараша, люди, присевшие на каменной ограде при медресовой площадке — все с интересом следят, а иные принимают и посильное участие в постепенно разворачивающемся аукционе. Я молча жду, отодвинувшись в левый угол сиденья: надо сделать более заметным и заманчивым пустое место рядом, распродаваемое если не с ударов молотка, то со взмахов камчи. Оно и я — мы лишь пустое и занятое места. И я учусь у него, пустого, — терпению и равнодушию.

Прощай, лёт пестрого клуба через мир-арабское солнце, прощай, край предвосхищенных зорь, прощай, хариф мысли, хайыр!

Хорошее море



очерк

Ай, Черное море, хорошее море.

Э. Багрицкий

I

Стрелка вокзальных часов, дернувшись, показала четыре пятьдесят. Поезд медлительным ядром выскальзывается из стеклянного жерла Брянского вокзала. Пассажиры моего вагона меняют верхние полки на нижние, заказывают постель, спорят о том, открыть или закрыть окна, а если открыть, то справа или слева. Проводник отбирает билеты: завернутые в бумажные простыньки плацкарт, они ложатся в глубь коричневых мешков его вагонной книги, а пассажиры, хотя солнцу еще далеко до заката, начинают спускать спальные полки и громоздиться на деревянных пасестях.

Мы не отъехали от Москвы еще и десятка километров, а я уже отделил, может быть приблизительно, москвичей, едущих в Одессу, от одесситов, возвращающихся восвояси. Первые говорят: Одесса. Вторые: Одэсса.

Входит старший проводник. Он произносит краткое и убедительное слово о том, что для плевок имеются плевательницы, а что мусорный ящик, в конце вагона, предназначен только для мусора, и исключительно для мусора, и ни для чего другого. Солнце гаснет. На потолке вспыхивают электрические лампы. В проходе вагона торчат плоские задки туфель, каблуки сапог и обтянутые чулками пятки. Я успел увидеть не то два, не то три

сна. Просыпаюсь от остановки. С левой верхней полки: «Это что за станция?» — с правой: «Черезбрянск».

Утром редко-редко березки. Все больше сосны и дубняк. Потом притиснутые к земле кусты. Потом степь. Кто-то, вытянув шею и голову из окна, говорит: Одесса. Да, Одесса. Навстречу мчатся зеленые пальцы укусного дерева, надгородная пыль и каменные тычки гор. Перрон. И сразу разительная разница между откуда и куда. В Москве на трех уезжающих — один провожающий, а здесь, в Одессе, на одного приезжающего — трое встречающих.

Вот я и мои чемоданы на трамвае номер восемнадцать. Мы с чемоданами сразу же попадаем в совершенно новый лексический мир. Оказывается, что: вагоновожатый не вагоновожатый, а «ватман»; кондукторша — «кондуктрисса»; ролик, или токосниматель, как называет его техника, — «бигель»; управляющий трамвайным движением — «лоцман зализницы». На стене трама висят объявления и плакаты: одно о том, что «До зупинки» нельзя вставать, другое о том, что «Лучше встать на пятнадцать минут раньше, чем рисковать своей ЖИЗНЬЮ».

Мой сосед, вероятно москвич, спрашивает смеясь: «Ну, а если я еду на десять минут езды, то выходит, что надо раньше встать, чем сесть». Он же: «Удивительный город Одесса, вот видите там объявление — «Зубной кабинет ликувания», — казалось бы, зубы болят, чего тут ликовать, а ликуют».

Трамвай, вычсртив кривую, поворачивает к Фонтанам. Проезжаем мимо Куликова Поля. Вот здесь, за зеленоватым скучным домом, жил катаевский Петя с «Канатной улицы», угол «Куликова Поля».

На шестнадцатой станции пересаживаюсь на девятнадцатый номер. Это скрипучая дряхлая клеть, еле-еле ворочающая своими колесами. На Фонтане так и говорят: лучше на одиннадцатом (разумей — на своих дво-

их), чем на девятнадцатом. Трамвай, отскрежетав две-три станции, останавливается. С передней площадки просовывается лицо и стальная рукоять вагоновожатого — ватмана. Голос среди публики: «Току нет?» Ответ ватмана: «На нас хватит». Едем дальше. На белых камнях прифонтанских дач мелькают имена и слова: «Врач Парижер» — «Здесь продают утков, цыплев и яйцо» — «Зубной врач Капун». Раз или два слева блеснула голубая чешуя моря и снова рыжие холмы, пористый, вырастающий в стены и дома, одесский ракушняк, прибитые ветром к земле кусты и бестолочь камней, разбросанных по дороге.

Приехали. Станция Ковалевская. Навстречу бежит лохматый пес Шарик (здесь все псы на тридцать верст вправо и влево — Шарики), он лижет мне руки и осторожно хватается зубами за полу пальто. Ну вот.

II

Раннее утро. Я иду по пустому тротуару. Надо побриться. Но парихмахерские еще закрыты. На одной из стен, прямо по известке, остатки каких-то расплывшихся букв: П-р-и-р». Ступеньки, над ступеньками дверь. Я вхожу. Темная комната. За длинным столом сидит длинная семья. Пятеро детей, мать, отец в белом балахоне.

— Я, кажется, не туда попал?

— Почему не туда? Я вот вижу, у вас левый висок ниже правого. Сейчас подброим. Гриша, дай клиенту стуло.

Гриша, положив вилку, толкает по направлению ко мне, грудью, тяжелое плюшевое стуло.

— Вы, извиняюсь, из Москвы?

— Да.

— Гриша, дай трумо.

Гриша приносит круглое карманное зеркальце, подоткнутое двумя картонными тычками. Нагнувшись, я могу увидеть в нем свой нос и верхнюю губу. Парикмахер, засучив рукава, намыливает мне щеки. Потом начинает брить, забавляя разговором:

— Я, знаете, работаю в колхозе. Но счастье вам подмогло. Сегодня я выходной. Только я вам скажу, теперь работать в парикмахерских, так это горе. Вот, например, я кончу вас брить и вы, вероятно, мне заплотите. Так как вы мне будете платить, вы влезете себе в карман, расстегнете портману, дадите два рубля, а я вам тридцать копеек сдачи. Все ясно и понятно. А вот пойдите куда-нибудь под вывеску — и что у вас получится. Сперва у нас было так: клиент дает деньги, мастер опускает их в жилетный карман и они говорят друг другу «до свиданья». А потом порядок изменился: клиент спрашивает у мастера сколько, идет в кассу и платит столько сколько. Ну, а потом выдумали по-другому: клиент спрашивает сколько, идет в кассу, потом получает бумажку, на которой написано столько сколько, несет ее мастеру — и тогда ему позволяют одеться и уйти. Но и это рационализировали: мастер пишет на бумажке, что и как, касса получает, как и что следует, клиент уходит. Но и это им показалось мало: мастер уже пишет не на бумажке, а на целом ведомстве, и они уже идут вместе к кассину окошку, и кассир удостоверяет, и тут только все они трое говорят друг другу «до свиданья». И вы думаете, что это все? Так нет же. Опять новый порядок: клиент, прежде чем сесть вот в это кресло, говорит, на сколько он хочет постричься, а на сколько побриться, а на сколько брызнуться одеколоном. И тогда он со счетом идет в кассу и платит вперед. И если во время работы ему еще захочется компресс или массаж с вазелином, так он после опять

идет в кассу и плотит назад. Так вы думаете, что это все? Так нет же. Теперь они делают так: клиент...

Но, по счастью, бритва окончила свое дело — и я ушел, не дослушав.

III

Я встаю ранним утром. Красные лепестки ночной красавицы еще чуть-чуть приоткрыты навстречу угадываемому солнцу. Все спят. Даже собаки. Спускаюсь к берегу. Вода прилипает к телу нарзанными пузырьками. Берег пустынен. Я плыву, скользя подбородком над холодной водой — и тут, навстречу глазам, из горизонта выплывает корабль. Над ним нет ни труб, ни дыма. Над высоким бушпритом косою белый треугольник, а за ним будто множество крыльев, поднимающих корабль над водой. Это идет наше парусное судно «Товарищ». Я узнал его сразу. Кажется, будто высокие мачты его поддерживают небо, как колья палатки ее полотнище. Он окружен беззвучием. Ни шума винта, ни крика сирены. Вот из серого края моря показался край солнца. Потом и весь диск. Паруса корабля стали красными. Ветер надул. Паруса стали круглы, как груди женщины. Корабль медленно режет волны. А я устал и поворачиваю к берегу. Еще украдут платье, черт возьми!

IV

На 6. Греческом базаре сохранился и до сих пор ряд невысоких домов, сросшихся кирпичными боками в один дом, окруживший площадь. Все эти строения из

двух этажей: в нижнем этаже лавка — в верхнем квартира лавковладельца; торговля — базис, семейная жизнь — надстройка. Днем двери и окна лавки были открыты навстречу солнцу, слышалось щелканье счетных костяшек; к вечеру лавка смыкала свои железные ставни, а наверху распахивалось окно, загорался желтый язычок лампы и слышалось брнчанье струн гитары.

Сейчас, конечно, это старое архитектурное напластование уже не совпадает с социальными этажами. Вывески остались, но рядом с ними, у крытых лесенок, ведущих наверх, появились дощечки: врач — контора — модистка и так далее.

По утрам здесь у лавок оживление:

— Это что за рыба?

— Севруха.

Трамвай, проходящий сюда с Фонтана, описав дугу, возвращается назад. У конечной его остановки, если пройти еще вдоль редкой цепочки дачных домиков, тоже пригородный базар. Днем там торчат лишь десятка три камней да длинный из промасленных досок стол. Но по утрам на камнях рассаживаются торговки. На столе кочаны капусты, белые горки чесноку, кое-где торчащие рыби хвосты. Весь этот базар, вместе со столом и камнями, заменяющими сиденья, можно купить за сотенную бумажку, потребовав еще и сдачи. Но темпераменту здесь тратится каждое утро на тысячи. Домашние хозяйки, с корзинками на левом локте, нюхают мертвую рыбу с головы и с хвоста, засовывают пальцы под жабры. Свежесть яиц незачем здесь проверять, как это делают в московских магазинах при помощи светоаппаратов, покрытых дощечкой с овальными вырезами. Самое солнце здесь — светоаппарат такой силы, что достаточно поднять товар к глазу: лучи пронизают и скорлупу, и белок.

Лишь изредка площадь пригородного базара оживляется. Это бывает в те дни, когда «пойдет рыба». Тогда откуда-то прикатываются новые камни. Торгуют и на столе, и на земле, на подостланных рогожках, и в прилегающих к рынку переулках.

Так вот это внезапно произошло в прошлом году, в конце августа. Я бродил вдоль берега, слушая всплески волн. Лодки все отдыхали на песке, а солнце падало к закату. Берег был пуст. Сети лежали на земле, поверх стеблей и цветов. Худой длинноногий рыбак сидел на срыве скалы и, посвистывая в такт прибою, чесал левой пяткой праную.

Затем, с утра, началась путина. Первыми вестниками о подводных стаях была белая воздушная стая чаек. Они низко кружили над морем, то и дело макая длинные крылья в воду и садясь на волну. Затем вода стала странно чешуиться и серебриться, хотя ветра не было. Это было дуновение водного ветра, рожденное движением плавников тысячи тысяч рыб. Берег, еще на рассвете сонный и ленивый, вдруг пришел в движение. Лодки покинули причалы и пошли в море. Сети, лежавшие поверх прибрежных стеблей и кустиков, в которых были лишь изловленные в веревочные петли желтые и красные цветы, нырнули в воду и пошли навстречу рыбе. У самого берега, на всех торчащих из воды камнях появились люди с удочками. Их блестящие на солнце лески непрерывно двигались то вниз, то вверх, выдергивая из волн серебряных рыбешек. Это было похоже на странную вертикальную косьбу. Еще страннее было то, что не косари шли вдоль поля, а самое водяное поле двигалось на них, колыхаясь пенными стеблями. У приемочных пунктов стучали топоры, обивающие ободья бочек. Не хватало рук. С крутого берега сбегали, по два-три человека, какие-то люди. Это был резерв в помощь рыбакам.

Через несколько часов маленький фонтанский рынок был переполнен, завален грудами рыб.

Тут продавали, за гривенники, престранные экземпляры. Например, жирная паламида, из растянутого рта которой торчит наполовину проглоченная скумбрия, затиснувшая меж мягких челюстей хвост чируса и узкое рыльце феринки. Продается только половина. Но с бесплатными приложениями, как в прежнее время журнал «Нива» с полным собранием сочинений Шеллера-Михайлова. Дело в том, что вслед за крохотной феринкой, скользящей к берегам, идет чирус, за чирусом скумбрия и, наконец, мутноглазая паламида. И все последующее пожирает все предыдущее.

Цена прыгает вниз с рубля на рубль. Утром десяток серебряных скумбрий стоит три рубля, к полдню — два, к вечеру — рубль.

К сумеркам в воздухе возникают песни, приплывшие тоже из моря. К соленой воде, по почти вертикальным тропинкам, движется горькая водка. У самых волн вспыхивают костры. Люди целуют друг друга, друг друга ругают и пляшут друг с другом. Наутро лодки снова выходят в море. Кое-где сети прорваны: от напора рыбьих носов. Отяжелевшие чайки почти не поднимаются с колышущихся волн.

Теперь рыба покинула пределы Фонтанов и идет на город. В трамвае можно увидеть людей, у которых под левой рукой портфель, а на пальцах правой концы бечевок, с которых свешиваются жирные паламиды. На балконах одесских домов повисли целые веера из нанизанных на шпагат рыбешек. Ветер взмахивает их хвостами над решетками перил. На тротуарах всюду просыпанная мелкая рыба чешуя. В магазинах, даже в кондитерской, острый запах рыбы и соленой воды. У лавок, торгующих солью, длинные очереди. Грузовики то и дело сбрасыва-

ют перед разверстыми темными горлами рыбных подвалов новые и новые груды ящичков, наполненных рыбой.

И вдруг, дня через три или четыре, все это внезапно прекращается. Грузовики идут порожняком, рыба чешуйка выметена метлами. В трамвае пахнет пылью и человеческим потом. Фонтанский рынок пуст. Пуст и берег. И камни, брошенные в море. И тот самый худой длинноногий рыбак сидит на выступе скалы, свистя в ритм прибою и почесывая левой пяткой правую.

Впрочем, память о рыбьем наплыве исчезает не сразу. Помню, в тот год я возвращался в Москву в душном жестком вагоне. Рядом со мной в купе были: двое чинных родителей, девочка лет пяти и толстая мутноглазая дама. Девочка, вероятно, от скуки и жары, временами капризничала и кривила рот, собираясь заплакать. Тогда родители ее говорили: «Молчи, не то нахлопаю по женичке». И мать ребенка, вежливо улыбнувшись, объясняла: «Мы ее воспитываем без грубых слов. Так, чтобы похожие, но другие». Толстая мутноглазая дама тоже приняла участие в отвлечении внимания ребенка от слезных тем. «Я вот знаю, как тебя зовут». — «Нет, не знаешь». — «Знаю, Маша». — «Нет, не Маша». — «Тогда Саша». Девочка в изумлении открыла рот. Ее имя было угадано. «Ну, а меня как зовут?» — продолжала допрашивать торжествующая толстая дама. Девочка оглядела ее узкими щелками глаз и отвечала очень серьезно: «Паламида».

V

Фонтанская почта.

— Вот телеграмма.

— Придется подождать. Телеграфист вышел.

— Но мне спешно.

— Ну, это другое дело. Тогда поищите телеграфиста. Он здесь недалеко, на пляже на Золотом берегу. Нос в веснушках, правое плечо ниже левого. Да вы его сразу найдете.

— Мне нужен конверт. И марка. Для заказного.

— Пройдите в лавочку. Через три дома. Там вам и марка и конверт. Только на копейку дороже.

Тычу пером в чернильницу. Надо написать адрес. Но перо сломано, чернильница пуста. Оглядываюсь по сторонам. Тогда из-за угла появляется худой человек с небритой серой щетиной. Он кладет передо мной ручку, вынимает из кармана чернильницу и пододвигает листок промокательной бумаги. Я, обмакивая перо, пишу, притискиваю промокательной бумагой и вручаю гривенник. В воздухе носятся десятки мух. Окна, несмотря на жару, плотно закрыты.

VI

Et ego in Arcadia fui. И я тоже был в Аркадии. Меня довез туда трамвай номер двадцать пять. Это место около Одессы, которое показывают иностранцам одним из первых номеров. Тут крутой и высокий берег чуть-чуть посторонился, оставив у волн неширокую песчаную площадку. Место это очень нарядно. Хижины рыбаков будто склеены из папье-маше и придвинуты к берегу театральными рабочими. Сохнущие сети декоративно подоткнуты палками. Семья рыбаков, сидящая на открытом воздухе, будто не ест обед, а разыгрывает его, как это делают в опере, где пьют из картонных пустых чаш. Оркестр заменяет здесь шум прибоя, а зрителей бродящие

по шафранным тропам любопытствователи, вроде меня. Кстати, я замечаю, что заборы здесь имеют лишь лицевую свою часть, ту, которая поставлена против моря, боковые же стороны забора отсутствуют. Это как раз техника театрального художника, который заботится лишь о плоскостях, повернутых к зрительному залу. А где же здесь зрительный зал? Вон там огромный морской партер залива, весь усеянный лоскутами парусов. Оттуда зрители смотрят на рыбацкий поселок, и им кажется, что он настоящий. Но мы, в оркестровой дыре, видим и щели вдвинувшихся кулис и вообще видим многое из того, что выпадает из кадра.

В Аркадию вводит недлинная асфальтовая дорожка. У конца ее спуск вправо — к пляжу. Надо обойти грядку. Нетерпеливые одесситы пересекали раньше грядку по диагонали. Ставили запретительные надписи, угрозы штрафом. Но ведь надписи можно не прочесть. Перегораживали путь колючей проволокой. Но через проволоку можно переступить. Тогда поставили новую надпись, красными буквами по желтому дикту: «Разве это дорога?» И одесситы стали обходить надпись. Вскоре тропинка через грядку заросла поной свежей травой. Вот что значит поговорить с человеком на его языке. Но если держаться левой стороны асфальта, то вскоре подойдешь к круглому фонтану, в котором много бронзы и мало воды. Несколько бронзовых, позеленевших от времени лягушек, сидя на стенках водоема, смотрят зелеными глазами на скудную струю воды, стекающую из центрального горлышка фонтана. Из раскрытых ртов лягушек сочатся жидкие водные струи. Но местные мальчишки придумали не лишнюю изобретательности игру. Взобравшись ногами на спинку бронзовой лягушки, они зажимают ладонью ей рот. Вода накапливается. Затем, стоит отдернуть руку, и лягушка плюется длинным и стремительным плевком. Зрители хохочут.

Дальше, если идти вдоль берега, видишь группу акаций. Акация одно из немногих деревьев, которое согласилось жить в Одессе. Еще в первое десятилетие существования города дюк Ришелье насаждал свой и сейчас называемый Дюковским сад. Сейчас от него почти ничего не осталось. Дерibas привозил туда редкие сорта флоры. Сейчас осталась лишь маленькая площадка, дающая довольно скудную тень. Граф Потоцкий привозил сюда из своих украинских имений целые обозы деревьев. Растрескавшаяся сухая почва города иссушила им корни, и мало что уцелело до нашего времени. Только акация стала одесситкой и цветет здесь пышным цветом. Дальше видишь открытый павильон с десятком игрушечных биллиардов, по поверхностям которых бегают какие-то посеребренные пилюли. Раковина для оркестра. В море — вышка для прыжков в воду. Вообще черновой набросок будущего курорта. Остается съесть порцию мороженого и вернуться к трамвайной остановке.

VII

Сегодня с утра жара. Куда тень, туда и я. Сел в саду под старым орехом и переползаю вслед за его движущимся пятном тени. В руках у меня старая книга о старой Одессе. Автор ее, потомок знаменитого рода Дерibasов, вздыхает о том, что теперь уже Одесса не та. Все в ней и вокруг нее не то! «О, доброе старое одесское солнце! Где ты? Куда ты скрылось? (О, чтоб ты скрылось, думаю я про себя.) Поднимается и теперь какое-то бледное светило на нашем Востоке, но это уже не то. Его лучи не жгут, не ослепляют нас, как прежде». Дальше автор с

грустью вспоминает, что нет уже прежней одесской пыли, такой пыли, из-за клуба которой, бывало, часовой на гауптвахте у Соборной площади не мог различить проходящего прапорщика от генерала и вызывал колоколом весь караул для отдания чести тому, кому она не причитается. «Прежняя одесская пыль была не такая, как ныне; она была благоуханной, как пыль цветов. Море, степи, акации отдавали ей свои остатки и были причиной ее своеобразного приятного аромата. Шла к нам прежняя пыль от солончаковых песков Пересыпи, от большого чумацкого шляха в новороссийских степях. Тонкая, мелкая, чистая, легко дававшая отпечатки всему, что к ней касалось, она прекрасно заменяла тот золотистый песок, которым в старину посыпались любовные записки».

Проходят дни. Жара спадает. А стопка книг растет и растет. Поверх объемистого Дерибаса толстенные отчеты Городской думы Одессы. Над ними дневники старожил, несколько номеров французской газеты, издававшейся еще во времена Воронцова. Лень все перечислять.

И полемному Одесса начинает вырастать в моем воображении. Она стоит на извилистых воздушных корнях. Ведь большинство ее первых зданий выросли из камня, скрытого под ее поверхностью. В результате: над поверхностью — каменные дома, под поверхностью — пещеры, подземные переходы. За свое право на жизнь Одесса заплатила десятью тысячами апельсинов. Павел I не хотел легализовать город, выдать ему метрику о рождении, пока поселившиеся на пустом месте купцы не послали ему этой верноподданнической взятки. Впрочем, их тогда называли не купцами, а «негоциантами». Женою одного из них, «негоцианткой молодой», увлеклся Пушкин.

Первые годы город ютился на вершине холма, там, где еще недавно стояла небольшая турецкая крепость, вскоре снесенная. Есть предание, что на второй же день после захвата Хаджибея какой-то предприимчивый грек прямо против брешни, пробитой в стене фортеции, раскинул шалаш, под тенью которого были вскрыты первые бочки с вином. С этого и началась торговля города.

Понемногу появились неопределенные очертания улиц. К двадцатым годам домики побежали по склону холма к Пересыпи, направляясь к лиманам. Все они, как и деревья, были низкорослы, всего в один этаж. По стандарту: крутой скат крыши, в центре крылечко с двумя подпорками, справа и слева по два или три окна.

Но зато подвижные дома кораблей толпились довольно-таки густо в гавани Одессы. Гавань слишком широко раскрывала свои берега морю — и в самом начале пришлось заботиться о защите от его волн.

«Дюк», как звали жители первого хозяина города, граф Ришелье, был добродушен и близорук. Каждый день он ходил с визитом к деревьям, насаженным под его наблюдением. Иногда он, по близорукости, первый приподымал треуголку при встрече с горожанами. Может быть, о нем думал А. Пушкин, когда начинал свою поэму «Анжело» словами «о добром дюке». Впрочем, не все в годы его городоправления было столь умирительно. Так, например, однажды произошла чрезвычайно конфузная история. Из Петербурга в Одессу — по почте — было направлено письмо. От особы весьма важной к особе более чем важной. Письмо затерялось: где-то на перегоне от Курска до Одессы. Добрый дюк отдал приказ: высечь всех станционных смотрителей всех станций, расположенных между Одессой и Курском. Его личный секретарь, маркиз де Рошешуар, был отправлен для проведе-

ния приказа в жизнь. Маркиз ехал в дормезе. Позади везли два воза, груженных связками розог.

Но вскоре, в 1814 году, Ришелье, в связи с событиями во Франции, покинул Одессу и на место его на круглый цоколь взошло бронзовое изображение графа. Оно стоит и посейчас, с рукой, протянутой над срывом берега и четко врезанной в него гаванью.

В гавань завозили товары и болезни. Вследствие этого возникли здания: таможня и карантин. Кольцо Старо-Портфранковской улицы говорит о диалектике строительства: город, получивший право свободной торговли, привилегию порто-франко, к концу того же года стал строить вокруг себя стену, напоминающую тюремную ограду. Для тщательного процеживания свободы. Впоследствии стена эта двигалась по направлению к центру и наконец исчезла, вместе со свободой торговли. Затем негоцианты, потомки корсаров и контрабандистов, превратились в купцов тех или иных гильдий, а многие из их внуков получили возможность держать под правым локтем не карабин, а портфель директора банка. Обороты кружат все быстрее и быстрее. Прилив денег, отлив товаров. Прилив товаров, отлив денег. Процент еврейского населения прыгает с каждым годом через две-три цифры. Строится биржа в грубо мавританском стиле. Еще до этого на месте прекрасного, в античном стиле театра, в котором наш Пушкин слушал Россини, сооружается грузный овал облепленного богатой буржуазной орнаментикой современного оперного театра города.

Город преуспевает. Все флаги приплыли к нему в гости, все якоря упали в песок одесской бухты. <...>

Навстречу прибывающим из-за волнолома судам город выставляет огни кафе, ресторанов и кабаков. Матросы сходят со своих палуб, пьют, и земля качается под

ними, как палубы их судов. Приезжает и трагик Олридж. Ему не надо гримироваться для роли Отелло. Негр играет негра. Одесса любит настоящий товар. Настоящую страсть. В чемодане у Ойры Олриджа полторы дюжины бумажных рубашек. Это чтобы в третьем акте, в момент припадка ревности, разорвать их одна вслед другой, без необходимости ходить потом в магазин для покупки полотняных рубашек. Одесса любит страсть, но уважает бережливость, режим экономии. Даже в искусстве.

Город заполняется людьми торгующими, приторговывающими и торгующимися. Торгуют: фруктами, зерном, биржевыми слухами, диабетом, векселями. У конторских столиков, у прилавков лавок, у перекрестков, у столиков кафе Фанкони. За десять семикопеечных марок высылают, по первому требованию, «100 предметов»: 99 иголок и одну пуговицу.

Город, отбросив тюремные стены «свободы торговли», тянулся к своим лиманам и к своим фонтанам. На окраинном Фонтане выросла узкоплечая Башня Ковалевского. Еще несколько лет тому назад она последней уходила из поля зрения пассажира, увозимого пароходом из Одессы. Теперь ее свалили.

Ну, а дальше: 1905, Потемкин, Шмидт, пожар доков, интервенция, бегство иностранных кораблей — все это вы знаете. Умолкаю.

VIII

В городе у меня есть три любимых места, которые я никогда не забываю навестить. Тем более что они не слишком далеко друг от друга. Первое место — дом, где

останавливался Пушкин, на улице его имени. № 10. Здание это, вероятно, перестраивалось. Но я всегда испытываю странное «пушкинское» чувство, когда вхожу в сумрачную подворотню дома и затем на квадратный, окруженный каменными подпорками молчаливый двор. Окно пушкинской комнаты выходило как раз сюда. Вероятно, сюда выплевывал он черешневые косточки и бросал скомканные и порванные клочки своих черновиков.

Второе место — Пале-Рояль, как называют его одесситы. Этот архитектурный ансамбль действительно отдаленно напоминает Пале-Рояль Парижа. Сад, закрытый внутри каре домов. Я люблю здесь сидеть и думать об Одессе.

И, наконец, третье: старый дом на Софийской улице. Когда-то здесь жила графиня Нарышкина. Сейчас музей. Против здания, прямо на земле, без цоколя довольно странный памятник. Подходя к нему в первый раз, я подумал: «Мюнхгаузен?» И через секунду ответил себе: «Нет, Суворов». На веселой, иронически улыбающейся лошади сидит маленький человечек, крепко вжавший худые колени в ребра зисрю. В правой руке его поднятая навстречу невидимой толпе треуголка, левая накрутила на кулак удила. Лицо металлического человечка полно вызова, дерзости и смеха. Когда я подошел еще ближе к конной статуе, то заметил около нее группу красноармейцев, которые пришли, очевидно, осматривать музей. Но статуя надолго задержала их внимание. Они с видимым удовольствием и уважением оценивали посадку седока и конские стати бронзовой лошади.

Вскоре я узнал: автор статуи — одесский художник Эдвардс, эмигрировал за границу. Умер с голоду в Париже.

IX

У крыльца флигелька, где я живу, зеленые листики и усики дикого винограда. А дальше, за проредью деревьев, синее море. У края веранды круглые и квадратные цветники: тут и розовая, подвязанная шпагатом мальва, и стыдливые красные цветы ночной красавицы, и петунии, и гортензии, и резеда, и крученный панич, взвивающийся зелеными штопорами в воздух.

Я задумал, с самого начала, с первых моих встреч с солнечным зайчиком на беленой стене комнаты, противопоставить всем этим культурным, кувшино- и чашеобразным цветам, в их рыхлых, в зеленых пупырышках стеблях, свой Гяур-бах, грядку диких, с твердым камнем, отверженных садами и садовниками растений. Посоветовавшись со знающими людьми, я вооружился лопатой и ведром, полным воды, и отправился, вслед за падающим в море солнцем, к сухим склонам побережья. Тут, еще раньше, я наметил глазом несколько иглистых, бледно-зеленых, но яркоцветных кустарников.

Первым объектом, на который напали моя лопата и ведро, был высокий с зелеными почками и желтым цветком молочай. Корень его цеплялся за почву с необыкновенной силой. Я изломал стебель, смял широкие лопухие листья и вытащил на поверхность половину корня.

Еще более тяжелая схватка предстояла мне с обыкновенным, как мне казалось, одуванчиком. Я подкапывал его лопатой, лил воду из ведра, а одуванчик вонзался в пальцы множеством мелких шершавых игл, цепляясь ветвистым корнем за каменную почву.

В ведре оставалось уже немного воды. Я атаковал какое-то странное темно-зеленое растение, семью звезд-

ными лучами впластавшееся в землю. Вот сухощавый кустик, растопыривший бледно-зеленые сухие шишечки и иглы. Чуть ниже странное подобие подорожника с листом, похожим на вывалившийся язык висельника, почему-то утыканный темными занозами. Пускаю в работу рукавицу, воду и кирку. Ничего не берет. Растение страстно цепляется за родной грунт длинными, с множеством мочек, корнями; никак их не разлучить с их здесь. Они колют меня, и сквозь перчатку, шипами, предпочитают сломаться, умереть, чем уйти. И из моего гяур-баха ничего не вышло: три-четыре стебля, которые я перенес с сухой почвы берега на хорошо увлажненную грядку нашего сада, сжали свои лепестки и отказались жить в первый же день.

Х

Мы встретились на Приморском бульваре (улица Фельдмана). Она, подав мне левую руку (правая сжимала несколько тетрадей и книг), сказала:

— Видите вон тот буксирный пароходишко. Вот если б был такой пароход, что притащил бы к нам в Москву на буксире это вот море.

Я улыбнулся, как полагается, и мы сели рядом на скамью. Море внизу под сотней ступеней знаменитой одесской лестницы было чуть подернуто кисеей тумана. Волнолом перечеркивал его длинной каменной чертой. Вспомнили о наших московских общих знакомых. О номерах журналов, недавно нами разрезанных. Вслушиваясь в речь собеседницы, я сказал:

— Пустое вы одесским ви
Она, обмолвись, заменила...

— А дальше?

— А дальше я не поэт.

— Жаль, а ведь поэзия это и есть дальше. Вы понимаете, какой-нибудь Аю-Даг, там, в Крыму, его все видели сперва как гору, ну и гору, а потом кто-то назвал ее Аю-Дагом, и всем стал виден медвежий контур. А там родилась легенда: огромный каменный медведь приполз к Черному морю, чтобы напиться; стал пить и пить — и когда выпил все море, конец и миру, и морю, и ему. Вот это и есть дальше.

— И миру, и морю, и ему. А кстати, «Понт Эвксинский», как называли греки вот это море, значит: гостеприимное, доброе море. Багрицкий вряд ли знал об этом, когда писал о «Черном море, хорошем море».

— У меня рядом с путеводителем и планами Одессы сборник памяти Багрицкого. Вы читали?

— Да.

— Скучно. Правда, с к у ч н о на вате: скучновато. Все рыбки да птички, птички да рыбки. Аквариум. А Багрицкий не аквариум, а море.

— А вы читали «Белеет парус одинокий»?

— Катаева? Вы спрашиваете потому, что там вон парус или...

— Нет, потому что на вас парусиновое платье.

— Глупо.

— А вот он написал умно, местами даже мудро.

— В чем там дело?

— Представьте себе вот этот самый порт. Отодвиньте время на тридцать лет вспять. Вот сюда, к левой пристани, причаливает старый пароход «Тургенев». На нем старые и новые люди, а самая эпоха — та, когда новое причаливает к старому.

— Витиевато.

— Как та жизнь. Ведь вас тогда еще и на свете не было. И свет, хоть с трудом, а обходился без вас. Среди

пассажиров парохода десятилетний Петя. Он видит мир десятилетне. В этом прелесть романа. Предупреждаю, я не умею рассказывать.

— Вижу без предупреждений. Дальше.

— Но революция пятого года тоже юна, тоже почти ровесница Пети. И они понимают друг друга, они...

— Они понимают, а я не понимаю. Я еще допускаю, что у людей из глаз слезы, но чтобы из-под ресниц капал гуммиарабик, которым человек склеивает...

— Я не склеиваю. Так у Катаева. Между прочим, у Катаева...

— Остерегайтесь «между прочим»: это тоже одессизм.

— Да. Основной недостаток очень хорошей повести Катаева в наличии клея. Когда он говорит о приморских камешках, то вы видите перед собой ящик с минералогической коллекцией. Рыбы у него не плавают тоже в одиночку. Дан сразу целый аквариум причудливо подобранных особей. Впрочем, нет приемов плохих или хороших. Есть хорошо или плохо примененные приемы. Так, Катаеву удалось с блеском оправдать этот же прием коллскционирования сходных объектов в главе, описывающей мальчишескую игру в пуговицы. Сотни пуговиц, отрезанных и оторванных от вицмундиров, сюртуков, форменных тужурок, образуют довольно жуткое собрание. Создается образ тогдашней России, застегнутой на многое множество пуговиц, — чинной, бездушной и бюрократической.

— Знаете, а не свернуть ли нам в этот ваш «Парус».

— Если вам скучно, извольте.

— Мне всегда скучно, когда пробуют пересказывать художественные произведения. Вообще у нас три вида оскучнения вещей, три типа критики и истолковательства.

— Первый?

— Первый: критика без руля и ветрил. Второй: с ветрилом, но без руля. Как вот ваша. И наконец: с рулем, но без ветрил.

XI

Сижу на берегу, под черной тенью запрокинутой и подоткнутой веслом шаланды. У ног спутанные космы водорослей и мелкая дохлая рыбешка. В море на торчащих из воды склизлых камнях стоят рыболовы. Они замахиваются на волны длинными кнутовищами удочек и изредка выдергивают из рыжей взбаламученной воды рыжих бычков. Английские рыбаки называют их *miller's thumb*, «большим пальцем мельника», и действительно, голова бычка напоминает приплюснутый большой палец руки. Сейчас я вижу, как ближайший охотник за рыбьими черепами нанизывает на нить очередного бычка и затем бросает нить в воду. Таким образом, изловленному пучеглазому с круглыми плавниками существу временно возвращена жизнь, но жизнь на нити. Образ, который мог бы быть весьма с руки любому пессимисту. Вообще в приемах ловли более сильным более слабого немало мрачной иронии. Возьмите хотя бы название одной из простейших рыболовных снастей: самодур. Или устройство японских неводов или скипасей, длинными перпендикулярами составленных от берега в море. Они рассчитаны только на то, что рыба, ткнувшись в перегораживающую им дорогу сеть, не уходит назад, а начинает искать выхода и именно поэтому попадает в мотню, сетевой мешок, из которого нет выхода.

Мне рассказывали о редко применяющемся сейчас способе вылавливания тенью, прохладой. В жаркие дни над поверхностью штилевого моря расстилается непрозрачный навес: рыба, ждущая прохлады, всплывает под тень навеса и попадает в расставленные ей здесь сети.

XII

Дня два шторм. Купаться нельзя, море бьет камнями, вхлестывается в ноздри и в рот волной и приглашает в утопленники. Наконец низовка израсходовала себя, волны спрятались под поверхность, и я, обмотавши шею полотенцем, спускаюсь к берегу. Часть его проглочена утихомирившимся штормом. На оставшейся полосе груды вереска и травы зостеры. Мертвые стеклянные грибы медуз. Я, извините меня, снимаю штаны и присаживаюсь на мокром камне. И странное явление: у ногтей моих ног ползают сотни и сотни божьих коровок. Некоторые из них высовывают из-под своих красных, в черной точковине, элитр, длинные, подмоченные солсной водой перепончатые крылышки. Но ни одна из них не взлетает. Мало того — всех их притягивает не берег, а море. Вероятно, их принесло ветром. Сейчас его нет. Но — я слежу очень внимательно — ни одна из букашек не уползает прочь, все они взбираются на привольные острия камней, на эллиптические выступы мидий, и всех их слизывает легкий прибой туда, в волны. Я вспоминаю рассказы Замятина времен гражданской войны, смерть лирика Блока и его статьи «о кризисе гуманизма» и ... мало ли о чем я вспоминаю. Так, например, в памяти, как на поверхности воды, всплывает одно трагикомическое,

насосавшееся воды бревно, которое я наблюдал несколько лет тому назад у Надвоицкого водопада. Там, где сейчас построены шлюзы на магистрали канала-Беломорья. Тогда о будущем канале говорили лишь редкие глухие взрывы да домики рабочих поселков у берега только намечавшейся трассы. Бревно, шедшее «молью», с озера Выг, сброшенное водопадом вниз, случайно попало в боковую заводь, чуть шевелимую пронсящимся мимо водопадом. Бревно, двигаясь по часовой стрелке, притягиваемое током вод, описывало полный круг, но, подойдя к вертикальному руслу водопада, отшвыривалось им назад и снова свершало свой путь по водному циферблату затона, отсчитывая, часовой стрелке подобно, пронсящееся мимо время.

ХІІІ

Собаки, как известно, не любят почтальонов. Может быть, потому, что сумки их всегда набиты запахами человеческих рук, запечатанными в конверты. Я сам, когда вижу на аллее кривоногого фонтанского почтальона с его тяжелой суковатой палкой, ощетиниваюсь и как-то сжимаюсь. Это Москва ищет меня своими письмами. Скоро и меня сложат на верхней полке, подогнув колени к подбородку, сунут в вагон, как в конверт, запечатывают парой железных дверей, а снаружи проставят адрес: Москва.

Веет, особенно по вечерам, первым осенним холодком. Люди, кутаясь в платки, пледы, пальто, выходят посмотреть на ночное море и лунную дорожку на зыбях. Даже собаки предчувствуют свое близящееся одиночество и полуголодную жизнь у заколоченных пустых до-

мов. Особенно остро это ощущает, как мне кажется, мой любимец Шарик. Это простой дворовый пес с серой спиной и желтыми подпалинами на груди и у концов лап. Он умеет: поймать на лету муху, лякнув при этом длинными зубами; разгрызть, в течение минуты, любую кость; смотреть страдальчески-нежно в глаза тому, кто ее бросил. Аристотель, открывший формальную логику, от которой на земле столько бед, полагал, что и собакам доступны некоторые модусы силлогизма: например, умозаключения от частного к частному. Несомненно, это так. Когда я выдвигаю из-под кровати чемодан и смахиваю с него пыль, в дверях появляется Шарик. Он стоит, опустив хвост и не замечая мухи, кружащей у самого его носа. Это уже не первый чемодан. Силлогизм Шарика строится, вероятно, так: как только появляется чемодан, исчезает человек. В течение последних дней несколько этих странных вещей из мертвой кожи с лязгающим железным зубом уводили с собой людей — туда, к трамвайной остановке, — и после того ни один человек не вернулся из страны, в которую уводят чемоданы.

Впрочем, Шарик, должно быть, не вполне тверд в своих выводах. Не далее как вчера я провожал своего соседа по даче к трамваю и помогал нести ему один из его чемоданов. Шарик был очень взволнован. Он шел рядом со мной и один раз лизнул мне руку, опущенную книзу тяжестью ноши. Подошел трамвай. Чемоданы уехали, а я остался. Пес сначала был ошеломлен, потом с радостным лаем бросился ко мне на грудь. Хвост его смеялся. Аристотель был посрамлен, Шарик торжествовал.

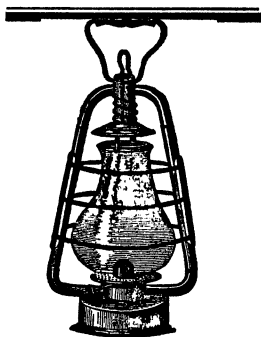
Но теперь... Я стою на корточках среди разбросанных вещей. Пес подходит ближе. Это удобный случай, чтобы лизнуть меня не в руку, а прямо в лицо. Глаза его спрашивают.

— Да, Шарик, этот чемодан уведет меня в страну, откуда ни единый путник еще не возвращался... до весны.

Это бывает со мной всегда, когда поезд увозит меня из Одессы. Справа и слева степь, неглубокие овраги. И вдруг среди поля, вдалеке, возникает темное и прохладное пятно. Море? Нет, тень от облака. И сердце щемит.

1937

Москва в первый
год войны



*физиологические
очерки*

Окна

Еще до войны начали они высматривать войну: окна Москвы. По прозрачной поверхности их легли бумажные кресты и зигзаги. Мы рядили стекло, работая ножницами и клеем, в ажурное белое платье. После на смену белым полоскам пришли синие и фиолетовые. Окна неохотно отвыкали от своей природной наготы. Да и нам, подневольным закройщикам, они казались стеснительной, мешающей и солнцу и глазу одеждой с чужого, лондонского плеча.

А там и самая война с чужих плеч на наши. Под плетение бумажных полосок — плотная синяя подкладка штор. Вместе с надвигающимися сумерками — разворачивающиеся рулоны маскировки.

Раскройте ладонь: по ее поверхности — крестами и зигзагами бегущие линии. Хироманты по их рисунку угадывают характер владельца ладони, утверждают, что сочетание наладонных кривых у каждого из нас строго индивидуально, не знает вторых экземпляров. Может быть, это чушь. А вдруг не чушь? Мало ли каких а в д р у г о в посыпалось на нас с ясного неба со дня прихода войны. Жила ж, была ж со времен древних греков хиромантия — дайте пожить, хотя бы в виде чистого допущения, и фенестрологии.

Я часто брожу мимо, казалось бы, таких знакомых стеклянных прямоугольников, впластавшихся в кирпичные стены домов. Шеренга над шеренгой. Построены поэтажно. На флангах — рослые в зеркальных, из ромбов и квадратов, мундирах створы подъездов. Теперь я не узнаю их. По плоским лицам окон пошли морщины и борозды, у каждого из них свое выражение, свой, я бы сказал, взгляд на мир.

Существует не слишком хитрая загадка: озеро стеклянно, а берега деревянные. Разгадка: окно. Но сейчас любое окно, глядящее на улицу Москвы, превратилось в загадку. Притом гораздо более хитрую и сложную, чем та, которая только что себя сказала. За бумажными, иксообразно склеенными полосками живут некие двуного-двуруко-двуглазые иксы. Попросту заклейчики. Работа ножницами, руками и клеем — это уже высказывание. Демаскировка психики. Медлительность или торопливость, тщательность или небрежность, подавленность или бодрость — все это должно так или этак да отразиться в способе заклейки окна. На стеклянной ладони, хочешь не хочешь, проступают бумажные линии. Фенестрология получает старт. Пусть стекла теряют часть своей прозрачности, зато те, кто живут за их створами, делаются чуть-чуть прозрачны, доступны глазу и пониманию любого прохожего. При одном условии: если этот глаз достаточно остер и способность понимать хорошо знает свое дело — понимать.

Но довольно введений. Пусть ведет улица. И пусть говорят окна.

Вот это, например, на втором этаже, первое справа. Тоненькие бумажные дорожки, кое-как приклеенные к стеклу. Концам их лень дотянуться до углов оконной рамы, один даже отклеился и свис. Человек, живущий за этой стеклянной поверхностью, скользит по жизни, как дождевая капля по окну. Он не любит делать, предпочи-

тает отделяться. Его мысли в дурной компании: авось, небось и как-нибудь — их неразлучные друзья. Он всюду торопится и никуда не поспевает. Основной рефлекс: взмах отмахивающейся руки. Ходовые слова: «Обойдется» — «Ах, оставьте!» — «Мало ли что?» — «И не подумаю». Ну а если и немецкая бомба махнет по стеклу воздушным рукавом? Что тогда? Тогда приятель авось и небось задумается, покачает головой и скажет: «Кто бы мог знать?», или: «Вот так фунт!» Хотя слово «тонна» и больше подходило б к данной ситуации.

Окно в полуподвальном этаже говорит по-иному. Его широкая поверхность с вертикальными фрамугами в верхней ее части — плотно и сплошь под газетными листами. Они успели уже пожелтеть под натиском золотых солнечных лучей, пробующих протиснуться внутрь, в обиталище жителя полуподвала. Но тщетно. Не на таковского напали. Ипохондрик, выгнавший солнце вон, зафрамужный человек тверд и упрям в своих решениях. «Сегодня белые крестики, завтра синие кресты, послезавтра бумажные шторы, а там, еще чего недоброго...» И зафрамужник, густо смазав окно крахмальным клеем, наклеил листы на листы и раз навсегда отсек дальнейшие покушения на его покой и распорядок жизни. Раньше было: день — ночь — день. Теперь пусть будет: ночь — ночь — ночь. В сущности, не все ли равно: солнце ли в небе, лампочка ли в потолке? Читать можно, писать можно, питать можно. От книги до глаз, от тарелки до рта недалеко. Не заблудишься. Я вижу его ясно. Хотя он и спрятался от моих глаз за газетными ширмами, этот зафрамужный человек — длинное, с запавшими щеками лицо, резкие складки кожи от крыльев носа к тупому подбородку, кустистые брови, совиные глаза, привыкшие к притушенному дню. Он, человек из полуподвала, конечно, считает себя дальновиднее других. Достаточно взглянуть на его застывшую у углов губ улыбку. Однако

он не предвидит: через месяц в его квартале выключат свет — и длинному лицу его придется вытянуться еще больше, а улыбке — убраться со своего насеста прочь.

Дальше.

Полуциркульное окно на мезонине старого, помнящего еще прошлое столетие домика с горбатой крышей. Выражение у этого окна куда приветливее. На чисто вымытых стеклянных щеках — рефлекс солнца и похожее на грубо сотканную вуаль плетение бумажных полосок. Ветхий мезонин будто щурится сквозь белую сетку и думает про себя: «Всякое мы видали и еще поглядим: как-то вы поратуете, чем-то нас порадуете?»

А то вот, что через улицу наискосок — хоть и замурзанное от уличной пыли, — окно весело распахнуло свои створы в мир. По стеклу бумажными молниями — резкие зигзаги, перечеркнутые по диагонали остановленной в лёте плоской стрелой. Видно, и у хозяина этой комнаты, там, за раскрытой в воздух окном-калиткой, душа нараспашку. А впрочем...

Подымите голову. Под самой крышей два квадратных глядельца. Чинные и одинаковые, как влюбленная пара. Оба в фиолетовом узоре, похожем на решетку трельяжа. В левом треугольник и в правом треугольник. На форточке правого — квадратик и крест, и на форточке левого — крест и квадратец. Жизни, те, что за окнами, как параллельные линии. Поправка: были. Теперь он на фронте, она ждет писем, и между ними, раньше разделенными простенками, теперь тысячами километров, странствуют треугольные и квадратные конверты.

Там вот длинные и узкие стекла балкона. У железных перил в ящиках цветы: герань, настурции, лютики. Ни лютики, ни герань не знают, что сейчас война, и цветут как ни в чем не бывало. Не знают и того, что все они однолетние растения. А я вот знаю — про них, но не про себя.

Много их, окон, выстроившихся справа и слева по обе стороны моих шагов. Одни мрачны и холодны, похожи на проруби во льду, вставшем дыбом; другие — как поверхность вертикальных озер и затонов, на которых нет-нет блеснет серебряной чешуей всплывший солнечный блик. В словарях не хватает слов, в воображении не станет образов, чтобы вписать их в эти вот листки. Жаль, карандаш художника занят другой, более срочной и важной работой. А фотоаппаратам, и поделом, запрещено щелкать мембраной без спросу. Так вот и останетесь незапечатленными, иероглифы, начертанные войной на окнах Москвы. Разве что в памяти иных людей. Таких вот, как я. Да и их назовут чужаками.

Голос из рупора

Сначала слышится шелест и потрескивание. Потом: «Граждане, воздушная тревога, граждане...» Голос сухой, монотонный, как цоканье маятника. Исходит он из черного ворончатого рта рупора. Но там, за картонной воронкой, должен же быть и живой человеческий рот, скандирующий тревогу.

Иные из слушателей черного голоса говорят, что это не человек: «Человек так не может — это пленка». Пусть пленка, но нанести на нее зигзаг воздушных волн могли лишь живые губы, красная пленка из кожи, дергающаяся над зубами. А если есть живые губы, то есть и живое теплое дыхание, а где дыхание, там и легкие, — короче, человек.

Кто он, этот таящийся от глаз неизвестный, равнодушный вестник, кружащий голосом над городом смерти?

Я слышал немало ораторов. Иных слушали, глотая зевки, других встречали хлопаньем в ладоши. Одни говорили монотонно и долго, другие горячо и кратко. Но оратор черного радиорупора лаконичнее их всех, и действие его слов на гигантскую, миллионную аудиторию сильнее обаяния прославленных витий мира.

Стоит ему произнести первый слог первого слова своей речи — и я слышу: в верхнем этаже засновали чьи-

то шаги и бухнул в потолок какой-то сорвавшийся с привычного места тяжелый предмет. Еще десять секунд — и весь дом аплодирует голосу невидимого человека хлопанием дверей.

Но оратор не рассчитывает на быстроту апперцепции. Снова и снова повторяет он свою главную и в то же время единственную мысль. Дом уже пуст, но вестник тревог продолжает убеждать и пустоту, что ей грозит опасность.

Тембр у радиочеловека металлический с ржавым призвуком. Говорит он с растяжкой, не торопясь. В скупой, колеблющейся в пределах малой терции интонации будто слышится: «Что ж, идите, уносите себя и свой скорбь, а я никуда не тороплюсь, у меня нет ни скорбей, ни радостей, я только голос, носильщик эмоции, бляха № X, и путь мне от радиомембраны к вашим ушным перепонкам и обратно».

Однажды он мне приснился: длинная сухая голова с круглыми оловянными глазами, подоткнутыми костистыми скулами; проволочно-жесткие волосы ежиком; длинная шея с перевитым, как провод, серым галстуком; куцые, похожие на металлические тычки штепсель, ножки.

Я убежден, что человек из рупора обходит дозором многих и многих москвичей, уснувших меж двух тревог.

Я хотел бы написать о нем новеллу, в которой... Но, чу — в рупоре зашуршало, и: «Алло, опасность воздушно-го нападения миновала, опас...»

И у меня миновала охота слушать и думать. Выдерживаю штепсель.

Человек, винтовка и фонарь

В город вошли зимние сумерки. Кроме белых отсветов снега, ничто не освещает его. Лишь изредка вспыхивает — в воротах или у подъезда — спичка и тотчас же гаснет под ударом ветра.

Двадцать три с минутами. Улица пуста: только метель да одинокий прохожий. Прохожий этот — я. Мне надо успеть найти свою дверь до полночи. Что надо метели, не знаю. Тьма. Слепы и окна, и стекла моих очков. Окна забиты диктом и шторами. Очки заслепило метелью. Вероятно, она белая, но думаю о ней: «черная».

Когда так вот, ночью, тебя бьет колкочим снегом, когда метель старается вдуться в твоё тело, сорвать с головы шапку — невольно персонифицируешь её. Кажется, будто она — сплошное нарочно: нарочно хлещет не в спину, в лицо; нарочно сбило снег с обледенелого асфальта, чтобы ты, именно ты поскользнулся, упал и ушибся; дай ей природа больше силы — не прочь бы вслед за твоей шапкой и рукавицей голову и руку. Отрывать и угнать к дьяволу.

Прячешь дыхание в поднятый воротник. Но и дыхание против тебя: налипает сосульками и холодит губы. Метель и в мозгу. В нём кружатся: обрывки фраз — ругань — сумятица образов, чиркающих и ломающихся, как спички.

Изредка злой вопрос: «где я?»

Отвечает — не сразу, через какие-то секунды — вспыхнувший, смутный, как мысль, огонь автомобильных фар. Он, автомобиль, как и я, в очках, у него, как и у меня, два округленных темнотой близоруких глаза; ему, как и мне, — мне — метелью, ему — регламентом осады — строго запрещено врезаться светом в тьму.

Но что это? Там, впереди, еще огонь. Он красный. Нет, из красного стал вдруг зеленым. Погас и снова горит красным светом. Это не автомобиль, нет: глаз его одинок (будто огонь окривел), притом же он неподвижен. Что бы это?

Иду, подставляя снежному вихрю то плечо, то темя, края шубы полощутся, как парус, оставленный в буре неспущенным, — и начинаю понимать — ну да, конечно, не что, а кто, человек — поставленный на страже перекрестка.

Ближе и ближе. Свет, стерегущий скрещение улиц, яснее и ярче. Вот уже видны и снежины, мчащиеся с быстротой трассировочных пуль мимо стекла фонаря, качающегося в человеческой руке над панелью. И странно: метель, что вокруг головы и шапки, продолжает шаманить, а образы в голове вдруг остановили свое кружение и построились в логическую цепь.

Да, я его видел, этого человека, стоящего на страже осажденной Москвы; может быть, это был и не он, но такой же, как он, — в черной шинели и в круглой смушковой шапке; винтовка, как и сейчас, была у него через левое плечо; но в руках его был: не фонарь, а черный истертый портфель; встретились мы сегодня утром, да, утром, в девять тридцать, когда я шел в библиотеку; да и зачем тогда нужен бы был фонарь, когда тусклым фонарем, замотанным в серое с грязными пятнами туч небо, светило скаредное зимнее солнце.

А теперь он один, на углу Арбата и Кривоколенно-го. Нет, не один — их трое: человек, винтовка и фонарь. Как и в каждом из нас: человечность, воля со взведенным курком и негаснувший фонарь мысли.

Зеленое стекло говорит: «пройди». Красное стекло говорит: «остановись». Я останавливаюсь. И стекло фонаря ползет кверху, оглядывает меня. А голос, сквозь вихрь снежных комьев, спрашивает:

— Который час?

Мысль моя отвечает: «Час великого испытания». Но я говорю всего лишь:

— Полдвенадцатого.

И мы расстаемся, я и человек, стерегущий перекрестки Москвы. Мне стало чуть теплее. Может быть, и ему.

Юный пожарник

Раньше, до Юния, он прыгал по асфальтовому тротуару на правой ноге, проталкивая камешек из одной вычерченной мелом клетки городка в другую. Прохожие ругались — мешают ходить. А то — гонял камешками и молодецким посвистом голубей, замешкавшихся на оконечинах кровель. Камешки попадали то в цель, то в окно. Домашние хозяйки, свесившись через подоконник, ругали озорника и неприкаянного свистуна. Но вот пришла война. И озорник сам голубем взлетел по железной пожарной или по деревянной чердачной лесенке на крышу — и здесь, на разбитых на полосы и квадраты кровельных листах, начал страшную и недетскую игру с летящими сверху зажигательными бомбами и раскаленными кусками снарядных осколков.

Стоит завывать сирене, и их вылетает в наш двор целая стайка. Тут и Митька, и Сенька, и Петя. И все носами в небо. Еще минута — и под их проворными пятками глухо погрохатывает железная крыша. Один прилип к дымовой трубе, другой примостился у слухового окна, третий над воронкой кровельного желоба:

- Летит.
- То наш.
- Нет: наш звончее, а ихний пожужжистее.

— Кто его...

Отдаленный взрыв. В ответ буханье зенитных орудий и стрекот пулеметов. Теперь ясно: кто, кто кого и за что.

Шаги на крыше умолкли. Юные пожарники затаились. Будто в засаде. Слышен шум немецкого аэроплана. Ближе и ближе: будь готов.

Снизу ребят окликает густой голос начальника объекта, Никифора Сергеевича. Те отвечают из своего высокого гнезда тонкими: «Здесь».

Первая же зажигательная бомба, упавшая на сарай, пугливо прижавшийся к нашему пятиэтажному дому, сожгла его. Выплескивали в пасть огню ведра воды, но от этого огонь только делался из желто-красного бледно-зеленым и синим и бухал пестрыми искрами.

Пожарники были сконфужены: «Как это она так, взяла да спалила?» — «С первого снезнакомства», — сказал Петя, сунув руки в карманы и свесив вихрастую голову.

А там — и довольно-таки быстро — пошли в работу: и прыткость рук-ног, и острый глаз, и прыткость ума-смекалки, и даже... старая бейсбольная кривая бита: обмотали ей плоский конец тонкой жостью — и стала бита отбивать не мячи, а бомбы. На помощь пришла и техника: кадки с водой, ящики песку, а главное, толстые полотняные рукавицы и долгорукие клещи. Постепенно вражеская бомба в представлении юных пожарников превращалась из некоего хитрого немецкого чуда-юда в летающую «зажигалку».

Ловцы бомб профессионализировались, делались своего рода вратарями железного кровельного поля, которые вместе, рука об руку и нога в ногу с защитой и полузащитой, всей командой должны отбить вражеский мяч и выиграть раунд.

Когда кончалась осенняя ночь и тревоги утихали, воздушники соседних домовладений обсуждали события своей вахты:

— Мы вчера одну утопили, а другую Митька клещами сковырнул.

— Что там одну да одну. А вот мы так сразу три загасили. Вот оно что.

— Ну, это мы еще посмотрим: может, к нам сегодня пять прилетят, так мы их...

Спор разгорается.

В свое время мы, в приготовишкином возрасте, коллекционировали марки и собирали перышки и пуговицы. Теперь дети осажденной Москвы стали коллекционерами шрапнельных осколков. Не успеет металлический ломоть, грозивший смертью, остынуть, как уж он попадает в карман к Сеньке или Пете. Обладатели коллекций располагают свои экспонаты в порядке их величины где-нибудь в коробке из-под шляпы, а то прямо сошвыривают небесных гостей в мешок.

Садовод хорошо знает, что карликовое деревцо, если придавать ему искусственную форму, сопротивляется насильно, колышкам и веревкам, буйным, упреждающим свое нормальное будущее ростом. Так и эти дети большого города, над которым нависла война: все эти Митьки, Сеньки да Саньки — взрослеют, тянутся к своему будущему у меня на глазах.

Жизнь сейчас мало похожа на детский сад. Большие мысли, пусть согнувшись в три погибели, но все же входят в маленькую голову мальчонки. И тот отвечает не по-детски сжатыми бровями и пальчиками, цепко стиснутыми в кулаки. Они уже слышали, эти обитатели московских крыш, о Ленке-партизане, о девочках-колхозницах, не выдающих, даже под дулом кольта, имен своих братьев и отцов. Чувство благородного соревнования, однажды вспыхнув, не гаснет в их десятилетних-один-

надцатилетних сердцах. В лесу, под покровом ветвей старых деревьев, вырастает юный подлесок. Смена идет форсированным маршем к линии боев. Наши резервы неисчерпаемы.

Это было уже в начале октября. Воздух стал зябким, холодным ветром подбитым. Часы мои показывали час ночи. Рупоры проговорили тревогу. Время не раннее, когда «деткам-паинькам надо спать», но уже через три-четыре минуты после сигнала и Сеня, и Саня, и Петя променяли теплые тюфяки на железный настил кровли, а ворсинчатое одеяло на мелкий осенний дождь.

В мгlistом сумраке ночи смыкались и размыкались, как лезвия длиннющих белых ножниц, лучи прожекторов. Со стороны Дорогомилова занималось зарево. По Арбату ощупью ползли грузовики с слепыми фарами. По тротуару то и дело проходили дозоры. Я стоял у ворот, вслушиваясь в темноту.

На железном шлеме шестиэтажного дома, что через улицу, слышна была возня и щебет по-птичьему тонких голосов. Кого-то утихомиривали, кому-то грозили, кого-то просили лечь. Я недоумевал, пока этот кто-то не тьякнул на чистом собачьем языке: нет, мол, лучше я на всех на четырех.

А затем заворочалось небо. Будто проворный фонарщик пробежал, зажигая потушенные сыростью звезды: разрывы зениток вспыхивали и тотчас же гасли. Заахали издали тяжелые жерла. А где-то — высоко-высоко — ясно обозначалась нота пропеллера. И в это-то время с крыши шестиэтажного зазвенел острый детский голос:

— Гроська, бери его, хватай за лытки!

— Грося, куси...

И невидимая мне собака отчаянно залаяла на кружащий над городом аэроплан врага. Глаз мой не видел,

но воображение видело: дворняжка, пружинясь на своих лапах, скаля морду, злобно, всеми силами своего хрипнувшего от натуги голоса гнала прочь чужого, вора, пробравшегося под прикрытием темноты и высоты в небо, что над двором ее хозяина.

Мне вспомнилось: вечер в Хосте, на Кавказе, когда навстречу отдаленному вою шакалов, приблизившихся вместе с сумерками к человеческому жилью, подымается всегда бешеный лай всех собак поселка. И они, сторожевые псы, жили когда-то не в домах, а в пещерах, не знали очага и не слышали полупонятной человеческой речи, и они были, как и те, шакалы, — злы, голодны и вороваты, — но сейчас они лают на свое прошлое, гонят его прочь, как недобрый сон, который хочет опять присниться, разлучить их с их другом и богом — с человеком.

И Гроська надсадно лает, гонит прочь стального шакала, описывающего круги над жильем Гроськиного хозяина, над большим домом-городом, с его привычными глазу вещами и привычными нюху запахами.

Вероятно, Гроська в его испуганной ярости немного смешон и нелсп. Что может сделать маленькое четырехлапое существо крылатой машинки? И там, наверху, на крыше, слышен веселый смех. Но смех добрый и радостный. Все это одна вахта, одно чердачное «кумпанство»: и соседские Саньки да Сеньки, и ошетенный Гроська.

Тревога миновала. Из убежищ выходят осторожно озирающиеся люди. Неподалеку от себя слышу голос:

«Можете идти, товарищ, — смена».

Повоюй Повоюевич

Лежит эта книга на столе в домоуправлении. Приходи, открой и впиши свое имя. Листы ее разграфлены на дни, ночи и смены. Слева по строке — номер квартиры, дальше — фамилия дежурного, и наконец — место для отметки в приеме и сдаче. Население дневных клеток довольно густое, имена все больше женские; к полуночи фамилии получают мужское окончание, интервалы между ними длиннее, встречаются и пустые клетки.

Повоюй Повоюевич причтен к женской серии дежурств. Хотя он уже свыше семидесяти лет с честью несет обязующее ко многому звание мужчины. Зовут его, собственно, Павел Павлович. Но война переименовала старика в Повоюя Повоюевича. Случилось это так. Еще в первые недели войны в ответ на чей-то вопрос, что означают появившиеся тогда на красных нарукавных повязках буквы ПВО, Павел Павлович объяснил:

— А очень просто: По-В-Оюй.

Словечко пошло в ход в пределах шестикорпусного двора-городка, и сам изобретатель расшифровки превратился сперва в Повоюй Павловича, а там, на местном арго дворовых мальчишек, и в Повоюй Повоюевича.

Возраст и болезни освобождают Повоюй Повоюевича от гражданских обязанностей дежурного. Но сам

он не желает их с себя снять. Довольно часто можно видеть его фигуру, направляющуюся к узкой скамейке у подворотни, наставленной каменным жерлом к Арбату. В правой руке у старика желтая полированная палка. Она изогнулась под многолетним грузом туловища, наклоненного над ней. Свою смену Повоюй Повоюевич принимает среди дня, а иногда в часы, следующие за восходом солнца. Усевшись на скамье, он водружает палку меж коленей и кладет большие, с припухлыми пальцами руки на круглый набалдашник.

Мимо проходят женщины — одни с бидонами, другие — с ребятами, третьи — и с теми и с другими на руках. За бидонами торопятся портфели. Изредка проплывают, горбами на спинах, мешки и узлы. Неподдалеку, возле жестяного цилиндра с зацветшей водой и ящика с песком, возятся мальчишки. Повоюй Повоюевич так и не успевает перестать улыбаться, потому что каждого ведь надо приветить улыбкой и поощрительным кивком головы. И никто, даже сильно запоздавший портфель, не скроется за воротами, не выразив так или иначе свое внимание к старику дежурному. «Так или иначе» имеют ряд вариантов. Самый краткий: «Здр», — и был таков. Наиболее пространное «иначе»:

— Доброе утро, Повоюй Повоюевич. Что ж это вы опять один?

После чего надо остановиться, чтобы выслушать неторопливый ответ:

— Как можно? Мы вдвоем: я да солнышко. В три глаза смотрим. Легче верблюду в игольное ушко, чем...

И тут же, проводив благопожеланием удаляющуюся спину, Повоюй Повоюевич ищет, с кем бы «добеседовать» и объяснить, что нет, мол, таких глупых верблюдов, которые лезли бы в ушко иглы, как в ворота, но что вот «верблюд», что по-церковнославянски означает к а н а т, — тот мог предпринять эту затею «с нечересчур год-

ными средствами», — подобно тому, как Наполеон I «вервь, верблюдом себя возомнившая»... И дальше — по плану речи — должно следовать уподобление, за сим — развитие и, наконец, вывод или мораль.

Однако сейчас достаточно подготовленного слушателя поблизости не видится — и автор несостоявшейся ораторской «хрии» решает изъяснить свою мысль проще, популярнее и нагляднее.

Поманив палкой мальчишек, играющих у ящика с песком, он предлагает им загадку:

Имя звериное — длиной всего в два слога:
И первый, и второй читай наоборот.

(Ребята, переглядываясь и повторяя промеж себя «два слога наоборот», остановили теперь глаза на поднятом восклицательным знаком пальце дяденьки Повоюя.)

Старик заканчивает:

Европу слопало оно, а не сыта утроба.
И все ж, брат, от ворот российских поворот.

Пауза. Озадаченные мальчуганы стоят с размышляющими физиономиями. Тогда на помощь им приходит желтая палка. Она чертит на земле крупными вихлястыми буквами:

ТИГР ЕЛ

На лице веснушчатого круглолицего мальчонки смутно проступает свет внутреннего понимания. У других солнце еще, говоря тем же стилем, задернуто облаками.

Тогда палка резким движением рассекает шесть букв на два слова: «тиг рел».

- Читай наоборот.
- Гитлер?
- Гитлер. Я первый догадался.

— Врешь, я с самого начала!

Палка водворяется на старое место — под тяжелые ладони дяденьки Повоюя.

В ясный день скамья в воротах превращается в судейскую трибуну. Старик принимает на себя роль арбитра во всевозможного рода состязаниях: метании камешков на дальность, на точность попадания, в фехтовании на палках и прочих воинственных играх. В дело пускаются даже карманные часы судьбы — для счета «таймов», — что придает игре вящую серьезность и ожесточение. Отметки, журнал стрельбы ведутся мелом на стене. Иногда и вспухающими шишками на лбах участников состязаний.

Любимая игра: «в полевой караул». Повоюй Повоюевич из дежурного по дому превращается в дежурного по сторожевому охранению. На Арбат и в переулочек выставляются пикеты, часовым придаются подчаски, из уха в ухо шепотом скользят пропуск и отзыв. Теперь уже вся площадь домоуправления оцеплена двумя-тремя дюжинами зорких детских глаз.

Вот семилетний Петька прибегает от ворот, что в переулке, на главную заставу и рапортует, держа палку у ноги:

— Незвестный человек с незнакомым портфелем во двор вошел и никуда не идет.

— Просветлить: к кому и в какую квартиру?

Бывает, что разведка приводит на главную заставу «языка». Это или человек, ищущий проходного двора, чтобы укоротить путь, или крючник, вылавливающий консервные жестянки из мусорного ящика, или...

Если жертва противится агрессии, часовой и подчасок меняют суровый тон на просящий, почти умоляющий:

— Дяденька, сдайтесь нам в плен, ну, пожалуйста: вот я вам с Мишкой узелок поднесу, а вы сдайтесь.

Случается иной раз, что «пленный», разменявшись с дежурным по сторожевому охранению приветствиями, подсаживается к нему раскурить трубку и поболтать. Разговоры бывают о всяком. Но чаще всего, конечно, о грозных событиях наших дней.

— Молния-гром еще в туче затаилась, маскируется, а уж тень от нее по земле ползет, — начинает обычно Повойой Повоюевич свою «взрослую беседу», — помню, в воскресенье это было, в прошлом году, не то в июне, не то в июле. Ну, да неважно. Поехал я тогда в Голицыно, дочку навестить. Как на платформу выходить, рельсовый тупик; кончились, мол, мы, рельсы и железные руки кверху поднимаем, нет нам дальше пути, сдаемся. Ну, это я за них, вроде как за живых, так в шутку подумал. Мысль — ей тоже поиграть хочется, как вот ребятам. Но только люди рекой в вагоны, куда они, туда и я — и мысли мои уже о другом. Утром это было. Вы не торопитесь? Торопитесь, ага, сказ мой недлинный. Возвращаюсь ввечеру. Из Голицына. То я поездом из тупика, теперь в тупик. Так. И тут только примечаю: тупичок-то мой непростой, а вроде как с садиком, или как его сказать. Поверх рельсов земля насыпана — на случай, если поезд лишний разгон возьмет, чтоб землей его затормозило. Понятно? Понятно. Ну а земля — так вот, без цветов, без травы — скучная земля. Вот на ней и насадили клумбочки: петунии там, остролист, даже одна роза посредине, и деревянными дужками все огорожено. Что ж, думаю, хорошо — и глазу приятно, и культурно. Приехал я к себе восвояси, уж и ночь в глаза глядит, пора на боковую, а клумбочка та, что поверх рельсов, все из мыслей моих не уходит. Вам пора? Экий я разговора. Тут на три секунды осталось. «Эх, цветы-цветочки милые, — думаю, — насаждение рук человеческих, — вот налетит когда-нибудь на вас локомотивиче, ему что колесами с разгону землю разворотить — и был сад, и нет сада, а так — развороченная глина да пе-

сок. Будто от снаряда». Ну, простите, что задержал, простите и не обессудьте...

Удаляющаяся спина не отвечает.

А на опроставшемся конце скамьи только выбрирующая полоса солнца. И часовой и подчасок оба на своих постах. Смотрят в три глаза

Иногда, даже сдав дежурство, Повоюй Повоюевич не сразу покидает свое место. Нельзя так, как нитку откусил, оборвать принципиальный разговор о войне и о будущем мире или позволить воспоминанию застрять где-нибудь между прежде и теперь.

О воспоминаниях Повоюя Повоюевича можно бы написать особый очерк. Много он в жизни перевидал, немало, как он любит говорить, «с гробами воевал», губя плесень, чтоб цвела цветень (тоже его выражение). Начнет, бывало, с «Вас тогда еще и на свете-то...» или: «В оны времена, не в оны, а когда еще воевали землю Наполеоны...» — и женщина, проходящая мимо с ведром, станет и слушает, сперва держа ведро на отлете, а потом поставит его наземь; мальчишки, бросив игру, расположатся вокруг и не сводят глаз с шевелящегося рта и седых бровей рассказчика.

Но женщине надо донести свое ведро — пустое ли, полное ли, — куда несла, а вас, мой случайный читатель, тоже ждет вереница неотложностей. Поэтому давайте к зачину приставим концовку. В этом смысле Повоюй Повоюевич привержен формальному принципу — и запас финалов у него ограничен. Вот один из наиболее любимых.

— Что такое война? А вот что такое война. Еще отец мой покойный слушал философию, науку наук, так сказать, у профессора Юркевича, Памфила Даниловича. Того самого, что, бывало, студентам говаривал: «Что толку, если у человека ума палата, да сам-то он на полатях». Была у блаженной памяти умнейшего-добрейшего Пам-

фила Даниловича своя философия. Ну и своя палка. Про философию его, про всякие там «об» и «о», «по поводу» и «к вопросу» и прочие кафедральные писания и умствования люди забыли. А вот про палку вся Москва (уж и умер наш Юркевич) до-олго помнила. Палка была (отец сказывал) не какая-нибудь простая, как вот моя, а дубовая, сучковатая с этакой вот набалдашиной, весом что палица богатырская. И вот в праздник, когда погода хорошая, нынешней пара, соберется, бывало, достоуважаемый магистр со своими перипатетиками, как он их звал, шагальщиками — если с древнегреческого точно перевести — куда-нибудь за город. Магистр впереди, а сбоку и сзади студенты. Кто с книжкой, а кто с дюжиной пива в корзине. А надо вам сказать, что был Памфил Данилович превеликий спорщик и диалектик. Только с кем ему спорить? Студенты, шагальщики-то, в философии еще недалеко зашли, поддакивают да соглашаются. Ну, естественное дело, приходится заводить дискуссию, так сказать, с великими гробами и философическими монументами, Аристотелем, Платоном, Спинозой, Кантом. Особенно доставалось Канту. И так его Памфил Данилович в гробу перевернет, и этак. Тот бы, может, и ответил, да где там, гештирбт. Тогда наш профессор сначала за себя, а потом за него, сперва по-русски, потом по-немецки. А надо вам знать, что Кант этот самый, недаром немец, прехитрую штуку выдумал: будто весь мир, от звезд до пылинок, все вещи — не просто вещи, а «диг ан зих», по-нашему «вещи в себе», то есть сущность свою они, вещи, про себя хоронят, а другим только одну видимость кажут: нам, мол, зерна, а вам — шелуха. Кушайте, пожалуйста. И вот идет, бывало, Памфил Данилович с перипатетиками своими, палкой стучит и спорит: «Вот вы, — говорит, — герр Кант, утверждаете, что доподлинный мир, сущностный вельт, из одних лишь «вещей в себе». Хорошо. Допустим. В таком случае и эта вот пал-

Москва в первый год войны

ка (и при сих словах палкой в воздухе, так сказать, аргументирует) — тоже «вещь в себе»? А? Вот тут-то я вас и поймал, высокоученый господин Кант: ибо палка сия отнюдь не «вещь в себе», а... «вещь для других». Вот. И вся — тому, кто будет спорить, — она это докажет не столь по пунктам, сколь по ребрам». Ну, разболтался старик, а вы не останавливаете. Пора. Счастливо вам отдежурить.

Дорогомиловская Руфь

Это было в начале ноября. И я, глядя в спины идущих впереди, шел по обмерзлым мосткам меж рундуков рынка. Нас много, товару мало. Кой-где рыжемундирная картошка, да кучи капустных ядер. Каждый пробирался сначала к голове очереди, разглядывал, спрашивал о цене — потом становился в хвост.

Домашние хозяйки щупали бледно-зеленые кочаны, требовали не этот, а воп тот; взвесив на руке, клали опять на весы для перевеса. Мы же, непрофессионалы, молча совали топорщащиеся листьями кочаны в сетчатые мешки, отходили, не дожидаясь пятака сдачи, пряча уши в поднятые воротники пальто.

И все-таки я ее увидел, нашу московскую Руфь. Услышать ее нельзя было: она шла, осторожно ступая серыми валенками, беззвучно нагибалась к покрытой тонким ледком земле, и рот ее был замотан в черный платок. Но рассмотрел я ее всю — от колышимых ветром, точно колосья, оконечин бахромы платка до истертых ходьбой кожаных надставок валенок. Она не была юна, как ее библейская провозвестница, собиравшая колосья, брошенные жнецами в знойных палестинских полях, — нет, из-под сморщенных век ее смотрели тусклые, натруженные жизнью глаза. Да и собирала она не колосья, а опавшие и оторванные листья капусты.

Базарные продавцы — библейский стиль только поманил и ушел, — перед тем как положить капустный кочан на прилавок, обламывают ему мерзлые наружные листья, чтобы придать товару более свежий вид. Отброшенные же увядшие или свернутые холодом покровные листья падают здесь же на землю, под ноги проходящих людей, или отшвыривают в корзины для всякого рода рвани и отбросов. Их-то и собирала женщина в черном платке. Корзина ее была уже почти полна, когда я, дойдя до края мостков, обернулся, чтобы еще раз оглядеть сборщицу листов. Она шла тем же беззвучным шагом, глядя в землю и наклоняясь к ней, чтобы поднять то тот, то этот отброшенный и продавцом и покупателем, сморщенный, с вздутыми белыми жилами лист капусты. Ей и они были нужны.

С минуту, как некий Вооз, наблюдал я движения женщины в черном платке. Старая ветхозаветная история начинала воскресать в моей памяти. Руфь. Русская Руфь. Придет время, и мы с нашими войнами и мирами, листьями лавра и капусты станем ветхозаветны. А пока...

Жидкий кристалл

I

— Разрешите «Литературку»?

— ??

— Скажем, меню. Вот-вот. Тысяча и одна благодарность. Что у нас сегодня на передовицу? Гм... Щи ^{б/м}: капуста под дождем. Так. Дальше? Картофельные котлеты. Картофель, и тот притворяется... котлетой. Это «мэня» не для меню. Беллетристика. Никакой пищи для... ума. Ну, а тут «эр...» нет — зачеркнуто, и еще что-то зачеркнуто. Из области минувшего. Придешь несытым, уйдешь голодным. Не так ли?

Человек, сидевший за столиком напротив меня, хотел, очевидно, добиться улыбки. Но контакта не получил. Тогда он перешел от косвенных вопросов к прямым:

— Зачем вы раздевались? За ваш же рубль захолят вам шубу. Наша писательская изба с богом не спорщица: на дворе тепло — в избе тепло, на дворе холодно — из... А, Миша, какими судьбами? Вернулись? А ваши где? В Чистополе? Мои? Дальше.

Пока незнакомец разменивался словами со столь же неведомым мне «Мишей», я успел разглядеть его. Под шубой, отогнувшей меховые, тронутые молью лацканы, — грязноватый треугольник манишки, край корич-

невого свитера и черного жилета. На горбине длинного сухого, но с мясистым раздвоенным концом носа — непоседливое пенсне. Оно то пряталось в жилетный карман, будто с тем, чтоб согреться, то чиркало металлическим ушком по столу, то снова взбиралось на седловину носа, свешивая с него не то помогающие, не то мешающие глазам овалы. Сейчас они уставились на меня:

— А вы, извините, откуда приехали? Я уже две недели как из Казани, а вас что-то здесь, у нашего, извините, писательского корыта, говоря низким штилем, не встречал. Уж не из Алмы ли мы ли? Первой ласточкой, а?

— Нет. Я — отсюда сюда. Говоря в а ш и м стилем. Поскольку его успел уловить.

— Гм... да. «Стиль — это человек». Хотя человек не столь стиль, сколь...

Но в эту секунду в круг видения соседа по столику включился проходящий меж спинок кресел человек в валенках, в стеганой телогрейке с торчащей из-под нее с правого боку револьверной кобурой. Сосед бросился вслед за проходящим, радостно окликнул и раскрыл было руки — по случаю «сколько лет — сколько зим?» — для дружеского объятия. Но объятия не получилось. Военный отвечал тихо и односложно. Из-за стука тарелок я не расслышал. Да и не слушал.

II

— А, здравствуйте, вы, я вижу, скучаете тут один. Разрешите?

— Нет. Это я о скуке. А место свободно.

Он, все тот же он из моей первой записи, опустился в кресло с видом давнишнего моего знакомого.

— Да, «пассажиры незанятых мест». Моя жена, и наверно, сидит мысленно на этом вот пустом стуле. Рядом с нами. Далеконько вы забрались, Зоя Петровна... Ну, ничего. Там, у нее во Фрунзе, коммерческий магазин и всякое такое. Подождем под дождем — пуль и ядер, так сказать.

Не встречая ответов, человек, желавший развеять мою скуку, сам явно заскучал. Пенсне, прыгнув с носа, постучало сперва по доске стола, потом цокнуло о переносицу:

— И куда этот официант задевался? Избаловались. Если бы им платить на чай наперед, так они бы забегали как встрепанные. А то... Как его зовут? Не знаете? Вот я сейчас узнаю.

Действительно, через минуту он уже заказывал:

— Два супа: договорились. Рыбные? Печально. А нельзя ли как-нибудь, чтобы карася да в поросю, а? Вы уж постарайтесь, товарищ Матросов. И фамилия у вас хорошая, и вы человек хороший. Пожалуйста. «Не могу?» Ну, а вы, уважаемый, как-нибудь так, через не могу.

Официант отошел к другому столу. Внимание соседа вновь взяло меня в фокус:

— Да. Шестнадцатое октября. «День великого драпа». И чего это они? Не понимаю. Я? Я не шестнадцатого, извините, тринадцатого. А то что же получается: «Бери его, агу! а сам в Алма-Агу». Или: «Один лег во чистом поле, а другой улег и... в Чистополе», а?

Меня передернуло:

— Откуда вы набрались этих.. рифм? Каждый там, где его рабочее место.

Я встал и пересел к другому столику на освободившееся место. По счастью, у спины нет глаз. И я не видел, как изменилось и изменилось ли выражение на лице клубмена.

III

Да, настало время включить в мой очерк это слово: «клубмен». От недели к неделе лицо нашей писательской столовой довольно быстро менялось. Наряду с членами клуба стали появляться и завсегдатаи его, клубмены. Рядом с вилкой лег карандаш; рядом с салфеткой, — впрочем, виноват, салфетки ушли еще в начале декабря 1941 года, — блокнот. Посетители стали засиживаться у своих приборов, возникло своего рода молекулярное движение внутри двух зал, одной тесной и другой просторной, с потолком под самую крышу. Рядом с судками и стеклянной банкой начали посещать клуб и портфели. Сперва тощие, потом набитые до росщелка замка. У стены, что ближе к буфетной стойке, отгасовавшись от двоек и троек нашей писательской колоды, сидели — в мягких зеленых креслах с готическими спинками — товарищи онёры. В центре, сдвигая поближе друг к другу столы, группировались поэты и друзья поэзии. У решетки, отгородившей лесенку, сбегаящую в подвал, — друзья непустых бокалов. Поближе к окнам, к вечеру надевавшим глухие матерчатые маски, редактора, работники радио и издательств. В большом холодном, как сталактитовая пещера, зале зябли пришлые люди: дальние родственники литературы, ее свояченицы и троюродные племянники. За дощатым перешейком коридора, за створами тяжелых резных дубовых дверей сидели почетные гости клуба.

Мои встречи с человеком в пенсне и шубе повторялись. Обычно он бывал не один, но говорил один:

— Литература, пока в ее чекане преобладает благородный металл, это... литература. Ну, а у нас лига. Только и.

Или:

— Они пробуют втащить театр военных действий на театр. Бедный верблюд. Несчастное игольное ушко.

Или:

— *Parabellum*: такая система у нас уже есть. Чисто убивает. А почему не усовершенствовать ее в «*Si vis pacem*»*?

Или:

— Сегодня снилось, что я распался на талоны. И никак меня не соберешь...

Или:

— Наш Иль-Иль, глядите, за буфетом на счетах щелкает. Знаете анекдот об игумене? Какой? А такой: «Привезли в монастырь кладь — надо тюки сосчитать; у игумена счетов не было, так на четках спроворил». А?

Наткнувшись как-то глазами на мои глаза, клубмен добавил, чуть снизив голос:

— Произвожу впечатление не слишком симпатичного человека? Знаю. Думаю совершенствоваться: из не-симпатичных в антипатичные. Что вы на это скажете? Или облагодетельствуете презрительным молчанием? А?

Я ответил:

— Хвалить не стану. Бранить — тоже. Не в антипатичности тут дело, а в том...

— В чем?..

— В том, что вы жидкий кристалл.

— Как?

— Жидкий кристалл. Ученый Леб давно уже открыл это явление в растительно-животном мире. Остается перенести внимание этажом выше: здесь война как бы деконфигурирует человека и создает крайне неустойчивые психические новообразования. Нечто аналогичное жидким кристаллам. Если опыт, точнее — экспери-

* *Para bellum (...)* *si vis pacem*. — Готовься к войне, если хочешь мира (лат.).

мент, предпринятый агрессором, затянется, жидкое за-твердеет — и вы действительно из несимпатичного пре-вратитесь в довольно ярко выраженный экземпляр анти-патичности. Но я не верю в победу войны, ставлю свою ставку на мир. Вы не успеете добиться высоких степеней отвратности. Вероятнее, начнете скоро, как вам это ни неприятно, деградировать в благодушие...

— Нет, мне душно от душ.

— Что же. Это добрый знак. Вас, жидких кристал-лов, много самых различных форм — одни тяготеют к положительному полюсу, другие — к отрицательному, но все это временно. Пройдет война, пройдут и неустой-чивые формы. Надо их наблюдать и фиксировать сей-час — пока не поздно. Изображение на непроявленной пластинке погибает от солнца. Не так ли?

Я встал из-за столика. Мне надо было уходить.

Рукопожатие наметилось, но не состоялось.

Обиженное ми-бемоль

В оркестровой яме закопошились локти и смычки. Занавес пошел. Из пустого зала на сцену пополз холод. И так его достаточно. Но январь другого мнения.

В глубине, у брендмауэра, свернутый рулоном лес и кусок голубого неба Италии.

Дирижер — он один без пальто и перчаток — стучит палочкой по шопитру:

— Сорок три. Два такта отступя.

И начинается танцевальный номер, вставленный меж хора и арии. Медленные па менуэта. Балетные отсчитывают шаги и поклоны механически точно; их сухие фигуры в джемперах, ноги — в туфлях и тапочках. И только одна из танцующих артисток в шубе с меховым воротником, прической, запрятанной в вязаную шапочку, и с ногами, уходящими в высокие просторные валенки. Менуэт медленен, но валенки еще медлительнее и еле-еле поспевают за поворотами, сменой позиции и решительно противятся сгибу ног в коленях.

Но ни дирижер, ни балетмейстер не делают замечаний исполнительнице. Это на балерина, это колоратурное сопрано, лишь волею сценария на десяток тактов включенное в мир балета. Это — голос, случайный гость из мира чистого вокала, лишь на минуту посетивший

мир пуантов, па и пируэтов, где все движется пункт в пункт, с точностью планет, скользящих по предначертанным им орбитам. Притом же репетиция пока начерно, с иностранцами надо быть вежливым, а голос должно беречь, как зеницу ока; нет — как драгоценный хрусталь, который от неловкого толчка может выскользнуть из рук и...

— Да, — говорит бас, кашляя в ладонь, — несмыкание связок, так и сказал — «несмыкание», а бюллетеня, сукин кот, все-таки не дал. Прописал микстуру, а бюллетеня... «Перед употреблением взбалтывать» — вот, не угодно ли, попадись ты мне в другое время, я бы тебя, медикус, самого взболтал...

И певец, документируя слова, вытягивает из левого кармана пальто аптечный флакон с торчащим кверху бумажным хвостом рецепта. Слушатели — маленький помощник режиссера в спортивной шапке с огромным козырьком, напозающим на опущенный квинтой нос, и тощий длинный декоратор, у которого на голове ничего, кроме красной круглой, как тюбетейка, лысины, — внимательно всматриваются в рыжую взбаломученную жидкость внутри бутылочки и сочувственно качают головами.

— Уж лучше б он тебе беленькой прописал, капель по пятисот, а?

— Да. Оно бы... да под что, спрашивается, пить: под лунный свет? В брюхе генерала с музыкой хоронят, а тут им...

Но в это время мимо проходит примадонна в валенках. Теперь и лицо ее закутано в голубой шелк, чуть шевелящийся от дыхания.

Мужчины посторонились. Козырек помрежа почтительно поклонился. В ответ только движение ресниц и неслышный удаляющийся шаг валенок. Декоратор скосил острые плечи:

— Ишь ты, будто облачком по поднебесью...

Козырек снова усаживается, недовольно ерзая на вихрастой голове помрежа:

— Скажет: «облачко». А по-моему, просто сырость. Ну, да черт с ней: проходи налево, французская королева.

— Ну, все-таки, — откашливается бас, — голос, деликатный инструмент. Ничего не подделаешь.

— Я понимаю, а все-таки...

— Ни черта ты не понимаешь! Одно дело — глиняный горшок, вот как, скажем, я, а другое дело — фарфоровое такое-этакое.

— Вот-вот, — соглашается декоратор, — когда она в «Севильском» Розину поет, арию во втором, так я как, как...

— Стою как разиня, хайло распахнув, — быстро досказывает помощник режиссера.

— Ну и то ж. И весь театр так, — поддерживает декоратора бас, — верхнее ре у нее, как колокольчик, а ты смеешь говорить...

— Вот что я скажу вам обоим, ребята, — обрывает спор человек в спортивной шапке, — некогда мне тут с вами. Погодите тут минутку, будьте такие терпеливые, и я пришлю вам две гугенотские рапиры. Понятно?

— Это ты к чему гнешь, сукин кот?

— К тому, что я вам не секундант. А вы уж как-нибудь сами станьте в позицию и проткните друг друга, несчастные. Потому что облачко на вас обоих с высококо неба наплевать.

И помреж, предвидя реплику, а может, и нечто большее, проворно ныряет в проход меж стеной и кулисой. Певец и декоратор, молча оглядев друг друга, расходятся в разные стороны.

Оперу пересаживают с нотного стана в воздух театральной аулы не сразу. А как привозные семена и цветочные луковицы, которые сперва живут в теплице, а затем из-под стекла — на грядку, под открытое небо.

И в эту трудную зиму, как и во все предшествующие, театр готовил премьеру. Это была старая, проверенная десятилетиями опера. В ней пелось о высокой любви и неутолимой ненависти, как и во всех созданиях патетического стиля. Фактура обещанной публике оперы требовала вокального акробатизма и преодоления трудностей тесситуры. Центральная роль была написана для колоратурного сопрано.

Сперва за работу взялся клавир. Потом с тропинки на широкий путь. На дирижерском пульте забелели листки партитуры. Вместо бегущих за голосом клавиш многозвучная свита из смычков и ратрубов, возвещающих о торжественном выходе голоса, расстилающих звуковой ковер под его легкий шаг, помогающих движениями асиков и толчками тугих, как тетива, струн восходить на высокие приписные ноты и удерживаться на фермато. Короче: репетиции были перенесены на сцену, в оркестре был полный сбор, а в зрительном зале никого, кроме трех человек у столика, освещенного кругом лампы.

Вот один из людей, что у столика, стучит карандашом о его край. Лирический тенор, запнувшись на ноте, останавливается.

— А где эмоция? — заинтересовываются у столика. — Ведь вы не спрашиваете «который час», а молитесь назначить час свидания. Поймите! Разбудите эмоцию: она у вас спит.

— Ну и пусть себе. Нужно будет, разбудим, — недовольно бормочет певец, переступая с ноги на ногу, — и после...

— Что «после»?

— Дайте мне бифштекс с кровью и получайте арию с эмоцией. Тут у меня два такта форте на верхнем ля, а грудо-брюшная преграда пас, не дает упора.

Молчание. Потом опять сухое постукивание режиссерского карандаша. И наконец короткое:

— Дальше.

Репетиция продолжается. Близится центральная сцена оперы, ее кульминация: речитатив и ария главной героини. Это гимн любви, брошенный навстречу смерти. Музыка, о которой можно говорить только музыкой. Или словами Шекспира — как это у него: «Чу, слышишь голос жаворонка, поющего у калитки рая». Композитор — в этом месте партитуры — щедро одаряет певца, но и требует ответного дара: голос, кружа жаворонком над голосами и шумами земли, должен вознестись до высочайшего сопранового ми-бемоль четвертой октавы и удержаться в зените на длительность шести тактов. Это требует предельного напряжения голосового аппарата, виртуозности и некоторого риска. Это прыжок под куполом, высоко над ареной и поднятыми кверху глазами толпы, когда, по традиции, оркестр цирка замолкает. И примечательно, композитор перенес традицию цирка сюда, на оперные подмостки. Он оставляет на эти шесть тактов голос одиноким, убирает оркестр, звуковую сетку прочь: иди один.

К началу решающей сцены пустые кулисы заполняются. Тут рядом с занятыми в спектакле артистами и кое-кто из свободных от репетиции; к «прыжку под куполом» подошли и театральные парикмахер, и билетер, и даже буфетчица.

Сотня дыханий окружала сейчас певицу, голос которой уверенным и гибким шагом подымался по крутым ступеням арии к ее финальным тактам. Дыхания эти легко было сосчитать: они выталкивались изо ртов мерзлыми дымчатыми конусами, рассеивались в воздухе и снова беззвучными залпами круглились над жерлами ртов.

Ближе и ближе. Вот последнее подготовляющее к прыжку группетто. Пауза. Сейчас.

И вдруг голос певицы падает на октаву ниже, долгожданное ми-бемоль, вместо того чтобы взлететь ввысь, спокойно возвращается по пяти черным и семи белым клавишам назад, к исходу, жаворонок, почти коснувшись краем трепещущего крыла калитки рая, опускается к земле, назад, в гнездо.

Руки примадонны спрятаны в муфту, голос из-под мехового воротника говорит зло и глухо, будто из-под демпфера:

— Я не могу петь в нетопленном зале. Это пытка. Это... этому слов нет.

И сопрано быстрыми шагами уходит со сцены. Действие переносится в уборную певицы. Режиссер и директор вперебой уговаривают первую певицу: тут и «нельзя же так», и «другие товарищи», и даже робкое слово «дисциплиночка», сбереженное режиссером в виде последнего аргумента. Не помогает. Директор, действуя методом умягчения, говорит, что весна не за горами, что угля нет, но есть публика, зрители, каждый из которых лучеиспускает в воздух по шесть калорий тепла в час, следовательно, если помножить на число мест, а производство на... Но сдвинутые брови и презрительная гримаса примадонны отвечают без слов: отставить.

Посылают за дирижером. Убеждают в три логики. Дирижер в пылу агитации заявляет, что готов бросить в кремационную печь и себя, и свой фрак, и дирижерскую палочку, лишь бы отогреть верхнее ми-бемоль очаровательницы, затмевающей славу Патти и Зонтаг. Но ни лезть, ни униженные извинения, ни три пары рук, разведенных врозь с ссылкой на особые обстоятельства и условия войны, — ничего не помогает. Верхнее ми-бемоль, как лошадь, заскакавшая перед стартом, срывает заезд, ставит успех премьеры под знак вопроса.

Уходя, дверь уборной директор прикрывает тихо, но дверь своего кабинета захлопывает с треском:

— Дьявол в юбке! Ахнуть бы тебя по-пигасовски бревном по спине, так ты бы у меня на чистое ми взъехала б. Ну, что ты с ней поделаешь? Заладила: «Сорвусь, потеряю голос, холод-сквозняки», дуй тебя горой...

Режиссер, отстукивая пальцами стаккато, бормочет:

— Да-да... в конце концов, одной нотой больше, одной нотой меньше... Важен образ...

— Образ-то образ, — ударяет кулаком по спинке стула директор, — но ведь это же не пантомима, а опера, финальная фраза ведущей арии и есть звуковой образ. Это — козырный туз, а не двойка для сноса. И ведь такая проклятая недотрога, Мимоза Хрантемовна. Обиженное ми-бемоль. Тепла ей захотелось, а мы что ж, по холоду тоскуем, ледовые леденцы сосем? Сунул бы тебя в пекло, было б тебе там тепло.

Дирижер с видом человека, израсходовавшего там, в уборной примадонны, весь пыл без остатка, спокойно резюмирует:

— Что ж, надо изыскать узус. «И напрасно ты кутала в соболь соловьиное горло свое». Это вы хорошо сказали: обиженное ми-бемоль.

И узус был найден. Всякий раз, когда репетиция подходила к шести финальным тактам арии, дирижер хмуро отсчитывал длительности. И оркестр, и певица молчали. В кулисах уже не было слушателей. А в зале, за желтым кругом режиссерской лампочки, никого и ничего, кроме сумрака и равнодушных рядов кресел. Откуда к ним ни подойди — либо деревянная спина, либо подлокотник.

Первая певица старалась сперва не замечать того второго холода, того снижения психического тепла, еще недавно окружавшего ее, для измерения которого не

изобретено термометра. Стоило ей войти в круг товарищей — и круг размыкался. Поклоны укоротились до кивков. Разговор при ее приближении замолкал. Только раз удалось ей расслышать в группе мужчин, которую она старалась обойти стороной (они курили — вредно для голоса), негромкое, но четко брошенное: «Обиженное ми-бемоль». Кто бы мог это сказать? А впрочем, все равно. Однако на утро следующего дня, когда проснувшееся радио разбудило и...

Тут автору очерка приходится заняться спешным разыскиванием имени для нашего персонажа. Казалось, что, давая зарисовку типа, можно обойтись, так сказать, периметром сторон многоугольника, профессиональными обозначениями: певица — колоратурное сопрано — премьерша и т. п. Но стоит направить внимание по радиусу к центру, включить психический процесс наблюдаемого человека — и без имени никак.

В детстве разбуженную проснувшимся радио артистку звали кто Галкой, а кто Галочкой; сейчас в труппе все — от дирижера до уборщицы — Галиной Александровной, а сама себя, в мыслях, когда они были мажорны, она называла Галей, а в минорном строе — Аленушкой. Сейчас, даже через две стены, она распознала голос партнера-баса, тот самый голос, который вчера посмел (правда, он стоял к ней спиной и не мог видеть), посмел сказать: «Обиженное ми-бемоль». А она, Галя, еще думала, что она для него... Но кому нужна несчастная Аленушка: непонятая, одинокая, склонив голову к коленям, сидит она над темным омутом и... и Галина Александровна зажала уши подушкой, пробуя вернуться к снам, но и они не приняли ее, как бы говоря: «Сон в зимнюю ночь сыгран, мы — видения сна — разгримировываемся, занавес опущен — не угодно ли в зимнюю явь, сквозь метель в

нетопленный театр, петь замерзающим голосом для сердец из льда». И певица, завернувшись в стеганое одеяло, села на кровати, опустив голову к коленям на сцепленные пальцами руки, — и перед закрытыми глазами ее проходили чередой: мамина любимица маленькая Галочка — угловатый подросток с трепанными учебниками в руках, с длинной косой за плечами, Галка — ученица консерватории счастливая Галя, по ночам у прокатного пианино, поставив глушитель, шепотом, еле касаясь пальцами клавиш, а голосом струн горла, разучивавшая, как бы не разбудить соседей, свою первую сольную партию, — Галина Александровна, «наша Галина Александровна», которой плещут ладони всего зала и почтительно стучат о деки скрипок смычки оркестра, — и вот теперь всеми обиженная васнецовская Аленушка, над которой ветви плакучей ивы, нет, ледяные сосульки зимы, и черная студеная прорубь под ногами.

Тем временем дни шли в затылок друг другу. Настала и генеральная репетиция. В зрительном зале, кроме режиссерского звена, по-прежнему собравшегося вокруг лампы, как возле стеклянного костра, было еще десятка два или три «своих людей». Спектакль шел в костюмах.

Коллектив на пути к премьере, дата которой уже была возведена афишами, понес некоторые потери. Так, выбыл из строя заболевший воспалением легких тенор, мечтавший о бифштексе. Его сменил другой певец, от которого тоже требовали красок и эмоций. Напутствуя дублера перед началом его арии, режиссер пускал в ход все новые и новые средства воздействия на замерзающее воображение исполнителя:

— Поймите же, голубчик, что вы просите не о ли-терном пайке, а о любви. В вашем голосе должна быть страсть, земная огненная страсть, от которой рождаются дети... да-да... а не петухи на верхнем ля.

Особенно усердствовал режиссер в массовых сценах. Хор крестьян, поющих и движущихся в лад взмахам кос и серпов, еле держался на ногах от несчетных повторов сцены:

— Сами мы будто колосья, — ворчал комприма-рио, запевавший песню жатвы, — то ляг, то сядь, то встань, то ходи, то стой — торчи торчмя, вались под ко-сой, а там тебя в снопы да в умолот... в голове у них не то что не испечено, а еще и не засеяно.

Однако, хотя все были злы и измучены, репетиция пошла споро. Первое же появление героини придало нерв генеральной. Свежо и трепетно зазвучавшему голо-су певицы отвечал унисон первых скрипок, и плоское голубое небо, служившее фоном действию, казалось, получило глубину и воздух, на птичью трель, начавшуюся на верхах второй октавы, откликнулись переборы арфы и голубиное воркование фагота и кларнетов.

Интродукция ко второму акту была похожа на ве-тер, пронесшийся по струнам с предвестием близящейся весны. Дуэт колоратурного сопрано и баса, которым оркестр передавал свою тему, славил весну, торжественно и победоносно, под звон ручьев вступающую в мир.

Галина Александровна вспоминала, не памятью, а всеми клетками своего тела, ту девушку-подростка Гальку, какой она была в ранней весне своей жизни: они пели вместе, Галина и Галька, женщина и подросток, апрель и июнь жизни. Рядом с ее голосом стлался голос партне-ра, влюбленный в нее, верный и добрый низкий голос баса... губы их, ее и его, не имеют права — таков сцена-рий — на поцелуй, но мерзлое дыхание певицы и певца давно уже, еще десять тактов тому назад, слились друг с другом, как скрещенные лучами прожектора.

Картина кончилась. Теперь та, самая главная сце-на. Галина Александровна, сидя в своей уборной перед

зеркалом, подправляет кисточкой грим. О, теперь оно прозвучит, это таившееся столько дней ми-бемоль. Скорее бы.

И точно в ответ на мысль — из-за стен резким глассандо сползающая вверх нота металлической сирены: тревога...

По коридору быстрые, одни вслед другим, шаги. Откуда-то издалека металлическое стокатто зениток. Сверху, точно глухие эха, мягкие разрывы. И в затакте низкий профундный удар, от которого стеклянные подвески на лампе зазвенели острыми дискантовыми нотами.

По коридору кто-то пробежал. Негромко хлопнула дверь. Свет электричества сполз на малый, красноватый накал. Вокруг было тихо, как в зрительном зале, когда все входы закрыты и вспыхивает рампа.

Еще удар, заставивший нервной дрожью завибрировать деревянные планки, раму и стекло зеркала с провалившимся в него пространством.

Занавес пошел.

Оркестр, гремевший там, над кровлями, вдруг оборвал вступление. И она запела, запела свою арию, которая не хотела дольше ждать. Голос пел ее сам в опустевшем безлюдном театре. Не было ни дирижера, ни толпы слушателей. Такт отсчитывало сердце, единственным слушателем была душа. И голос шел, как одинокий путник горной тропой, ведущей вверх, к перевалу. Он пел, свободный и счастливый человеческий голос, — городу и миру, убежищам и кладбищам, не обещая им ничего, кроме себя, теплого и живого, из трепетов сотканного голоса. Вот подошли и те шесть тактов — и ми-бемоль, как спугнутая путником птица, оторвавшись с вершины перевала, поднялось еще выше и застыло в парящем лёте.

Завхоз

Круглые щеки, круглый румянец, круглые глазки-пуговики. Плывет, как лоцманская лодка, меж выступов столов. То и дело его останавливают голоса:

— Илья Ильич, почему нет ложек?

— Сахар вперемешку с манкой. Черт знает что!

— Почему хлеб без весу, на куски?

Илья Ильич поворачивает голову в сторону вопроса и, круглясь улыбкой, спокойно отвечает:

— У Адама, в раю, вместо ложки была ладошка, вместо вилки — вот.

И распяливает пять круглых пальцев.

— Да ты, Илья, брось шутить, — раздастся чей-то надсадный низкий бас, — шутки в сторону, хвост набок. Тридцать грамм сахару — это же на полтора стакана. До дробей докатились.

— А хоть бы и до счисления бесконечных малых, — поворачивается завхоз, описав правым плечом дугу в сторону нового голоса, — от дробей мне же труднее, больше счету. Мое дело маленькое.

И, мягко перешагнув через порог, завхоз ныряет в пряные и копотные запахи кухни.

Вслед:

— Укатился мячиком.

— И брюки-то на нем с запасом — будто просят: полней, Илюшечка, места хватит.

— Ну, все-таки надо быть справедливыми, товарищи. Наш Иль-Иль захочет — из-под земли добудет.

— Добудет: деревянный пирог с мясной начинкой. Знаешь такую загадку?

— Тьфу, аппетит испортили.

— Тем лучше для вас. Что б он сдох, аппетит этот проклятуший. Ходит за тобой, как пес, да зубами лязгает.

Никто не видел, чтобы Илья Ильич когда-нибудь притронулся к пище. Глаза его, движущиеся под дужками бровей, как чашечки аптечных весов под коромыслицем, вечно взвешивают, охватывают объемы, считают и пересчитывают. Но сам он, когда ему предлагают вина, жалуются на суп-бурду или протягивают папиросу, всегда отрицательно качает головой:

— В рот не беру. Да, не процежено, пусть заменят. Дымом не балуюсь, да и некогда. Извините.

Тем не менее румянец его не меркнет, щеки упруги и округлы.

— Ты бы, Илья, — говорит ему его приятель официант Табелкин, — хоть бы для виду похудел. А то, выходит, твое же брюхо на тебя прокурором смотрит.

В таких случаях Илья Ильич вздыхает и машет рукой:

— Это что. А вот шестиглазый наш, знаешь, чуть встретит, наставит на меня окуляры, сверху пенсне приладит да еще свои два и: «Тае, говорит, как дрожжа в хлебе, вычитаемое из уменьшаемого, глядь, одна разность останется: кости на усах, мясо вместо них».

— Скажут тоже. Писатели, понятно: привыкли, чтобы построчно — я тебе слово, а ты мне копейку. А ты тут вертись, как скаженный...

И официант, балансируя подносом, торопится к протянутым навстречу рукам столовников.

— А вы знаете, — говорит мой случайный сосед по столику, щупая красными, припухшими от холода пальцами ребристый стакан с бледно-зеленым чаем, — Илья-то наш, барабанное пузо, оказывается, еще и психолог. Да что там, философ — иначе и не назовешь. Вчера тут один шваркнул ложечку из стакана да и: «На какого черта мне ваша ложечка, будь их хоть дюжина, если сахару тут ни сахаринки». А хоз наш ему: «Не волнуйтесь, товарищ, ложечка — она с психологией: помешайте ею разик-другой, и покажется, будто в пустой воде вроде как сладость появилась. Условный рефлекс не нами выдуман — вашим же ученым братом, так сказать». Тот только рот разинул. И в другой раз, неделю тому это было, прохожу я коридорчиком мимо бухгалтерии; столовая уже закрыта (задержали тут меня), парадное на болтах, ну, я через черный. И представьте себе, сидит наш Илья Ильич в уголку под пятнадцатисвечной лампочкой и что-то на счетах отщелкивает. Тут же, рядом, бумажка — и на ней цифры лесенкой. «Что это вы колдуете?» — «Да вот, — говорит, — хочу прикинуть, так, закругленно, в тоннах, насколько похудела старуха Европа». — «То есть как?» — «А так, если взять се, Европу эту самую, по числу ртов, учесть снижение веса и качества пищи, то выходит, что средний европеец должен бы сдать в теле приблизительно на тринадцать—пятнадцать процентов. Поскольку справочник нам говорит, что норма, отпущенная человеку природой, вертится около четырех пудов... Дальше, тут уж думают цифры да табличные показатели. Тут складываем, пристегиваем два нуля, так, и выходит, что вся наша Европушка тянет на весах меньше прежнего, если взять до первого выстрела, примерно на вот на столько тысяч тонн меньше». И показывает мне вереницу закорючек и сам смотрит закорюкой.

Однажды я застал Илью Ильича за произнесением не застольной, а «междустольной» речи. Он стоял меж

трех столиков, несколько даже загораживая дорогу циркулирующим официантам; левая рука в кармане, правая занята отсчетом аргументов на пальцах. Мизинец и безымянный были уже отогнуты (я опоздал), очередь была за средним.

— Вчера вот холодом загнало в кино. Дай, думаю, посмотрю и на смотрящих, и на смотримое (голос завхоза чуть запнулся на искусственном слове). И что же мне было предложено? Что вот эта скатерть, что экран — как родные сестры. Да-да. Показывали «Грозу» по Островскому, ну, и не знаю еще по кому. И представьте себе: Катерина — любовь — волжская ночь, все это вполглаза; а вот как дошло до свадебного ужина: бутылка да тарелки, ну и вареное-жареное, — темнота загудела, все — в оба глаза. Да, изголодался народ. И не столько брюхом, сколько мозгом. Вот вам, писателям, об этом надо бы... Или в другом фильме: «Пастух и свинарка». Лозунг там: «И свиньям никак без теплого помесщения». В таком роде, н-да. А человека надежда греет.

Илья Ильич не любит неплательщиков. Особенно «жидких». «В пшене вера, — говорит он, — в пшеничной нет». Да у нас и водка некрещеная...

— То есть?

— В воду ее не окунали. Чистая. Выпил — заплатил. По платью встречают, по плате провожают. А то... Вот возьмите крематорий. Я там неподалечку живу. Выйдешь из дому утром, глянешь: дымит? Дымит. И все там аккуратно. Наведался в контору: на столе стеклянные урны, для показу — сквозь стекло прах, натуральный, с упрямой косточкой, что никак тебе недосторает. «А это вы за что же их, — спрашиваю, — по столу мытарств?» — «Неплательщики», — отвечают. Вот это молодцы. Так бы у нас. А то...

Иногда завхоз появляется на чтениях и докладах. Сядет в уголку, молчит. Впрочем, один раз заговорил.

Обсуждали только что прочитанную рукопись. Одни находили, что автор смотрит на мир сквозь розовые очки, другие, что не сквозь розовые; кто-то процитировал Льва Толстого, якобы предлагающего мирозерцателям синие очки рассудка.

Илья Ильич встал и негромко спросил:

— А не попробовать ли простым глазом?

И, не выжидая даже паузы, направился к двери. Несколько голосов останавливало его: «То есть как?» — «Развейте мысль!» — «Возражаю!»

На пороге оратор задержался:

— Слышите, гудит. Грузовик гудит. Привезли консервы. Мне туда. Извините.

И скрылся за тщательно прикрытой дверью.

Девушки у воды

Вода стала в трубах. Что ж, если вода не идет к человеку, человек идет к воде. Домашние хозяйки взяли ведерца и тазы. Я, по своей неодомашенности и нехозяйственности, разыскал в углу боржомную бутылку и отправился на поиски.

По синему полю — белые буквы, обещающие влагу. В виде фруктовых соков, минеральных вод и т. п. За прилавком у трех пустых стеклянных цилиндров с тремя краниками внизу сидит, спрятав ладони в обшлага рукавов, девушка № 1. Поверх шубки с наставленным меховым воротником чистый белый халат.

— Пожалуйста, бутылку газированной.

— Только стаканами.

— Хорошо, пусть стаканами. Оно бы проще леечкой...

— Не держим. И не разрешено.

— Что не разрешено?

— Уносить воду. Пейте здесь.

— Тогда мне придется и умыться здесь. Поймите, в нашем доме...

— Мне нет дела до всяких там ваших и наших. Пьете — нет?

— Невозможно.

На шум наших голосов из внутреннего помещения выходит девушка № 2. Она делает пояснительный жест: возможно.

Только сейчас я замечаю: у стены, возле столика, сидит мальчишка лет двенадцати. Перед ним четыре стакана. Два из них еще пузырятся, третий утих, а четвертый льет в рот, как в лейку, очевидно, холодную, до обжига, влагу.

Что тут скажешь. Стенограмма (по памяти) первого разговора закончена.

Второй разговор.

Держу бутылку запрятанной в кармане пальто. Передо мной девушки № 1 и № 2. И еще одна: № 3. Будто перед судилищем:

- Один стакан. Нет, четыре, а я уж сам...
- Стаканы вот. А воды нет. Магазин закрыт.
- Но ведь дверь открыта?
- Дверь открыта, а магазин закрыт.
- Но ведь дверь же в магазин, как же?..

Я чувствую, что запутываюсь в нитонисётине:

- Ведь вы же тут сидите.
- Посадили — сидим.
- Но ведь...

Последнее слово принадлежало громко хлопнувшей дверю.

Третий разговор.

Магазин погружен в полумрак. У прилавка, возле качающегося огонька коптилки, голова девушки № 2 и раскрытая книга. Слышу бульканье воды — слава те господи.

- Ну вот, я и свою лейку принес. Пожалуйста.
- Не могу отпустить.
- Да ведь вода же есть.
- Вода есть, свету нет. Магазин закрыт.

— Однако вы читаете книгу. Какого черта?..

— Гражданин, попрошу вас уйти, от вас фитиль потухает. А читаю я или не читаю — посторонних не касается. Сказано ясно — продажи нет.

Из приоткрывшихся дверей встревоженно выглядывали № 1 и № 3.

Четвертый разговор.

Темно. Ни лампочки, ни коптилки. Спрашиваю в темноту:

— Вода есть?

Темнота отвечает:

— Есть.

— А где же коптилка?

— Выгорел.

— Кто?

— Керосин.

— Тогда...— и, вернувшись к порогу, я открываю наружную дверь: в ярком свете зимнего дня вспыхивают лица трех девушек у воды, крашанный под мрамор прилавок и стеклянные трубки капельников.

В ответ три злых кричащих голоса:

— Закройте дверь! Сейчас же. А еще культурный!

— Налейте воды. Вот под самое горлышко. Тогда закрою.

Клубы морозного воздуха, точно толпа призрачных видений, охваченных жаждой, врываются вслед за мной.

Теперь уже я слышу не крик, а мерзлый шепот:

— Слушайте. Закройте. Ведь вы же видите... Так не делают.

— Воды.

Через минуту я кладу три гривенника на прилавок. Отяжелевшая бутылка скользит в карман пальто.

Плотно прикрывая за собою забитую в диктовый панцирь дверь, я слышу тихое, как шуршанье шелка:

— Пятачок сдачи.

Человек при книге

Не знаю, как его и назвать. Читатель? Нет, это слово ассоциируется с книжной полкой, доской столика и лампочкой читального зала. А тут кирпичная стена, а перед носом читающего вместо попитра спина человека, которого он только что, перед тем как раскрыть свою книжку, спросил: «Вы последний?»

Они неразлучны: книга и ее читальщик, скажем так. На самом деле, конечно, книги сменяют друг друга в расщепе спрятанных в перчатку пальцев руки. Как свечи в подсвечнике. Но всегда как-то так выходит, что и читальщик, и его книга одинаково затрепаны, одинаково молчаливы и шевелят лишь — он губами, помогающими глазам запомнить текст, она — страницами...

Что породило читальщика? Ответить и трудно и легко. Может быть, перемена быта, переставившая фигуры на шахматнице Москвы, перетасовавшая часы занятий, удлинившая очереди, может быть... Но не стану сейчас заниматься этиологией типа. Опишу только внешние его признаки.

Читальщик не очень многочислен, но чрезвычайно устойчив в формах своего поведения, в точности рефлексов на те или иные воздействия среды.

Прежде всего что характерно для него: он почти не меняет своего хобитуса навыков в связи с переменами температуры и освещения. Читальщик читает и в закрытом помещении, и на вольном воздухе. И лежа, и сидя, и стоя, и на ходу...

Пойдите в театр. Антракт. Все входят в фойе или заполняют проходы, наконец — оставаясь на месте, обмениваются через ряды кресел словами и поклонами. Читальщик, отогнув пружинное сиденье своего номера, не дает ему распрямиться до конца спектакля. Закрылся занавес — раскрылась книга; открылся занавес — меж страниц недочитанной главы уже ждет просунутый палец: долго ли они там еще?

Читальщик читает на почте, в трамвае и троллейбусе, на вокзале, сидя на чемодане или стоя у билетной кассы, в очереди у столика в столовой. Суп стынет, дожидаясь рассеянной ложки. Но рвение читальщика не остывает. И до еды, и во время еды, и над пустой тарелкой.

Его будят толчки в спину: «Не задерживайте!» — «Не вы один!» — «Смотрит в книгу, видит фигу». На слова любой степени обидности читальщик не отвечает: его ум в мире молчащих, черных, в белое втиснутых слов.

Спросите его: который час? Он ответит первой попавшейся цифрой. А то и не цифрой.

Заглядывать в раскрытую книгу в то время, как текст ее сквозь глаза проходит в чужое сознание, — значит, пристроившись к строчкам, залезать в душу к незнакомому соседу. Не в моих правилах.

Впрочем, несколько раз я все же замечал, что глаза читальщика в большинстве случаев бегут по диагонали страницы, покрытой дробными абзацами и тире. Очевидно, беллетристика.

Но как-то — помню, это было в одной из уличных очередей — я увидел листок, выскользнувший из книги

Москва в первый год войны

стоящего передо мной человека. Подхватив его на лету, я обнаружил, что это лицевой лист учебника «Курс сопротивления материалов. Ч. П.». Оставалось передать его владельцу. Тот принял, сунул на прежнее место, кивнул, подпер большим пальцем левой руки книжный обрез и продолжал чтение.

Домоуправша

Январь. Ночь ушла. У подворотни сменились дежурные. А день будто мнетя, переступает в своих снежных белых валенках, не зная, начаться ему или погодить. По арбатскому асфальту, вдоль тротуарного ранта, мягко забирая снег, скользит широкая деревянная лопата. Это наша домоуправша Надежда Ефремовна взялась за уборку сугробов. Дворник ушел в милицию, а ей невтерпеж. Навстречу шороху лопаты гудок троллейбуса. Подняв покрасневшее лицо, Надежда Ефремовна задорно кричит:

— А ты погоди, девушек колесищами не дави. И мы пригодимся: замуж пойдем — солдат нарожаем.

И отводит лопату, освобождая путь машине. За заиндевелым стеклом тролля лица ранних пассажиров с чуть затлевающей и тотчас же гаснущей улыбкой.

— Я к вам за справочкой, тут, видите ли...

— Сейчас. Одна рука здесь, другая там. Только вот доскребу.

Надежда Ефремовна распрямилась и отогнула наставленный было воротник. Ей жарко, хотя плечи прохожих ссутулены тридцатиградусным морозом. Смотрите на нее, после будет поздно: ни фотоаппарату, ни апперцепции не угнаться за ее быстрыми и хваткими движениями.

Вот она стоит, сметая обшлагом рукава своего старенького мужского кроя пальто снежины, мешающие ей пробежать текст «заявления». Губы ее чуть шевелятся, помогая запомнить. Волосы, выбившиеся из-под шапки, седые, но когда она войдет в контору (дверь в нее тут же в воротах, в трех шагах), седина, уже через минуту, оттает и сменится круто вьющимися (без помощи щипцов) каштановыми кудрями. И тогда в руке у нее будет уже не лопата, а перо, проворно бегущее мелкими круглыми буквицами по очередному бланку.

— Ну, вот, готово: в печать и подписать. Только и вы, товарищ, черкните вот тут свою: в росписи дежурств. Добровольно? Абсолютно. Только как это у Горького: «Если человеку на напомнить, что он добрый, так он и...» Ох, напутала. Кверху ногами? Ничего. Лишь бы вы, дорогой товарищ, в свое время были на месте. Спасибо. А тебе, девочка, чего надо? Мама больна? Зайду. Непременно. Врачу звонили? Можно и отсюда. Ах, забыла, выключен. Надо из автомата: рядом, на почте. Некому? Хорошо, я сама: все равно у меня там на четырнадцать гривенников разговоров...

И дверь натужно хрипит и хлопает. Если бы укоротить раз в пять промежутки меж стуками этой узкой домоуправской двери, получилось бы некое подобие барабана, бьющего тревогу. Очередь в тесном помещении конторы у столика Надежды Ефремовны продергивается быстро, как пулеметная лента.

В первый раз я встретился с нашей домоуправшей в июле. И тогда уже по пятам за каждым из нас ходила война. Надежда Ефремовна была тогда в легкой черной блузе, и ветер трепал ей подол короткой юбки и ерошил волосы. Помню, она остановилась посредине нашего нескладного, меж трех домов зажатого двора, очевидно

заколебавшись: с какого подъезда начать? На левом плече ее, упираясь нижними концами в ладонь, лежали, связанные в пачку, синие рулоны маскировочных штор; с пальцев правой руки безвольно свисала пустая авоська:

— Здравствуйте, товарищ Крыжановский. Для вас телеграмма в домоуправлении. В квартире у вас никого — не достучались. Откуда знаю? Домоуправ. Да, новенький. Ну, до нового.

И, очевидно, решив вопрос о трех дверях, скрылась в подъезде, что слева.

Это огромная книга дежурств: «заступил» — «сменился». С запасом белых страниц чуть ли не на вторую тридцатилетнюю войну. Лежит книга рядом с домоуправским телефоном и чернильницей. Тут все что-нибудь да делает: даже табурет со скрипом напоминает, что спать нельзя. Ближе к дверям длинная скамья. Днем тут — локоть к локтю — очередь. Сейчас глубокая ночь. На скамье двое: Надежда Ефремовна и я.

Я дежурю по росписи. Управдомша «заменяет».

— Их тысяча, а я одна, — говорит она сонно, будто из рупора, выбрасывая слова из круглого зевка, — безобразие... спят... а ты будь тысяча и одной... где это я читала...

Рукав ее плотно вжат в рукав, лицо под поднятым воротником — только брови и веки: да и те будто завязаны на сотню длинных ресниц. Дыхание ровней и ровней.

Но стоит мыши зашуршать где-то в щели, и Надежда Ефремовна вскакивает со скамьи:

— Тревога?

— Нет. Спите. Когда будет надо, скажу.

— Спасибо.

И снова прежняя поза. Легкое всхрапывание. Голова Надежды Ефремовны — скользит по стене — ищет опоры. Что бы ей подставить? Плечо, что ли?

Теперь дыхание спящей у самого моего уха. И носа: слышу легкий запах водки. Ага, и ты?

Спящая начинает говорить. Сперва громко, потом тише:

— Вот ты и вернулся. А я ждала, ждала... И писем не писал, Лень? А убивать не лень. Не их — меня. И умирать не... Чернила замерзли? А я жду и жду, когда оно перестанет ждать. Ну, все равно, цел, так целуй. После детки будут. Тысяча, а я все одна... все одна... и с тобой одна, о-о...

Сижку, не шевеля плечом.

Вдруг, в радиодиске будто мышинное шуршанье, потом рывком: «алло, алло, гр...а...ж...».

Через минуту во дворе вывинчивающийся скользкий свист сирены и удары железом о рельс. В небе беззвучный поиск прожекторных лучей.

Посередине двора прямая черная фигура домоуправши. Она проверяет маскировку.

— Опять этот Демин высветился. Сколько раз... шестой этаж. Что поделывать, придется идти.

Могильщики

Март 1942-го. Ваганьково кладбище. Ворота широко распахнуты. Прислонясь к одной из их железных створ, стоит женщина. Издали она похожа — и по контуру, и по неподвижности — на изваяние рыцаря в пластинчатом шишаке, с рукой, упершейся в трапециевидный поножный щит. Подойдя ближе, видишь: не шишак — а рогожный куль, не щит, а отделенная от гроба крышка. Фигура просит на погребение.

Внутри ограды, как всегда, — с одной стороны кладбищенская контора, с другой — куца церковь, специалистка по панихидам. На снегу — примерзшие ветви хвои и группа людей: живых и мертвых, вертикальных и горизонтальных, — но и те и другие неподвижны, и эти и те ждут своей очереди и очереди.

Вслед за мною в ворота входят и въезжают трупы и провожающие. Вместо прежних катафалков — грузовик, на площадке которого в темной раме из живых, на красном ящике — покойный; вслед грузовику тихо вкатывается детская колясочка, подталкиваемая матерью; в колясочке — некрашенный шестигранный ящик; еще одного везут на двуколке, похожей на тележку рикши.

Прохожу меж шпалер нищенок в церковь. Тут за санитаря мороз: он проступил инеем сквозь толстые ка-

менные стены, замедлил гниение и прогнал вонь. Можно ждать. И ждут: по два, три и четыре дня. На безмогилье.

Литию правит стриженный поп с бритым лицом. Синяя камилавка его кажется посиневшей от холода, а ладанный дым над кадилом неотличим от клубов вашего мерзлого дыхания. Слева у стены свалена дюжина стоек, подкатываемых — в меру надобности — под новую и новую ношу.

Когда выходишь из церкви, руки нищенок, как по команде «на руку», перегораживают тебе путь колючими острыми ладонями: «Подайте — покойничку вашему на упокоение, а вам — на доброе здоровьице». Это — формула.

Впереди по межмогильной стежке — черед людей, отбывающих в страну, «где несть печали», и провожающих до отправной станции. Впрочем, лица провожающих отнюдь не печальны — скорее, озабочены; кой-кто взглядывает на часы.

Иду следом.

Номера участков. Повороты тропы. «Тут вот слева могила Есенина — видали?»

Галки, сутулящиеся на почернелых ветках белых берез.

Пришли.

Вот и они. Могильщики. Их двое: шекспировская традиция. Один, постарше, сидит, свесив ноги в яму. Другой, плечистый парень с расстегнутым воротом, очищает лопатой с лопаты землю: помещение готово.

Одеты могильщики в живописные лохмотья. Хоть на сцену. Им не холодно: лопата и водка греют. Кстати, лопата — точнее, ее железная ладонь — служит здесь мерю тех в е щ е й, которые подлежат погребению. Лишь только гроб стал куцыми ножками на землю, молодой

могильщик прикладывает плашмя лопату к его краю и считает, сколько раз она уложится в длину.

У могилы сейчас речей не говорят: время дорого и, главное, дороги могильщики — меньше чем за два кило черного хлеба, пятьсот граммов колбасы и полулитра или, взамен ему, пачки махорки земля не раскроет своей вертикальной двери новому постояльцу. Все-таки на всю вечность.

Советские гробокопатели вежливее шекспировских: подравнивая звонкими лопатами края последнего обиталища, они не поют веселых песен, не говорят вам, что ваша новопреставленная, может, и была еще недавно женщиной, а сейчас, мол, не женщина и не мужчина, а так, труха. Но равнодушия у них за эти три столетия, пожалуй, прибавилось. Для них — для этого вот матерого закапывателя, да и для его широкоплечего и длиннорукого помощника — все сведено к промеру глубины и емкости могилы и длительностей ее рытья: они живут в мирке чистого количества. Качеству нет сюда допуска.

Вот и сейчас. Отождав краткое время, пока родственники и знакомые обнажением голов и молчаливым стоянием выразят свое почтение праху, могильщики, тоже молча, забрасывают на гроб веревочную петлю, а под узкий его конец подводят другую, вольно скользящую веревку. Затем старший просит о гвоздочках: хорошо бы четверку, можно и три, ну, ничего, обойдется и двумя, лишь бы до дна не соскочить крышке, а там земля удержит.

Гроб — по веревкам вниз, и тяжести возвращаются назад — на новую работу. Заступы в руках могильщиков на несколько секунд задержались в воздухе. И здесь еще жив старый обычай, перед ним, древним стариком, нехотя, но смиряются: провожаешь живого — перед дорогой надо присесть, мертвого — минуту постоять. Так и теперь — очередь за последней горстью земли.

И лопаты приходят в мертвое движение. Теперь часть официальная окончена, и профессионалы могильного заступа перебрасываются короткими, как удары земли о землю, словами:

— До часу еще двоих закидать. Гляди, не поспеешь.

— Чего там. Маломерки. Управимся.

— А земля? Вынешь сысподу мягкость, а через час кора корой...

— Ничего, размочим...

— Землю-то?

— Не.

И, разменявшись улыбками, могильщики скоро и споро заравнивают яму, а там приделывают к заплечью могилы и традиционной земляной горб.

Венку из металлических незабудок, свитых лентами из черного суррогатного шелка, младший могильщик оказывает некоторое внимание:

— Ну, этот дорожку назад в магазин знает. А ленты, хоть и с именем-фамильем, — им тут долго не лежать.

Вношу мысленно некоторую поправку в характерологию московского могильщика наших дней.

Припоминается мне и старое, еще нэповских времен, кладбище. Тогда здесь же, на Ваганьковом, можно было пригласить на могилу к своему покойнику так называемый «прокатный венок». Это обычно был весь в дорогих, хотя и потертых, лентах, черных и красных, из матерчатых прокрахмаленных роз с высеребренными лепестками добротный, солидный венок-гастролер. За умеренную плату он совершал небольшое турне от конторы до очередной эстрады, наспех сработанной двумя лопатами. Он чинно плыл вслед за траурным шествием, мягко ложился на глину могильного взгорбья и лежал достойно, с выражением неутешной печали, качая чашечками своих цветов на проволочных стеблях, шевелимых ветром, — пока не истекал оплаченный срок. Тогда

он продолжал свое странствие, этот скромный труженик кладбищ, столь пышный и в то же время недорогой...

Теперь венки стали юрче и податливее. Не проплывают, а ускользают, пользуясь темнотой и безлюдьем.

Провожающие, отпровожав, нахлобучили шапки и ушли. Пора и мне.

Но наша литературная братия повсюду таскает за собой, как шарманщик шарманку, свою литературу.

Мне бы уйти, но мысль не уходит от еще мягкого, постепенно затвердевающего нового могильного холмика. Сперва вспоминаю флоберовского кладбищенского сторожа — огородника Лескободу, который рядом с «нивой мертвых» развел и свой огород: по мере того как население кладбища увеличивается, капустным головам и картофельным султанам приходится потесниться — и мосье Лескободу, получающий доходы и на рынке смерти, и на обыкновенном овощном рынке, мучительно размышляет, выгодна ли для него конкуренция двух товаров или наносит ущерб.

Черные ветки на белой березе чуть вздрагивают. Безветрие: отчего бы это? Ну да, конечно, это там, шагах в двухстах правее, застучала кирка, подготавливая лопатам грунт помягче, для новенького. Еще раз вспоминаю могильщиков: да эти, попадись им череп, скажем, шута Балакирева, отнесли бы к нему иначе, чем те двое шекспировских к королевскому шуту Йорику.

Философ

Солнце — после долгой отлучки — стало хоть изредка заглядывать в Москву. На заснеженных окнах трамвая нет-нет появляется сквозящая светом надпись: «Меняю зиму на весну». И даже на плечах и воротниках этих вот людей, ставших вдоль стены в очереди, снежинки, подумав минуту-другую, превращаются в капли: довольно снега — мы за дождь.

Очередь эта запрятана во внутренний двор, тянется сперва вдоль грязного брандмауэра, потом огибает сарай и ныряет по склизким ступенькам в подвал. Оттуда изредка появляются люди, бережно несущие бутылки, бутылки, банки, бидоны. Кто закутал жидкую ношу в платок, кто в газетный лист, а кто просто так — меж зажатых ладоней. Ступают «получившие» осторожно, глаза их почти не разлучаются с горлышком бутылок, а на лице такое выражение, будто несут они не водку из винного подвала, а пасхальные свечи с паперти церкви. На тревожные вопросы: «Много ли там еще?» — иные отвечают непонимающей улыбкой глухого, другие: «На всех хватит», а иные: «Последнее, с донышка слизнул».

Несколько в сторонке от очереди стоит девочка лет тринадцати, около нее группа только что подошедших, торопящихся в хвосте. Левые руки их заголены у

запястья и нетерпеливо протянуты к химическому карандашу, которым девочка нумерует новоприбывающих.

Протягиваю руку жестом нищего-профессионала и я. Карандаш, споткнувшись о вытянутую контрабасной струной длинную кость, вчерчивает в кожу: 101.

И тотчас же над ухом у меня глухой и низкий голос:

— Похоже, будто гражданина Нуля меж двух штывков уводят.

Оборачиваюсь: маленькие кротовьи глаза, сочный бугристый нос, вылепленный алкоголем, выпяченный острый кадык, безвольно свисшие прокуренные усы:

— Вы последний, я последнее, и все мы по самому последнему делу. Не так ли?

Я не тороплюсь отвечать.

Пристроившийся к моей спине сто второй номер заматывает свою шею в серое кашне, вздергивая кадык и глаза кверху, будто ища вбитого в воздух крюка, годного на еще более последнее дело, прижимает руки к бокам и устанавливает попрочнее массивные ступни отливающих медью сапог, с видом человека, решившего превратиться в монумент. Все в нем теперь постепенно обездвигивается, как остывающий металл. Кроме верхних конечностей: войдя пальцами в карманы пальто, они оползают все ниже и ниже: сперва в карман нырнула пуговица на обшлаге, за ней погружается распоротый под локтем шов, вот ныряет в карман левый, затем правый локоть. Заметив мой удивленный взгляд, монумент цедит сквозь усы, как сквозь проволоку:

— Советую и вам. Ножичком по дну карманов — и потом погружайтесь хоть до подмышек. Сберегает калории. Практично: особенно для карманов, разнакомившихся с мелочью. Ну и с перчатками.

С минуту мы стоим в полном молчании. Потом в голове очереди возникает шум и клекот, напоминающий

голоса вороньей стаи, спорящей из-за добычи. А там опять тихо.

Раздатчица номеров проходит вдоль бечевы людей, проверяя руки. К очереди прирастает номер 103. С ним некоторая задержка. Это маленькая, вся почти упрятанная в длинную черную шаль старушка, протянувшая сейчас к химическому карандашу свою сухонькую, узкую пергаментную ручку. Девочка-разметчица недоуменно пожимает плечами: трехзначное число никак не хочет уместиться на тонкой полоске старушечьей руки. На помощь приходит человек-монумент. Сперва он приводит в движение только губы:

— Не поперек, а вдоль. Так хватит и на триллионный. Хоть всю землю очередью обвивай. Не так. Надо умеючи.

И в работу включаются, вынырнув из карманных прорубей, сперва одна, затем другая рука советчика. Химкарандаш он держит, как скальпель, распластанная левая ладонь хирурга заменяет операционный стол. Затрепыхавшаяся было ладошка пациентки пробует выдержаться, но средний и безымянный пальцы вписывателя трех цифр взяли ладонь в зажимы — и через секунду операция кончена. И цифры и люди стоят по местам.

Мимо торопливым шагом проходит женщина с бидоном и тремя кошелками:

— За чем стоите? За картошкой? Или?..

Очередь молчит.

— Не допросишься. Языки у них вместо талонов поотрывали или что?

Человек, стоящий в философическом раздумье, делает подзывающее движение пальцем. Женщина подходит ближе.

— За смертью. Нет, не ослышались. Становитесь сто четвертой, гражданка. Правда, тара у вас неподходящая. Завещание необязательно.

Женщина отходит, раз или два оглянувшись на моего монументального соседа.

— Гм... да. Как это: «Передний заднему — мост на погост». Народная мудрость, ничего не поделаешь. Война — только ускорение. Смена анданте на акчелеранде. А там и престиссимо...

Я ощущаю, что последние слова обращены непосредственно ко мне, но уйти от них и их произносителя можно лишь с пустой литровкой. Остаюсь. А голос продолжает:

— Впрочем, ускорение плюс перестроение всеобщей явной и тайной очереди за смертью. Кончай молодых, дай пожить пожилым. Таков закон войны. Представьте себе, что я вот, хотя еще и не пьян, скоманую (голос набавляет силы): «Очередь, кругом, правое плечо вперед, направление на небытие, арш!» И получится нечто, грубо напоминающее...

Ни говоривший, ни я не ожидали того эффекта, какой произведет примерная команда. Притихшая было очередь вдруг загудела растревоженным роем:

— Это что ж такое?..

— Виданное ли дело... задние чтобы передние, а передние?.. Чего захотел!

— Тоже, командир отыскался. Разгуделся, будто пустая бочка.

— А носина-то, носина — соборное гасило.

— Милиционера позвать, вот и весь разговор.

И даже стотретьевая старушка откуда-то из-под локтя человека-мишени подтянула высоким тоненьким голоском:

— Про крестиссимо какое-то обиняком завел да про акч... про пропаганду, что ли?

— Уж не немец ли, прощупать бы надо, — откликается мужской голос из того конца очереди.

Он стоит, человек, прерванный меж малой посылкой и умозаключением своего силлогизма, терпеливо ссутулив плечи и опустив голову.

Но в это время из подвала раздается лязг сброшенного болта, передние номера очереди ныряют под землю, за ними двигаемся и мы — и центр внимания мгновенно смещается: «Уже?» — «Похоже, что так». — «Сбоку не пускать!» — «Этот вот не стоял — встрял, как заноза».

Мой «следующий» снова распрямился, как трава из-под проехавшего колесного обода. Обод прокружил, и голос ожил: правда, сейчас он чуть ниже и тише, будто примят.

— Ну вот, некое движение воды, а там и... водки. Промыть горло, и в голове посветлеет. В Шотландии особо изготовленную, на горных травах отстоянную пятидесятиградусную так и называют: «Утренняя горная роса», «Mountain dew»... И все-таки война — это некое кругом марш: первые места на приеме у смерти не старым и хилым, а юным и сильным. Сперва «а мы с тобой располагаем жить», а потом приходит к тебе, в один прекрасный день, эта самая жизнь и, глотая года, бормочет: «Вот я и вся: до рассвета, до боя, созрел, перезрел и состарься; а мне некогда, мне дальше; много у меня вас таких...» Однако мы двигаемся, чую аромат спирта. Ну-ну. Опять стали? Будто на «Максиме Горьком»: сколько шпал, сколько полустанков.

От переднего десятка очереди отделилась вихрастая фигура в куцем тулупчике, на хлипких ножках, завитых в зеленые обмотки. Человек, припрыгивая на зеленых спиралях, движется по извиwu очереди к ее верховью (скажем так), проверяющим взглядом всматриваясь в лица, как если б на них, а не на запястьях рук были представлены номера. Около моего соседа человек-витуша останавливается с видом счетчика, сбившегося со счета:

— На всех не хватит, — вздыхает он, улыбаясь, — на нас станет, а до вас дойдет да и станет, ж-хы. Нам — фонтан, вам — пуст барабан.

Мой монументальный сосед молча отворачивается. Но пружинный человечек продолжает:

— Теперь что. Водки мало, считаны капли, а закуси — на-ко выкуси, сухарь да соль вприсыпку. А вот, бывало, в воскресенье летом с солнышком встанешь, в одном кармане бутылочка, в другом закуска, и куда-нибудь в Сокольники или в Нескучный сад; первая — колом, вторая — соколом, а дальше — мелкими пташками.

— Уйди, не скрипи, — отмахивается сосед движением локтя, — ступай к тому, кто тебя звал, а тут нечего...

— Я что ж, уйду, только помяните слово мое: на нас хватит, а на вас...

— Ну и ступай к вашенским, а нас, нашенских, не тронь, — вырывается вдруг резкий женский голос. И после короткой паузы добавляет глуше: «Оно, правда, водка здесь на сторону текет, придешь с пустым бидоном — уйдешь с порожним. А вот в Охотном ряду, в номере девятом, там очереди чуть-чуть, а вина сколь хошь».

— Ну и шла бы в Охотный.

— Далеко, а боты дырявы.

Очередь снова продергивается на несколько номеров.

Сосед мой воспрянул духом. Подбородок его вынырнул из кашне, руки из карманов, и даже усы, двумя удилищами опущенные книзу, оглаженные пальцами, чуть поднялись: клюет.

— А знаете, — обращается он ко мне, переходя от полузнакомства к знакомству, — допустим, что условия, поставившие нас в затылок друг другу, отпадут. Их нет. А привычка осталась, есть, наличествует. Мозги привыкли, пятки привыкли, нос, как гвоздь к доске, притерся к затылку «ближнего своего». Что из этого воспоследует?

Мало ли что. Например — на правах, так сказать, сновидения, не поймите ложно, — планируется, разбивается, строится новый город: Взатыловск. Не звучит? Ничего, дайте уху привыкнуть. Прилипнет, как марка. В городе Взатыловске все только по очередям: захотел взглянуть на летучее облачко или на лунный серп — становись в очередь. Сперва созерцай затылок, после луну. «Вы, гражданин, отойдите, я впереди стоял, все видели — впереди». — «Ну куда вы лезете, соблюдайте очередь, луны на всех хватит». — «Как же хватит, видишь, последняя четверть?» Вариант об облачке: «Еще ветром унесет» и тому подобное. Или симфонический концерт: сперва для первого ряда, потом для второго...

— Нет, неподобное вы тут, господин хороший, разводите, — поворачивается вдруг к нам лицо человека, стоящего пятым или шестым впереди, — это когда у людей и спереди и сзади одни затылки будут, как вот у стульев (откуда ни глянь — спинка), тогда вы свой Взатыловск и стройте. А вот я сейчас к вам свое лицо повернул — и вы ему, лицу, хоть оно, вижу, вам не нравится, а все же отвечайте...

Лицо, внезапно и круто повернувшееся к нам, действительно не из приятных. Узкое и острое, землистого цвета, в башлыке, напаянном прямо на голову, как кулек на пластину стирального мыла.

— Я предупредил... в порядке сновидения.

— Вот и я предупреждаю. Хоть ты и философ, а... за такие сновидения можешь проснуться там, где тебе и не снилось быть.

Я ждал реплики. Ее не последовало.

Тем временем очередь наша продолжала продергиваться довольно быстро. Минута-другая, и правая нога «философа» уже нащупывала первую ступеньку, спускающую его тело в вожделенный подвал, к стойке и боч-

кам с водкой. В пальцах его уже поблескивала зелеными искрами литровая бутылка.

И вдруг оттуда, снизу:

— Кончилась. Расходитесь. Закрываю магазин.

И в ответ на глухой гомон голосов оттуда же, из подземелья, напоминающий концовку хора теней из «Франчески» Чайковского, — железный лягг задвигаемых болтов и с четкой точкой на конце одно-единственное равнодушное слово продавца: «Кончено».

Очередь разбилась на группы. Кой-кто уходил медленным, тяжелым шагом. Большинство продолжало топтаться на месте. Женщина, жаловавшаяся на худые боты, придвинулась вплотную к «филозофу»:

— Может, пойдем в Охотный, а? Я покажу.

Тот не отвечал.

— Ишь, как заскучал. Будто и не слышит. Пойдем, чудачина, жаль мне тебя, в Охо...

И рот и усы моего недавнего соседа были уже запрятаны в кашне. Но все-таки я различал звуковой контур его слов:

— Нет. Что уж там. И вообще, — зеленая бутылка рассеянно скользнула в карман пальто с тем, чтобы через долю секунды стукнуться о каменную ступень и со звоном разбиться в мелкий дребезг, — и вообще вся ваша Москва для меня — Скучный сад и Неохотный ряд. Только и всего.

«Филозоф», даже не взглянув на стеклянный прах своей бутылки, повернул спину к ступеням подвала и медленными, пудовыми шагами направился к воротам.

Бабушка с кошелкой

Улица. На кирпичной стене дома распластанный лист газеты. Над ее колонками прямоугольник стекла.

Колонки из букв медленно движутся, поабзацно, книзу: так кажется. На самом деле движутся не буквы, а глаза, шапки и плечи читателей уличной газеты. Каждый из вновь подходящих к залепленному снегом заиндевевшему стеклу сперва вытягивает голову кверху, заглядывая через плечи подошедших ранее, потом начинает — складным аршином — сгибаться в коленях и опускать плечи, вслед за убегающими строчками текста.

У газетной витрины тихо, как в заправской читальне. Лишь изредка — коротким стуком секундной стрелки — междометия: «угу» — «ишь» — «да».

Старуха идет, вороша ногами валенок снежный прах. Шаг ее медленен и короток. Куда ей торопиться? Вся фигура ее, согнутая вопросительным знаком, молча спрашивает: «Куда?»

Старуха замотана в стеганую вату, завита, как в кокон, в шали. Острый нос, высунувшийся наружу, заставляет вспомнить о стынущем чайнике, в котором, кутая его во что ни попало, пробуют удержать остаток тепла. В одной руке у старушки палка с резиновым наконечником, в другой — клеенчатая кошелка с синими, будто обмерзшими от холода цветами поверху.

Неверный шаг, палка о тумбу — и кошелка уже на снегу; из клеенчатого прореза в ней выкатились пустая банка и две-три хвостатых луковицы. Старушка хочет наклониться, поднять. Но это не так легко.

Проходящий мимо человек в красноармейской шинели помогает — передает:

— Вы бы, бабушка, поводыря себе изобрели. Внучку, что ли. Бабушка без внучки по уставу не полагается, — добавляет он в ответ на благодарственные кивки старухи.

— Есть, голубок, и внучка. Да только...

— Что «только»?

— Бедовая. И не подступи. «Я, говорит, к вам не пришита, и из терпений меня не выводите, а не то...»

— Не то?

— «Под бомбу, грозит, брошусь — и на пятьсот кусков».

— Ишь она какая. Ну, мне недосуг. Через улицу на бесперекрестках не переходите.

И военный уходит — ровным широким шагом. Но бабушка с кошелкой не думает сейчас ни о перекрестках, ни о бесперекрестках. Внимание ее притягивает газетный лист под стеклом. Она подходит ближе:

— Сынки, а сынки, что там нынче про фальшистов писано?

Чья-то смурая шапка, тряхнув меховыми ушами, повернулась в сторону вопроса.

— «Фальшистов», говоришь? Да, вот — формируют тут, будто вша их заедает.

— Своя своих не познаша, — бормочет его сосед, хлопая себя короткими руками в длинных трехпалых варежках по бокам и груди — чтобы согреться, — думали, раз немец, так и ганцаккурат, а выходит...

— Нет, голубок, — вступается старушка за немец, — у них все на счетчиках расщелкано, все по-цифирному. Куда уж нам до них.

— Ой ли?

— К примеру, сынок, вот тебя, молод ты еще, а вот как годы выйдут, в рекруты возьмут — так по какой цифре? А?

— Известно: по году рождения.

— Вот то-то: по году рождения. Только мы и знаем: год рождения да год рождения. Затвердили и рады.

— Ну, а немец?

— Тот хитрее. У него в цифири все проставлено: тут вот твой год рождения, а здесь вот и твой год смерти. Так по году смерти и призывают. Которым в тысяча девятьсот сорок втором помирать, тех и призывают: иди — сполняй свое — помирай. В полной аккуратности. А мы что...

В группе у стенной газеты смех.

Но бабушка с кошелкой остается серьезной:

— Вам, молодым, палец покажи — вы и рады. А как, тут не прописано, сегодня ночью забомбит он нас или нет? Хочу банки ставить, поясницу ломит, а только несумвместно: бомбы да банки. Вот завчера, как налетел этот бес полуночный, тьфу, Мистер-Шмитт или как его звать?..

— Уж если «мистер», то не «Шмит», а коли «Шмит», то не «мистер». А прилетит ли, нет ли — про то Адольфа по телефону спросить надо.

Старуха словно не слышит. То ли уши заложило, то ли из-за своих мыслей чужие слова невнятны. Губы ее шевелятся, глаза беспокойно, как птицы в гнезде, усаживаются в глазницах, но ноги будто примерзли к земле:

— Газеты вот — что ни день, а письма — нет и нет. Заблудилось, не в свой ящик попало или как — ума не приложу?

— Вы, бабушка, про какое? Есть тут — «письмо в редакцию», да...

— Какая ж я Редакция? Евдоксией меня крестили, люди Семеновной прозывают. А жду я от внука: обещал

каждую неделю весточку подавать, а вот уж второй месяц хотя бы словечко. Как снегом замело. Да и кто вспоминает про бабушек всяких-таких: молод-человек, известно, про товарища вспомнил, и про девку не забыл, а про меня кому помнить — могила, и та забыла, не берет.

— Это вы, бабушка, напрасно. Может быть, он и сам, кто его... Пуля, глазом не моргнешь, в старики произведет, скажет: пожил — и будя. А вы... Как вашего внука звать?

— Иван. Иваша. Игнатов сын. А фамилия наша: Тороповы. Бывало, придет листок, в три угла сложен. Вынет сосед из ящика свою газету, а из газеты, глянь, треугольничек белый, а на нем: «Тороповой». А теперь спросишь «нет ли?», а сосед молчит. В ящик взгляну, что на дверях: и в ящике пусто.

— Д-да. Оно конечно. «Тороповы», говорите? Будто где слышал или читал. Будто по памяти что пробежало, торопко так, что и не поймал... Пробежало — а след не простыл. А ну-ка, соседушка, подвинь-ка локоть. Не для тебя одного газета писана.

— А ты не тыкай, бесплатный подписчик, тоже.

— Чудно, право: будто мышью или тенью, шмыг — «торо-поро», или как его, и рядом не то тридцать шесть, не то девяносто три...

— А может, семью три — нос утри. Не мешайте читать.

— Нет, постой-погоди. Вот тут: «ан Игнатьевич, красноармеец», во-во. Хвост есть, а мы... Черт, строку снегом залепило.

Плечи читающих стенную газету тесно сомкнулись. На голоса подошел проходивший мимо человек с револьвером на бедре: «Что там? «В последний час» или?..»

Бабушка топчется, цепляя руками то за кобуру, то за хлястик шинели военного:

— А ты подыши, голубок, подыши потеплей — стает.

Военный с недоумением оглядывает рьяных читателей:

— Что вы тут колдуете, товарищи? Не пойму.

— Да вот, вроде как человека из-под снега откапываем. Имя то есть.

— Подыши, говорю, голубчик,дохни, оно и... имячко Ивашино... или теплого ветру в грудях у вас нету, сыночки?

— Оно и впрямь, — соглашается человек, не хотевший было отвести локоть, — эх, решетка проклятая мешает, подсобите, ребята.

И в несколько секунд — под дружным ударом нескольких молодых дыханий — белое снежное пятно сползает со строки. Глаза и голова военного опережают других:

— «Торопов, Иван Игнатьевич». Ну, и Торопов, а вам что? Чего, бабуня, за кобуру уцепилась? Пустяки: вам Торопова, а мне торопко. Чудаки люди.

Но по лицам окружающих он начинает догадываться, в чем дело. Из всех улыбок самая торжествующая на лице инициатора поисков:

— Вот вы, Евдокия Семеновна (так, кажись?), и получили от внука письмецо: жив, мол, здоров, чего и вам желаю... Писать было, извините, недосуг, мы больше штыком, не пером... но все-таки извещаю вас, что за особые боевые заслуги, оказанные, да что там... награжден орденом Красного Знамени, вот оно как, бабусенька, знай наших... И точка.

— И точка? — радостно, но с нотой беспокойства в голосе спрашивает бабушка с кошелкой, — а про варежки, что мы с Катей ему послали, хоть бы слово. Вдруг не дошли — сама вязала. Как так?

— Это он не дочитал, — вмешивается военный, — тут должна быть и приписочка, — ну, так и есть. Эх ты, читал-читала...— качает он укоризненно головой в сторону человека в меховой шапке. И, переглянувшись с сгрудившимися вокруг уличной газеты людьми, весело досказывает:

— «Посылку получил. Премного благодарен. Целую и вас, и сестру. Ваш...»

— Иван. Ваня. Иваша, — подсказывают голоса тех, кто познакомился с бабушкой ранее.

— Нет — тут под письмом другое имя, — отвечает человек с кобурой на бедре и делает подчеркивающее колонку газетных строк движение руки, — тут черным по белому (читайте сами, бабушка) подписано: «Сталин».

И скользнув пальцами руки к козырьку, военный, отделившись от группы, идет дальше.

Руки бабушки дрожат. Клеенчатая кошелка готова снова упасть наземь.

Пещерный житель

Представьте себе человека, который к приказу о противобомбной заклейте окон отнесся с такой сверхпоследовательностью, что заклеил тоненькими бумажными крестиками и стекла своих очков. На всякий случай.

Такого человека — по крайней мере среди москвичей — не сыскать, но образ его может сослужить вам службу в том психологическом экскурсе, который нам сейчас предстоит.

Убежденный убежденщик. Уже по прелюдии зениток, предвещающей воздушную тревогу, впрягается в свое «mssum porto». С этого мгновения это уже не просто человек, а человек-сумма, состоящая из ряда слагаемых. Как-то: два чемодана на куцем ремennem коромысле; подушка и плед через левую руку; мешок в правой; дождевой плащ; меховая шапка и голова на плечах; одна пара галош на ногах, другая, вместе с противогоазом, под мышкой.

Человек-сумма идет, тычась то тем, то другим слагаемым, сперва о стены лестницы, потом о спины и плечи соседей, всыпающихся, как зерно в элеватор, в убежище.

Мысль его направлена туда же, куда повернуты острия элейских стрел, красных, с черной прорезью,

указывающих путь в подземелье. Забота его об одном... остаться равным самому себе, не распасться на части, пока земля не сомкнется над ним; а там пусть бомбы разлетаются на куски.

Вот, наконец, и она, пещера. Низкая навись ее подоткнута деревянными сталагмитами. Она, конечно, мало похожа на те пещеры, в которых «отцы-пустынники» спасались от земных сует и слагали, в тех или иных вариантах, «похвалу матери-пустыне». Здесь уместнее не похвалы, а нарекания, и не на пустоту, а на малую кубатуру.

Так вот и сейчас. Кто-то, новичок, что ли (откуда его принесло?), расселся на закрепленном двадцатью семью тревогами привычном, обжитом месте человека-суммы. Правда, билеты и абонементы здесь не заведены, но пещерный житель ссылается на право давности, призывает в помощь показания свидетелей — и этот «заяц», или как там его, покорно перетаскивает себя и свой портфель на другое, неименное место на нарах.

Убежище постепенно заполняется. Пещерный житель требует закрыть двери на болт. Еще, чего доброго, впустят бомбу или там осколок.

С ним, как со старожилом, если и спорят, то робко, с примесью почтения: даже в ругани.

Теперь можно осмотреться по сторонам, освободить руки и плечи от груза и разменяться кивками с завсегдатаями подземелья.

Как и взвешенные в сосуде частицы осаждаются слоями, в определенной постепенности, так и люди, которых ступеньки ведут сюда, ко дну каменного вместилища. Вслед за человеком-суммой (кстати, занятым сейчас перестановкой мест своих слагаемых) приходят женщины с детьми и узлами; их ждет небольшая, оклеенная даже обоями комната с доской на дверях: «Дети от 0 до 5». Сюда же — таков закон пещеры — проходят и ма-

тери с детьми в возрасте меньше ноля. Далее — шествие стариков, у которых ноги уже отстают от воли. А воля все же ясно отгиснута внутри глазниц, в щелях ртов и беспокойно шевелящихся морщинах лица: дополучить жизнь полностью, и крупными и мелочью, без всяких начаёв природе и скидок на масштаб войны. За ними, отделенный дистанцией в минуту или две, — под стук палок и костылей — арьергард хромых, слепых и калек. Они уже ранены жизнью, выбиты из строя еще до всяких войн. Идут они, эти правильные дробы человеческих лет, с поводьями и без, щупая стены ладонями, ступеньки — резиновыми наконечниками и кожаными протезами, с трудом вволакивая себя сюда, в этот склеп живых

Наконец, когда уже болт готов задвинуться, появляются отсталые: не из-за груза вещей или годов, а из-за избытка юности и любопытства. Нельзя же так сразу променять вольный воздух, прошитый стежками трассировочных игл, и небо из звезд и снарядных разрывов на душный воздух убежища с его тусклыми лампочками, свисающими с сырого потолка. Сперва слышны звонкие голоса молодых, только что оставивших земную поверхность:

— Наши прожекторами все небо раскромсали. Не увернешься: будь ты «хейнкель» или «мессершмитт».

— Ну, он через луч перекувырнулся и опять на галс. Бить его надо не лучом, а огнем.

— А я видала ихний аэроплан: такой белый и с зеленым брюшком.

— Да это ж было облачко в конусе прожектора. Только и всего. Это ты...

— Нет, видала, честное слово, ви...

Но из темного угла раздается недовольное шипенье:

— Шш... тише вы, галчата. Дите вот разбудили.

И минуты на две или три воцаряется абсолютное молчание. Слышен только писк воды в проходящих внутри стен трубах да поскрипывание нар. Замолчал и ребенок.

— Странно, — обрывает вдруг тишину «новичок», — тревога, а не стреляют. Может быть, уже отбой?

— А вы не накликайте, — оглядывает человек-сумма согнанного им с места захожего убежищника, — в этой музыке самое лучшее — это паузы. Да. Как это: «На поле бранном тишина, огни между шатрами...»

Будто в ответ — тяжелый, слоновый топот дальнобойной очереди, вслед за ней — мелкая рысь зениток и пулеметов. Сперва звуки нарастают в частоте и силе, потом начинают отдаляться и ослабевать.

— Ну, это на всю ночь.

— Не угадаешь.

— Господи, а мне к шести на службу.

— Хоть бы соснуть часок...

— Куда там: немец прилетел, а сон улетел. Известно.

Все-таки одеяла и платки разматываются, иные головы уже прижаты к подушкам.

Человек-сумма расставляет свои слагаемые то так, то этак, мостится в гнезде из мешка и двух чемоданов, но дальше поклевывания носом дело не движется. Потерпев неудачу со сном, житель пещеры снова обращает внимательные глаза к новичку:

— Я вас здесь что-то не видал. Вас каким же это ветром?

— Так. Шел к приятелю и...

— Попал к неприятелю, — досказывает спрашивающий, — под бомбный дождь, так сказать. Бывает. Что ж, как это говорится: подождем под дождем. Гора с горой не встречается, а горе с горем — вот... не угодно ли.

И, довольный эффектом, завсегдай пещеры обводит стены и прижавшихся к ним людей с видом правского оратора. Правда, лица большинства его невольных слушателей немногим неравнодушнее стен.

— Еще в Библии сказано, что жизнь есть убежище скорбей. Подчеркиваю: убежище. Тут вот, через два двора, продолбило фугаской воронку. Если рассудить, что такое воронка? Отвечаю: воронка есть убежище для бомбы. У нас же: бомбоубежище. И сходство, и разница. Или вы не согласны?

Новичок вместо несогласия отвечает судорожным зевком и подымает на оратора сконфуженные глаза. Завсегдай, извиняюще кивнув головой (бывает), продолжает разматывать нить своей излюбленной мысли. В голосе его, сперва звучащем скучливо и монотонно, начинают возникать интонация и металлические призвуки. Еще немного, и речь начнет карабкаться на крутизну пафоса. Две-три головы пододвинулись ближе. Молодая женщина, прикорнувшая в углу, оторвала ухо от подушки и кивает в ритм словам.

— Войне надо учиться у природы. Ни более, ни менее... Война — это, ну, как сказать? — спор зуба со скорлупой: либо скорлупа — крак, либо слава нам — и зуб пополам. До феодальности сколько времени убежало, пока человек думал-думал-додумался: спрячу-ка туло под панцирь, голову под шишак. А природа все это давно устроила: черепаха без панциря ни шагу, червь презренный — и тот в кокон завивается, а человека, им едомого, никак без домовины не похоронишь. Вот, скажем, над нами дом в эн этажей, говоря алгебраично, а под домом домо... впрочем, я не то хотел... не в ту улочку свернул. На чем бишь мы?

— Про черепаху вы давеча... — робко напоминает женщина.

— Верно, про черепаху, — постепенно разгорается стратег-болельщик, — вот древние римляне, чего уж древнее, щит к щиту, бывало, приставят, «черепахой» назовут и — на штурм. А природа их передревнила: спокон веков у черепахи, если анатомически взглянуть, щит из мелких щитиков, пластин то есть. Вот оно и выходит, что природы не перемудришь. Она — всем стратегам стратег. Но это есть частность... А вообще, главное правило войны в том, чтобы...

Пальцы на вытянутой руке оратора шевелятся, как бы перебирая нужные слова, но сам он колеблется — дать формулу или... для профанов хватит?

— Какое ж оно, главное? — осведомляется новичок.

— А такое: не торопись умирать, а торопись убивать.

— Но ведь одно без другого?..

— Что и говорить: росшь яму другому — остерегись, сам в нее не свались. Подчеркиваю: остерегись. Уберега нужна, береженого и...

— Какая ж такая война без крови?

— Кто говорит: без крови? Только нужна пропорция: ведро поту, капля крови. А не наоборот. Головой киваете? Трудное, мол, дело? А кто ж говорит, что легкое? Прежде чем головы под пролом катить, как орехи под щипцы, реши головоломку: стратегема называется. Вот. Это вроде как англичане промеж собой... поговорка у них такая есть: «Изжарь яичницу, не разбив яиц». Вот она: стратегема.

— Ну, это английская «трата», — чего такого не выговоришь, — англичанину, может, и с руки, а русский как размахнется...

Измыслитель стратегем, прежде чем снова раскрыть рот, презрительно подбирает его к самому носу:

— Не женского ума дело, гражданочка. Говорили про вашу нацию: «Волос долог, ум короток». Только оттого, что волос укоротили, ум длиннее не стал. С чем и поздравляю.

— Это вы напрасно, — заступается за женский пол новичок, — все-таки...

— Ничего не все-таки. Вот назовите мне хоть одну бабу-полководца, а я трубочку раскурю да подожду.

И теоретик войн не торопясь роется в карманах, разыскивая курительные принадлежности. Несколько минут молчания.

— Без трупов война не делается. Это так. Только... слышали вы, молодой человек, — продолжает теоретик, заботливо отгоняя ладонью дым от своего соседа, — про Андерсеновы сказки? Иные весьма поучительны. Скажем, про Нильса и Никса, или как там по-ихнему. Была у Нильса бабушка. Ну, и преставилась Нильсова бабушка, как всякой бабушке полагается. Так. Нильс был парень бедный. На катафалк и прочую похоронную принадлежность у него ни единой датской копейки в кармане нет. Посадил паренек мертвую бабушку на тачку да и повез на кладбище. А дорога мимо гастхауза, по-нашему — трактира. «Дай, -- думает Нильс, — выпью кружечку». Выпил: денег не платит, кружки не отдает, бабушки не везет. «Другую». Дал ему трактирщик другую. Нильс опять: ни денег, ни кружки не отдает, бабушки не везет. «Другую». Дал ему трактирщик другую. Нильс опять: ни денег, ни кружки не отдает, мертвую бабушку к мертвым прабабушкам не везет. Трактирщик: «Ах, ты...» А Нильс — ух в него кружкой, сперва одной, потом другой. Трактирщик — за камень (кружек-то ему жалко) да в Нильса. Нильс за мертвую бабушку ухоронился, камень по ней, по мертвой, трах-рах, а Нильс плачет-убивается: «Ах, мол, ах, убили мою бедную бабушку, за это тюрьма полагается». Перепугался трактирщик насмерть: «Вот тебе корона,

да марка, да еще золотой, увози ты свою бабушку, не отпечатать бы мне за нее головой». Вот она, военная хитрость. Дай такому Нильсу вместо тачки тачанку, а на тачанке пулемет, так он тебе такое пропишет... Вот недавно в газетах писали, как наши мины с немецкого минного поля в сторону оттащили, фрицы пошли в обход да сами на свой динамит напоролись, а мы по выполотому минному огороду, да голыми руками... Знай нашу бабушку. Надо как вот в шашки: белое через черное прыг да в дамки.

— В шашки оно так, — раздумчиво отвечает новичок, — а вот в шахматы — там на место убитой фигуры сам становись под прицел. Сами же вы говорили: головоломки. Нильс ваш в ефрейторы, конечно, сгодится. А в большие командиры — вряд ли. Враг, он тоже хитер. Мало иметь ум, надо из своего ума его ум вычесть, и если в остатке останется, тогда и... А то дока на доку наскочит.

Матерый болельщик впервые с некоторым уважением слушает реплику новичка. Сперва только трубка, зажатая меж губ, бросает сизые клубки дыма. Затем берет слово и его хозяин:

— Это вы правильно походили, молодой человек. Хвалю. Но я отвечаю. Один французский маршал, не помню, как его, говаривал: «Маневр сет мон нерв». Вот, на нерве-маневре, на натянутой струне вся эта музыка и ведется. Арифметика учит: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. А стратегия говорит другое: от перестановки мест сумма весьма и весьма меняется. Тут здесь да там кадрили танцуют. Где были кони-скакуны, вдруг, откуда ни возьмись, танки-ползуны (в рот тебе ситного с горохом); или, скажем, немец летит, думает, я на крыше, а я вон где — в подвале.

— Крыша тоже не пуста, на ней пожарники дежурят. Так что пример, извините, сбросу подлежит, щипцами да наземь. И вообще, — машет рукой новичок, стран-

ным образом превращаясь из стажера пещеры в арбитра, — не так оно все просто, как иным людям хотелось бы. Душа — она тоже маневрирует: то подо лбом, то, глядь, в пятках. Война — дело геройское, а мы с вами... В подвале этом раньше, наверно, грибы солили, а про войну не судили, не рядили. На командирскую вышку здесь мало похоже. Что это отбою не слышать? Пора бы.

Будто в ответ слышится короткий глухой удар. Весь дом вздрагивает — от фундамента до кровли. Головы на нарах тревожно поднялись.

— Где бы это?

— Недалече.

— Не меньше полутонки. По голосу слышать.

— Наверно, и у нас стекла посыпались.

— Д-да. Теперь жди ветер в гости. До смерти отсюда рукой подать.

В дверь снаружи стучат: «Мужчины, выходите».

Пещерный житель и захожий человек переглядываются: кого зовут — их или не их?

Хлебодар

Длинный прямоугольник магазина. Вдоль стены выпятивший стеклянную грудь прилавок. За стеклом хлебные батоны и буханки. У двух проходов с откидными досками два вверх-вниз движущихся над проймами в прилавке ножа. У ножей две продавщицы. Все остальное неподвижно или движется еле уловимо для глаза, как вот эта часовая стрела часов, повешенных над дверью.

Одна очередь перпендикуляром к прилавку. Другая вдоль его стеклянного козырька. Я стою во второй, ближе к ее хвосту. Передо мною локти, упершиеся в свои отражения на выгибе стекла. Это справа. А слева — опущенные плечи и руки плетью вниз, с придатками корзин, мешков и сеток.

Изредка я переставляю каблук на место носка и подымаю голову в сторону движущихся одноплечих рычагов, мнущих и режущих хлеб ножей. В голове у меня тоже медленная, вялая очередь мыслей и ассоциативных звеньев. Я думаю: хлеборезные лезвия похожи на сигарную гильотинку — только та меньше — а есть и другая, больше, не очень больше, но... — лицо у продавщицы цвета чайного хлеба, и волосы под чепчиком — как рыжая корка — вот если б ее (вместо хлеба) примяло, как мя-

киш, и смерти бы не вышло... — там, на настоящей, сверху падает тяжелый треугольник — но ведь геометрия наука о невесомостях, а невесомость... о чем бишь я?

Чтобы отвлечься, начинаю следить за работой продавщицы. Это высокая худая женщина с длинными, осторожно движущимися руками. Левое плечико фартука то и дело соскальзывает с ее костлявого плеча — и она поправляет его перебором лопаток и птичьим движением узкого подбородка к топырящейся тесьме. Зеленые, желтые и синие бумажные змейки проталкиваются меж пальцев продавщицы, падают на стеклянный капор прилавка, а затем вступают в работу стрелка весов и лезвие ножа.

Я — вот уже третью неделю — слежу за пальцами этой продавщицы хлеба. Их суставы сгибаются и разгибаются с абсолютной точностью и размеренностью. Так старательный ученик разыгрывает фортепьянный экзерцис, следя глазами за размеченными в нотной тетради пальцами. Даже глаза ее, этой худой девушки, покорно опущены к доске прилавка, и ладонь, точным движением, нажимает никелевую ручку разрезательного ножа. Он отсчитывает граммы с удивительной правильностью, деля буханки по цифрам талонов, как по нотам.

И все-таки иногда рука эта ошибается. Рядом с кило или полукило на стеклянном наличнике прилавка — нет-нет — появляются маленькие прирезанные ломти и горбушки. Длинные худые пальцы девушки-хлебодара отодвигают их, этих коротышек, чуть в сторону. Но рука покупателя обычно вслед за основным куском хлебного отмера ссыпает, в корзину или авоську, и хлебную мелочь. Куски эти, прирезки, иной раз проваливаются в дырья сетчатых сумок, соскальзывают на плиточный пол. Тогда покупатели подхватывают прирезанные куски, ловят ладонью просыпавшиеся крохи и охлопья хлеба и, повернув спину к прилавку, уходят из магазина.

Но иной раз гражданину, особенно если он торопится, лень или недосуг терять секунду и нагибаться за крохотным прирезком. И тогда к ним, к ускользнувшим граммам, с паучьим проворством бегут жадно дожидющиеся пальцы людей, стоящих молча — будто встречной очередью — у весов. Пальцам этим не должно здесь быть, они не прикреплены к магазину. Но они прикреплены к ладони. Дрожащей от голода ладони. Вот они — люди, чающие крох: пахнувший прелью старик, подперший вытянутую ладонь набалдашником палки; замурзанная девочка с тряпичной куклой, свесившей голову из пазухи семилетней хозяйки.

Теперь я начинаю, сперва смутно, потом все яснее, вспоминать. Существует какая-то связь между движениями ладоней, просящих о хлебе, и движением ножа, опускаемого и поднимаемого рукой девушки-хлебодача.

Да-да, конечно: когда у прилавка только покупающие и нет просящих — нож работает с хирургической точностью. Но стоит возникнуть по ту сторону весов встречной очереди молящих глаз и почти беззвучно артикулирующих ртов: «пода хле хоть кус...» — и нож начинает ошибаться: лезвие его делается будто тупее и мягче, хлеб пружинится под нажимом стали, от среза его отскакивают куски корки и тоненькими пластинами отклеиваются пахучие пластины недовесков и перевесков.

Так вот оно что.

Я сыт. Талон с завтрашней датой спокойно может дожидаться завтрашнего дня. Мне незачем глотать голодную слюну, как вот этим — старику и девочке — по ту сторону весов. Но почему же какой-то комок все-таки подступает к моему горлу?

Уж не потому ли, что я думаю так: не является ли так называемое добро (нет, «добро» — это что-то расплывчатое), не возникает ли первый, пусть запинаящийся шаг в сторону человека, еще точнее — первое

колебание стрелки — не этой, не на этих вот весах, а на других — лишь ошибкой в безразличии, маленькой неточностью в абсолютном равнодушии человека к человеку. Правильно сделавши свое дело, стрела весов должна стоять острием в ноль. Ну а если она отклонится, если она хоть раз ошибется в своем стальном равнодушии. Что тогда?

Ведь если бросить камень кверху, он будет лететь все дальше и дальше от земли. Но скорость его ухода от породившей его земли будет все уменьшаться и уменьшаться, пока не достигнет ноля. И только тогда камень, точно он впервые почувствовал притяжение оставленной планеты, сначала медленно, чуть заметно, потом все скорее и скорее начнет свой возврат. Так и... да что об этом.

И я решаю заставить девушку-хлебодача, все так же мерно подымающую и опускающую свой нож, поднять, хотя бы на мгновенье, всегда опущенные, в длинных золотистых ресницах, веки. Кстати, подошла и моя очередь.

— С добрым утром, — говорю я тихо, но четко.

О, наконец-то она подняла веки: в ее бледно-голубых с широкими близорукими зрачками глазах отражены удивление и пятнышки от желтых огней вечерних ламп; они меня ласково попрашивают, эти печальные, но спокойные глаза: «Странный человек, он принял ночь за день». Даже что-то похожее на утомленную улыбку трогает ее губы: «За стеной тьма, а он, смешной...»

Но я не согласен быть смешным и странным. Нет. И не отводя взгляда от ее глаз, напряжением воли удерживая их вски, готовые скользнуть вниз, я успеваю все же сказать:

— Светает.

И уступаю очередь следующему.

Ровесник июлю

Возможно, что первые бомбы, рухнувшие на Москву, чуть ускорили твой «выпуск в свет», говоря языком газеты.

Ровесник июлю, страшному июлю страшнейших из лет, ты должен понять... впрочем, ты пока ничего не понимаешь. И это хорошо, ведь можно умереть от понимания, как умирают от дифтерита, воспаления легких, болезней кишечника.

Непонимание — твой шанс на жизнь. Бери его. Но понимание за тобой. Когда-нибудь ты спросишь: «Где отец?» Тебе ответят: убит. «За что?» За то, чтобы жить тебе. За то что, каким ты был тогда.

Но это все риторика. Может, ты и не спросишь. Да и отвечать не обязательно людям. За них это могут сделать: отцовские костыли или пустой рукав его пиджака.

А пока центр твоего мира — сосок на груди матери, а радиус длиннится сперва дюймами, потом метрами, а там...

Сколько раз я наблюдал тебя, ровесника июлю, в «убежищах». Все подымали при грохоте взрывов встревоженные глаза к потолку. Даже солдаты, забредшие сюда случайно. Один ты хранил полную безмятежность.

Москва в первый год войны

Курильщики, слушая канонаду, нервно сворачивали папиросы, стараясь скрыть дрожь рук.

Тебе, сосальщику, нечего было скрывать: ни единой черточки страха не было на твоём пузырем раздутом безбровом личике.

Сохрани, ровесник июлю, своё бесстрашие дитяти. Как можно дольше. Оно тебе пригодится: войны ещё не ушли.

Баррикада

Она принесла с собой молчание: баррикада.

Еще недавно по нашему переулку — и днем и ночью — громыхали грузовики, изредка цокали лошадиные копыта. Сейчас переулок надвинул на лоб решетчатое забрало и молчит. Железные рельсы, смоленные отсысы, круглые щтанги, выщербленные камни и кирпичи. Белые, набитые землей мешки. Ряд поверх ряда: как стиснутые зубы. Узкие прорези глаз-бойниц. Пока что им не хватает пулеметного зрочка и дул винтовок. Слепые глазницы повернуты в сторону Киевского вокзала, туда, где над площадью высоко поднят черный циферблат с золотыми стрелами, меряющими время. Когда он придет, час баррикады, слепая прозреет. И тогда...

Но это будет тогда. А сейчас баррикада стала меж двух угловых домов: не то мост меж их низких кровель, не то запруда потока людей и машин.

Переулок наш бульжный, сосед другому, которого так и зовут: Старо-Песковский. Сейчас бульжины сложены в коническую кучу. Похоже на картину Верещагина — «Апофеоз войны».

Не прошло и недели, как построили нашу баррикаду, а уже на ее каменные скульпы намело снегу. На смерзшемся песке, кое-где обнаженном ветром, замерзли и

оттиски последних шагов. Их немного. Люди привыкли к преграде: и машины, и шумы пошли стороной.

А я вот никак не привыкну. Выйдешь из дому, глядя в ступеньки, в мысли, в носки своих сапог — и вдруг чуть не ткнешься в уличную плотину. Что такое? — Ах да, баррикада...

И сколько встреч, столько бесед. С ней, с баррикадой. Я либо бормочу, либо говорю, так, «в уме»; баррикада или просто молчит, или молчит... непросто. Да, как это ни странно, но мне порой кажется, что под ее снежной шапкой начинает возникать что-то мыслеподобное.

Конечно, это выдумка. Но на то мы и выдумщики, чтобы выдумывать всякую итоисетину, жить и былью и небылью. Короче говоря, не прошло и месяца, как нечаянные мои встречи с баррикадой превратились в намеренные. Почти каждое утро, перед тем как отправиться по всякого рода надобностям, я делаю крюк. Цель моя: свидание с баррикадой. Они кратки — эти свидания. Обычно мешает мороз или ветер. И все-таки кое-что осталось в памяти и даже в листках, в дневниках. Вот несколько выписок:

13 ноября. И все-таки мы победим... Хорошо, если б без твоей помощи, друг-баррикада. А пока: ты стой на часах, а мне сегодня, от четырех до шести ночи, дежурить. Как бы не проспать. Странно: почти из середины баррикадного вороха торчком в небо два рельса. Будто б для поездов, отходящих в зенит. До скорого. Как бы не проспать.

25 ноября. Она похожа на охотничьего пса Мюнхгаузена. Сделала стойку и застыла. Тела уже нет, мясо сползло, а костяк, повернув к врагу обнаженные челюсти, длит и длит свою стойку. Впрочем, поправка: не «тела уже нет», а «тел еще нет».

14 декабря. И не будет. Запомню на всю жизнь: позавчера, после полуночи, внезапно заворошившийся

в рупоре, как в гнезде, голос диктора: «В последний час...» Да, во всю мою жизнь и в последний ее час не дам я замолкнуть в моем мозгу этим словам о «последнем часе». Ну, вот теперь, баррикада, и тебе можно вздремнуть. Так, вполглаза. Мало ли что. Пусть зима покроет тебя снежным одеялом.

1 января. Перешагнули из сорок первого в сорок второй. Удастся ли этому году покончить с гадом? Каких-то событий наметет метелью времен?

Сегодня поскользнулся и, падая, почувствовал мгновенный прилив тепла. Организм защищается от внезапной опасности, бросая в помощь резервы тепла. Что же, если так, запишем и падение на приход.

22 января. С тех пор как улицы перегородило плотинами баррикад, человеческие шаги стали искать других путей. На смену улицам пришли тропинки. В работу путей сообщения включились проходные дворы. Раньше улицы встречались лишь на перекрестках. Теперь выяснилось, что двор двору не только сосед, но и свойственник. Деревянные заборы, то здесь, то там, пошли на слом и на топливо — угроза пожаров с неба все еще висит над городом; калитки, наглухо закрытые, распахнули свои створы; всякая дворовая ружлядь, вроде выгребных ям, сараев, груд ящиков, посторонилась, давая дорогу прохожему. Первый прохожий шел неуверенно, выспрашивая, огибая флигель то справа, то слева, другие пошли за ним, ища глазами следов на снегу, а там образовалась и утоптанная тропочка, улица-боковуша, по которой потянулись чередой валенки, боты, подошвы сапог и пополз санный полоз. Глазу стали открываться новые предметы, деревья, строения, ведомые раньше лишь тем, кто рядом, бок о бок. Номера домов пошли в гости друг к другу. Вот и сегодня: дойдя до моей старой знакомой, до баррикады, я нырнул во двор налево, а там мимо домишки в три окна прямиком к ссутулившейся

акации, а там уж кирпичные столбы ворот и навстречу глазам — доска троллейбусной остановки. Вместо хождения по катетам шагай прямо по гипотенузе.

Впрочем, явление это ведет дальше мира линий. Поневоле начинаешь думать об устройстве мозга, где общение между вибрирующими мыслью клетками достигается при помощи извилистых нервных ниточек, бегущих вбок от одного осевого цилиндра нервной ткани к другому. Мышление, как и жизнь нашей теперешней Москвы, совершается не только по основным мозговым путям, но и по так называемым ассоциативным нитям и мелким разветвлениям дендритов и нейрофибрилл.

30 января. Студенты медицины начинают разбирать свой ворох наук с остеологии. Баррикада, если делать ее объектом изучения, начинается и кончается остеологией, наукой о скелете. Если говорить аналогиями, то нельзя не заметить, что баррикада является одним из самых сильных средств, защищающих город, как организм, от вторжения всякого рода инородных тел и сонмищ вредоносных бактерий, пытающихся проникнуть в артерии улиц и капилляры переулков.

Баррикада — это щит Афины Паллады, поставленный на ребро.

Если посмотреть на нее с некоторого отдаления — странное сочетание конструкции и хаоса. Совершенно ясно прочерченная цель: лечь «костями» по перпендикуляру к линиям возможного наступления противника, быть непереступаемым порогом для непрошеного гостя. Но в пересечении линий, баррикаду слагающих, нет никакой геометрии. Точно куча хвороста, дожидającego огня. Бревна, рельсы, развилыя стоек, мотки проволоки и железных канатов образуют какую-то неподвижную сутолоку, груды вещей, столкнувшихся лбами. Раз даже мне вспомнилась — скорее, по контрасту — пресловутая плюшкинская куча, в которой и оброненная шпора, и

деревянная лопата, и ведро. Но плюшкинская собрана скупостью. А эта — щедростью: если понадобится бросить в нее и себя самих — бросят.

Если подойти ближе, замечаешь, что принцип соединения вещей все-таки наличествует: определяющим является сила наибольшего сцепления элементов, образующих баррикаду. Проволока, как хмель, вьется около тычков и кольев, вкопавшихся остриями в землю; рельсы прикрывают наиболее уязвимые места сооружения; дерево служит опорой для расплзающихся мешков; камни и кирпичи затыкают трещины и дыры.

И все-таки, хотя баррикада лежит сейчас перед моими глазами совершенно неподвижно, она будто куда-то торопится.

Вспомните людей, повисших, будто пчелиная гроздь, облепившая ветку, на ступеньках скользящего по рельсам трамвая: один ухватился лишь тремя пальцами левой руки за поручень, другой за полу соседа, третий застыл на носке ноги, упершейся в нижнюю ступеньку, — все они застыли, малейшее движение грозит каждому из них ударом о мостовую — и все это оттого, что они торопятся, жертвуют складностью и покоем ради движения, быстроты.

14 февраля. Сегодня в газетах и на собраниях вспоминают о временах Парижской Коммуны. Вот когда поработали баррикады. Как ни скромна на вид баррикада моего переулка, в роду ее немало славных предков.

Незачем «мыслию» по генеалогическому «древу». Хроника отмечает год рождения и боевых крестин прабабки Парижской баррикады: 1588. Ее потомство, унаследовавшее от прародительницы упрямый характер, крутолобое и строптивное, расселилось по городам Европы. Их портреты мы встречаем на зарисовках и литографиях 30-х, 40-х и 70-х годов. Жизни их оригиналов были кратки, убеждения радикальны, смерти насиль-

ственны. Их видели зрочки королевских мушкетов стоящими, загораживая телом рабочие кварталы Дрездена, Парижа, Гамбурга. Жизнь, как и теперь, обходила баррикаду проходными дворами, смерть обползала ее через окна, двери и проломы в стенах домов. Баррикаду сперва пробовали брать в лоб, но это дорого стоило — и постепенно стала возникать практика и теория «коридорного обхода», возведенного в систему генералом Ключере.

И все же баррикады защищались: они отходили к перекресткам и площадям, становились друг к другу в затылок, образуя подобие корабельных «отсеков», герметически замкнутых пространств, не дающих судну идти на дно: когда замолкли бойницы, стреляли окна, когда была проиграна уличная панель, сражались кровли.

Дрезденская литография 1849 года показывает нам квадратные плиты мостовой, ставшие на ребро: привычные к толчкам подошв и копыт, они подставили себя, защищая свою улицу, под удары свинца. Здесь же можно увидеть и карету, взгромоздившуюся, колесами кверху, на баррикадную грудку. Она — точно символ того беспокойства, порыва к движению, который живет в самом контуре всякой баррикады. Примечательно, что это скрытое свойство иной раз выходило и наружу: так, к концу истекшего века известны случаи постройки так называемых баррикад, двигавшихся, как колесо по рельсу, по просвету улицы.

Однако мы с тобой развспоминались, моя юбилярша. Тут вот, у левого локтя, у меня и сердце, и портфель. Сердце и радо бы остаться, а портфель напоминает: дальше.

23 февраля. — Опять юбилей. Красной армии... Уже около десяти вечера я подходил, после премьеры «Суворова», к своему переулку. Свет луны и рефлекссы неба — идти легко. У перекрестков черные фигуры с фо-

нарем в руках и винтовкой через плечо. Навстречу скрип шагов скрюченных стужей прохожих. Изредка фары автомобильных фонарей, то пробуждающиеся, то вновь гасящие свет.

И вдруг, сперва издалека, загрохотало и двинулось звуковым прибором прямо на город. Тотчас же все небо в фарах ракет и золотых прошивах трассировочных игл; яростный металлический лай зениток. Авто, зажмурив глаза, заскользили быстрее. Убыстрили свой шаг и люди. Я — как и все. Навстречу моим шагам знакомая стена баррикады. Я увидел ее в блеске небесного боя. Она стояла там, где ей приказано было стоять, хотя весь ее жесткий костяк, в рефлексах опадающих книзу ракет, казалось, дрожит мелкой нервической дрожью, трепетом нетерпения. Так боец, сидя в прикрытии батареи, открывшей уже огонь, пробует раскурить свою трубку, но руки его чуть вибрируют, и искры кресала сыплются мимо раструба трубки.

Бой.

А сигнала тревоги не было.

Казалось, и земля и небо будит голос провозглашателя тревог, но тот, свернувшись клубком, спит в черных гнездах рупоров. Не было тревоги и во мне. Нервы прошли уже первый курс школы спокойствия. Страх заленился, стал тяжелым на подъем.

Понемногу ракетный сад, осыпаясь синими и желтыми лепестками, заглох и замолк. Только фисташковая луна над кровлями. Круглый диск ее у края будто выщерблен. Осколком снаряда, что ли, срезало?

Тревоги в эту ночь не было.

2 марта. «И март на нос садится». Да, вместе с ножками пенсне, оседлавшего переносье, чувствую и острые ледяные лапки мороза, съезжающего носу на круп. Дни на стенном календаре давно уже сосчитаны до мая, отжитые цифры лежат мертвыми под карандашными крес-

тиками, душа, что ни утро, выбегает на околицу зимы и поет веснянки, а весны нет как нет. И когда еще будет?

Иногда кажется, что тело бросило к поверхности последние резервы тепла. Ребра — под прощупью пальцев — торчат, как вот эти рельсы и колья на баррикаде. Человек стал костист, угловат и наперекорен — как баррикада. Эта мысль делает чаще наши встречи. Нам есть о чем помолчать друг с другом: поперечине с поперечной, костяку с костяком.

А вот домик, притулившийся одним краем к баррикаде, совсем иначе смотрит своими тремя окошками в переулочок. Он, еще в октябре, был тяжело ранен зажигательным снарядом, лишился крыльца, кровли, одного окна, и внутренняя стенка его, отделявшая комнату от комнаты, превратилась в наружную. И все-таки жизнь за уцелевшими окнами не потухала, хотя свет, с каждым сумерками, гас.

Домик остро переболел свое ранение и уже к декабрю стал оправляться от ожогов и вообще от всей рухнувшей на него с неба напасти. К больному дому пришли: сперва эскулап-архитектор, прописавший пациенту целые тонны лекарства; за ним — плотники-ортопеды, штукатурщики-массажисты, а там и окулисты-стекельщики, вставившие дому новые глаза.

И вот он стоит как стоял, приземистый веселый домик, попыхивая в небо кирпичной трубой. Как не вспомнить загадку: «Мать-печь да сестра-труба не надивуются, как их брат-сын в небе не навоюется». Сквозь бумажную решетку из оконных наклеек виден золоченый угол картинной рамы, дверцы буфета и еще контуры каких-то вещей. На подоконнике крайнего окна зеленые овалы листьев фикуса.

Баррикада, заслонив своим телом кое-как выживший домик, стала стеной меж ним и смертью: врешь —

не убьешь, быть живу и трехглазому, и жильцу и жилью, и черенкам и черепкам.

15 марта. Баррикада — неплохой трамплин для воображения андерсеновского склада. Детский сказочник любил давать диалоги вещей: беседа рваного мяча с водосточной трубой; храброго оловянного солдатика с крашеной куклой; дождевого зонта с истоптанным башмаком. Его вещи прошли длинный жизненный путь, изнасились, но накопили опыт; если подарить им хотя бы малую толику души — им есть о чем повспоминать и побеседовать друг с дружкой. При этом от авторского искусства зависит дать возможность встретиться вещам, жившим обычно врозь, но очутившимся, волею судеб, рядом.

Баррикада — это конгломерат довольно разнообразных предметов, очутившихся, волею войны, вместе. Провод, житель воздуха, и рельс, крепко держащийся за землю, оказываются здесь в близком соседстве — как им не разменяться своим опытом? Мешок, готовившийся стать носителем зерна, заставили наглотаться песку или глины — как ему не жаловаться на невезение? Какая-нибудь надолба или свернутый комом проволочный еж...

Баррикаду — через недели или через месяцы — разберут, ее элементы вернутся на свои места, к своим профессиям, — но в моем сознании уже сворачивается клубок сказок и басен о мирных предметах, собравшихся в немирную компанию, в рабочую артель для защиты своего родного переулка. Это будут немудрые сказочки для детей. Свой сборник я напишу... А может быть, и не напишу. Тем много, а жизни мало. Мимо.

22 марта. Сегодня произошло нечто странное. Трехглазый домик — так показалось мне в первые секунды — отклеился от баррикады. Образовалась узкая, вершка в три, щель. Конечно, не образовалась, а о б р а з о в а л и.

Я остановился, разглядывая низкое отверстие (верхнее бревно, упирающееся в дом, осталось несдвинутым). Мальчишка, лет восьми, с салазками на веревке нырнул в щель, пролез на ту сторону баррикады, но салазки застряли. Мальчишка вернулся назад и потащил салазки дворами в обход. Я за ним.

4 апреля. Сегодня и мне удалось, правда боком, протиснуться меж баррикадой и стеной дома. Следуя моему примеру, к проходу приблизилось еще несколько человек. Оставив позади себя баррикаду, я отошел на небольшое расстояние и оглянулся. У узкого дефиле образовалось нечто вроде очереди.

7 апреля. — Снег стал рыхлым. Кое-где из-под льда, под нажимом ноги, проступает вода. С кровель все еще свешиваются острые — как штыки — сосули. Но изредка то та, то эта рушится вниз, чтобы разбиться со стеклянным звоном в мелкий дребезг.

Теперь уже через проход в баррикаде свободно идут люди с узлами на плечах. Поверх размякшей глины прохода брошена кладка.

Для меня это не простая доска, упершаяся в землю и кирпичные подставки. Нет, это мостик, помогающий моим мыслям перейти из первой тетради этих очерков во вторую.

Комментарии*

В третьем томе собраны преимущественно произведения тридцатых и первой половины сороковых годов. Впрочем, следуя при составлении томов авторской воле, т. е. группируя новеллы в *книги* и располагая их — вместе с повестями — в последовательности, в какой оставлены они писателем в его архиве, хронологический принцип в отношении отдельных вещей то и дело приходится нарушать. Все двадцать пять лет своей писательской деятельности Кржижановский работал, можно сказать, «в рваном ритме»: за яркой вспышкой активности следовал спад, который, впрочем, лишь в единичных случаях становился «паузой», обычно писатель просто-напросто «переключался» с прозы на пьесы или статьи. Так, в середине тридцатых появилось совсем немного новелл, но именно в эту пору написано большинство наиболее значительных историко-литературных и теоретических работ (в частности, крупнейшие статьи и монография о творчестве Шекспира и вся пушкинистика). Затем снова последовал рывок — цикл небольших новелл «Мал мала меньше» (1937), работа над книгой «Неукушенный локоть» (1939—1941).

Для этих же полутора десятилетий характерно возвращение Кржижановского к жанру очерка — созданы два больших цикла: «Салыр-гюль» (1933) и «Москва в первый год войны» (1945—1948). Второй из них оказался вообще последним, что написано Кржижановским. И это тем более интересно, что «московский» период жизни писателя начинался тоже с очер-

* Комментарии подготовлены при участии Е. В. Гурской-Преображенской, А. П. Керзума, М. П. Соболевой.

ков («Штемпель: Москва», 1925) — и в итоге оказался как бы окольцован документально-московской темой.

Хочу в заключение обратить читательское внимание вот на что. Составление полного корпуса прозы Кржижановского в согласии с его собственным желанием и планом (по крайней мере как представляли их себе его вдова и душеприказчица А. Бовшек и многолетний друг Е. Ланн, возглавивший комиссию по наследию писателя) выявило, на мой взгляд, отчетливую — и классическую — сюжетную структуру: «пролог» и завязка («московские очерки», «Сказки для вундеркиндов»), кульминация (наиболее крупные и зрелые вещи), развязка и «эпилог» («Неукушенный локоть», ставший последней попыткой издать книгу; «московский цикл», работу над которым оборвали болезнь и смерть). Думал ли об этом сам Кржижановский, когда, уже понимая, что ему суждено остаться прижизненно Писателем без Книги, тем не менее тщательно складывал свои рукописи-книги, дотошно продумывал, «додумывал до мускула» композицию каждой из них, снова и снова правил, казалось бы, уже отшлифованные беловые машинописи? Кто знает! Могу лишь сказать, что за четверть века работы с его архивом бывало не раз и не два, что те или иные обнаруженные удивительные *случайности* оказывались, в конечном счете, вовсе не случайными, но психологически закономерными и *предугаданными* этим мастером, писавшим занимательно-трагическую Книгу приключений своих мыслей.

Глубоко признателен Е. П. Крюковой, Н. И. Немухиной, О. Я. Обуховой, Т. М. Фадеевой, В. В. Всберу, Е. В. Витковскому, В. В. Петрову за помощь в работе над комментариями.

Принятые сокращения:

ВБ — С. Кржижановский. Воспоминания о будущем: Избранное из неизданного. М.: Московский рабочий, 1989.

ВМ — С. Кржижановский. Возвращение Мюнхгаузена: Повести. Новеллы. Воспоминания о Кржижановском. Л.: Художественная литература, 1990 (1991).

СВ-1 — С. Кржижановский. Сказки для вундеркиндов: Повести. Рассказы. М.: Советский писатель, 1991.

СКН — С. Кржижановский. Страны, которых нет: Статьи о литературе и театре. Записные тетради. М.: Радикс, 1994 (Записки Мандельштамовского общества. Т. 6).

7 дней МКТ — (газ.) 7 дней Московского Камерного театра.

ЗТ — Записные тетради. Машинописная копия с правкой рукой А. Бовшек (архив мой. — В. П.).

А. Бовшек — А. Г. Бовшек. Глазами друга: Материалы к биографии Сигизмунда Домниковича Кржижановского (ВМ, с. 463—528).

Неукушенный локоть

Именно под этим заглавием рукопись книги была отдана в 1939 г. в издательство «Советский писатель» — и началась история последней попытки Кржижановского стать писателем если не *издаваемым*, то, по крайней мере, хоть раз, да *изданным*. Вкратце об этом было сказано во вступительном очерке. Здесь — подробнее.

Точнее, началась она годом раньше — словно отметив таким образом десятилетие последней издательской неудачи писателя — попытки издать «Возвращение Мюнхгаузена». В 1938 г. были арестованы несколько близких Кржижановскому людей. И над ним самим явно начали сгущаться тучи: для того чтобы угодить в число репрессированных, более чем достаточно было его давних связей с Владимиром Нарбутом, дружбы с Михаилом Левидовым, сотрудничества с издательством «Academia», возглавлявшимся Л. Каменевым, в доме которого он к тому же и сочинения свои читал... Против него была и известность в узком, но авторитетном кругу коллег — писателей и драматургов: не подкрепленная книгами, она создавала Кржижановскому чуть ли не оппозиционно-подпольную репутацию, чрезвычайно по тем временам опасную. И друзья — в который раз — пришли на выручку. Издательские дела взял на себя Евгений Лундберг. Он не стал пробивать «начальственную стенку», использовать свои солидные связи в «литературных верхах», но обратился к сотруднику издательства, которого хорошо знал и который, в свою очередь, отлично разбирался в хитросплетениях внутрииздательской политики, — Александру Григорьевичу Митрофанову (1899—1951). Этот прозаик, некогда близкий к Горькому, служил в издательстве со дня основания и был там, как говорится, на хорошем счету. Прочитав

прозу Кржижановского, он загорелся желанием ее напечатать, прекрасно понимая сложности, которые при этом неизбежно возникнут. И, что особенно важно, представляя себе, как эти сложности можно, при желании, преодолеть: *утаить* сатирическое звучание такой прозы невозможно; значит, следовало его *подчеркнуть*, демонстративно указав направление сатиры — Запад! Тактический прием был несложен — и как раз поэтому его использование давало реальные шансы на успех. Кржижановский понял задачу — это видно, прежде всего, по композиции книги: большинство включенных в нее вещей были написаны до, а подчас и задолго до 1939 г. (поэтому в нескольких случаях автор их передатировал, о чем — позже). Первые пять новелл, поставленные рядом, внешне варьировали именно «западные» темы, которые после возникают лишь в двух-трех новеллах («Чистая работа», «Воздух родины»). В книгу было включено всего два десятка произведений, однако диапазон их широк: притча на евангельскую тему («Тридцать сребреников»), сказка («Смерть эльфа»), антиутопия («Желтый уголь»), чисто литературная игра-стилизация («Моя партия с королем великанов»), фантазмагория с элементами «готической» новеллы («Дымчатый бокал»), восточная легенда («Левое ухо»). В целом книга получилась, несмотря на отсутствие в ней повестей и лучших новелл, убедительной, дающей реальное представление если не о масштабе, то, как минимум, о значительности автора. Последний штрих в работе над ней: Лундберг предложил переозаглавить ее в «Рассказы о Западе», что и было сделано. Конечно, вездливый цензор сумел бы разобраться во всех этих «приемах», понять, что абсолютное большинство лежащих перед ним произведений имеет к «Западу» ровно такое же отношение, как и к «не-Западу», но управиться с этим было уже заботой Митрофанова, который и цензоров, еще не так, как впоследствии, «отчужденных» от издательства, знал неплохо, да и сам — в их глазах — был вне подозрений...

Одновременно с этими «предпечатными» хлопотами Е. Никитина, Е. Ланн, С. Мстиславский принялись за другую, тоже непростую задачу: устроить прием Кржижановского в Союз писателей, т. е. придать ему некий «официальный статус». «Зацепкой» послужило то, что определенного регламента (иначе говоря, указаний о количестве книг и публикаций кандидата) еще не существовало. В конце концов были собраны необходимые рекомендации — целых шесть, среди авторов которых такие «весомые» фигуры, как Н. Асеев, П. Павленко, В. Асмус...

На заседании приемной комиссии Фадеев дивился: большинство присутствующих даже имени Кржижановского никогда не слыживали, а те, кто читал его сочинения, в один голос заявляют, что это — выдающийся писатель, чуть ли не мирового масштаба. Короче, в Союз писателей Кржижановского приняли (групповую фотографию тогдашнего пополнения писательских рядов можно увидеть в «Литературной газете»; там, в частности, поблизости от Кржижановского — П. Бажов, А. Довженко, А. Бек).

Теперь можно было «переводить в эндшпиль» партию, разыгрываемую в издательстве. На это ушел весь 1940 г. Митрофанову — в порядке исключения — удалось провести рукопись через цензуру до отправки ее в типографию. И ничто уже не могло помешать выходу книги, кроме разве что какой-нибудь глобальной катастрофы. Которая произошла: меньше чем через месяц после отправки книги в набор началась война.

Пять лет спустя Митрофанов все же сделал еще одну попытку выпустить книгу. Но времена переменялись: в разгар борьбы с «космополитизмом» любая «западная» тема была нежелательной, — и ему ничего не удалось сделать.

А еще через пять лет сама судьба (совершенно в духе трагических новелл Кржижановского) снова сблизилась, свела два эти имени, на сей раз — в траурном обрамлении. А. Г. Митрофанов умер 1 января 1951 г. Редактор пережил автора всего на один день...

ГАНС И ФРИЦ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

- с. 9 И п р — город на Северо-западе Бельгии, в районе которого в ходе Первой мировой войны немецкая сторона применила первое в истории химическое оружие — горчичный газ, получивший название иприт.
- с. 10 В Тиргартене, на Зигес-аллее. — Тиргартен — крупнейший из берлинских парков. Зигес-аллее — т. е. Аллея победы (Зигесалле).
- с. 11 виц — *нем.* Witz — шутка.
- с. 12 И вдруг навстречу — моя правая нога. — Совершенно в духе и стиле Кржижановского: в «немецком» сюжете — внезапная и явная ассоциация с гоголевским «Носом».
- с. 12 фрейд — *нем.* Freund — друг.

- с. 13 зильбергрош — серебряный грош, монета достоинством в 10 пфеннигов.
- с. 20 ландштурмист — т. е. военнообязанный запаса (в отличие от состоящих в армии, или Ландвере). С 1888 г. в Ландштурм входило все военнообязанное мужское население.
- с. 22 Живые люди отбили хлеб у моих мишеней. — Ср.: «Кант был прав. Человек человеку есть цель, и он в него стреляет» (ЗТ).

ОДИНОЧЕСТВО. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

- с. 25 Бойсуотеррод — очевидно, имеется в виду Бейсво-тер-род — удаленная от лондонского Сити улица, на которой поселился Мюнхгаузен в «Возвращении Мюнхгаузена» (1927—1928).
- с. 26 ...в антракте, отделяющем триумф вердиевского Радамеса от его предательства. — т. е. между вторым действием оперы «Аида» Д. Верди, в котором Радамес с победой возвращается в Фивы, и третьим действием, в котором он предает свое отечество ради возлюбленной, Аиды.
- с. 27 Я вынул кошелек и дал ему золотую гинею — очевидный анахронизм. Гинея принималась за монетную единицу до 1816 г.; заменена золотым sovereignом, равным 1 фунту стерлингов или двадцати шиллингам.
- с. 29 Чельсийское кладбище — Челси — один из центральных районов Лондона; здесь, однако, нет кладбищ.
- с. 32 «Алло, Джон» — т. е. «Хелло, Джон».
- с. 38 Виа Сикстина — Виа Систина — одна из центральных римских магистралей, идущая от знаменитой площади Испании.

НЕУКУШЕННЫЙ ЛОКОТЬ. Впервые: Тридцать дней. 1939. № 3, 5—6. Печатается по ВБ.

Наиболее яркий пример «передатировки» автором своих сочинений. В первой публикации под журнальным текстом значится: 1935 г., а в двух «автобиблиографиях» — 1927 и 1939 гг. С одной стороны, надо было выдать новеллу за новую,

написанную сравнительно недавно, с другой — избежать каких бы то ни было ассоциаций с подлинной датой (1927), с юбилейным годом, пусть не прямо, но все же повлиявшим на создание рассказа о том, что происходит, если идея — пусть самая бредовая — «овладевает массаами». И это не догадка — есть свидетельство самого писателя о том, какая дата верна: «Читал две главы из „Мюнхгаузена“ и „Локоть“: слушали очень хорошо... Кстати, на чтении присутствовал секретарь редакции „Недр“ (Леонтьев), неожиданно рассыпавшийся в похвалах...» (к А. Бовшек от 11 августа 1928 г., из Коктебеля в Одессу). Упомянутое знакомство продолжилось было в Москве, однако опубликоваться в «Недрах» Кржижановскому не удалось.

- с. 42 Каждый день два дураковатых парня... — еще одно косвенное свидетельство в пользу более ранней датировки: фрагмент взят из «Первой записной тетради», откуда происходят и многие фразы в новеллах двадцатых годов (см. также комментариев к новелле «Проигранный игрок» (1921)).
- с. 44 ...модный лектор Юстус Кинт... — Фамилия философа призвана напомнить по ассоциации о родоначальнике немецкой классической философии Иммануиле Канте (1724—1804) и французском философе, одном из основателей позитивизма и социологии Огюсте Конте (1798—1857); не случайно, «позитивистски» пародируя кантовскую «вещь в себе», он затем впадает в «вульгарный социологизм».
- с. 45 ...гносеологическая драма... — Гносеология — теория познания.
- с. 46 штирнерианство — т. е. анархический индивидуализм (от имени основателя этого направления, немецкого философа Макса Штирнера (1806—1856)).
- солипсизм — крайняя форма субъективного идеализма, признающая несомненной реальностью только сознающего субъекта и объявляющая все остальное существующим единственно в его сознании.
- Тник — наиболее серьезный оппонент Кинта; понятно, носит имя «зеркальное».
- с. 47 ...стих Библии, говорящий о глубине в 60 локтей... — В Библии говорится о ширине первого Соломонова храма (3 Царств, 6:2), о ширине и вы-

соте второго (1 Ездра, 6:3); они действительно равняются 60-ти локтям.

с. 48 неоламаркианство — дальнейшее развитие идей французского естествоиспытателя Жана Батиста Ламарка (1744—1829) в особое учение о жизненных привычках и их влиянии на строение тела, а также о наследовании приобретенных таким путем признаков.

Спенсер Герберт (1920—1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма.

билеты аллегри — т. е. лотереи-аллегри.

с. 49 фрондировать — быть в оппозиции

с. 51 ...схождение трех артерий: *arteriae brachialis, radialis et ulnaris*... — Точнее, в локтевой ямке артерия плечевая (*brachialis*) разделяется на лучевую (*radialis*) и локтевую (*ulnaris*).

МИШЕНИ НАСТУПАЮТ. Впервые: СВ-1. Печатается по этому изданию.

с. 54 субалтерн — субалтерн-офицер — младший офицер роты, эскадрона, батареи.

с. 57 Человек говорил, рассекая воздух ладонью правой руки... — Пародируется большевистская агитация времен Первой мировой войны, ленинские призывы типа «Превратим империалистическую войну в войну гражданскую» и т. п.

с. 59 Лейтенант Энде — нем. Ende — конец, исход (переносно — смерть, кончина).

ЖЕЛТЫЙ УГОЛЬ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

В этой новелле, отчасти перекликающейся с неопубликованной тогда, но знакомой Кржижановскому повестью М. Козырева «Пятое путешествие Гулливера», явственны отзвуки глубочайшего экономического кризиса тридцатых годов, «великой депрессии» — и отклик на многочисленные уже в ту пору предсказания энергетического кризиса. Мировая политическая ситуация уловлена остро и точно: писательское предчувствие неминуемого — в масштабах всей планеты — взрыва оправдалось уже через несколько месяцев.

с. 66 идеи ататизма — отлат. atat — воинственно-победный клич древних римлян; здесь — ура-патриотизма.

...райхи, стааты... ланды — т. е. государства, страны (от нем. Reich, Staat, Land)

циста — здесь: оболочка.

КОНОЭ. — Эта аббревиатура любопытна, во-первых, тем, что поиск выхода из энергетического тупика ведет организация, озаглавленная, так сказать, по звуковой ассоциации с «каное», одновесельной лодкой, находясь в которой можно рассчитывать лишь на древнейший из известных человеку видов энергии — собственные мускульные усилия; а во-вторых, задолго до их возникновения предсказано появление международных — неправительственных — организаций, пытающихся глобально контролировать и решать общие для всей планеты проблемы, в том числе — энергетическую (наподобие МАГАТЭ, занимающейся всем, что связано с использованием атомной энергии).

...изысканиям по теории квант... — Квант-частица — минимальный носитель свойств какого-либо физического поля. Первая треть XX в. ознаменовалась бурным развитием квантовой механики, квантовой теории поля, квантовой химии и т. п. Интерес Кржижановского к этой научной области отразился также в новелле «Боковая ветка» (1927—1928), герою которой дано имя Квантин.

...ионного возбуждения... — т. е. ионизации — образования положительных и отрицательных ионов и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул.

...проблеме викариата чувств. — Викариат — явление, при котором близкие виды растений или животных занимают различные области распространения или обитают в различных экологических условиях.

с. 68 оферта — предложение заключить гражданско-правовой договор.

...заставить самое Солнце платить убытки, причиненные им планете... — Ср. совсем иную точку зрения на «взаимоотношения» Солнца и Земли: «Вам разве не приходило в голову, что солнце светит в кредит? Каждый день и каждому из нас одождает оно свои лучи, разрешает расхватывать себя по миллионам зрачков в

надежде на то, что имеет дело с честными должниками» («Чужая тема»).

с. 69 миелоабсорбатор. — Миелин — вещество, образующее мякотную оболочку так называемых мякотных нервных волокон; выполняет роль изолятора. *Лат.* absorptio — собирать, всасывать.

фибриллы — имеются в виду нейрофибриллы — нитевидные белковые структуры в нервных клетках и их отростках; в конце XIX — начале XX в. им ошибочно приписывали функцию проведения нервных импульсов.

экстериоризация — выведение вовне, наружу.

Краузе Вильгельм (1833—1910) — немецкий медик, исследовавший реакцию нервных окончаний на раздражения теплом и холодом и открывший одну из разновидностей этих окончаний, названную его именем.

с. 72 ...искусственного иннервирования злобы... — здесь — возбуждения (см. комментарий к с. 82).

с. 80 полицейамт — *нем.* Polizeiamt — полицейское управление.

шутцман — *нем.* Schutzmann — полицейский.

амт — *нем.* Amt — учреждение.

с. 82 иннервация — связь органов и тканей с центральной нервной системой при помощи нервов. Здесь в значении: возбуждение.

МОЯ ПАРТИЯ С КОРОЛЕМ ВЕЛИКАНОВ (Неизданный отрывок из «Путешествий» д-ра Гулливера). Впервые: Шахматы в СССР. 1966. № 1. Печатается по авторизованной машинописи.

Александр Аникст, хорошо знавший Кржижановского и после его смерти вошедший в состав комиссии по его литературному наследию, в шестидесятых—семидесятых годах энергично пытался опубликовать не только его работы о Шекспире, что подчас удавалось, но и прозу, которой в этом смысле повезло куда меньше. Сохранилась переписка Аникста с редакциями девяти журналов («Новый мир», «Вопросы литературы», «Наш современник», «Наука и религия», «Музыкальная жизнь», «Советская музыка», «Крокодил», «Искусство кино», «Шахматы в СССР») — она интересна преимущественно «мотивировками» неизменных отказов. Например, размышлениями о «кафкианстве» этого писателя: редактор блеснул эрудицией и знанием языков, не подумав, что Кафка в СССР еще не был издан — как

не был он напечатан и в Европе, — когда Кржижановский писал «кафкианские рассказы», о которых шла речь. По этому поводу в разговоре с автором этих строк Аникст печально вздохнул: «Нам просто оказался ни к чему „приоритет“ на Кафку...» Единственное, что удалось сделать, — напечатать «Мою партию с королем великанов», так сказать, «по принадлежности» — в шахматном журнале. Сколько-нибудь заметным литературным событием такая публикация, естественно, не стала.

В одной из «автобиблиографий» эта и следующая новеллы датированы 1939 г. Это — неточность. Хотя Гулливер относится к числу немногих излюбленных персонажей Кржижановского и потому появление «вариаций» на тему его путешествий-приключений было возможно в любое время, на сей раз можно довольно уверенно говорить о времени их создания. К тому был конкретный повод: участие в работе над фильмом А. Птушко «Новый Гулливер» (см. вступительный очерк). Работа была завершена летом 1933 г. Тогда же в одном из писем Кржижановский упоминает, что «пишет кое-что» о Гулливере. Известно, что некоторые сюжетные повороты и фабульные ситуации, придуманные и предложенные писателем в сценарий, были не оценены и отвергнуты режиссером и его помощниками, в результате фильм получился далеко не таким, каким, по мнению Кржижановского, мог быть, и это дало ему основание заметить в письме к жене, что «за тему о Гулливере не стоило браться лилипутам». Резонно предположить, что Кржижановскому было особенно жаль некоторых эпизодов, фильму «не подошедших». И два из них он «сберег» — превратил в новеллы (подобно тому, как «не пошедший» сценарий о Мюнхгаузене подтолкнул к работе над повестью). Известно также, что в то же время он подумывал о книге про Гулливера. И не исключено, что отказался от замысла потому, что узнал, что повесть на эту тему пишет М. Козырев.

Тема шахмат, как уже говорилось, возникает у Кржижановского довольно часто, однако «чисто шахматных» новелл — всего две: эта и «Проигранный игрок» (1921), где реализуется метафора «превращения» пешки, достигшей восьмой горизонтали, в любую из фигур (умерший за доской игрок превращается в пешку). Здесь тоже едва не происходит «превращение» героя в одну из неживых шахматных фигур.

с. 86 «Тронута — пойдено!» — перевод сформулированного по-французски (*pièce touchée — pièce jouée*) основ-

ного правила поведения партнеров по шахматной партии.

- с. 87 *Cogito ergo sum*, как писал... Декарт. — «Мыслю, следовательно, существую» (*лат.*) — широко известная формулировка французского философа Рене Декарта (1596—1650), которую часто цитирует Кржижановский.

ГУЛЛИВЕР ИЩЕТ РАБОТЫ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Как и предыдущая, новелла печатается по машинописи с авторской правкой, в данном случае — довольно существенной (преимущественно это отказы от целого ряда характерных для Кржижановского неологизмов, которые здесь, видимо, он считал ненужными — не соответствующими стилистике оригинала: книги Свифта).

В отличие от стилизованной «Моей партии...», эта вещь, я бы сказал, житийно-апокрифична: демонстрирует «механизм» возникновения мифа, «окаменения» человека. Кинематографическая изобразительность ее (в пору стремительного совершенствования комбинированных съемок и прочих технических эффектов в кинематографе) наводит на мысль, что такой эпизод вполне мог бы стать финалом фильма о Гулливере.

- с. 95 ...со степенью оптимэ... — *лат.* *optime* — отлично.

- с. 96 лепротомия — правильно: лапаротомия (вскрытие брюшной полости при операции).

что делать Гулливеру в стране лилипутов? — Вопрос, которым, судя по письмам Кржижановского, не раз задавался автор новеллы, размышляя о собственной судьбе.

ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ. Впервые: Литературная учеба. 1988. №3. Печатается по ВБ.

Стоит отметить появление у Кржижановского темы «цены крови» именно в год десятилетия Октября.

Семью годами раньше из этого же евангельского эпизода возникло стихотворение Шенгели «Акелдама» (цена крови). Писателей связывали дружеские отношения, особенно тесные — в двадцатых годах; оба регулярно выступали на «Ники-

тинских Субботниках», бывали друг у друга, каждый был хорошо знаком с творчеством другого. Вероятность того, что текст «Акелдамы» не был Кржижановскому знаком, совсем невелика. Во всяком случае, новелла написана в том же году, когда вышла книга Шенгели «Норд», где напечатана первая строфа «Акелдамы».

с. 98 И, бросив сребренники в храм... — См.: Матфей, 27: 5—8.

с. 99 локоть — старинная мера длины; в разных странах составляла от 38 до 47 см.

с. 100 Каиафа Иосиф — первосвященник иудейский в 18—37 гг. Упоминается у Иосифа Флавия. Согласно Новому Завету (Иоанн 11:50, 18:24; Марк 14:63—64), посоветовал убить Иисуса на высшем совете (синедрионе).

Горшечник, замотав все тридцать в тряпицу... — Несколько лет назад ныне покойный писатель Андрей Сергеев, много лет и всерьез занимавшийся нумизматикой, пытался меня убедить, что в данном случае Кржижановский, по незнанию, допустил грубую ошибку, ведь даже поднять такое количество этих серебряных кружальней — труд, так что их — ни «замотать в тряпицу», ни ссыпать в кошель. Сергеев, очевидно, был в курсе многолетней полемики о том, что имеется в виду в Евангелии под «сребренником». Poleмика же велась, чтобы понять: велика или нет была плата, выданная Иуде за предательство. Видимо, Сергеев следовал одной из «максималистских» версий. Ныне практически все библиисты и нумизматы придерживаются мнения, что монета, которую Матфей и Марк именуют «сребренником», скорее всего была тетрадрахмой, печатавшейся в Тире (Финикия). Тридцать тетрадрахм были в то время ценой жизни, например платой за убитого слугу или раба. Размер монеты 30,5 мм, вес 14,25 г (т. е. общий вес полученных горшечником монет — без малого 500 г).

с. 101 оцет — уксус.

с. 102 дирахма — дирахма — греческая серебряная монета в две драхмы.

динарий (денарий) — римская серебряная монета.

лепта — мелкая медная монета Древней Греции.

с. 104 ...был тем самым «добрым мытарем»... — Имеется в виду Притча о мытаре и фарисее.

мина — крупная денежная единица (и мера веса) в Древней Греции; из одной серебряной мины чеканилось 100 драхм.

с. 105 ...ведя за собою армию Тита... — Тит Флавий Веспасиан (39—81), с 79 г. римский император; во время иудейского восстания командовал римскими войсками; в 70 г., подавив восстание, захватил и разрушил Иерусалим.

с. 106 ...лицо бритта Джона Ло... — Шотландский финансист Джон Ло (1671—1729), первым предложил (хотя и не осуществил, это было сделано позже) выпуск бумажных денег, не обеспеченных золотом.

«сredo» — «Верую...» (*лат.*); начальное слово католической молитвы.

с. 107 и то и с е т и н а. — Этот неологизм встречается также в повести «Возвращение Мюнхгаузена», где он образован от заглавия выходившего в России в XVIII в. журнала «И то, и се» (от названия второго тогдашнего журнала — «Ни то, ни се» — происходит слово «нитонисетина», также употребляемое и в прозе, и в письмах Кржижановского).

ЧИСТАЯ РАБОТА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Новелла задумана явно в качестве «классовой». Судя по дате, она — последняя из написанных Кржижановским: завершена уже в 1941 г., специально для издания, и призвана была стать одной из вещей, «подтверждающих» антизападную сатирическую направленность всей книги. Однако очень похоже на то, что, увлекшись идеей посмертного «преображения» (выявлением «ангельской сущности» даже самого «дьявольского» из людей), писатель почти позабыл о «тактических» соображениях.

с. 108 «столбец а г о н и й» — Agony column (*англ.*) — газетный столбец с объявлениями о розыске пропавших родственников.

...ряд председательских (черчменовских) председл... — Транслитерация (в скобках) *англ.* churchman — «церковный деятель» — очевидная ошибка. Имеется в виду chairman — «председатель».

ДЫМЧАТЫЙ БОКАЛ. Впервые: ВВ. Печатается по этому изданию.

- с. 115 ...ложечкой работы венецианского Мурано. — Мурано — пригород Венеции, расположенный на островах в Венецианской лагуне; известен традиционным производством венецианского стекла.
- с. 116 ...у вас есть подбор джайновских статуэток (ныне принято — джайнистские). — Имеются в виду джайнистские статуэтки, т. е. связанные с индийским учением джайнизма (полемическим по отношению к буддизму) изображения индийских божеств, поражающие разнообразием; коллекционирование этих статуэток стало весьма модным в Европе 1920—1930-х гг.
- с. 117 Он умел быть разнообразным: один глоток давал чувство пряной неги... — В сочинениях Кржижановского и его «Записных тетрадах» наблюдения над действием алкоголя пристальны и разнообразны, так что в этом смысле герой новеллы следует за автором; в параллель к этому фрагменту новеллы приведу такое: «Пью, потому что каждая выпивка — крохотная модель жизни (*l'eau de vie*): сначала ожидание „vie“ — потом отрочья возбужденность — потом юношеское трезво-пьяное ощущение, возникновение эротических образов — потом чувство инерции, рюмка за рюмкой, зрелость с ее убыстрением времени — потом вялость, путаница мыслей, предчувствие сна, безразличие — это постарение, старость, наконец, дряхлость, распад мыслей, недопитая рюмка, пресыщение — и, наконец, сон без сновидений, смерть... И все это — в двадцать минут» (ЗТ); точно так же — хоть и не «в двадцать» минут — герой строит, с помощью бокала, свою «модель жизни» (или, вернее, модель своей жизни) — и проживает ее.
- с. 118 ...и через мгновение слово затонуло в вине... — Весь фрагмент — «перевод понятия в образ»: попытка буквальной «трактовки» латинского «*In vino veritas*» («Истина в вине»).
- с. 120 шуцмановская форма — см. комментарий к с. 80. мост Св. Стефана (или Штефана) — мост в Вене через Дунай.

СЕРЫЙ ФЕТР. Впервые: Октябрь. 1996. № 4. Печатается по этому изданию.

Своего рода авторский комментарий к характерной для этой новеллы работе Кржижановского с «понятиями»: «Обращаться с понятиями как с образами, соотносить их как образы — вот два основных приема моих литературных опытов» (ЗТ).

- с. 122 **нейроны** — нервные клетки, проводящие импульсы от рецепторов в центральную нервную систему, от центральной нервной системы к исполнительным органам.
дендрит — ветвящийся отросток нервной клетки (нейрона).
- с. 123 ...**меж торопящихся оттопыренных портфелями локтей...** — Собственно, где же и возникает сакраментальному вопросу, как не среди «портфелей» (см., например, новеллу «Боковая ветка» (1927—1928), в которой есть слова об «отлучках пустычных мыслишек из головы в шляпу»), этих знаков заведенного, как часы, круговорота бессмысленного существования?
- с. 125 **Зачем жить протиснулся в шов и выпрыгнул наружу.** — Ср.: «Мысль, просачивающаяся сквозь черепные швы» (ЗТ).
- с. 126 ...**четвертому и пятому поясничным позвонкам, заведующим... сексуальными рефлексами...** — Заведуют рефлексами, разумеется, не позвонки, а поясничные спинномозговые нервы, иннервирующие наружные половые органы.
- с. 127 **мрежи — мерёжи** — рыболовные снасти в виде конусообразной сетки, натянутой на обручи.
Декарт Рене (1596—1650) — см. комментарий к с. 87.
- с. 128 **кна й па** — нем. Kneipe — пивная, трактир.

СОНАТА «DEATH'S DOOR». Впервые: Домовой. 1996. № 1. Печатается по авторизованной машинописи.

Демонстративно-старомодная — с явно пародийными элементами — тема новеллы, напоминающей об охватившем Европу первых десятилетий XX в. увлечении спиритизмом, «тайнами Востока» и прочими мистическими чудесами, конечно, не очень-то годилась для книги, выходящей в СССР в начале сороковых годов, даже принимая во внимание ее «западную окраску». Тем не менее она была включена в состав книги и, что более странно, осталась там после цензорского чтения.

- с. 136 петтикоутс — *англ.* petticoats — нижние юбки; переносно: юбочная власть.
- с. 142 Вы не в Верхней Палате... — Очевидно, имеется в виду палата лордов.

БУМАГА ТЕРЯЕТ ТЕРПЕНИЕ (Эскиз). Впервые: СВ-1. Печатается по этому изданию.

Метафора, на которой построен этот «эскиз», впервые появляется у Кржижановского в повести «Штемпель: Москва» (1925), куда, надо полагать, попадает в результате работы (годом раньше) над статьей «Алексия» для «Словаря литературных терминов». Логика развития образа выглядит примерно так: если «листы» мозга, на которых «записан» алфавит и все связанное с умением читать, в один далеко не прекрасный день вдруг могут оказаться чистыми, пустыми, почему бы совершенно тому же не произойти и с бумагой, на которую это умение обычно нацелено? Затем — сознательный отказ от бумаги и букв («Клуб убийц букв», 1926) и «прощание с алфавитом» в финале «Возвращения Мюнхгаузена» (1927—1928). Через одиннадцать лет после «эскиза» метафора трагически реализовалась в жизни автора.

«Кржижановский сидел в глубоком кресле у стола, просматривая журналы, я читала, устроившись на диване. Неожиданно почувствовав толчок в сердце, я подняла голову: он сидел с бледным, застывшим, испуганным лицом, откинув голову на спинку кресла. „Что с вами?“ — „Не понимаю... ничего не могу прочесть... черный ворон... черный ворон...“ Ясно было, случилось что-то непоправимое... Врач констатировал спазмы в мозгу: парализовался участок памяти, хранивший алфавит...» (А. Бовшек).

- с. 149 ...можно было бы назвать сражением под Табула-Раза... — *Лат.* tabula rasa — чистая доска (на которой ничего не написано).
- с. 153 От дипломатических пактов и договоров... остались только унылые восковые или сургучные диски печатей... — Напомню, что новелла написана перед самым началом Второй мировой войны.
- фирн — крупнозернистый уплотненный снег.
- с. 156 ...выстирать... снежно-белую Эриду Гёте и Гегеля... — Эрида — греческая богиня раздора; яблоко

Эриды — «яблоко раздора», то самое, за которое спорили богини Гера, Афина и Афродита, а судьей в их споре был Парис. Имеется в виду полемик Гёте с гегельянцами (и с их «духовным отцом»), не оставляющими, по мнению поэта, места «тайне» (а значит — и поэтическому творчеству) в своем представлении о мире.

ЧЕМПИОН ДЫХАНИЯ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

с. 159 Я совершал свое вильгельммейстеровское образовательное путешествие... — Вильгельм Мейстер — герой трех романов И. В. Гёте (1749—1832).

...знаменитый Кастанс-Музеум — т. е. музей восковых фигур. В путеводителях по Берлину того времени не упоминается.

«Шреклик-кабинет» — «Кабинет (комната) ужасов» (от нем. Schrecklich — ужас).

Шарлотта Корде (Корде д'Армон, 1768—1793) — французская дворянка, убившая Марата; казнена.

Мазаниелло (1620—1647) — рыбак, возглавивший антииспанское восстание в Неаполе (1647—1648), убит по приказу вице-короля.

ВОЗДУХ РОДИНЫ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

с. 163 пикколо — мальчик (*ит.* piccolo — малыш).

хаф-энд-хаф — виски пополам с содовой (*англ.* half and half — пополам).

НЕМАЯ КЛАВИАТУРА. Впервые: New Hot Rock. 1994. № 1/2. Печатается по авторизованной машинописи.

Очевидна переключка новеллы с фрагментом повести «Клуб убийц букв» (1926), где речь идет о средневековом монахе-музыканте Ноткере Заике. Кроме того, описанное в ней на тридцать пять лет (!) «опеределю» нашумевшую акцию композитора-авангардиста Джона Кейджа — исполнение его сочинения «4 минуты 33 секунды»: именно столько сидит на сцене перед роялем музыкант, не прикасаясь к клавишам. Герой новеллы к клавишам «прикасается», даже весьма подчас энергично,

но его «игра» сродни той, что описана в стихотворении Шенгели «Бетховен» (1922): «Но ящик сырой отзывается шторму ико-той, / Семь клавиш удару ответственуют мертвой немотой».

с. 169 ...экономические условия требуют перекапывания кладбищ... — Возможно, это — своего рода «эхо» студенческого путешествия в Германию, где в некоторых землях по сию пору существует, так сказать, регламентированный срок существования могилы, обычно — от 7 до 25 лет.

т р е м о л о — тремоло — быстрое многократное повторение одного звука, интервала или аккорда.

«Глухонемой марш для безногих» — Ср.: «Марш для безногих» (ЗТ).

с. 172 деми-сек — *фр.* demi-sec — полусухое (вино)

Вы говорите об одной из новелл «Петербургских ночей». — Речь идет о новелле «Последний квартал Бетховена», входящей в Ночь шестую «Русских ночей» В. Ф. Одоевского (1844).

демпфер — глушитель: механическое приспособление, применяемое в многострунных музыкальных инструментах для прекращения колебания струн.

СМЕРТЬ ЭЛЬФА. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

При построении своих книг Кржижановский нередко использует композиционный прием, который условно можно назвать «двойчаткой»: он как бы сталкивает (или располагает совсем близко друг от друга) две новеллы на одну тему, однако темы эти разрабатывает по-разному — до полярности (как в данном случае, если сопоставить эту вещь с предыдущей). Это есть и в «Сказках для вундеркиндов» («Чётки» — «Спиноза и паук»), и в «Чем люди мертвы» («Квадратурин» — «Комната радости»), и в «Мал мала меньше» («Джин» — «Взбесившиеся брюки»), и в «Чужой теме» («Швы» — «Собиратель щелей») и т. д.

с. 174 ...вместе с Горчичным Зернышком и Фасолевым Стручком, которые имели честь быть знакомы с Виллиамом Шекспиром... — Горчичное Зернышко, Фасолевый Стручок — персонажи комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», эльфы, пребывающие в услужении у героя пьесы, очутившегося в сне-

сказке; мотивы этого шекспировского сочинения проступают и оригинально интерпретируются и далее, они существенны для восприятия новеллы, действие которой начинается «сном (героя) в летнюю ночь (то ли в конце июня, то ли в начале июля)» и завершается его же бессонной ночью (замечено И. Делекторской).

анти тела — глобулярные белки (иммуноглобулины) плазмы крови.

аэробы, анаэробы — микроорганизмы, взаимодействующие с воздухом, и их «антиподы», от соприкосновения с воздухом погибающие.

с. 176 фартинг — самая мелкая английская разменная монета (1/4 пенни); чеканилась до 1968 г.

ДВЕ ШЕЛКОВИНКИ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Эта и две последующие легенды написаны Кржижановским после поездки в Среднюю Азию (см. комментарий к «Салыр-гюль») — под влиянием множества узанных там преданий, часть которых включена им в цикл очерков.

с. 186 худжира — худжра (келья в медресе). медресе Гур-Эмира, Тилля-Кари и Шир-Дора — см. комментарии к с. 376, 384.

ЛЕВОЕ УХО. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

с. 194 ...три сына трех наместников: гайдарабадского, хорезмского и мавераннагрского... — Хайдарабад — город, основанный после 1589 г. как столица Голконды — государства в Индии XVI—XVII вв. Хорезм — древнее государство Средней Азии, возникшее в VII—VI вв. до н. э.; неоднократно подвергалось завоеваниям, с XVI в. входило в Хивинское ханство. Мавераннахр — см. комментарий к с. 377.

УКРАДЕННЫЙ КОЛОКОЛ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

с. 200 Упанишады — заключительная часть вед, основа всех ортодоксальных религиозно-философских систем Индии, в том числе веданты.

с. 201 анна — разменная монета Индии и Пакистана (до 1960-х гг.).

пайс — индийская медная монета, чеканившаяся в XVIII—XIX вв.; $\frac{1}{4}$ анны.

Мал мала меньше

В последней «автобиблиографии», составленной во второй половине 1940-х гг., Кржижановский указывает, что этот цикл создан в 1940—1941 гг. Однако в авторской машинописи — иная дата: 1937 г., она представляется более вероятной. Подобные «сдвиги» датировок у этого писателя — не редкость, об их причинах шла речь во вступительном очерке, а также в комментариях к некоторым произведениям, время написания которых удалось уточнить. В данном случае в качестве аргумента в пользу более ранней даты можно предложить лишь то, что достоверно известно о творчестве Кржижановского в три предвоенных года. Во-первых, полтора из них были почти целиком потрачены на подготовку рукописи книги «Рассказы о Западе» и хлопоты о ее издании (см. комментарий к книге «Неукушенный локоть»). Кроме того, Кржижановский в эту пору работал над двумя оперными либретто, немало времени тратя на их «доводку» с композитором С. Василенко и на общение с театральными труппами, осуществлявшими постановки, а также — над одноактными пьесами и радиоинсценировками. Наконец, на эту же пору приходится завершение весьма трудоемкой теоретической работы «Комедиография Шекспира» и подведение итогов своей «шекспирианы» («Забывтый Шекспир», «Фрагменты о Шекспире» и еще несколько статей). Даже беря во внимание необыкновенную работоспособность Кржижановского, здесь, как видим, не находится «щели», в которую мог бы просочиться цикл миниатюр, не говоря уже о том, что он и сам по себе не очень-то вписывается в этот ряд.

Далее: в той же «автобиблиографии» из двадцати лет, в которые была создана практически вся проза Кржижановского, пропущены только три года — 1923, 1932 и 1937. С двумя первыми все более или менее ясно. В двадцать третьем он много выступает, преподает в Экстемасе, энергично сотрудничает с Таировым, пишет «Философему о театре», полтора десятка

эссе для газеты «7 дней МКТ», готовит к печати «Сказки для вундеркиндов», налаживает деловые контакты, наконец, задумывает масштабную работу о Москве и собирает огромное количество исторических материалов о ней, которые поверяет собственным опытом — он исследует Москву. Сложнее представить себе тридцать второй год, но тоже возможно. Перед ним — мощный взрыв активности: несколько крупных вещей, подступы к романам, комедия «Писаная торба», «Поэтика заглавий». Затем — окончательный провал попыток издать книги, потеря работы и угроза высылки из Москвы. А когда гроза миновала — долгая депрессия, явственные следы которой видны в письмах к жене. Из этого состояния он выходит медленно и трудно. В следующем году написаны лишь три небольших новеллы и цикл очерков «Салыр-гюль».

Иначе — в тридцать седьмом. Ничего, кроме нескольких статей и пьесы «Тот третий». И масса набросков, предвещающих последнюю вспышку — 1939 г. И есть свидетельство, которое — с одной очевидной поправкой — можно считать бесспорным. В своих мемуарах Анна Бовшек, вспоминая о возвращении в Москву осенью 1937 г. после трехмесячного пребывания в Одессе, пишет: «Кржижановский продолжал писать... Это были новые новеллы, которые он предполагал объединить в сборник „Чем люди мертвы“⁴. Работа была для него спасением...» Заглавие сборника — явная абберрация памяти мемуаристки, писавшей около тридцати лет спустя. Как явствует из письма Кржижановского к Бовшек (см. вступительный очерк), работа над рукописью «Чем люди мертвы» была завершена еще в 1933 г., а большинство включенных в нее вещей отнюдь не были «новыми» (см. комментарий к этой книге). Точно так же тут не может идти речь и о других составленных Кржижановским книгах: «Чужая тема», «Неукушенный локоть», «Сборник рассказов 1920—1940-х годов», — они завершены либо значительно раньше, либо позже — и тоже хронологически неоднородны. Остается предположить, что описываемая в мемуарах работа шла именно над циклом «Мал мала меньше». Косвенным, но серьезным подтверждением этому, на мой взгляд, может служить написанная двумя годами позже статья об Эдгаре По. Она уже цитировалась во вступительном очерке, но, пожалуй, стоит повторить, фрагмент: «Э. По — мастер новеллистического стиля. Особенность его техники заключается в том, что произведения его очень кратки, но словарь их необычайно широк... Нужно сделать все, чтобы новелла, прежде чем кончится ее *трех-*

страничная жизнь (курсив мой. — В. П.), успела высказаться до конца...» Очень похоже на то, что автору статьи пригодился собственный опыт «миниатюрной» работы, а до «Мал мала меньше» трехстраничные (и менее) новеллы у него легко счесть на пальцах. В этой связи следует назвать и еще одно имя — Петера Альтенберга, австрийского мастера импрессионистской миниатюры, разумеется, не случайно упоминаемого Кржижановским в новелле «Чужая тема».

Добавлю, что Кржижановский, как правило датирующий отдельно каждую вещь, включаемую в машинописные книги, в данном случае проставил в машинописи одну — общую — дату.

В цикле — тридцать новелл, среди которых — ни одной «фантасмагории»; условно их можно разделить на «сказки» и «истории». В том же 1937 г. Кржижановским написана статья «Страны, которых нет» — о типологии «фантазмов» в истории мировой литературы: таким образом была сделана последняя попытка отвоевать в современной литературной жизни хотя бы небольшую площадку для своего экспериментального реализма. Предчувствуя заведомую безнадежность этой попытки, Кржижановский попробовал писать в иных форме, жанре, стиле. О том, что «Мал мала меньше» — это цикл, а не «сборник» миниатюр, свидетельствует композиционно закрепленная система связей между новеллами, подчас весьма непростая, неочевидная, но обнаруживающаяся, если — по аналогии — обратиться к композиции «Сказок для вундеркиндов» (кстати, первый «миниатюрный» опыт десятилетием старше цикла — и относится к 1927 г., ко времени окончания второй редакции «Сказок...»: такие новеллы, как «Путешествие тени» или «Ветряная мельница», добавленные в Москве к «киевскому» варианту, естественно вспоминаются при чтении некоторых вещей цикла).

И еще одно — попутное — замечание. Отсутствие — за единичными исключениями — переключек «Мал мала меньше» с «Записными тетрадами» дает повод думать, во-первых, что записи в них обрываются на два-три года раньше (не считая тех, что сделаны на отдельных, случайно уцелевших листках, вовсе не поддающихся датировке), а во-вторых, что весь цикл — своего рода импровизация в духе разыгранной в 1927 г. в новелле «Книжная закладка»: желание показать, что темы — везде, надобно лишь умение их *видеть*.

ГУСЬ. Впервые: СВ-1. Печатается по авторизованной машинописи.

У Кржижановского есть значительно более ранний замысел сочинения о гусе: «**Стихи.** Закормленный гусь — в загородке под крышей — закармливают на убой. Сначала глотает, тычет клювом в стены и зерно. Потом пища обратно... Кракает. Откидывается крышка: смерть» (ЗТ); новелла, как видим, «противоположна» стихам. По свидетельствам бывших учеников А. Бовшек по студии художественного слова Московского Дворца пионеров (среди них были Л. Касаткина, Р. Быков, С. Николенко, А. Леонтьев и др.), эту новеллу Кржижановского они читали на своих выступлениях.

- с. 205 Над одной песней о приходе весны он трудился так долго... — Первая же миниатюра вызывает ассоциацию со «Сказками для вундеркиндов», ср.: «Перо, глотнув чернил, хищно ткнулось расщепом в тетрадь. На тетради надпись: Сонеты Весне» («Поэтому»).
- с. 206 глиссандо — легкое скольжение пальца по струне или клавишам музыкального инструмента.
- с. 207 Это когда твое же перо делает тебе больно. — Кржижановский не раз пробовал дать определение лирики в парадоксально-лирической форме, ср.: «Даже рыба, если ей зацепить крючком за кишки или сердце, издает тонкий струнный звук — это и есть подлинная лирика» (ЗТ).

БЕРЕЗАЙСКИЙ САПОЖНИК. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Считая, что фольклор — неисчерпаемый источник сюжетов (см. комментарий к притче «Когда рак свистнет»), Кржижановский здесь не только превращает в сказку «рифменное» присловье, но и «по-фольклорному» озвучивает ее внезапно и прихотливо возникающими незатейливыми рифмами.

- с. 208 Атланта — Атлантида — согласно греческому мифу, огромный остров, в глубокой древности погрузившийся на дно Атлантического океана. Споры о том, существовала ли Атлантида, и поиски ее продолжают поныне.

Персеполис — Персеполь — один из городов-резиденций персидских царей; основан в конце VI в. до н. э. В 330 г.

до н. э. захвачен Александром Македонским, сожжен и брошен.

с. 211 шелевка — тес

ИГРОКИ. Впервые: СВ-1. Печатается по авторизованной машинописи.

В новелле — атмосфера Киева времен Гражданской войны. Точное — на счетах — фиксирование смен власти в городе переключается с эпизодами «Белой гвардии» (подсказано М. Петровским; им же установлено, что этот подсчет соответствует исторической реальности). Характерно, что в описании войны (как и в других новеллах, например «Чудак» (1922)) автор — ни на чьей стороне, как и его персонажи: кем именно убит поэт — не имеет значения.

с. 213 ...звездное небо посыпалось целыми со звездами прямо в ладони... — Ср. в «Жизнеописании одной мысли» (1922): «Звездное небо над мною — моральный закон во мне». Когда рушится «моральный закон», тогда «звездное небо»... разыгрывается в карты.

ДОБРОЕ ДЕРЕВО. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Еще одна вариация на фольклорную тему: демонстративное использование традиционного для волшебной сказки мотива — помощь животных и растений попавшим в беду героям. Эта сказка также переключается с «Поэтому» (1922).

УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА ЛЕСА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Середина 1930-х гг. — время работы Кржижановского над его «шекспирианой», потому естественна ассоциация с «Бирнамским лесом» из «Макбета», подчеркнутая описанием битвы — в духе шекспировских «исторических хроник». Возможно, так трансформировался более ранний замысел: «Сон: о войске, обращенном в лес. Лишь один праведник не превращен. Заблудился среди полков. Яблонька (принцесса). Труссы — в осины, храбрые — в дубы и т. д. Рассказ дулистого дуба. Преследующее войско. Хотят рубить на костер. Стоны. Валесжник. Превращение яблони в принцессу» (ЗТ).

КОНТРОЛЕР. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Кржижановский, начинавший со стихов, перейдя на прозу, сохранил «поэтическую» манеру работы — «с голоса» (О. Мандельштам). «Он не переставал вынашивать в себе замыслы, не отдыхая ни минуты. Голова его работала и тогда, когда он, лежа на диване, смотрел широко раскрытыми глазами куда-то вдаль, и тогда, когда шагал по московским улицам, и когда тихим вечером, сосредоточенный, ушедший в себя, сидел на скамье какого-нибудь бульвара» (А. Бовшек).

РАСКУЛАЧЕННЫЙ БОКСЕР. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Поклонник и сотрудник Таирова, Кржижановский откровенно пародирует назойливо насаждаемую в советском театре, вульгарно понятую — и толкуемую — «систему» Станиславского (к тому же если «весь мир — театр», то ее можно и не ограничивать рампой и кулисами). Иронизируя над «новоязовским» эпитетом «раскулаченный», автор психологически точен и, я бы сказал, «автобиографичен»: он отлично знал, что соблазн поддаться (уговорам, тактическим соображениям, обстоятельствам) — старая как мир ловушка, срабатывает она безотказно. Имитируя поражение, разучаешься выигрывать. В этом смысле довольно неожиданная, на первый взгляд, ассоциация с «Книжной закладкой» (1927), вполне «законна»: ее герою то и дело предлагают «поддаться», принять «предлагаемые обстоятельства» и сыграть соответствующую им роль (в литературе), однако он попросту не умеет этого делать.

ЦЫПЛЯТА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

ЛЕГЕНДА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

с. 231 ...поэт Ваккенродер приступил к изданию «Газеты для отшельников». — Очевидно, автор контаминирует «Газету для отшельников», которая издавалась группой немецких романтиков в 1800-х гг., и сочинения писателя-романтика Вильгельма Генриха Ваккенродера (1773—1798), которые в русском переводе

вышли под названием «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного...» (М., 1826; переизданы в 1914 г.).

ХЛЕБ НАШ НАСУШЕННЫЙ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

с. 233 диктовый — фанерный.

НЕВОЗМОЖНО ПРЕДВИДЕТЬ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

РАНЕЦ И ПОРТФЕЛЬ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Совершенно в своем духе Кржижановский заканчивает «тему портфеля» тем, с чего она вроде бы должна начинаться — превращением ребенка во взрослого: ранца — в портфель.

ДЖИН. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

ВЗБЕСИВШИЕСЯ БРЮКИ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Вместе с предыдущей эта миниатюра «представляет» в цикле, так скажем, взаимоотношения человека с алкоголем — тему глубоко «личную», встречающуюся у Кржижановского неоднократно. Пристрастие к спиртному, известное едва ли не всем, кто с ним встречался, к концу жизни перешло в тяжкий недуг. В частности, М. Волькенштейн, сын дружившего с Кржижановским драматурга, вспоминал о том, как они вместе возвращались из Коктебеля. Было много вина; Кржижановскийпил охотно и все время, поначалу это его воодушевило, он сыпал остротами, стал импровизировать истории, одна другой занимательней, но постепенно «тяжелел», впадал в мрачность и к концу пути лишь угрюмо молчал. Булгаков, с которым Кржижановский познакомил С. Макашина, по его просьбе, в ресторане Дома Герцена, первым делом заказал две бутылки вина, а когда они с Макашиным недели две спустя отправились в гости к Кржижановскому на Арбат, заметил, что идти без вина не стоит — и одной бутылки маловато. Режиссер Таировского театра Н. Сухоцкая рассказывала, как, сидя за столом перед пачкой

бумаги, Кржижановский время от времени прихлебывал из стакана, наполненного, пополам, кофе с водкой, поясняя, что такой «коктейль» расширяет сосуды и усиливает действие кофеина, увеличивает работоспособность, позволяя «не отвлекаться» на отдых, сконцентрироваться на десять—двенадцать часов подряд (это сказывалось, судя по рукописям, разве что на почерке, который к концу работы заметно менялся, но, конечно, «стимулировало» и начавшуюся в тридцатых годах гипертонию). В письмах к А. Бовшек Кржижановский, повествуя о протяженной — в несколько недель — работе, отмечает, что примерно к середине ее, чувствуя накапливающуюся усталость, он «перешел» на легкое вино, а ближе к финишу и вовсе бросил пить, испытав резкий прилив сил — и столь же резкий их упадок, когда все было завершено.

Исследование действия алкоголя не раз становится и «материалом» его прозы. «Алкоголь дает человеку невиданную жизнь, правда, начисляя 40 % с его реальной жизни» (ЗТ). «Пью, потому что каждая выпивка — крохотная модель жизни» (там же). «Опьянение дает глиссандо мироощущений до мирноощущения включительно» (там же). «Жизнь допета и допита» (там же). Этот личный опыт явно пригодился писателю при сочинении нескольких новелл (например, «Дымчатый бокал» — см. комментарий), первой части «Странствующего „Странно“» (1924). Наконец, в комедии «Поп и поручик» герой на вопрос, что толкает его к вину, отвечает то же, что и автор комедии (на тот же вопрос): «Трезвое отношение к действительности».

Связь с предыдущей новеллой подчеркивается лексической ассоциацией: *собака* (со «спиртной» кличкой Джин) — *взбесившиеся* брюки.

ОРФЕЙ В АДУ. Впервые: СВ-1. Печатается по авторизованной машинописи.

Варианты подобной «игры» с мифологическими сюжетами встречаются в «Сказках для вундеркиндов» («Грайн», 1922), в шестой главе «Клуба убийц букв» (1926), далее в этом же цикле («Три сестры»).

с. 243 Орфей — в греческой мифологии сын музы Каллиопы и речного бога Эагра (вар.: Аполлона), своим пением и игрой на кифаре зачаровывавший не только людей и богов, но даже растения и животных. Сошел в подземное

царство, чтобы вернуть на землю умершую от укуса змеи жену Эвридику.

Цербер (Кербер) — в греческой мифологии пес, стерегущий вход в Аид, который выпускает умерших, но не дает им выйти назад; чудовище с тремя головами, туловищем, усеянным головами змей, и змеиным хвостом.

с. 244 ...учась музыке у наших стиковых лягушек — намек на комедию Аристофана «Лягушки»; см. также новеллу «Мост через Стикс» (1931).

ЕДИНОГЛАСНО. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Пожалуй, единственная новелла цикла, целиком возникшая из более раннего наброска: «Суд удаляется на совещание — в совещательную комнату. Он и она голосуют за свой брак — 2 руки кверху: единогласно» (ЗТ).

с. 246 Один портфель зашелкнулся... — Появление здесь «портфельного мотива» наводит на мысль об отношении автора к охватившей всех страсти к голосованиям, вернее — к единогласию.

КАБИНЕТ МИЛЛИАРДЕРА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

БОЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

ПОЛУВЕЖЛИВОСТЬ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Характерная для композиции цикла «двойчатка»: новелла «парная» к предыдущей (ср.: «Джин» — «Взбесившиеся брюки», «Доброе дерево» — «Утренняя прогулка леса»).

ДЕВЯТЬ ВОРОН. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

ТЮБИКИ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

У Кржижановского довольно много «музыкальных» новелл (в том числе — пародийная — и в данном цикле: «Орфей в

аду») и практически нет «живописных», кроме этой. В повести «Штемпель: Москва» (1925, «Письмо четвертое») он пишет о «зрячести» московской литературы, но противоречия здесь нет, хотя Кржижановский считал себя «московским» писателем: его изобразительность не «живописна», а, скорее, «кинематографична», кино же, как известно, было тогда черно-белым.

ПОБАСЕНКА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ СКУПЦА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

К ЛИЦУ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

СМЕРТЬ РАДИСТА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ АГУРОВ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

с. 258 Александр Гумбольдт (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель и путешественник.

ЭМБЛЕМА. Впервые: вступительный очерк к СВ-1. Печатается по авторизованной машинописи.

ТРИ СЕСТРЫ. Впервые: вступительный очерк к ВМ. Печатается по авторизованной машинописи.

Рискну предположить, что совпадение заглавий этой миниатюры и пьесы Чехова у Кржижановского, написавшего несколько интересных статей о творчестве Чехова, едва ли случайно. В некотором роде героини пьесы играют роли «богинь судьбы» — в диапазоне от надежды до гибели — для попавших в поле их притяжения персонажей-мужчин.

с. 260 Клото («прядущая»), Лахезис (Лахесис, «дающая жребий»), Атропос («неотвратимая») — в греческой мифологии мойры (позднее отождествлялись с римскими парками) — богини судьбы.

ОДНА КОПЕЙКА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

с. 261 глуд — ум, рассудок.

БАСКСКАЯ СКАЗКА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Сборник рассказов 1920—1940-х годов

Последняя из составленных Кржижановским книг наводит на мысль (подтвердить которую какими-либо свидетельствами не удалось), что он все же подумывал в сороковых годах еще раз попытать счастья в издательстве. Об этом говорят хотя бы вынесенные в заглавие даты, охватывающие практически всю его писательскую деятельность, в то время как в составе рукописи нет ни одного (!) произведения, относящегося, например, к сороковым годам. Вероятно, если бы «дошло до дела», многие даты были бы изменены, что писатель делал не раз. Во-вторых, даже при самом пристальном внимании, здесь не прослеживается сколько-нибудь стройной, внутренне логичной композиции, какая характерна для всех остальных его книг (например, первая же новелла, при всех своих достоинствах, едва ли годится на то, чтобы открывать книгу, а последние страницы никак не выглядят завершением). В-третьих, бросается в глаза «разнородность» (если не сказать — «неравноценность») включенных сюда вещей. Рядом с первоклассными, как «Тринадцатая категория рассудка» или «Рисунок пером», — явно «журнальный жанр» («В очереди»). Миниатюры «Пропавший человек» или «Мечтатели» легко представить себе в цикле «Мал мала меньше», а «Состязание певцов» или «Мышук» — например, в качестве вставных новелл «Книжной закладки». Дело, повторю, не в «слабости» книги — в ней есть произведения замечательные, но в том, что работа над нею, по-видимому, оборвалась, едва начавшись: писатель попросту собрал то, что не включал в другие книги, на большее его уже не хватило. Впрочем, и в таком виде книга интересна — она, думается, больше говорит о внутреннем состоянии Кржижановского в последние годы жизни, чем любые «откровения» по этому поводу, даже если бы таковые и были написаны.

СЛУЧАИ. Впервые: СВ-1. Печатается по этому изданию.

«Происхождение» этой новеллы нетрудно проследить. Это своеобразные «вариации на тему» знаменитой в первой четверти века книги В. Вересаева «Записки врача» (1901) и отчасти булгаковских «Записок юного врача» (1926), тоже возникших не без влияния вересаевской книги.

с. 266 **аускультировать** — исследовать внутренние органы выслушиванием звуковых явлений, возникающих при работе этих органов.

иннервировать — здесь: возбудить, стимулировать; см. комментарий к с. 82.

с. 270 **табес** — *лат.* *tabes* — чахотка.

с. 273 ...прежде, когда горизонт у жизней был пятаковый... — Ср.: «Чужая тема. Вся жизнь живут пятаково, смотрят в пятаки, горизонт с пятаковым диаметром, и, когда умрут, на глаза — пятаки» (ЗТ).

с. 275 **юниус** — очевидно: юноша; форма, образованная по созвучию с *лат.* *jupus* — «молодой», *junior* — «моложе».

с. 276 **остеологичен** — скелетообразен (остеология — часть анатомии, наука о скелете).

Дерптский университет — ныне Тартуский.

нитонисетина — см. комментарий к с. 107.

с. 277 ...проделал мыслете от идеи жизни к идее смерти. — Мыслете — старославянское «м»; здесь — просто «зигзаг».

с. 278 ...у Лассалья есть не безостроумный железный закон заработной платы. — Так называемый «железный закон» заработной платы (его обычно связывают с именем немецкого социалиста Ф. Лассалья (1825—1864)) гласит, что средний размер заработной платы всегда колеблется около физически необходимого минимума средств существования.

макабрный — мрачный, жуткий (от *фр.* *macabre*).

ТРИНАДЦАТАЯ КАТЕГОРИЯ РАССУДКА. Впервые: Литературная учеба. 1988. № 3. Печатается по ВВ.

Герой написанной в том же году «Книжной закладки» пересказывает (по-своему «беллетризируя» и выстраивая фабулу) историю, слышанную от кладбищенского сторожа. Тот же мотив возникает почти двадцать лет спустя в очерке «Могильщики» («Москва в первый год войны»). Добавлю, что в статьях о

Шекспире Кржижановский несколько раз обращается к сцене на кладбище из «Гамлета», к диалогу Принца Датского с могильщиками. У всего этого — общее происхождение. В 1924 г., работая над статьей «Эпитафия» для «Словаря литературных терминов», писатель бывал на московских кладбищах (см. об этом в повести «Штемпель: Москва» (1925, «Письмо десятое»), изучал их быт, разговаривал с могильщиками и сторожами, некоторые рассказы которых потом использовал — разумеется, «трансформируя», подобно своему персонажу.

Заглавие «Тринадцатая категория рассудка» отсылает к Канту, к его «двенадцати категориям» мышления, охватывающим жизнь; «тринадцатая» — смерть, для разума непостижимая, находящаяся за его пределами. (Замечу попутно, что в новелле «Чужая тема» (1929—1930) есть вставная «сказка», озаглавленная «Тринадцатая трясавица»; о ней же, о «писательской трясавице Глядее», идет речь в повести «Штемпель: Москва»; именно она и толкает автора-рассказчика изложить повествование уже почти *вышедшего за пределы рассудка* могильщика-сторожа.) Вообще тема смерти в 1920-х гг. становится одной из центральных в советской литературе, одновременно возникает мотив «мнимого бытия», наиболее отчетливо проступивший в тыняновском «Подпоручике Киже» (1928). Наконец, дата создания новеллы наводит на мысль о ее связи с шумной подготовкой к «десятилетию Октября», а также и с возведением на Красной площади ленинского Мавзолея (в ожидании которого будущий «обитатель» томится «безмогильностью»).

с. 281 ...апперцептивной путаницы... — Апперцепция — восприятие.

...выжившие или, точнее, выжитые из своих умов... — Ср.: «Умный, сходя с ума, обеспечивает себе возвращение в ум» (ЗТ).

...из всех двенадцати кантовских категорий рассудка... — Кант выделял двенадцать категорий мышления, которые «даны готовыми априори в рассудке»; это: *единство, множество, всеобщность* (количество); *реальность, отрицание, ограничение* (качество); *субстанция и акциденция, причина и действие, взаимодействие* (отношение); *возможность — невозможность, существование — несуществование, необходимость — случайность* (модальность).

- с. 282 **Отзовисты** — группа большевиков, отделившаяся в 1908 г.; требовали отзыва представителей партии из Государственной Думы и неучастия в легальных организациях.
- с. 285 **Звоните в Антирелигиозное...** — Очевидно, имеется в виду **Союз воинствующих безбожников СССР (СВБ)** — добровольная общественная организация, ставившая своей целью борьбу с религией во всех ее проявлениях. Насчитывала в своих рядах три миллиона человек.
- с. 288 ...**Леонардо был прав, говоря, что у пятен плесени можно иной раз научиться большему, чем у созданий мастера.** — «Пусть тебе не покажется обременительным остановиться иной раз и посмотреть на пятна на стене, или на пепел костра, или на облака, или на грязь, или на другие подобные же места, в которых, если хорошенько их рассмотреть, найдешь удивительнейшие находки, коими ум живописца пробуждается к новым находкам, будь то к композициям битв людей и животных или к различным композициям пейзажей и чудовищных предметов, как-то: чертей и тому подобных фантазий... Так неясными предметами ум пробуждается к новым изобретениям» (Леонардо да Винчи. «Обучение живописца»).

КОГДА РАК СВИСТНЕТ. Впервые: Октябрь. 1996. № 4. Печатается по этому изданию.

Рукопись и машинопись не датированы. Стилистически эта «раешная» притча перекликается с некоторыми «Сказками для вундеркиндов», дописанными в 1927 г. Ни раньше, ни позже подобных вещей у Кржижановского не было (в цикле «Мал мала меньше» фольклорные мотивы разрабатываются иначе), что и дало основания для условной датировки. В одной из составленных для «официального представления» (вероятно, при вступлении в 1931 г. в Московский группком драматургов) автобиографий Кржижановский писал, что «в настоящее время работает над темой «Фольклор как источник сюжетов» (в его архиве такой работы не обнаружено), размышления о «фольклорных источниках» заглавий можно обнаружить в докладе «Пьеса и ее заглавие» (1939), — словом, профессиональный интерес к фольклору был у него устойчивым на протяжении десятилетий.

«Настолько-то я поэт, чтобы не писать стихов» (ЗТ), — писал Кржижановский, уже полностью переключившись на прозу. Однако позже, в одном из писем к А. Бовшек, сообщает, что пробует писать «рифмованную прозу» (судя по дате письма, речь вполне может идти именно об этой притче). Кроме того, *писание стихов прозаиками* занимало его как теоретическая проблема, он даже собирался писать работу на эту тему. «Стихи прозаиков. Исследование. Общие положения. Экзерсисы. Особенности стихов прозаиков. Метафизики. Лейбниц, Гегель, Фихте, Шеллинг, В. Соловьев, Гоголь, Тургенев, Мопассан и др.» (ЗТ). Он замечательно знал поэзию, причем не только русскую, помогал А. Бовшек составлять поэтические программы для ее выступлений; в его письмах и статьях есть точные наблюдения и тонкие суждения о стихах; чрезвычайно интересны его по сию пору не опубликованные исследования («По строфам „Онегина“», «Лермонтов читает „Онегина“»), да и инсценировка пушкинского «романа в стихах» для Таировского театра, принятая придирчивыми пушкинистами, говорит сама за себя. Стихи встречаются в его «Записных тетрадях» — и записанные по памяти опубликованные в 1910-х гг. в киевских газетах, и недатированные, возможно, написанные «для себя» в 1920-х гг.; стихотворные фрагменты есть в некоторых новеллах («Боковая ветка» (1927—1928), «Поэтому» (1922), «В зрачке» (1927)); поэты — как и философы, — может быть, самые близкие ему по духу из всех персонажей («Квадрат Пегаса» (1921), «Поэтому» (1922), «Чужая тема» (1929—1930), трагикомедия «Тот третий» (1937) и др.). Много стихов в комедии «Поп и поручик» (1-й вариант — 1934 г., 2-й — 1935 г.), восторженно принятой коллегами-драматургами. В одном из писем к А. Бовшек, рассказывая о читке комедии в труппе Театра имени Вахтангова, Кржижановский подчеркивал, что стихи (т. е. куплеты) получили одобрение наравне с прозой (см. вступительный очерк). В «Когда рак свистнет» Кржижановский, похоже, нащупал-таки органичную для себя стиховую манеру. «Решные» приемы иногда применяются и в других вещах, однако серьезного продолжения и развития этот опыт не получил.

- с. 289 **актинии** (морские анемоны) — отряд морских кишечнополостных животных класса коралловых полипов. Для многих актиний характерен симбиоз с раками-отшельниками.

- с. 290 а конти и — очевидно, неологизм: так автор называет стрекальца актинии.
- с. 296 «Блажен, еже милует и скоты» — См.: Притчи, 12:10.

СКВОЗЬ КАЛЬКУ. Впервые: Горизонт. 1991. № 9. Печатается по авторизованной машинописи.

В 1927 г., едва ли не самом продуктивном для Кржижановского, он начал роман «Неуют», оставшийся незавершенным (а вернее сказать — лишь начатым). Один из набросков-фрагментов был преобразован в эту новеллу, не включенную автором ни в одну из составленных им книг и условно датированную годом работы над романом. Можно предположить, что «судьба новеллы» не была им окончательно решена и что, в случае продолжения работы над романом, она могла в конце концов туда «вернуться».

В преамбуле к комментариям я уже говорил, что при составлении полного корпуса прозы Кржижановского лишь в двух случаях счел возможным — и целесообразным — отклониться от того расположения произведений, какое являет архив писателя. «Сквозь кальку» — первый из этих случаев (о втором — см. комментарий к очерку «Хорошее море»). В «Сборник» сведено все, что не вошло в другие книги, причем сделано это вне сколь-нибудь внятного плана, который обычно у Кржижановского проступает весьма отчетливо. Работа над этой книгой прервалась, едва начавшись; у нее даже нет заглавия, только «условно-рабочее» название — что, поскольку речь о таком мастере озаглавливания, как Кржижановский, и к тому же сочинителе первой в теории литературы работы о поэтике заглавий, может свидетельствовать разве что о «неопределенности» авторского отношения к ней. Скорей всего, новелла «Сквозь кальку» просто-напросто не ассоциировалась для него с вещами законченными. Однако сюжетная и композиционная стройность новеллы, на мой взгляд, ставит ее в один ряд с вещами, которые в «Сборник» попали. И было бы жаль оставлять ее где-нибудь в «Приложениях», на периферии читательского внимания, тем более что вещей, столь очевидно автобиографических, как «Сквозь кальку», у этого писателя очень мало.

- с. 299 «Поручик Зыгмин» — фамилия, произведенная от сокращенного — «домашнего» — имени автора (Зыгмунд) и послужившая подсказкой комментатору — об ав-

тобиографическом характере новеллы; некоторые описания, зримая конкретность деталей навели на мысль, что тут использованы и личные впечатления. Сведения о «долитературной» жизни Кржижановского отрывочны, скудны, опираться же на то, что возможно «вычитать» из его прозы, следует с большой осторожностью: граница между реальным и воображаемым у этого писателя чаще всего едва заметна, если вообще различима; однако все же нашлись некоторые свидетельства, подтвердившие догадку об участии Кржижановского в войне. В частности, С. Макашин сообщил, что по некоторым фрагментам бесед, при которых ему довелось присутствовать, он понял, что Кржижановский был «мобилизован» красными (благодаря чему с ним познакомился С. Мстиславский) как уже служивший в армии, а служить он мог только добровольно (см. комментарий к новелле «Чудак» (1922)).

с. 300 ...дает левый шенкель... — кавалерийский термин. Шенкель — внутренняя, обращенная к лошади часть ноги всадника, помогающая управлять лошастью.

с. 302 шестопер — ударное оружие XV—XVII вв., разновидность булавы.

двуверстка — крупномасштабная карта местности.

«река Калка». — На Калке (1223 г.) произошло первое сражение русских и половецких войск с монголо-татарами, одержавшими победу. Вероятно, звуковая ассоциация с названием реки и дала новелле заглавие.

бунчук — древко с привязанным конским хвостом, служившее знаком власти (казацких атаманов, украинских и польских гетманов, турецких пашей).

РИСУНОК ПЕРОМ. Впервые: СВ-1. Печатается по этому изданию.

Начало небольшой по объему, но значительной и оригинальной по мыслям и наблюдениям «пушкинианы» Кржижановского. Здесь, как и в «философических» новеллах, характернейшая особенность — «проблемность»: речь идет о вещах, по сию пору дающих поводы к полемике.

Очевидна переключка с новеллой «Кунц и Шиллер» (1922) из «Сказок для вундеркиндов».

- с. 305 ...в бане или у колодца возникли пушкинские стихи по поводу вод Флегетона... в деревянной баньке села Михайловского вода не могла «блистать»... — Имеется в виду стихотворение «Прозерпина» (1824). Иронический пассаж основан на том, что первая строка стихотворения ошибочно прочтена как «Блещут волны Флегетона...».
- с. 306 «...Учитывая литературные и внелитературные влияния...» — Чрезвычайно любопытная попытка трактовки центрального образа пушкинской поэмы, пушкиноведением, насколько мне известно, затронутая лишь поверхностно, хотя о «Медном всаднике» существует целая литература.
- ...древний палеологовский герб государства Российского получил... во времена Петра, новое изображение... — Рассуждение Долева основано на некорректных предпосылках. Сложившийся при Иване III российский герб соединил два герба — Московского государства (всадник, поражающий копьём змею) (sic!) и Византии, или «палеологовский» (двуглавый орел). При царе Алексее Михайловиче в символике герба появились держава и скипетр; в дальнейшем она не претерпела существенных изменений (например, при Петре I).
- ...Фальконетова Медного всадника... — Фальконе Этьен Морис (1716 — 1791) — французский скульптор, автор памятника Петру I («Медного всадника») в Петербурге.
- с. 307 Вот покосившиеся крест и несколько стеблей... — Это и следующие за ним описания свидетельствуют об отличном знании «предмета» автором, ведь рисунки Пушкина тогда еще не были растиражированы (кроме немногих), а говорится здесь о далеко не самых известных.
- с. 308 ...вывинчиваясь из плоского тела чернильными росчерками, стали быстро расти легкие крылья. — Эта «метаморфоза» (контаминация двух пушкинских рисунков) как бы продолжает начатое размышление о поэме: за превращением коня святого Георгия в Пегаса — мысль о творчестве (сотворении империи и Петербурга) Медного всадника; кроме

того, крылатый конь вдохновения античных мифов предвещает «встречу» героя новеллы с автором поэмы.

Иппокрена — в греческой мифологии источник на горе Геликон, где обитали музы.

с. 309 ...один одет в белую складчатую тогу... — Очевидно, имеется в виду римский поэт Овидий (43 до н. э. — ок. 18 н. э.)

с. 311 «с благодарностию: были» — «Не говори с тоской: *их нет*,/ Но с благодарностию: *были*» (Жуковский. «Воспоминание», 1821).

...обогадите нас датой, одной крохотной датой... — На самом деле неизвестно не только число, но нет достаточных оснований считать установленным и год написания восьмистишия «Пора, мой друг, пора...», произвольно датируемого 1834 г. Эта дата ставится под сомнение автором новеллы, написанной ровно сто лет спустя (замечу — раньше многих «профессиональных» пушкинистов), потому что никак не вяжется с его пониманием пушкинского творчества (и биографии), т. е., если угодно, художественно неубедительна, и это — не чисто академический интерес, но принципиальный вопрос: куда болсе вероятная дата — декабрь 1836 г. — вносит существенные поправки в знание и понимание последних месяцев жизни поэта.

В ОЧЕРЕДИ (фельетон). Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Судя по дате — одно из последних «новеллистических» сочинений Кржижановского; не столько «фельетон», сколько рассказ о том, как *не пишется*. И рассказ, несомненно, «автобиографичный». В нем — своего рода «эхо» конца 1920-х — начала 1930-х гг., т. е. поры наибольшей творческой активности Кржижановского, когда иронически описанная ситуация была для него практически постоянной. Даже если судить по письмам, обилие замыслов поражает, и мысль о том, чтобы выстроить их «в очередь» (уже ставшую не только приметой, но и символом «нового быта»), если и посещала его, то не находила приюта: как правило, писатель работал одновременно (либо с едва уловимыми паузами) над несколькими, подчас разножанровыми сочинениями, легко переключаясь и не испытывая тех медленных и мучительных раздумий, в которые здесь вклинивается оживленный диалог «ненаписанного» (кое-что из него явно перекликается с прежде «написанным»).

- с. 314 ...вставим ему палку в колесо катафалка. — Ср.: «Я перегибаю ту палку, которую мне вставляют в колеса» (ЗТ); и еще: «Жить — это значит втыкать палки в колеса катафалка, на котором меня везут» (там же).
- Художественная история российской интеллигенции. На протяжении трех поколений. — Ср. с эпизодом из «Чужой теме» (1929—1930): «Критик напомнил мне, что тогда он работал над своим „Еще к вопросу о судьбах русской интеллигенции“».
- с. 315 «сик транзит»... «глория мунди» — *лат.* Sic transit gloria mundi («Так проходит мирская слава»).
- «аква дистиллата» — *лат.* aqua distillata — дистиллированная вода.
- с. 316 редина — редкая, неплотная ткань.
- с. 318 ...а телега жизни, порожняком, сквозь тьму, продолжает свой путь. — Ср.: «Посмертная слава: громыхающая „телега жизни“, едущая дальше порожняком» (ЗТ).
- ...смех в одном акте, короче — скетч. — К этому жанру Кржижановский обращался в ту пору неоднократно — и в теории, и на практике: он написал несколько одноактных пьес («По комбинации причин» (1941), «Самовар» (начало 1940-х), статью «Одноактный Б. Шоу» (1940)), а также выступил на конференции ВТО (1943 г.) с большим докладом «Одноактная пьеса».
- с. 320 «Розенкранц учится играть на флейте». — Ср. с первой вставной новеллой «Клуба убийц букв» (1926), где действует второй из этих персонажей-неразлучников «Гамлета» — Гильденстерн.
- итер — *лат.* iter — путь.
- с. 321 ...кроме Шахразды, присутствовала и ее младшая сестра, Дуньязада... — Ср. очерк «Дуньязада» в цикле «Салыр-гюль».
- с. 323 Богатый купец и бедный сапожник. — Ср. новеллу «Левое ухо» из книги «Неукушенный локоть».

МЫШУК. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Новелла не датирована, время ее написания определено приблизительно: она перекликается с первой «вставной новел-

лой» из «Книжной закладки» (1927), и вряд ли «эхо» было слишком уж далеким. Правда, нельзя сбрасывать со счетов и возможность того, что она возникла позже конца двадцатых — в пору основательных занятий фольклором: в ней есть отзвуки известного «лубочного» сюжета «Как мыши кота хоронили», правда, как свойственно Кржижановскому, с «заменой знака» на противоположный: в этом случае «похороны» удались.

с. 328 Так жители Тараскона, как нам рассказал Альфонс Додэ... — Альфонс Додэ (1840—1897) — автор трилогии о Тартарене из Тараскона, созданной в 1870—1890 гг.

УРНА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Машинопись не датирована. По манере и сюжету новелла близка к небольшому числу, условно говоря, «бытовых» вещей Кржижановского, таких, например, как «Состязание певцов». Переписка писателя позволяет исправить ошибочно указанную при публикации второй из этих новелл (ВБ) дату (1927) и определить время написания обеих — 1933 г., т. е. год завершения работы над рукописью книги «Чем люди мертвы». По некоторым признакам можно предположить, что новелла рассматривалась в качестве еще одной «вставной истории» для «Книжной закладки», однако «не подошла».

с. 337 ...в мой портфель залез доклад... — еще одна вариация «на тему портфеля», которую стоит отметить потому, что, в отличие от разнообразных прочих случаев в новеллах Кржижановского, здесь «бумаги» и «портфель» как бы живут совместной жизнью, не зависимой от своего «номинального» владельца (хотя кто кем *владеет* — еще вопрос).

ОКНО. Впервые полностью: ВБ. Печатается по этому изданию.

Впервые «окно», важный образ в художественной системе Кржижановского, встречающийся многократно (см., например, «Квадратурин» (1926): окно напротив двери и почти вплотную к ней окно мебельного магазина — граница «часмой жиз-

ни»; попытка занавесить окно разрастающейся комнаты, оградить себя от враждебного взгляда-мира; наконец, в финале, «безоконная» тьма), становится темой новеллы. В середине 1940-х гг. появляется очерк «Окна» («Москва в первый год войны») и даже «теория окноведения» (см. комментарий к очерку).

с. 341 ...географическими картами, приобретенными на Кузнецком... — Этот знаменитый в Москве магазин «Атласы и карты» на Кузнецком мосту, между Неглинной и Рождественкой, существует по сию пору.

...ахровскими полихромками. — Имеются в виду цветные репродукции с картин, выпускавшиеся издательством АХРа (Ассоциация Художников Революции, с 1922 по 1928 г. — АХРР: Ассоциация Художников Революционной России; распущена в 1932 г.).

с. 342 вертлуг (вертлюг) — членик ноги членистоногих. Здесь, очевидно, имеется в виду большой вертел — часть бедренной кости, примыкающая к шейке и головке кости, причем последняя входит в вертлужную впадину тазовой кости, чем, вероятно, и вызвана контаминация терминов.

СОСТЯЗАНИЕ ПЕВЦОВ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

В машинописи новелла не датирована, из нескольких «автобиблиографий» упомянута лишь в одной, сделанной, скорее всего, по памяти (там несколько явных ошибок), с датой: 1933. Вероятно, все же написана она раньше — в 1927 г., вскоре после «Книжной закладки», к «вставным новеллам» которой примыкает (например, «Поминки»); у Кржижановского неоднократно бывало, что темы, по каким-либо причинам не попавшие в ту вещь, над которой он работал, «отпочковывались» от нее — в самостоятельные новеллы, причем разрыв между этими произведениями, как правило, невелик.

с. 344 портаменто — в пении: вибрирующая связь между двумя нотами.

с. 345 Катастрофы и уюты, очевидно, стоят в очереди к бытию. — Бытия — и творчества — Кржижановского это «чередование» не коснулось: через несколько лет после новеллы «Катастрофа» возник замысел романа «Неуют»...

- с. 346 ...похоже на лет шмеля... в «Сказке о Салтане»... — т. е. «Сказке о царе Салтане», опере Н. А. Римского-Корсакова.
- Мир-араб — Медресе Мир Араб (Мири-Араб; 1510-е — 1535/36 г.). Его строитель Абдулла Йеменский более известен как Мири-Араб.
- Кишмиш-базар — базар в Ташкенте.
- с. 347 бассо буффо — бас для комических ролей.
- с. 348 «Первую, зардевшись, спеть». — Источник цитаты обнаружить не удалось.
- с. 349 «Тангейзер» — опера Р. Вагнера; вполне логично, что знакомство, завязавшееся на «состоянии певцов», продолжается в оперном театре.
- с. 350 «Он душу младую в объятиях нес...» — из стихотворения Лермонтова «Ангел» (1831).

СТРОКА ПЕТИТОМ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

«Частник: Рядом с домом Герцена киоск. Продавец тем, заглавий, концовок и т. д.» (ЗТ). Этот замысел стал лишь начальным эпизодом в новелле: *покупка темы*. И очень похоже на то, что писатель — как бы задним числом — пишет то, что, пользуясь заглавием известного произведения Пильняка, можно назвать: «Рассказ о том, как создаются рассказы», — имея при этом в виду сочиненный шестью годами ранее «Серый фетр».

ПРОПАЦИЙ ЧЕЛОВЕК. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Очень похоже на то, что эта миниатюра «автобиографична» и что поводом к ее написанию стал подслушанный нечаянно разговор о себе и своем недуге...

- с. 359 Сейчас Иглицын диктовал для детского журнала — маленькую сказку — пародийно напоминающую сказку самого Кржижановского «Доброе дерево» из цикла «Мал мала меньше».

МЕЧТАТЕЛИ. Впервые: Московский комсомолец. 1984. 7 сентября. Печатается по авторизованной машинописи.

Нечто вроде «отростка» очерка «Хорошее море»; одновременно с ним сделанная зарисовка, близкая тогда же, по-видимому, создававшемуся циклу «Мал мала меньше».

САЛЫР-ГЮЛЬ (Узбекистанские импрессию). Впервые полностью: СВ. Печатается по авторизованной машинописи.

В сентябре 1932 г. Кржижановский получил возможность осуществить давнюю мечту — побывать в Средней Азии (командировку от Госиздата ему помог получить Георгий Шенгели). К этой поездке он увлеченно готовился: читал книги, разглядывал старинные и новые карты, начал изучать узбекский язык.

«Пишу Вам, не дожидаясь прибытия и устройства в Самарканде... Дорога пока идет хорошо. Поезд настроен исследовательски — он останавливается на каждой станции, полустанке и разъезде. Но ведь и я хочу рассмотреть все поподробнее и пообстоятельнее. На каждой остановке — шумливый восточный базар. Мы приезжаем — съедаем весь базар — едем до следующего — опять его проглатываем — и так далее до... очевидно, до Самарканда... Сейчас — тоже спасибо медлительности поезда — только что вернулся после довольно обстоятельного объезда и обхода Ташкента. 3—4 часов, которыми я располагал, конечно, мало, но как раз накануне в поезде я познакомился с одним знатоком Средней Азии... который оказался прекрасным чичероне. В первый день в Самарканде я тоже буду под его крылышком... Впечатлений так много, Неточка, что я еле успеваю их осмыслить. Не знаю, конечно, пока трудно забегать вперед, но, кажется, путешествие принесет мне довольно много материала. Понемногу делаю наброски, попытки заговаривать по-узбекски...» (к А. Бовшек от 11 сентября 1932).

«Я уже пятый день в Самарканде. Очень любопытно. Первый день я метался, стараясь сразу охватить все, а затем понял, что лучше не форсировать неизвестное и брать его постепенно. Упрямо подучиваю узбекский язык, но опыты восточных конверсаций — обычно — кончаются довольно мизерно... Завтра вечером собираюсь уехать дня на два в Бухару... В голове у меня сейчас не совсем пусто. Особенно по утрам, когда я сижу в чайхане над своей пиалой и разглядываю посетителей и прохожих...» (к А. Бовшек от 16 сентября).

Выбор Самарканда и Бухары — истинных культурно-исторических центров Средней Азии, еще не слишком затронутых «социалистическим строительством» (в отличие от «официальных» столиц и городов, в которых большевикам виделось

«промышленное значение»), — вполне понятен. Тут тоже видна «направляющая рука» Шенгели, который немного раньше целый год провел в Самарканде (1929—1930), преподавая в местном университете, и — это известно — отчасти подготовил Кржижановского к пребыванию там.

Что до изучения узбекского языка, то Кржижановский, знавший, помимо греческого и латыни, четыре европейских языка (а в конце тридцатых годов выучивший и пятый — итальянский), обладал явными способностями полиглота. Десять лет спустя, во время войны, по возвращении в Москву из двухмесячной поездки по Восточной Сибири, где он по поручению секции драматургов Союза писателей просматривал спектакли эвакуированных туда театров и читал актерам и режиссерам лекции по истории театра и творчеству Шекспира, он выступил в ВТО с размышлениями о... монгольском эпосе и даже продемонстрировал начатки знания «языка оригинала».

Задуманный в поездке цикл «узбекистанских импрессий» Кржижановский писал почти безотрывно и завершил очень быстро, в начале 1933 г. При этом у него почти не было записей, сделанных во время путешествия (не считая писем к А. Бовшек), все увиденное цепко держалось памятью, она не подвела. На друзей и знакомых — а среди них были люди, знающие Восток не понаслышке, — очерки произвели самое благоприятное впечатление. Однако издатели сочли их недостаточно «социальными» для публикации целиком: удалось напечатать лишь фрагменты — под заглавием «Странствуя по Востоку» — в журнале «Тридцать дней» (и там же — короткие новеллы-легенды на «восточные» темы). Тем не менее «узбекский опыт» Кржижановского едва не получил, так сказать, практического применения.

«Шенгели получил новую службу — редактора восточной секции в ГИХЛ'е. Рекомендовал меня как „переводчика“ (горе мне) с узбекского. А я вполупину забыл то немного, что знал...» (к А. Бовшек от 24 августа 1933). Кржижановскому не было известно, что Шенгели, служивший в Госиздате редактором в отделе европейской поэзии, в тридцать втором году уже знал о грядущем «совместительстве», оно было решено (хотя формальности продлились почти год). Как раз тогда, по замыслу Горького, затевалась на пять с лишним десятилетий растянувшаяся программа «массированных» переводов (а отчасти — и «создания») «великой» литературы народов СССР. Для ее осуществления требовались опытные «кадры». Шенгели одним из

первых оказался в их числе. И сразу понял, что открывается реальная возможность «укрыться» в переводах — тем, кому государство уже закрывало пути публикации оригинальных сочинений. Именно с этим «прицелом» он и хлопотал о командировке для Кржижановского, однако попытка обеспечить ему постоянные переводческие заработки не удалась.

Оговорю сразу, что в комментариях к очеркам перевод слов изучаемого автором узбекского языка, как правило, не дается: эти слова — стилистический элемент письма, смысл их в подавляющем большинстве понятен из контекста.

с. 369 ...верблюжьей колючки, стелющейся меж почвенных щелей... — Ср. новеллу «Собиратель щелей» (1922) и комментарий к ней (т. 1); здесь и далее видно, что в очерках автор вскользь использует образы и метафоры из собственной прозы, как бы цитирует самого себя.

...песчаное море, показанное с выключением времени... — Ср. с размышлениями о природе времени героя повести «Воспоминания о будущем» (1929) Макса Штирера.

с. 371 ...тотчас же сочинил рассказ о герое-проводнике. — Пародируется идеологически-бойкое невежество «новой литературы», о котором Кржижановский писал в повести «Штемпель: Москва» (1925, «Письмо шестое»): в данном случае — понятие буквально название тормозной колодки.

с. 373 лендскэй п... — *англ.* landscape — пейзаж.

с. 375 ...самое жизнеспособное соединение — это соединение выдающегося... с плоским... — Ср.: «Буферная сцепка: =ΠΟ= — плоское с выпуклым и зазором дает наилучший эффект и в дружбе, в сцепке душ: необходимо, чтобы один был плоским и был зазор» (ЗТ).

с. 376 Регистан (*букв.* «песчаное место») — площадь в Самарканде; форум и торгово-ремесленный центр древнего города. В XVII в. здесь сложился архитектурный ансамбль, куда входят медресе Улугбек, медресе Шердор и медресе с мечетью Тилля-Кари.

...медресе Улугбега, Тилля-Кари, Шир-дор... — Медресе Улугбек — высшее духовное учебное заведение Самарканда; первоначально имело 50 худжр-келий. Тилля-

Кари («отделанное золотом») — медресе, построенное в 1646 г. на северной стороне Регистана. Помимо своей основной задачи — обучения студентов, выполняло роль соборной мечети. Шердор («здание со львами») — медресе, построенное напротив медресе Улугбек в 1619—1636 гг. зодчим Абдул Джаббаром.

- с. 377 ...с земли Маверраанагра... — Мавераннахр — арабское название (с VII в.) междуречья Амударьи и Сырдарьи с городами Самарканд, Бухара и др.
- с. 378 Ялангтуш-Бахадур. — И Шердор, и Тилля-Кари построены по проекту самаркандского правителя эмира Ялангтуша.
- с. 379 ...каждая персидская буква... — т. е. буква арабского алфавита.
- с. 380 Бибиханум — Биби Ханым, соборная мечеть (1399—1404); по преданию, построена по инициативе жены Тимура (см. комментарий к с. 398), красавицы Биби-Ханым. Строительство ее начато после победоносного похода Тимура в Индию. По замыслу Тимура, она должна была затмить все виденное им в других землях. Комплекс включает главную мечеть (на западной стороне) и две малые мечети (на севере и юге).
- ...каменный... пюпитр для Корана... — во дворе перед главной мечетью.
- с. 381 батавские слезки — капли, получаемые при резком охлаждении расплавленного стекла, которые, если надломить их кончик, рассыпаются на мельчайшие осколки.
- ...аксансирконфлексный угол кровельных скатов... — т. е. подобный французскому надстрочному знаку.
- с. 382 Чаар-су — Чорсу, шестигранное купольное здание конца XVIII в., предназначавшееся для торговых целей, в частности, в нем торговали головными уборами; единственное сохранившееся до наших дней сооружение гражданского типа в Самарканде.
- ...со ступеней Мир-араба... — См. комментарий к с. 346.
- с. 383 ...глухие купола Таки-зергарона, Таки-тилпака, Соррафана — купольные здания на перекрестках главных магистралей Бухары. Купол Токи Заргарон служил местом продажи ювелирных изделий, ку-

пол Токи Тельпакфурушон — головных уборов, Токи Саррофон был куполом менял.

Археолог Вяткин утверждает... — В. Л. Вяткин (1869—1932) вел раскопки в Самарканде в начале 1900-х гг. Погребен, согласно его завещанию, на территории обсерватории Улугбека.

мавзолей Гур-эмира — Гури-Эмир — мавзолей, воздвигнутый в 1404 г. по велению Тимура для праха его любимого внука Мухаммеда Султана. Здесь также погребены, кроме самого Тимура, два его сына, его внуки и Улугбек.

мазар — святое место; обычно гробница или могила с возведенным над ней сооружением.

...над обрывистым берегом Сибаба... — Сиаб — канал, окружающий Афросиаб (см. комментарий к с. 398).

с. 385 ...о древнейшем... философе Фу-Ги, авторе книги «И-Кинг»... — См. комментарий к новелле «Фу-Ги» (1921).

с. 386 ...арка, анахронистически называемая Тамерлановой. — Тамерланом русская летопись называет Тимура (см. комментарий к с. 398), или Тимурленга (букв. «Хромой Тимур»).

арабеска (арабеск) — лепной или живописный декоративный узор.

...древние кувфические надписи. — Кувфическое письмо — вид древнего арабского письма; возникло в конце VII в. в городах Куфа и Басра.

с. 388 Калян — минарет в Бухаре, построенный в 1127 г. У его подножия находятся мечеть Калян и медресе Мири-Араб.

с. 390 дикт — фанера.

с. 392 И Мухаммед в своем Коране не просит о неиспитии чаши — намек на евангельское Моление о Чаше (см., например: Матфей, 26:39—44).

с. 398 Александр Македонский (356—323 до н. э.) — македонский царь Александр III, один из великих полководцев античности, в IV в. до н. э. завоевавший Среднюю Азию.

Чингисхан (ок. 1155—1227) — основатель и великий хан Монгольской империи.

Тимур, или Тимурленг (в русской летописи Тамерлан) — в 1370 г. захватил власть в Самарканде и провозгласил

себя единоличным правителем Мавераннахра. В течение последующих 35 лет путем завоеваний создал империю со столицей в Самарканде.

Надир-бег-хан — Скорее всего, автор имеет в виду Надиршаха — персидского шаха, завоевавшего Мавераннахр в 1740 г., имя которого, возможно, контаминировалось у него с именем Надира Мухаммед-хана, правителя в Бухаре и Самарканде, и Надира Диванбеги.

Афросиаб — городище на окраине Самарканда. Его раскопки начались в 1874 г. и продолжались более полувека. Поселение городского типа на Афросиабе существовало ранее двух с половиной тысяч лет назад.

Согдиана — древняя область на территории современного Узбекистана и Таджикистана.

Бактриана (Бактрия) — древняя область в верховьях Амударьи.

с. 399 **Комстарис** — Комитет по охране памятников материальной культуры при ВЦИК. Эта организация существовала с 1932 по 1937 г.

с. 401 **омикрон** — буква греческого алфавита.

с. 403 **мавзолей Исмаила-саманида** — Мавзолей Самани; по преданию, возведен Исмаилом Самани, основателем Саманидского государства, захватившим Бухару в 874 г. и сделавшим ее своей столицей.

медресе Абдулла-хана — медресе Абдулазизхан, памятник архитектуры в Бухаре (1652 г.).

с. 405 **гробница Ходжи Ахрара** — памятник архитектуры в Бухаре; **шейх Ходжа Ахрар** — руководитель религиозного ордена дервишей.

с. 406 **Тимур-ленг** — т. е. «Хромой Тимур».

Рухад-абад — Рухабад — мавзолей над могилой мистика Бурханэдина Сагараджи, умершего в XIV в.

Шах-и-Зинд — Шахи-Зинда («живой царь») — некрополь, состоящий из одиннадцати мавзолеев, пристраивавшихся один к другому на протяжении XIV—XV вв.

Куса ибн-Аббас. — Имеется в виду гробница Куссам ибн-Аббаса — самое древнее сооружение ансамбля Шахи-Зинда (могила относится к VII в., мавзолей возведен в первой трети XIV в.). Куссам, сын Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда, с VIII в. почитается мусульманами; в народе Куссам стал известен под именем Шахи-Зинда.

- с. 407 гробница шейбанидов. — Шейбаниды — династия, образовавшаяся из кочевых узбекских племен и правившая в первой половине XVI в.
- юфть — выделанная (на дегте) кожа.
- с. 409 ...царь и астроном мирза Улугбек.. был убит своим внуком, захватившим престол. — Улугбек Мухаммед Тарагай (1394—1449), государственный деятель, ученый; внук Тимура. С 1409 г. правитель Самарканда, где построил обсерваторию. Был низложен своим сыном, Абдуллатифом, и убит с его ведома.
- с. 410 «Путеводитель по нёбу» (Покровского). — Найти книгу с таким заглавием не удалось, но очевидно, что речь идет об одной из ранних книг известного врача, члена-корреспондента АМН А. А. Покровского, автора популярных «Бесед о питании» (М., 1964).
- с. 413 ...у нас в Москве, на Болоте... — т. е. на Болотниковской площади, между Яузой и Москвой-рекой.
- с. 416 терменвокс — первый созданный в России электромузыкальный инструмент (1921 г.).
- с. 417 ...сэра Фальстафа с мальчиком-оруженосцем... — Имеется в виду иллюстрация ко 2-й сцене I акта 2-й части «Генриха IV».
- диатоничный. — Диатоника — семизвуковая система, все звуки которой могут быть расположены по чистым квинтам, одно из трех ладовых наклонений в древнегреческой музыке; многообразные формы диатоники составляют основу европейского и русского народно-песенного искусства.
- Жизнь покорно следует за тенью... — Ср.: «Перед закатом длинные тени от вещей напоминают, что и прошедший день был длинен, но как тень» (ЗТ).
- с. 418 Мне предстоял большой конец от Сретенских до Пречистенских (ворот). — Т. е. пять бульваров Бульварного кольца.
- с. 419 Кааба. — храм в Мекке, одна из главных мусульманских святынь.
- с. 420 Лаби-хауз — Ляби-хауз — архитектурный ансамбль в Бухаре, сложившийся в XVII в.; включает медресе Кукельдаш (1568—1569), Ханака Надира Диванбеги (до 1622), медресе Надира Диванбеги.
- с. 422 остеологический — скелетообразный.

- с. 424 дивагации — бредни.
- с. 426 Штирнер — см. комментарий к с. 46.
- Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ.
- Арабский философ Аль-Газари... — Очевидно, имеется в виду Аль Газали (1058/59—1111) — исламский философ и теолог.
- с. 429 ...«Мои университеты» Горького, переведенные на узбекский язык. — Из многочисленных курьезов такого рода выбран именно этот: не потому ли, что как раз незадолго до поездки в Среднюю Азию Кржижановский разрешил свою мысленную полемику с Горьким — завершил книгу «Чем люди мертвы» (см. вступительный очерк)?
- ...новая узбекская литература, литература латынлышдырыша... — т. е. создаваемая на латинице, заменившей после революции «арабское письмо» (впоследствии — после Второй мировой войны — была введена кириллица).
- с. 430 Тану-Тувинская республика — провозглашена в 1921 г.; в 1944 г. вошла в состав СССР на правах автономной области.
- Джунгарские горные ворота — перевал, горный проход в Казахстане близ границы с Китаем.
- с. 431 ...логические косяки трехкрылых силлогизмов... — Силлогизм — основа сформулированной Аристотелем логической системы дедукции — состоит из двух посылок и умозаключения.
- с. 433 ...образ «шагреновой кожи» Бальзака... — Шагреновая кожа в одноименном романе О. Бальзака (1831) — волшебный талисман, который удовлетворяет любое желание героя, сокращая за это срок его жизни.
- «тронуту — пойдено» — см. комментарий к с. 86.
- с. 436 плюсквамперфектум — преждепрошедшее время.
- с. 437 хай-ка — хокку (хайку) — трехстишие в японской поэзии, генетически восходящее к танка.
- танка — пятистишие в японской поэзии.
- байт — бейт — двустышие в арабоязычной, персоязычной и тюркоязычной поэзии; обычно содержит законченную мысль.
- ...севосточной газеллы (газаль)... — Газель — вид моноримического лирического стихотворения в поэзии народов Востока. Состоит обычно из 5—12 бейтов.

чагатайский язык — тюркский письменно-литературный язык, сложившийся в тимуридских уделах в XV—XVI вв.

с. 438 Бабур Зихиреддин Мухаммед (1483—1530) — потомок Тимура, основатель государства Великих Моголов, простиравшегося от Кабула до Бенгалии; поэт и автор знаменитой автобиографии «Бабурнамэ».

с. 439 броуновское движение — беспорядочное движение мельчайших частиц, взвешенных в жидкости или газе, под влиянием ударов молекул окружающей среды.

антиципация — предвосхищение, предугадывание событий

Такой формой будет не лирика... а драма.— Эта мысль впервые была высказана Кржижановским десятью годами раньше — в «Философеме о театре» (1923).

с. 440 Гафур Гулям (1903—1966) — узбекский поэт.

Челпан — сведений обнаружить не удалось.

Уйгун (Рахматула Атакузиев, 1905) — узбекский поэт и драматург.

Хаса Булат — сведений обнаружить не удалось.

Фаткулла Гулям — сведений обнаружить не удалось.

Туйгон — сведений обнаружить не удалось.

с. 441 ...монгольский цикл о «Волшебном мертвце»... — тибетский цикл легенд о ветале — злом духе, способном вселяться в мертвое тело.

с. 442 Шенгели (Манухина) Нина Леонтьевна (1892—1980) — поэтесса и переводчица, жена Г. А. Шенгели.

с. 443 Мне вспоминается мой старый рассказ: «Странствующее „Странно“». — Эту повесть (1924) автор пересказывает весьма вольно и схематично, явно «примеряя» к иной «фабульной» задаче.

с. 444 дирхема — дирхем — старинная арабская серебряная монета.

Сура — глава Корана.

...сова.. которая могла бы написать мемуары о... Афине Палладе. — В греческой мифологии сова — атрибут Афины Паллады, указывающий на древнее зооморфическое происхождение этой богини.

с. 458 Ламарк — см. комментарий к с. 48.

Невай-и-Махтум-Кули (ок. 1730—1780-е) — поэт.

Даулят-Дурды — сведений обнаружить не удалось.

- с. 462 Лонгинов Виталий Витальевич (1886—1937) — химик, разрабатывал теоретические и практические методы получения химически чистых веществ.
- с. 464 В Германии вот гинденбурговщина расшумелась... — Пауль фон Гинденбург (1847—1934) — генерал; во время Первой мировой войны начальник Генерального штаба германской армии, затем политический деятель; с 1925 г. и до смерти — президент Германии.
- гогенцоллерновская корона. — Гогенцоллерны — германский княжеский род, известный с XI в.; возвысился в конце XVIII в. в борьбе за власть с Габсбургами; последняя в Германии правящая императорская династия.
- с. 468 Кстати, надо уложить и мысли. — Ср.: «Уложите ваши мысли и будьте готовы в любую минуту перехатать в новое мирозерцание» (ЗТ); и еще — с «железнодорожной» ассоциацией: «Близится станция назначения: Смерть. Пора укладывать мысли» (ЗТ).
- Арк — крепость, главная резиденция бухарских правителей; самый древний архитектурный памятник Бухары, в нынешнем виде отстроен в VII в.
- ...хромой Лесажев бес... — Имстется в виду роман французского писателя Алена Рене Лесажа «Хромой бес» (1707).

ХОРОШЕЕ МОРЕ. Впервые полностью: СВ. Печатается по этому изданию. Четыре фрагмента очерка, озаглавленные первой половиной строки Багрицкого, взятой в эпитаф, — «Ай, Черное море!»: Тридцать дней. 1939. № 8—9.

В «автобиографии» очерк датируется 1939 г. Это — ошибка памяти, связанная, скорей всего, с тем, что в тридцать девятом автор готовил фрагменты очерка к публикации: очерк написан двумя годами раньше, во время поездки Кржижановского в Одессу, где Анна Бовшек проводила лето на даче, расположенной рядом с Домом творчества писателей (16-я станция, дача Ковалевского). «Дом, в котором мы теперь жили, стоял на высоком обрыве у самого моря. Ритмичный шум прибоя, морской воздух и дружеские, полные уважения отношения всех членов семьи к Сигизмунду Доминиковичу создавали хорошие условия для лечения нервов и общей поправки здоровья... Отдыхал, как обычно, работая над небольшими новеллами («Мал

мала меньше». — В. П.), очерком об Одессе „Хорошее море“... Через два года (через год. — В. П.) в том же приветливом доме происходило нечто иное. Мы с С<игизмундом> Д<оминиковичем> сидели вечером на террасе. У нас в гостях был Юрий Карлович Олеша с женой Ольгой Густавовной. Писатели только что познакомились: завязалась беседа на волнующие литературные темы. Неожиданно на террасу вошел незнакомый мне человек. Извинившись, он объяснил, что приехал к Юрию Карловичу поговорить с ним о деле, и вдруг сказал: „Арестован Бабель...“ (А. Бовшек).

Этот дом, построенный отцом Анны Бовшек, был завещан четырем дочерям. В 1970-х гг. Союз писателей предпринимал попытки присоединить его к Дому творчества (средства при этом применялись, мягко говоря, не вполне законные — например, отключали свет и воду, — однако борьба, длившаяся года три, кончилась ничем. Дом сохранился, хотя, конечно, сильно изменился внутри; он поделен между внучатыми племянниками и — теперь уже весьма дальними — родственниками А. Бовшек. Однако часть, отошедшая к потомкам младшей сестры Екатерины (в замужестве Довгань), где мне довелось побывать, — именно та, где тогда жили писатель с женой, даже расположение мебели на террасе осталось то же. И можно было, устроившись там, где любил сживать Кржижановский, поглядеть на то, что видел он. Дом действительно расположен замечательно, на самом краю обрыва (под ним — на берегу — то, что осталось от дачи уехавшего после революции из России и умершего в эмиграции поэта и переводчика А. М. Федорова (1868—1949), у которого в начале века бывали все столичные литературные знаменитости, наезжавшие в Одессу; этой даче «помогли» погибнуть — а заодно и ценнейшему архиву). Справа и слева взгляд слегка ограничен зеленью старых деревьев, с этого места из глубины террасы берега не видно — только море. И добираться сюда, по крайней мере треть пути, приходится совершенно так же, как и шестьдесят лет назад: выдавшая виды трамвайная одноколейка, плотно стиснутая садами, выводит неожиданно на пыльный пустырь, к границе приморского парка — дачи Ковалевского.

Очерк был включен Кржижановским в состав книги «Сборник рассказов 1920—1940-х годов»; причины, по которым он перенесен сюда, изложены в преамбуле к комментариям. Могу лишь повторить, что составление «Сборника» было предварительным, «эскизным»; пристальное внимание автора к

жанровой определенности включаемых в книги вещей, тщательная композиционная выстроенность всех книг, кроме «Сборника», позволяют думать, что столь явный «диссонанс» был бы им впоследствии устранен. Но все же главная причина перемещения очерка к «ему подобным» — в том, что здесь он позволяет составить более полное представление об «очеркистском» стиле и мастерстве писателя.

- с. 473 Ай, Черное море, хорошее море — строка из стихотворения Э. Багрицкого «Контрабандисты» (1927). ...спорят о том, открыть или закрыть окна... — Ср.: «Пассажиры спорят об окне („открыть — закрыть“), как если бы они были славянофилами и западниками, а окно — „окном в Европу“» (ЗТ).
- с. 474 ...жил катаевский Петя... — персонаж повести В. Катаева «Белеет парус одинокий» (1936).
- с. 475 Станция Ковалевская — или: дача Ковалевского.
- с. 480 ...с полным собранием сочинений Шеллера-Михайлова. — Шеллер (псевд. Михайлов) Александр Константинович (1838—1900) — писатель, плодовитый романист.
- с. 482 *Et ego in Arcadia fui* — «дополненная» (союзом) цитата из Вергилия, для которого, как и для поэтов Эллады, картины природы Аркадии, горной области в центральной части Пелопоннеса, служили фоном для описания идиллий из пастушеской жизни; здесь, естественно, имеется в виду одесский приморский парк того же названия.
- с. 483 дикт — фанера.
- с. 484 ...старая книга о старой Одессе. — Речь идет о книге А. М. Де Рибаса «Старая Одесса. Исторические очерки и воспоминания» (Одесса, 1913). Сообщаемые далее исторические сведения и рассказы об Одессе основаны на этой книге.
- с. 485 А стопка книг растет и растет. — Затеяв сочинять «одесский» очерк, Кржижановский действует примерно так же, как двенадцать лет назад в работе над повестью «Штөмпель: Москва» (см. комментарий к ней): множество книг «по теме» — и проверка их собственным — пешим — исследованием города.

Женою одного из них, «негоцианткой молодой», увлекался Пушкин. — Имеется в виду Амалия Ризнич (1803—1825), жена негоцианта Ивана Степановича Ризнича.

с. 486 ...после захвата Хаджибея... — Хаджибей — турецкая крепость, взятая штурмом 14 сентября 1789 г., на месте которой в 1794 г. была основана Одесса.

с. 487 дормез — большая карета, приспособленная для сна в пути.

В гавань завозили товары и болезни. Вследствие этого возникли здания: таможня и карантин. — «карантин» занимался проверкой доставляемых в город морем растительных и животных продуктов.

...в аттическом стиле театра... — т. е. здания с некоторыми характерными элементами древнегреческой архитектуры.

...сооружается грузный овал... современного оперного театра города. — Справедливости ради следует заметить, что дело тут было вовсе не в «торжествующей буржуазности», а в том, что многие старые театры (не только в Одессе — по всей Европе) перестали удовлетворять новым требованиям; здание Одесского театра оперы и балета было создано в 1884—1887 гг. знаменитыми немецкими архитекторами Фердинандом Фельнером-младшим и Германом Хельмером (ими же построены оперные театры в Венеции, Будапеште, Львове, Загребе, Дрездене, Народный театр в Вене и еще многие театры в Австро-Венгрии и Южной Германии).

...все якоря упали в песок одесской бухты. — Далее следует несколько строк, обесмысленных дефектом машинописи; поскольку рукопись очерка не обнаружена, их пришлось опустить.

с. 488 Ой ра (Айра) Олридж (1805—1867) — первый американский актер, завоевавший мировую славу исполнением шекспировских ролей; в 1826 г. дебютировал в Лондоне в роли Отелло; с 1858 г. гастролировал в России и имел большой успех.

с. 489 ...одесский художник Эдвардс, эмигрировал за границу. — Эдуардс (Эдвардс) Борис Васильевич (1860—1924) — скульптор, рано добившийся из-

вестности (в 27 лет — персональная выставка в Лондоне), автор многочисленных памятников: Екатерине II в Одессе, Суворову на Римникском поле в Румынии и др.; копия-отливка с памятника Суворову, предназначенная для установки в Измаиле, долгое время оставалась в Одессе и была установлена перед входом в музей; концовка фразы — о том, что Эдвардс умер в нищете, — ни на чем не основана: известно лишь, что умер он на Мальте.

- с. 491 Пустое в ы одесским в и... — шуточный перифраз начала пушкинского «Ты и вы» (1828): «Пустое *вы* сердечным *ты* / Она обмолвясь заменила».
- с. 492 ...сборник памяти Багрицкого — Эдуард Багрицкий: Альманах/Под ред. В. Нарбута. М., 1936. Упоминание этой книги, во-первых, еще одно свидетельство в пользу датировки очерка 1937 г., а во-вторых, возвращает нас к эпиграфу очерка, к тому, для чего он понадобился Кржижановскому, в октябре 1936 г. написавшему теоретическую работу «Искусство эпиграфа. (Пушкин)», из которой можно сделать вывод и о его собственных целях и методах использования этого приема. В данном случае можно говорить о том, что на некоторое время — после смерти и особенно по выходе упомянутого сборника — Багрицкий стал знаковой фигурой «одесской» литературы, культуры, вообще Одессы; «тема Одессы» оставалась модной и два года спустя, когда Кржижановскому удалось опубликовать фрагменты очерка.
- с. 494 элитры — элитры (то же, что надкрылья).
- с. 495 ...рассказы Замятина времен гражданской войны, смерть лирика Блока и его статьи «о кризисе гуманизма»... — Имеется в виду тема обреченности интеллигенции в рассказе Е. Замятина «Пещера» (1922) и статья А. Блока «Крушение гуманизма» (1919).
- с. 497 Аристотель, открывший формальную логику... подагал, что и собакам доступны некоторые модусы силлогизма... — Аристотель (384—322 до н. э.) первым из древнегреческих философов сделал законы мышления предметом изучения. Под модусами силлогизма (т. е. умозаключения), очевидно, имеются в виду сформулированные Аристотелем фигуры силлогизма.

Москва в первый год войны

МОСКВА В ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ (Физиологические очерки). — Первая тетрадь задуманной и оставшейся незавершенной книги «Раненая Москва», которая должна была охватить все четыре военных года московской жизни — от «ранения» до «исцеления».

В июле 1941 г. Кржижановский отказался уехать в эвакуацию, пояснив, что «писатель должен быть там, где его тема»: одну из постоянных, неотступных его тем была Москва. Он оставался в столице все четыре года и был на редкость энергичен и деятелен, — быть может, потому, что впервые книга его не вышла по причинам объективным и оставалась надежда на то, что она лишь «отложена», в чем его — не без оснований — уверяли и друзья. Во всяком случае, депрессия, парализовавшая на время после прежних неудач, на сей раз его миновала.

Он ездил в командировки: в короткую — «писательскую» — на Западный фронт, в длительную — по поручению секции драматургов и ВТО — в Восточную Сибирь (1943), а затем, в самом конце войны, — на Северный Кавказ, где бывал в середине тридцатых. В эти годы его работа была преимущественно связана с театром. Он пишет со старинным своим, еще киевским, знакомым, композитором С. Василенко, либретто опер «Суворов» и «Фрегат „Победа“» — о создании первого российского флота (оба — 1941 г.) и принимает живейшее участие в их постановке, сочиняет историческую пьесу о Севастопольской обороне «Корабельная слободка» (1942), выступает на конференции ВТО с большим докладом о поэтике одноактной пьесы, еженедельно (!) бывает в Шекспировском кабинете ВТО у М. Морозова, где знакомит собравшихся со своими новыми работами о пьесах Шекспира, хотя вернее назвать это наблюдениями и размышлениями о «частностях»: в отличие от тридцатых годов, когда он более занимался проблемами масштабными («Поэтика шекспировских хроник» или «Комедиография Шекспира»), теперь он сосредоточен на эпизодах, характерных ситуациях, «масках» и «типажах», причем не пишет, ограничивается конспектом, полагаясь на свое отточенное мастерство лектора, нисколько не смущаясь тем, что среди слушателей — такие мэтры театро- и шекспироведения, как Г. Н. Бояджиев, А. К. Дживелегов, А. А. Аникст, поэты-переводчики Маршак и Шервинский. Увы, конспекты (и некоторые готовые тексты

выступлений) не сохранились: отданные М. Морозову — для архива и летописи чтений, — они, к несчастью, оказались среди тех бумаг этого архива, которые погибли.

Но вернемся к книге очерков. Замысел ее возник, видимо, в 1943 г. Психологически он, думается, связан с несостоявшейся «московской» книгой середины двадцатых годов. Но теперь вместо философско-социологического подхода — «физиологический»: жанр популярный и разработанный в русской классике. Первая часть книги вчерне была готова два года спустя. В августе 1946 г. автор берется за переработку текстов. К этому времени надежда на выход книги новелл окончательно утрачена. И, в сущности, Кржижановский *бросает писать*. Потому работа идет вяло, урывками.

Первая тетрадь завершена лишь к началу 1949 г. Однако неудавшиеся попытки опубликовать очерки, которые «опоздали», — в писаниях о войне официально признан лишь фанфарно-героический пафос, — а затем и обострившаяся, стремительно прогрессирующая последняя болезнь писателя оборвали работу.

ОКНА. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

- с. 501 **фенестрология** — т.е. «окноведение» (от *лат.* *fenestra* — окно). О значении «окна» в образной системе Кржижановского см. примеч. 30 к работе В. Н. Топорова «„Минус“-пространство Сигизмунда Кржижановского». Стоит также упомянуть известное Кржижановскому «окноведческое» стихотворение Шенгели «Философия классицизма» (1937), начинающееся: «Все любят, много раз я наблюдал,/ Заглядывать в чужие окна...».

ГОЛОС ИЗ РУПОРА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

- с. 507 **апперцепция** — восприятие.
...в пределах малой терции... — Малая терция — один из простых (в пределах октавы) интервалов.

ЧЕЛОВЕК, ВИНТОВКА И ФОНАРЬ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

- с. 508 **дикт** — фанера.

ЮНЫЙ ПОЖАРНИК. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

с. 512 ...бейсбольная кривая бита... — Разумеется, автор имеет в виду биты для лапты, российской «родственницы» американского бейсбола.

ПОВОЮЙ ПОВОЮЕВИЧ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

с. 519 ...часовым придаются подчаски... — Подчасок — сменщик, тот, кто назначен, в случае надобности, сменить часового.

с. 521 Юркевич Памфил Данилович (1827—1874) — философ и педагог.

с. 522 гештирбт — *нем.* gestirbt — помер.
вельт — *нем.* Welt — мир.

ДОРОГОМИЛОВСКАЯ РУФЬ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

с. 524 Руфь — см.: «Книга Руфи».

с. 525 ...как некий Вооз... — См.: Руфь, 2: 5.

...мы с нашими войнами и мирами, листьями лавра и капусты... — т. е., по «литературной» ассоциации, от великого до смешного, от Льва Толстого («Война и мир») до О'Генри («Короли и капуста»), включая разнообразных «лауреатов» (увенчанных лаврами).

ЖИДКИЙ КРИСТАЛЛ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

Действие очерка происходит в столовой московского Дома литераторов. Упоминаемые Чистополь, Казань, Алма-Ата, Фрунзе — города, куда эвакуировали из Москвы писателей и их семьи.

с. 526 жидкий кристалл — состояние вещества, в котором оно обладает свойствами жидкости (текучестью) и некоторыми свойствами твердых кристаллов.

с. 529 онёры — в карточной игре: одна из старших карт масти — от валега до туза (от *фр.* honneur — честь, знак уважения, регалия).

...а у нас лига — т. е. лигатура: металлы, вводимые в благородные металлы для удешевления изделий.

с. 530 Леб — о каком ученом в данном случае идет речь, не ясно.

ОБИЖЕННОЕ МИ-БЕМОЛЬ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Кржижановский нередко использует в очерках мотивы, образы, метафоры прежних своих сочинений. Так и здесь (ср. новеллу «Чётки» (1922)). Действие очерка происходит на репетициях Театра имени Станиславского (впоследствии — и Немировича-Данченко), где в ту пору ставилась опера «Суворов». Кржижановский регулярно бывал на репетициях, жизнь театра была ему хорошо знакома.

с. 532 Дирижер — он один без пальто и перчаток... — Двадцатью годами раньше, в Киеве времен Гражданской войны, так же выглядел и сам Кржижановский, предваряя вступительным словом музыкальные программы (концерты Г. Нейгауза, симфонического оркестра): в отутюженном костюме и белоснежной сорочке при галстуке — перед слушателями в полушубках, пальто, шинелях; и даже музыканты «утеплены», кто как сумел...

с. 533 ...где все движется пункт в пункт... — т. е. безусловно, «точка в точку».

с. 534 ...в воздух театральной аулы... — т. е. зала (*лат.* aula).

с. 535 тесситура — преобладающий высотный уровень исполнительской партии.

к л а в и р — сокр. от «клавираусцуг» — переложение партитуры оперы, оратории для пения с фортепиано.

ф е р м а т о (фермата) — музыкальный знак неограниченного временем увеличения длительности.

с. 536 Или словами Шекспира... «Чу, слышишь голос жаворонка, поющего у калитки рая» — «Hark! hark! the lark at heaven's gate singing» («Цимбелин», II, 3). Перевод основан на недоразумении: в оригинале речь идет о «небесных вратах», из которых появляется Феб на своей колеснице.

группетто — мелодическое украшение, состоящее из четырех или пяти звуков.

с. 537 **демпфер** — см. комментарий к с. 169.

Патти Аделина (1843—1919) — итальянская оперная певица.

Зонтаг Генриетта (1806—1854) — немецкая певица.

с. 538 **Ахнуть бы тебя по-пигасовски бревном по спине...** — Имеются в виду слова Пигасова — персонажа романа Тургенева «Рудин»: «Я ее хватил в бок осиновым колом сзади. Она как взвизгнет, а я ей: bravo! bravo!»

стакатто — короткое, отрывистое исполнение звуков, четко отделяющее их друг от друга.

узус — *лат.* usus — выгода, польза.

«**И напрасно ты кутала в соболю соловьиное горло свое**» — цитата (с незначительным расхождением: «Но напрасно...») из стихотворения Некрасова «О погоде» (1865) — об итальянской певице Анджелине Бозио (1824—1859), которая в 1855—1859 гг. пела на сцене Императорской оперы в Петербурге и, простудившись, умерла от воспаления легких.

с. 539 «**Сон в зимнюю ночь сыгран...**» — ассоциативная контаминация из Шекспира: «Сон в летнюю ночь» и «Зимняя сказка».

с. 541 **компримарио** — оперный артист, исполняющий второстепенные партии.

с. 542 **профундный** — глубинный (от *лат.* profundum — бездонная глубина, бездна).

дискантовый. — Дискант — верхний голос в четырехголосом изложении (то же, что сопрано).

городу и миру — *urbi et orbi* (*лат.*) — слова из формулы благословения, которую произносит вновь избранный римский папа.

ЗАВХОЗ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

с. 546 «**Пастух и свинарка**». — Имеется в виду фильм И. Пырьева «Свинарка и пастух» (1941).

ДЕВУШКИ У ВОДЫ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

с. 550 **диктовый** — фанерный.

ЧЕЛОВЕК ПРИ КНИГЕ. Впервые: ВВ. Печатается по этому изданию.

с. 551 **этиология** — происхождение.

с. 552 **хабитус** — *лат. habitus* — особенности, характер.

ДОМОУПРАВША. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

МОГИЛЬЩИКИ. Впервые: ВВ. Печатается по авторизованной машинописи.

В первый год войны Кржижановскому привелось дважды побывать на Ваганьковском кладбище по печальной необходимости — на похоронах сначала племянника А. Бовшек, летчика, погибшего в боях за Москву, а затем и ее младшей сестры, не сумевшей пережить потерю единственного сына, Евгении Гавриловны Бовшек (1900—1942), артистки Второй студии МХТ, позже — режиссера созданного Станиславским и Немировичем-Данченко музыкального театра. Эти впечатления и стали поводом к очерку, возвратив писателя к теме, не раз возникавшей у него начиная с двадцатых годов (см. комментарий к новелле «Тринадцатая категория рассудка»).

с. 559 **лития** — краткая панихида.

ка м и л а в к а — род высокой шляпы без полей, кверху расширяющейся, которую носят монахи и священники.

...«где несть печали»... — «Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание» (слова заупокойной молитвы).

с. 560 ...они... не говорят вам, что ваша новопре- ставленная... не женщина и не мужчина, а так, труха — неточная аллюзия на разговор Гамлета с могильщиками в I сцене V акта «Гамлета».

с. 561 ...так называемый «прокатный венок». — Эта реальная история, узнанная во время работы над статьей «Эпитафия», произвела на Кржижановского сильное впечатление: он возвращается к ней несколько раз (см., например, новеллу «Книжная закладка» (1927)).

с. 562 **Лескободуа.** — В действительности этот персонаж романа Г. Флобера «Госпожа Бовари» (1856) носит имя Лестибудуа.

...шуга Балакирева. — Балакирев Иван Алексеевич (1690—?) — один из любимых шугов императрицы Анны Иоанновны.

ФИЛОЗОФ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

с. 566 анданте — средний темп.

акчелеранде (акселеранте) — ускорение.

престиссимо — очень быстро.

с. 567 силлогизм — см. комментарий к с. 431.

...«а мы с тобой располагаем жить»... — вольная цитата из пушкинского «Пора, мой друг, пора» (1834).

Будто на «Максими Горьком». — Имеется в виду поезд Москва—Горький (Нижний Новгород).

с. 569 башлык — широкий суконный капюшон с длинными завязывающимися концами.

с. 570 ...концовку хора теней из «Франчески Чайковского» — т. е. из «Франчески да Римини» — программного симфонического произведения П. Чайковского на тему Дантова «Ада».

БАБУШКА С КОШЕЛКОЙ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

с. 571 Вся фигура ее, согнутая вопросительным знаком... — См. комментарий к новелле «Старик и море» (1922).

ганцаккурат — *нем.* ganzakkurat — безусловно аккуратный, аккуратист.

ПЕЩЕРНЫЙ ЖИТЕЛЬ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

с. 577 ...впрягается в свое «*mesum porto*». — «*Omnia mea mesum porto*» («Все мое ношу с собой» — *лат.*). Цицерон приписывает эти слова древнегреческому мудрецу Бианту (VI в. до н. э.), ушедшему налегке из осажденного врагами города; со временем смысл фразы переменялся: первоначально подразумевалась мудрость, а теперь — и скудость имущества, этот второй смысл и обыгрывает Кржижановский.

- ...острия элейских стрел... — Очевидно, аллюзия на знаменитую апорию Зенона Элейского (ок. 490 — ок. 430 до н. э.) «Стрела», представляющую собой доказательство того, что движения, вопреки очевидности, не существует.
- с. 578 «отцы-пустынники» — намек на стихотворение Пушкина «Отцы пустынноики и жены непорочны...» (1835).
- с. 580 «На поле бранном тишина...» — начало стихотворения Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812).
- с. 581 Еще в Библии сказано, что жизнь есть убежище скорбей. — Библия не содержит такого высказывания; однако там неоднократно говорится, что Господь — «прибежище» «во времена скорбей» (см., например, Псалтирь, 9:10).
- с. 582 стратегема (стратагема) — военная хитрость; искусство проведения военных действий с целью обмануть противника.
- с. 583 Скажем, про Нильса и Никса... — Вруском переводе заглавие этой сказки: «Маленький Клаус и Большой Клаус».
- с. 584 «Маневр сет мон нерв» — *фр.* Manœuvre s'est mon nerf — «В действии моя сила».

ХЛЕБОДАР. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

РОВЕСНИК ИЮЛЮ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

БАРРИКАДА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

- с. 592 Похоже на картину Верещагина — «Апофеоз войны». — Картина из цикла батальных полотен на темы войны в Туркестане (1871—1874) Василия Васильевича Верещагина (1842—1904).
- с. 593 ...всякую итоисетину... — см. комментарий к с. 107.

...кое-что осталось в памяти и даже в листках, в дневниках. — Ни эти «листки», ни «дневники» Кржижановского до нас не дошли, и нет ни одного упоминания о том, что он вел дневник, так что резонно предположить, что это — стилизация «под дневник».

Она похожа на охотничьего пса Мюнхгаузена. — Сравнимая по памяти, Кржижановский перепутал пол и назвал «псом» суку (см.: Мюнхгаузен. С. 29—31).

с. 595 Мышление... совершается по... так называемым ассоциативным нитям и мелким разветвлениям дендритов и нейрофибрилл... — Дендриты — ветвящиеся отростки нервных клеток (нейронов), проводящие нервный импульс к телу нейрона; нейрофибриллы — см. комментарий к с. 69.

...щит Афины Паллады... — в греческой мифологии щит из козьей шкуры с головой змеевласой Медузы, обладающий огромной магической силой (Афина — богиня мудрости и справедливой войны).

...пресловутая плюшкинская куча... — описана в VI главе «Мертвых душ».

с. 596 ...год рождения... прабабки Парижской баррикады: 1588. — Первая баррикада была воздвигнута в Париже 12 мая 1588 г. во время манифестации в пользу герцога де Гиза против Генриха III; впоследствии дата отмечалась во Франции как День баррикад.

с. 597 ...практика и теория «коридорного обхода», возведенного в систему генералом Клюзере. — Очевидно, аберрация памяти автора. Юстав Поль Клюзере (1823—1900) — руководил обороной Парижской Коммуны, а в 1861—1865 гг. сражался в армии Севера в Гражданской войне в США.

Дрезденская литография 1849 года показывает... — Имеется в виду литография из отпечатанной в Дрездене серии, посвященной германским революционным событиям 1848 г.

Сердце и радо бы остаться, а портфель напоминает: дальше. — Одна из «сквозных» для творчества Кржижановского «тема портфеля», его метаморфоз, вмешательств в жизнь человека, «владения владельцем», таким образом, завершается в последнем очерке последнего сочинения писателя.

...после премьеры «Суворова»... — т. е. оперы С. Н. Василенко на либретто Кржижановского, премьеры которой состоялась в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в феврале 1942 г.

с. 601 дефиле... — *фр.* défilé — ущелье, теснина.

...Это мостик, помогающий моим мыслям перейти из первой тетради этих очерков во вторую. — Как известно, этот «переход» не состоялся; однако такая концовка последнего произведения Кржижановского интересна тем, что, *расставаясь с литературой*, писатель «на прощанье» упоминает целый ряд существенных, значимых образов и символов своего художественного пространства (таких, как «окно», «портфель», «кладбище» и т. п.), «мост» — один из них (см., например, новеллу «Мост через Стикс» (1931) и комментарии к ней).

В. Перельмутер

Дополнения и исправления к комментариям II тома

Клуб убийц букв

- с. 14 ...о... садаж св. Франциска... — По мысли св. Франциска (им же впервые и осуществленной), не только у людей, но и у всякой Божьей твари (у животных и растений) должно быть место, где они — «у себя» и «для себя», никому более не «служат» (кроме, понятно, Бога); «сады св. Франциска», которые и теперь можно увидеть в Италии, Испании, на юге Франции, — это огороженные со всех сторон, с узкой и «навсегда» запертой решеткой-калиткой, небольшие участки земли, где травы и цветы растут без вмешательства человеческой руки, как сами того пожелают, их можно увидеть, но нельзя потрогать...
- с. 54 Ноткер Заика, «Четвертое евангелие» — Ноткер Заика — один из преобразователей музыки и стихосложения, открыл возможность свободного наложения слогов на музыку; следует отметить и его существенное влияние на немецкое стихосложение, а также на все дальнейшее развитие «соединения музыки с текстом», их взаимное наложение. «Четвертое евангелие» — т. е. «Евангелие от Иоанна» (*от Слова*); ставя рядом два этих заглавия, персонаж-рассказчик с первой же фразы начинает готовить — подсказывать — *исполнение обещания* («Заглавие мы придумаем к концу вместе...»), ибо речь в новелле пойдет о возникновении некоего «Пятого евангелия» (*от Молчания*).
- с. 102 ...категория *другого*, тó ётеров, как выражался Платон... — Видимо, подразумевается категория «инога» (вводится Платоном в диалогах «Парменид» и «Софист»), диалектически противопоставленного

«тождественному»; «иное» распространяется на все роды, делая все, причастное бытию, одновременно причастным и небытию, которое определяется как «иное» по отношению к бытию, а не его отрицание.

- с. 129 ...воспетым Эврипидом и Аристофаном... ахеронским лягушкам. — В «Лягушках» Эврипид выведен вместе с Эсхилом, их литературный спор (агон) является кульминацией комедии; здесь — намек на эпизод из начала комедии, когда Дионис, отправившийся в Аид в поисках настоящего поэта, каковым он считает Эврипида, переплывает с Хароном Ахеронское озеро — под хор насмехающихся над ним лягушек-лебедей.

Возвращение Мюнхгаузена

- с. 159 ...в генуэзском Palazzo Rosso — Красный Дворец, назван так из-за цвета камня (итальянские «социалисты» заседают в нем *по ассоциации* с Красной площадью и «красными» первой *страны социализма*), из которого он построен Маттео Лагамаджиоре в 1671 г. для семьи Бриньоле-Сале, которая в 1874 г. передала его городу Генуе со всем внутренним убранством; во дворце располагается Галерея Палаццо Россо с богатой коллекцией классической скульптуры и живописи Возрождения, а также китайского фарфора, старинной мебели, монет, керамики.
- с. 177 ...поехав крохотное буферное государство... — Судя по тому, что фамилия коменданта крепости начинается на «пштш», речь — о Польше, одном из пяти буферных государств, созданных в 1918 г. большевиками, «предоставившими независимость» входившим в состав Российской Империи Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии; таким образом они считывали «отгородиться», с одной стороны, от Германии, с другой — от стран Антанты.
- с. 201 ...помимо Горациевой максимы: «ничему не удивляйся»... — Гораций. «Послания». Книга I. Послание 6 — «К Нумицию». Строки 1—2: «Nil admirari prope res est una, Numici, solaque, quae possit facere et servare

beatum» (Ничему не удивляться, Нумиций, — вот почти единственное средство сделать себя счастливым и остаться таким); в стихотворном переводе (Н. Гинцбурга): «Сделать, Нумиций, счастливым себя и таким оставаться Средство, пожалуй, одно только есть: «Ничему не дивиться»; эта «Горациевая максима» (Nil admirari) неоднократно цитируется философами, поэтами, прозаиками, в частности теми, чьи сочинения входили в самый узкий из «кругов чтения» Кржижановского: Ф. Ницше (Странник и его тень; Несвоевременные размышления; Рихард Вагнер в Байрейте; Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей), Дж. Байроном (Дон-Жуан, Песни V и XIII), Э. А. По (Система доктора Смоля и профессора Перро, — где персонаж, подобно Мюнхгаузену, спорит с Горацием), а также П. А. Флоренским (У водоразделов мысли), Майн-Ридом (Квартетонка) и др.

- с. 208 Фрэнсис Бэкон определял эксперимент так... — Автор (персонаж) цитирует в своем переводе сочинение Бэкона «Новый органон (афоризмы об истолковании природы и царстве человека)», книга I, афоризм IV; в данном случае остроумно использована омонимия возникающего в русском переводе слова «тело».
- с. 252 Еще Лукреций Кар спрашивал: если пращик, стоящий у края мира... — Едва ли стоит говорить здесь об «обмолвке», скорее это — намек на «параллельное место» в трактате Лукреция (Книга I): «Кроме того, коль признать, что пространство вселенной конечно, То если б кто-нибудь вдруг, разбежавшись в стремительном беге, Крайних пределов достиг и оттуда, напрягши все силы, Бросил с размаху копьё, то, — как ты считаешь? — оно бы Вдаль полетело, стремясь неуклонно к намеченной цели, Или же что-нибудь там на пути ему помешало?» (перевод Ф. Петровского).

Воспоминания о будущем

- с. 352 ...разочарование в силе своей пращи... — намек на библейский эпизод битвы Давида с Голиафом (1 Цар., 17 : 39—49).

с. 359 ...пресловутой Аристотелевой головоломки о двух радиусах... — Вероятно, имеется в виду обсуждение Аристотелем вопроса о том, бесконечна ли по величине вращающаяся сфера неба: «Что тело, движущееся по кругу, по необходимости должно быть конечным во всем своем объеме — это ясно из следующего. Если тело, движущееся по кругу, бесконечно, то линии [т. е. радиусы], проведенные из центра, будут также бесконечны. А если они бесконечны, то и промежуток между ними бесконечен... Поэтому если бесконечное нельзя пройти из конца в конец... то оно не могло бы двигаться по кругу, а между тем мы воочию видим, что небо вращается по кругу, да и теоретически установили, что круговое движение принадлежит какому-то [телу]». (О небе I, 5, 271b 26—272a 8, в кн. Аристотель, Соч. в 4 т., т. 3 (М.: Мысль, 1981), с. 275); эта ассоциация героя повести вполне естественна, она связана с ходом его собственных мыслей: размышление о конечном и бесконечном протяжении, то есть пространстве, неизбежно вовлекает и проблему времени, его длительности, дискретности и непрерывности; а рассуждение о движении неба связано с проблемой времени и более конкретно: это все обсуждается в аристотелевской «Физике» IV, 10—14.

с. 408 ...не более чем (пользуясь словами Спинозы)... чем обыкновенный пес на созвездие Пса. — «Далее (чтобы сказать здесь также о разуме (intellectus) и воле, которые мы обыкновенно приписываем Богу), если вечной сущности Бога свойственны разум и воля, то под обоими этими атрибутами, конечно, должно понимать нечто иное, чем то, что люди обыкновенно понимают под ними. Ибо разум и воля, которые составляли бы сущность Бога, должны были бы быть совершенно отличны от нашего разума и нашей воли и могли бы иметь сходство с ними только в названии; подобно тому, например, как сходны между собой Пес — небесный знак и пес — лающее животное...» (Спиноза, Этика, кн. 1: О Боге, Теорема 17, Королларий 2, Схолия).

Чем люди мертвы

МОСТ ЧЕРЕЗ СТИКС

- с. 498 Ювенал писал о «лягушках из Стикса, в которых не верят даже дети»... — Цитату из Сатиры 2 Ювенала (книга «Сатиры») Кржижановский дает в своем переводе; для сравнения — стихотворный перевод Д. С. Недовича: «Что преисподняя есть, существуют какие-то маны, Шест Харона и черные жабы в пучине стигийской, Возит единственный челн столько тысяч людей через реку, — В это поверят лишь дети, еще не платившие в банях».

АВТОБИОГРАФИЯ ТРУПА

- с. 540 ...игра в *cottabus*... — Персонаж неточно излагает условия этой римской игры: гости выплескивали остатки вина в чашку, плавающую в воде; «выигрывал» тот, после чьих капель чашка тонула.

В. Перельмутер

Содержание

Неукушенный локоть	5
Ганс и Фриц	7
Одиночество	25
Неукушенный локоть	39
Мишени наступают	53
Желтый уголь	65
Моя партия с королем великанов	83
Гулливер ищет работы	92
Тридцать сребреников	98
Чистая работа	108
Дымчатый бокал	115
Серый фетр	121
Соната «Death's Door»	134
Бумага теряет терпение	148
Чемпион дыхания	159
Воздух родины	163
Немая клавиатура	167
Смерть эльфа	174
Две шелковинки	184
Левое ухо	189
Украденный колокол	199
Мал мала меньше	203
Гусь	205
Березайский сапожник	208
Игроки	212
Доброе дерево	216

Утренняя прогулка леса	219
Контролер	222
Раскулаченный боксер	225
Цыплята	228
Легенда	231
Хлеб наш насушенный	233
Невозможно предвидеть	235
Ранец и портфель	237
Джин	239
Взбесившиеся брюки	241
Орфей в аду	243
Единогласно	246
Кабинет миллиардера	248
Полувежливость	250
Большое сердце	251
Девять ворон	252
Тюбики	253
Побасенка	254
Последние минуты скупца	255
К лицу	256
Смерть радиста	257
Последний из атуров	258
Эмблема	259
Три сестры	260
Одна копейка	261
Баскская сказка	262
Сборник рассказов 1920—1940-х годов	263
Случаи	265
Тринадцатая категория рассудка	280
Когда рак свистнет	289
Сквозь кальку	297
Рисунок пером	305
В очереди	313
Мышук	325
Урна	334
Окно	340
Состязание певцов	344
Строка петитом	351
Пропавший человек	358
Мечтатели	361

Салыр-гюль (<i>узбекистанские импресии</i>)	365
Хорошее море	471
Москва в первый год войны (физиологические очерки)	499
Окна	501
Голос из рупора	506
Человек, винтовка и фонарь	508
Юный пожарник	511
Повоюй Повоюевич	516
Дорогомилловская Руфь	524
Жидкий кристалл	526
Обиженное ми-бемоль	532
Завхоз	543
Девушки у воды	548
Человек при книге	551
Домоуправша	554
Могильщики	558
Философ	563
Бабушка с кошелкой	571
Пещерный житель	577
Хлебодар	586
Ровесник июлю	590
Баррикада	592
Комментарии	602

Кржижановский, Сигизмунд
К81 Неукушенный локоть. Собрание сочинений. Т. 3 / Сост. и комм. В. Перельмутера.— СПб.: «Симпозиум», 2003.—673 с. ISBN 5-89091-134-1 (т. III) ISBN 5-89091-131-7

Данный том собрания сочинений Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1887—1950) включает произведения, созданные в основном в 1930-х — первой половине 1940-х гг. В эти годы появились две книги новелл: первая, «Неукушенный локоть», была подготовлена в надежде (как оказалось, тщетной) на публикацию; вторая, «Сборник рассказов 1920-х—1940-х годов», осталась, судя по всему, незаконченной. Для этих же полутора десятилетий характерно возвращение Кржижановского к жанру очерка, результатом чего стали два больших цикла: «Салыр-гюль» и «Москва в первый год войны»; второй из них оказался последним произведением автора.

Сигизмунд Кржижановский

НЕУКУШЕННЫЙ ЛОКОТЬ

Собрание сочинений

Том III

Ответственный редактор *Е. Д. Светозарова*

Технический редактор *Е. И. Каплунова*

Художник *А. Л. Бондаренко*

Верстка *С. И. Широкой*

Корректоры *О. Э. Карнеева, Е. Д. Шнитникова*

Издательство «Симпозиум»

190000, Санкт-Петербург, ул. М. Морская, 18

Тел./факс +7 (812) 314-46-13, 595-44-22

e-mail: symposium@online.ru

ЛР № 066158 от 02.11.98.

Подписано в печать 10.02.03. Формат 84×100/32.

Гарнитура Гарамонд. Печать высокая. Усл. печ. л. 36,12.

Тираж 3000 экз. Заказ № 2404.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУП «Печатный двор»

Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

